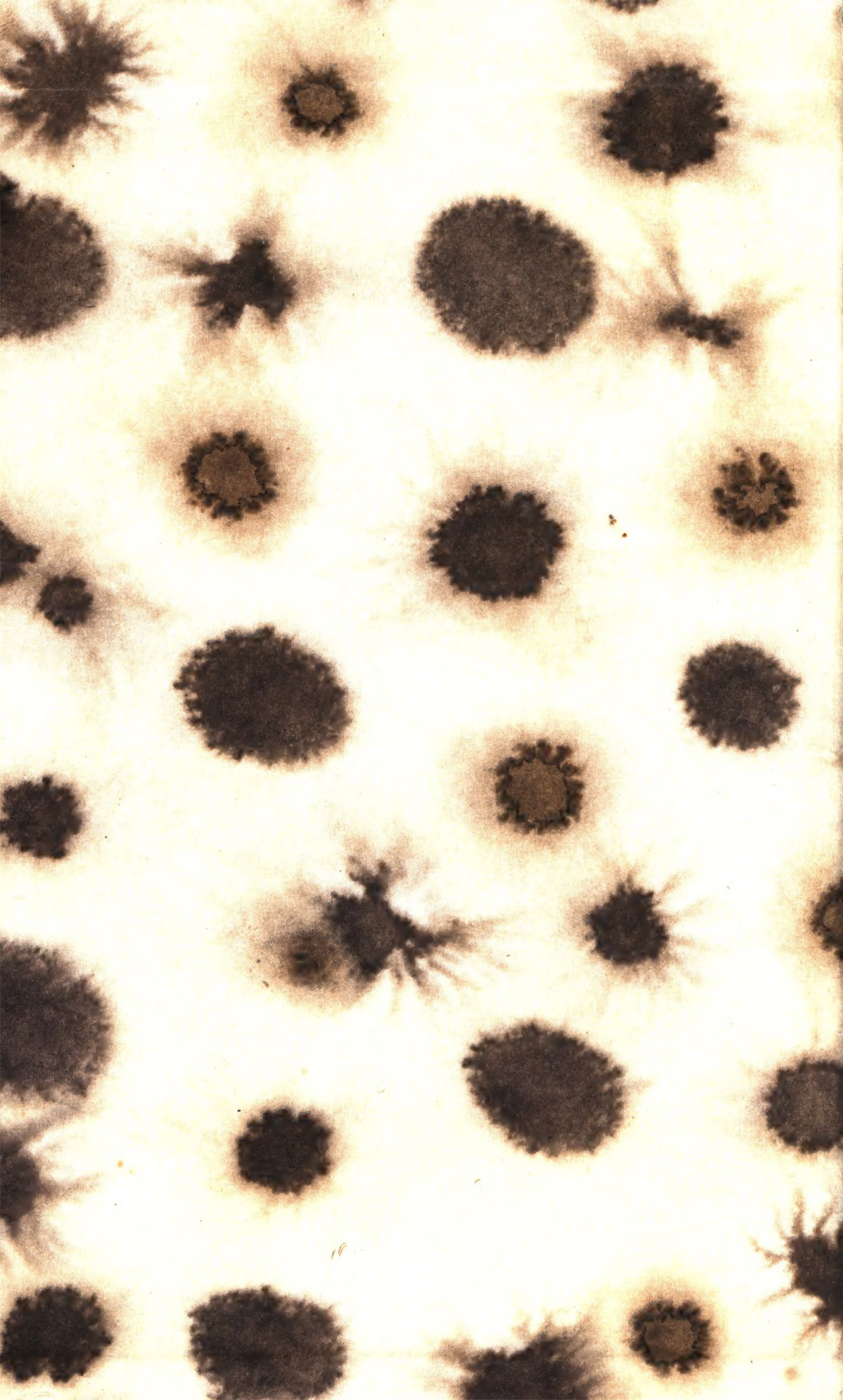
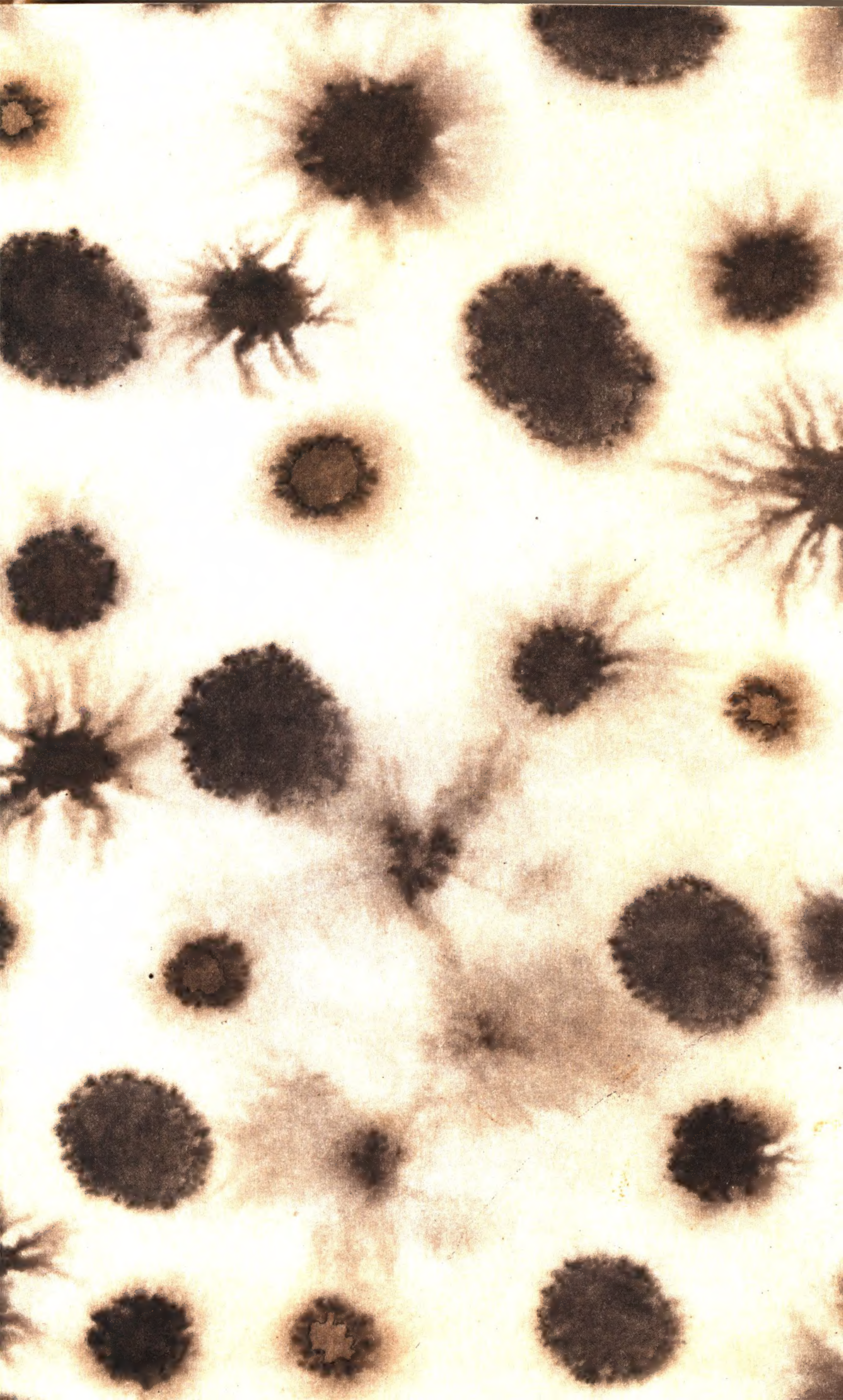
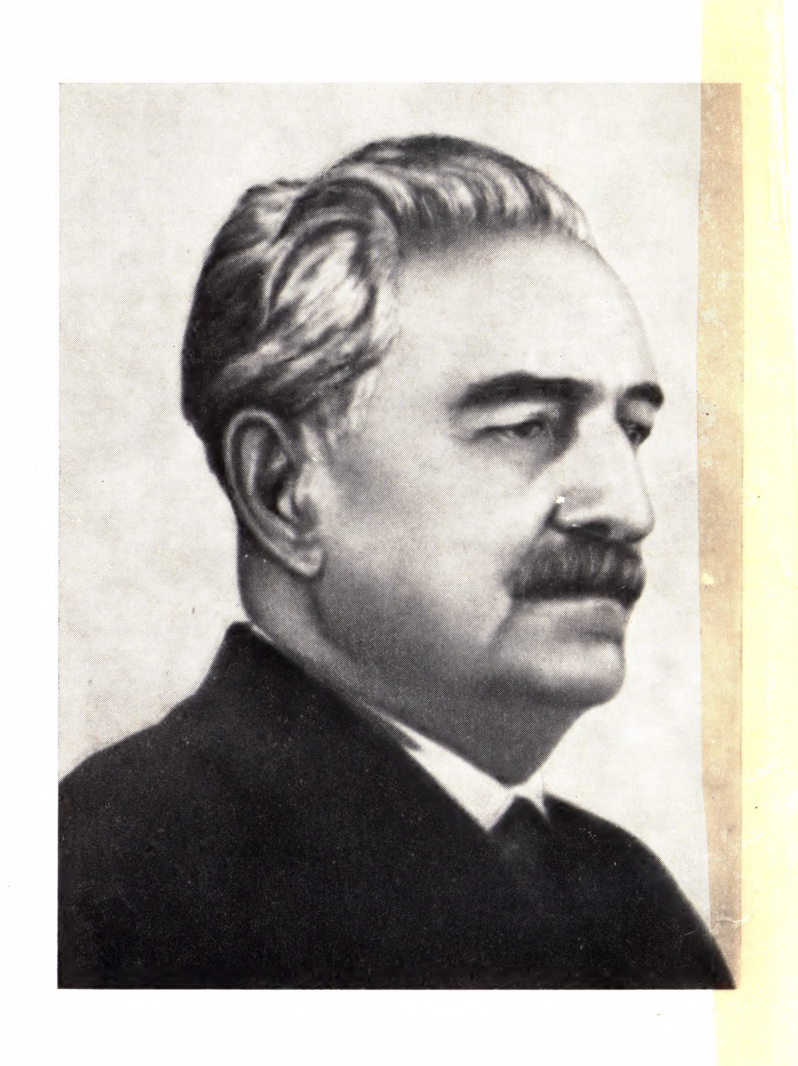


Избранное







Велько Петрович

Избранное

Перевод с сербскохорватского



МОСКВА

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •

1975

И (Югосл)
П 30

Составление и предисловие
Т. ПОПОВОЙ

Оформление художника
С. ГАННУШКИНОЙ

П $\frac{70304-266}{028(01)-75}$ 148–75

Велько Петрович
(1884—1967)

В воображении стремительного туриста или человека, который познакомился с этой страной по красочным, глянцевым фотографиям и рекламным киножурналам, при слове «Югославия» возникают яркие, залитые солнцем балканские кручи, герцеговинские и черногорские скалы, зеленые склоны горных массивов Сербии и Боснии, альпийские луга Словении, чистые водопады Хорватии, синее южное небо и неправдоподобно синее, прозрачное море со множеством островов и заливов, с пальмами и сказочными городами по берегам...

Но поезд, простившись с венгерской Келеби и миновав югославскую Субботицу, мчится и мчится по бескрайней равнине, то бурой и черной (ранняя весна!), то нежно-зеленой, то золотой от созревшей пшеницы, спелой кукурузы и подсолнечника. Часами несется он по ровной Бачке, оставляя направо — нивы Бараньи, налево — плодородный Банат, а впереди уже улыбается нарядный Срем, где, словно островки среди моря, поднимутся холмы Фрушкой горы и снова до Савы, до Белграда будет простираться спокойная, молчаливая равнина.

Житница Югославии, Воеводина. Сюда, в голые степи, поросшие упрямым, неистребимым пыреем, в топи стоячих болот и трясин, устремлялись во времена жестокого оттоманского владычества непокорные горцы из южных балканских краев. Они переселялись сюда в лихие годины ратных поражений, после кровавых схваток с поработителями. Здесь, у южных границ Венгрии, они брали на себя сторожевую службу, создав посреди Европы своеобразную Запорожскую Сечь. Здесь, веками приспосабливаясь к новым условиям жизни, переселенцы покоряли землю, создавали прочное хозяйство, лелея и развивая идею народного единения, которую теперь уже приходилось защищать не только с оружием в руках — от турецких завоевателей, но и от новых посягательств со стороны Венгрии и Австрии, стремившихся денационализировать, прежде

всего средствами экономического и духовного воздействия, население своих южных границ. В условиях постоянных сербско-венгерских противоречий, разжигаемых австрийской политикой «кнута и пряника», эти земледельцы и воины, скотоводы и виноделы рано ощутили интерес к политике. Именно здесь, в районе австро-венгерской Воеводины, в XVIII веке началось сербское национальное возрождение, родилась новая литература и живопись, возникли первые сербские школы и культурно-просветительные учреждения...

Всеми своими корнями, всем существом, складом мышления, всем сердцем был связан с Воеводиной известный югославский писатель, академик Велько Петрович. Он родился и позднее учился в бачкском Сомборе, всю жизнь был тесно связан с нынешним главным городом Воеводины Новым Садом, а свои ранние годы провел в прелестном городке, раскинувшемся на холмистых склонах Фрушкой горы вдоль Дуная — в Сремских Карловцах, который в XVIII веке был духовным и культурным центром австрийских сербов.

«Я, можно сказать, впервые увидел белый свет в Сремских Карловцах,— вспоминал писатель.— Мы поселились здесь, когда мне только сравнялся год. Этот городок был для меня не центром, не пупом земли, а целым миром. Здесь все было огромным, мощным, сильным, славным!» [1]

На маленькой центральной площади с красивым фонтаном посредине — здание первой сербской гимназии (быть выпускником Карловацкой гимназии — большая честь!), роскошные палаты патриаршего дворца, величественный собор со знаменитым иконостасом и колоколом Бимбо, звон которого, говорят, слышен во всем Среме, семинария, где учились многие деятели сербской культуры, а с площади разбегаются — вниз, к Дунаю, и вверх, по холмам и склонам,— уютные, одноэтажные улочки, где среди кажущегося однообразия глаз то и дело останавливается на изящной кованой решетке окна, затейливом дверном замке, узорном миниатюрном портале. А за каменными заборами — цветники и старые стены, увитые плющом и розами. И маленькие домики внутри оказываются огромными — со множеством комнат, уставленных тяжеловесной, старинной мебелью, со старинными серебряными подсвечниками и подносами, с толстыми кожаными переплетами старинных книг. Дети и внуки землепашцев, торговцев и виноделов нередко превращались здесь в книголюбов, писателей и историков, здесь создавалась потомственная национальная интеллигенция.

В среде потомственных воеводинских интеллигентов родился

---

[1] «Дах живота». Београд, 1964, с. 198—199.

и Велько Петрович. В доме была большая библиотека — произведения сербских и хорватских, западноевропейских и русских писателей. Чтение последних заметно сказалось, по выражению писателя, на его первом, «раннем лепете».

Жизнь бросала Петровича в разные уголки Югославии. Посвятив себя после окончания университета в Будапеште журналистике, он работал в Сремской Митровице и в Сараеве, в Загребе и Новом Саде; во время балканских и первой мировой войн, как военный корреспондент, он прошел с сербской армией путь от Белграда до Ниша, пересек Албанию, позже состоял при пресс-бюро в Женеве. В условиях острой национальной борьбы деятельность журналиста означала активное вмешательство в общественную жизнь и рассматривалась самим писателем как служение своему народу. Множество впечатлений из корреспондентских скитаний, плоды раздумий о судьбах родной страны составили тот жизненный опыт, из которого черпал писатель и свое вдохновение, и материал для своих произведений.

Писать Велько Петрович начал рано, еще в сомборской гимназии. С 1903 года сначала стихи, а вскоре и короткие рассказы его начали регулярно появляться в воеводинских и белградских журналах. Любовь к родной земле и ее людям, чувство горечи и боли от ее бесправия, ненависть к ее поработителям определяют основные мотивы творчества писателя. Поэт и прозаик призывает к борьбе, к активному действию, он протестует против смирения и моральной усталости, выступает национальным будителем. Познакомившись с первыми появившимися в печати стихами поэта, известный сербский критик — демократ Й. Скерлич отметил их гражданский пафос и отнес их «к самым оригинальным произведениям всей патриотической сербской поэзии». Высокую оценку критика получили и первые прозаические произведения Петровича.

На рубеже двух веков сербская проза переживала подъем. Именно в это время она обогатилась такими именами, как С. Сремац, П. Кочич, Б. Станкович, И. Чипико, С. Матавуль и др. В это время нашли свое высшее завершение традиции молодой сербской прозы XIX века и сформировались тенденции новых путей. Велько Петрович был младшим современником писателей, ознаменовавших своим творчеством литературный подъем на рубеже веков. Вместе с рано ушедшими Милутином Ускоковичем и Велько Миличевичем он принадлежал к поколению, по его выражению, «разбросанному войнами», которое, четко заняв реалистические позиции, явилось как бы своеобразным мостом между литературой начала века и периодом между двумя мировыми войнами.

Одной из отличительных черт ранней новеллистики В. Петровича является ее общественная актуальность и злободневность.

Писателя и журналиста прежде всего привлекает современная жизнь, особенности духовного склада, интересы и устремления окружающих его людей. В центре внимания Петровича-прозаика, как и Петровича-поэта, находится родная Воеводина первых десятилетий XX века. Воеводина по-провинциальному чопорная и уже духовно отсталая. Ее былая слава отшумела, она словно бы устала от более чем двухвековой борьбы за сохранение своей самобытности, впала в состояние немощи.

Стремясь всесторонне изобразить воеводинскую действительность, Петрович создает ее обобщенный образ — город Равангград, который вместе с прилегающими к нему селами представляет собой символ родного края. Писатель беспощадно разоблачает обывательское захолустье, где нет места для больших дел и высоких страстей, где все мелко и ничтожно. Городская рутина, словно болото, засасывает все лучшее и все старается уподобить себе, а обыватели не могут подняться выше идеала сытой, размеренной жизни. Подобно Молоху провинция поглощает одну жертву за другой («Молох», 1913). Одну из причин запустения воеводинского города, падения городских нравов Петрович видит в отрыве разбогатевшей городской верхушки от своих сограждан, в забвении сю национальных интересов, патриотических стремлений, то есть того стимула, который определял всю интеллектуальную жизнь австрийских сербов на протяжении прошлых веков.

Наиболее полно эта мысль представлена в повести «Буня» (1909). Главный герой ее адвокат Стипа Паштрович. Сын крестьянина, он благодаря упорству и личным способностям получил высшее образование и приобщился к городской элите. Однако после многих лет душевного оцепенения Стипа, за которым утвердилось применяемое к жителям северной Бачки прозвище Буня — синоним деревенщины и увальня,— осознал наконец фальшь и нравственную несостоятельность окружающей среды. Он пытается обрести прежнюю простоту и вернуться в мир естественных человеческих отношений, которые, как полагает автор, сохранились на селе и которые обусловлены близостью к земле и родной природе. Однако Буня уже «человек без корней». Разочаровавшись в городской жизни, он утратил все связи с людьми, среди которых родился и вырос. А без твердых моральных устоев, без ощущения родины и своей причастности к родному народу человек обречен на гибель. В повести «Буня» Петрович противопоставляет нравственно разложившийся, денационализированный город здоровому, развивающемуся в духе народных традиций селу. Своеобразным гимном сельской жизни является рассказ «Хуторянин» (1921), сюжетно и идейно также связанный с довоенным, «венгерским» временем. По живописности и художественному мастерству это одно из наиболее

совершенных произведений писателя. В центре его — богатый крестьянин — хуторянин Бабиян. Он запечатлен в двух совершенно противоположных ситуациях. В городе в качестве «представителя сербского народа» он присутствовал на торжественном обеде у жупана, где «городские отцы» — светские и духовные — вдоволь потешаются над неловким и неуклюжим в непривычной обстановке Бабияном. Но когда позже они оказываются гостями на его хуторе, Бабиян с полным сознанием своего превосходства берет своеобразный реванш. Петрович подчеркивает в этом своем персонаже народную силу, основанную на прочности экономического положения, ибо Бабиян — хозяин на своей земле, хозяин ее плодов. В условиях австро-венгерского господства писатель связывал свои идеалы с богатой фермерской прослойкой, видя в ней силу, способную добиться национальной независимости.

После освобождения Воеводины, вошедшей в Королевство сербов, хорватов и словенцев, перед художником встанут новые проблемы, которые заставят его задуматься над судьбой не только благополучного фермера, но и тех, «кто пашет, сеет и жнет хлеб, а сам ест мякину, кто откармливает свиней, а сам всю жизнь постится». В рассказе «Мишка — старший батрак» (1924) старый батрак-венгр говорит о земле, обращаясь к молодым сербам-переселенцам: «Это неважно, сербская она, или мадьярская, или турецкая, дело в том... кто ее обрабатывает и кто забирает плоды. Пахарь трудится, а господин берет». В рассказе «Мишка — старший батрак» впервые у Петровича проводится мысль об интернациональной солидарности людей труда и прежний идеал хозяина-собственника заменяется образом хозяина-труженика. Интересен этот рассказ и тем, что в нем появляется активный герой, который будет характерен для поздних рассказов писателя, особенно периода второй мировой войны.

Еще в ранних рассказах Петровича проявился большой интерес писателя к внутреннему, душевному миру человека, его чувствам, стремлениям, мечтам. Во многих новеллах автор изображает непонятый окружающими чистый, душевный порыв юности, мир детских впечатлений, первых радостей, побед. В рассказе «Папа играет» (1907) черствое и мелочное себялюбие взрослого больно ранит душу ребенка, а в рассказе «Crucis amore» (1905) холодная монастырская среда, атмосфера постоянного страха не просто ранит душу, а лишает ребенка детства. Гуманизм писателя проявляется в защите им слабого, страдающей личности, будь то жертва эгоизма преуспевающего дельца «Самец» (1913) или жестких канонов обветшалой морали «Наш учитель» (1910). В двадцатые — тридцатые годы локальные рамки в творчестве писателя расширяются. Рядом с провинциальными обывателями и духовенством, банатскими

и сремскими крестьянами появляется столичная интеллигенция, военные и штатские господа, трудовой люд города, безымянные солдаты и нищие. Действие рассказов свободно перемещается из военного Ниша в туберкулезные санатории Швейцарии, из Италии и Франции 1918 года в послевоенный Белград, столицу созданного после первой мировой войны нового государства, с уже спокойной и сытой жизнью буржуа и тревожными буднями рабочего и ремесленного предместья. Доминирующими в творчестве Петровича становятся морально-этические проблемы. Для многих рассказов этого периода характерно изображение исключительных жизненных ситуаций, темных человеческих инстинктов, остроконфликтный сюжет. Роковая страсть довлеет над человеком, и никакие усилия воли не могут спасти его от ее власти («Искушение»), ревность, соперничество в любви приводит к кровавым развязкам («Дрепка», «Маковка» и др.)

Судьбы Воеводины по-прежнему продолжают волновать писателя, но он обращается к ним уже спорадически, он как бы прощается со старой Воеводиной («В остывшем доме Негована», 1934). Однако воеводинские мотивы постоянно звучат в творчестве писателя. С ними связаны такие шедевры этих лет, как «Маковка» (1925), «Мица» (1928).

Нередко конкретный жизненный факт служит писателю толчком для размышлений о смысле жизни, о смерти. В рассказе «Земля» (1927) автор реалистически изображает сербскую эмиграцию во время первой мировой войны и широко известные факты торпедирования немецкими подводными лодками французских судов с сербскими переселенцами. Однако основная идея рассказа — это утверждение мысли о взаимосвязи всего живого на земле.

Симпатии писателя связаны с такими чистыми людьми, как батрачка Мица («Мица»), крестьянин из рассказа «Горец». И даже в рассказах, посвященных первой мировой войне, писатель, сам испытавший тяжести и лишения, не изображает ужасы мировой бойни. Он рисует рядовых солдат, которые в тяжелых условиях проявляют человечность и любовь ко всем, кто страдает. Самоотверженно ухаживает за ранеными одинокая старушка («Бабка Мица», 1922), на помощь больному приходят случайные попутчики («В теплушке», 1923), благородство по отношению к раненому врагу проявляет безвестный сербский солдат («Даже имени его не знаю», 1933). Гуманизм писателя проявляется в его любви ко всему живому.

Нередко в произведениях писателя положительные герои терпят поражение, нередко они оказываются недостаточно сильными и позволяют окружающей рутине сломить их. Петровича привлекает сфера личных, интимных отношений между людьми,— обма-

нутые надежды, развенчанные кумиры, одиночество человека среди людей, невидимые миру слезы. «Я думаю,— говорил Петрович,— что писатель у нас исполняет определенную миссию. Правда, он выражает себя, но он должен собрать в душе своей в потенции все радости и всю боль человечества, и уже от величины его таланта зависит, сумеет ли он эту боль и эту радость поднять на тот уровень, который можно было бы назвать «общезначимым» [1]. Страдания, любовь, ненависть, рождение страсти — все это дается художником как бы изнутри. Психологизм становится одной из характернейших особенностей его прозы. Многие короткие новеллы представляют собой почти бессюжетные психологические зарисовки («Чубура — Калемегдан», 1934).

Некоторые рассказы Петровича этих лет могут показаться слишком камерными, узкими и обыденными по теме. Но это только на первый взгляд. В обыденном и незначительном автор умеет показать и разоблачить ненавистную ему обывательскую мораль.

В 1938 году в новелле «Ястреб и лесные птицы» Велько Петрович в условной форме призывал к объединению народных сил для борьбы с надвигающимся фашизмом, а весной 1941 года немецкие захватчики уже маршировали по улицам Белграда. Жизнь оккупированного Белграда, страшные будни фашистских застенков, зверства гестапо и борьба патриотов, ни на один день не прекращавшаяся в захваченной, но непорабощенной столице, нашли свое отражение в рассказах и повестях сороковых — пятидесятых годов. Наиболее значительным произведением этого времени является рассказ «Перепелка в руке» (1948). В нем психологически тонко показано, как далекий от политики молодой учитель музыки приходит в ряды участников Сопротивления.

Велько Петрович прожил большую жизнь. Он умер на восемьдесят четвертом году жизни. До последних дней появлялись в печати его стихи и рассказы, очерки, воспоминания, исследования по вопросам литературы и искусства. Он очень любил живопись, прекрасно знал средневековую сербскую архитектуру. Занимая много лет пост директора Народного музея в Белграде, он приложил массу усилий и энергии, чтобы восстановить, собрать и приумножить разграбленную во время войны экспозицию этого крупнейшего музея Сербии. Последние годы он провел в небольшом особняке на Дединье — в самом зеленом районе современного Белграда. Широкое окно его кабинета выходило в сад. Он сидел за своим столом высокий, всегда подтянутый, очень красивый, и работал, и радовался, когда к нему приходили товарищи, читатели, молодежь. Темпераментный и живой, он не любил одиночества.

---

[1] Б. Ћосић. Десет писаца, десет разговора. Београд, 1931, с. 39.

А когда видел перед собой собеседника, охотно и много рассказывал, даже если слегка нездоровилось. Он многое помнил и рассказывал необыкновенно интересно. Тут были воспоминания детства, воспоминания о встречах с людьми — широко известными писателями, учеными, артистами и совсем безвестными — попутчиками, крестьянами, провинциальными родственниками,— и целые устные поэмы о родине, о родном искусстве.

Друзья и жена писателя, стараясь сохранить эти живые импровизации, установили в ящике его письменного стола портативный магнитофон. Он снисходительно, как детскую игрушку, показывал его и улыбался, но нередко, увлеченный воспоминаниями, выключал аппарат. Ему явно мешал этот холодный, механический слушатель.

Когда в Советском Союзе вышла первая книжка его рассказов, он был несказанно счастлив. «Вы меня так обрадовали,— писал он по поводу этой книги,— но и напугали очень! Как мои рассказы зазвучат на «великом, бессмертном и вечном русском языке» и как их встретит читатель, воспитанный на таких великанах, как Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов и Горький!»

Новая книга рассказов Велько Петровича — это новая встреча советских читателей с наследием большого современного писателя, чье творчество составляет одну из примечательных страниц в богатой и разнообразной культуре народов Югославии.

Т. Попова


Молох

Crucis amore[1]

Медленно бредет по дороге старая бабка Магда. Ковыляет, борется с ветром. А он со всей силой обрушивается на нее, валит с ног. Треплет ее широкие канифасовые юбки, обвивает вокруг слабых старческих ног, и ей то и дело приходится останавливаться и прислоняться спиной к стене какого-нибудь дома, чтобы передохнуть.

Вот она свернула за угол у церковной управы и направилась к женскому монастырю. Здесь уже во всю силу разыгрался настоящий октябрьский ветрище. Деревья в аллее гнутся, в пояс кланяются церкви, как нищие, просящие милостыню; ветер безжалостно обдирает их кроны, швыряет наземь сухую листву и заставляет ее кружиться в бешеном вихре.

Бедная бабка с трудом доплелась до ворот монастыря и остановилась, перебирая четки, крестясь и вздыхая:

— О господи, господи и пресвятая дева Мария, что же это будет!

Ветер все дул и дул, принося откуда-то, где, вероятно, уже выпал первый снег, резкий зимний холод. Бабка, поеживаясь, размышляла: «Ну, вот и зима пришла. Что ж, пусть, пусть ее приходит. Теперь моя Клара у святых сестер. Здесь ей холод не страшен».

И у бабки стало тепло на сердце. Наконец исполнилось ее давнишнее желание: ее внучка, сиротка Клара, не останется после бабкиной смерти одна, будет кому ее накормить, одеть и приласкать. Преподобные сестры приняли сироту в монастырь, они вырастят ее и не позволят ей скитаться по чужим людям.

И старушка была довольна. С каким волнением отправилась она в первый раз посмотреть на свою Кларицу

[1] Христова невеста *(лат.)*.

после ее поступления в монастырь! Ведь это не шутка — целый месяц ждать дня, когда сможешь поцеловать дитя, чей лепет ты еще не успела забыть, которое вырастила своими руками и сама проводила в школу.

Это много, очень много. И не удивительно, что старушка вот уже несколько недель, перебирая перо городским молодкам, мечтала о том, как она пойдет в монастырь. Не удивительно, что она решилась пойти туда даже в непогоду. То и дело вытирала она своим серым платком глаза, из которых не то от холода, не то еще от чего текли слезы. И ничуть не странно, что ей пришлось постоять немного перед дверями монастыря, перевести дух и подождать, пока успокоится сердце.

Открыла ей румяная полная монахиня в белом, с веником в руке. Бабка Магда спросила ее, можно ли ей видеть Клару. Сестра усмехнулась и ответила, что не знает точно, но велела ей подняться наверх, а сама пошла доложить.

Бабку впустили в большую комнату, где на стене висело огромное распятие и портреты святого отца папы Льва XIII и кардинала Хайнальда в пурпурной мантии, с лицом потомственного аристократа и светского человека.

Она села в кресло. Монахиня вышла. Через некоторое время в комнату вошла другая монахиня, вся в черном. Восковую бледность ее подчеркивала темная одежда, и от этого ее лицо внушало невольное уважение. Тонкие бескровные губы, острый, словно вырезанный из картона нос и глубоко запавшие мутные глаза, окруженные темными тенями, придавали ему холодное, строгое и даже жестокое выражение.

Войдя, она бросила на старушку пронизывающий взгляд, пробормотала что-то в ответ на ее приветствие «Хвала Иисусу!» и протянула руку, которую бабка Магда покорно поцеловала.

Бабка, заикаясь, но кое-как рассказала о цели своего прихода.

Монахиня несколько минут пристально рассматривала ее. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Потом она сказала по-венгерски: «Не понимаю!»

Бабка начала все сначала, не переставая комкать платок в своих сухих, жилистых, изуродованных работой пальцах.

Прошло еще несколько мучительных минут. Наконец монахиня заговорила, и снова по-венгерски:

— А, вы хотите видеть Клару Матарич?

Бабка, услышав имя своей внучки, с облегчением воскликнула:

— Да, да, покорнейше вас прошу, Клару Матарич, ведь я — да вы же меня знаете — ее бабушка!

Монахиня в черном прервала ее все тем же бесстрастным голосом:

— Хорошо, подождите!

И вышла, а бабка снова осталась одна посреди комнаты. Она чувствовала какой-то непонятный страх, но радость ожидания была так велика, что вытеснила из ее сердца все другие чувства.

Она робко озиралась вокруг. «Боже ты мой, какое здесь все красивое и дорогое! Вот так же будет жить, если даст бог и пресвятая дева Мария, и моя Клара. И я под старость не останусь без крова. Не буду обивать чужие пороги. Всегда найду здесь место и приют. И буду только молиться богу и пресвятой деве Марии о здравии моей Кларицы».

Бабка стала что-то тихонько бормотать себе под нос. Ее вдруг охватило непреодолимое, страстное желание сжать в объятиях свою Кларицу, посадить на колени, как тогда, когда та была еще совсем маленькой, ласкать, целовать, расчесывать ее волосы, напевая старинные песни. Глаза бабки наполнились слезами, губы совсем по-детски искривились, и ее морщинистое лицо словно озарилось внутренним светом. Она даже закрыла глаза, вспомнив здоровый, свежий запах только что выкупанного детского тельца. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошла Клара в сопровождении все той же тощей монахини.

Старушка глухо вскрикнула, кинулась к девочке и, лепеча какие-то нежные, ей одной понятные слова, осыпала страстными поцелуями ее лицо, волосы, глаза.

Клара стояла бледная как полотно, закрыв глаза и всхлипывая, не в силах произнести ни слова. Ей бы засмеяться, заплакать, захлопать в ладоши и броситься на шею бабушке... Но руки бессильно повисли вдоль тела, голова упала на грудь.

Видя это, бабка Магда решила, что девочке стало дурно от радости, она засуетилась вокруг нее, поглаживая по волосам, называя ласковыми именами.

— Да что же ты так побледнела, деточка моя? Что же ты молчишь, моя душенька? Ну, улыбнись, ласточка моя, улыбнись! Видишь, бабушка к тебе пришла, детка!

Как ты живешь, моя красавица? Что же ты мне ничего не скажешь? Разлюбила свою старую бабку?

Клара потихоньку высвободилась из ее объятий, украдкой взглянула на монахиню, чуть отодвинулась и, опустив голову, стала перебирать дрожащими руками край своего фартучка. Монахиня в черном все это время стояла как изваяние. Она не произнесла ни слова, но Клара не переставала чувствовать на себе ее сверлящий взгляд. Взгляд этот словно жег ее, сковывал движения, не давая двинуться с места.

Бабка окончательно смутилась и растерянно оглядывалась по сторонам. Она не знала, как быть. Ей казалось, что кто-то словно вбил острый кол между нею и внучкой. На сердце легла страшная тяжесть.

Она подошла поближе к девочке.

— Кларица, детка моя, почему же ты на меня не смотришь? Почему молчишь? Может, ты, не дай бог, провинилась в чем?

Девочка отрицательно покачала головой.

— Почему же ты тогда молчишь, ласточка моя? Неужели и поздороваться не хочешь с бабушкой?

Монахиня тряхнула головой и сказала:

— Ну поздоровайся же, как полагается. Ведь ты умеешь.

Не поднимая глаз, Клара приблизилась к бабушке, поцеловала руку и слабым голосом проговорила:

— Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Бабка вздрогнула. Словно кто-то разом сорвал пелену с ее глаз. И в тот же миг она почувствовала, как что-то сильно кольнуло ее под ложечкой. Совсем тихо, испуганным, плачущим голосом она попросила:

— А что же ты не скажешь своей бабусе по-нашему, ведь ты знаешь, что я этого не понимаю!

И она боязливо поглядела на девочку. Но та только кусала губы и отвернулась с глазами, полными слез. Старушка обернулась к монахине с немым упреком в глазах, с мольбой о милости, словно ягненок, обреченный на заклание, словно жалкий, ничтожный раб. Но в ответ темный, жестокий, неумолимый взгляд словно хлестнул ее по лицу, она сразу поникла, горько вздохнула.

— За что ж ты меня так, дитятко ты мое единственное? Неужели ты мне даже не скажешь «бабуся моя»?

---

[1] Хвала Иисусу *(венг.)*.

Бабка чуть не плакала. Наступила тишина. Слышны были только удары сердца и тяжелое неровное дыхание. Затем Клара медленно приподняла голову и едва слышно пискнула, как посаженная в клетку птичка:

— Не велят.

Бабка подавила стон. Она только закрыла платком глаза и рот, а монахиня тем временем объявила, что свидание окончено.

Бабка Магда опять осталась одна в большой комнате; на сердце у нее было пусто, как в разоренном гнезде...

1905

Папа играет

Герой этого рассказа — если вообще можно назвать героем ничем не примечательное двуногое существо, занимающее под солнцем лишь столько места, сколько ему оставили окружающие, и зарабатывающее лишь столько, сколько осталось от других,— немного сутулый, немного раскосый, немного запинающийся, не много на своем веку прочитавший книг, смуглый и тихий канцелярист.

Итак, герой этого рассказа, господин Райя Болманац, как мы уже сказали, канцелярист. Ему принадлежали: преждевременно увядшая жена с большим животом, который ни в коем случае не ласкает взор, трое детей, или, как говорит Райя, детишек, и порыжевший макинтош, который вместе с выгоревшим котелком могли бы отпраздновать свою серебряную свадьбу. Дети его — это две девочки и — младший — сын. Сыну исполнилось шесть лет, и у него был рахит. Рахит маленького Митицы, собственно, и явился причиной того, что господин Райя испытывал такую преданную любовь к своему макинтошу, а госпожа Марта так ненавидела свое клетчатое пальто, хотя вот уже семь лет бессменно носила его, приспосабливая к капризам времен года. Мы можем тут же перейти к сути дела, заметив лишь еще, что господин Райя вовсе не чувствовал себя таким забитым и несчастным, как это по своей врожденной чувствительности мог бы вообразить себе молодой сербский читатель (а разве, кроме молодого, будет кто-нибудь читать этот рассказ?). Словом, господин Райя не был яркой индивидуальностью. Был он и не глуп и не умен. Думал очень редко. Принимал факты такими, какие они есть. Не трудился искать их первопричины. И если иногда в канцелярии ему доводилось засмотреться в окно на соседский голубятник и он начинал размышлять о брачной афере своего шефа, пытаясь найти формулу счастливой семейной жизни, или вообще пробовал подумать о чем-либо в этом роде, то в конце концов крутил головой, так как окончательно запутывался и, не находя выхода, ощущал собственное банкротство.

— И что это я ломаю голову над вещами, которые и поумней меня люди не смогли как следует утрясти и устроить? — И потом спокойно продолжал свою обычную жизнь, состоящую из наблюдений и рефлекторных и вегетативных движений — без эмоций, без радости и без особых страданий.

Даже искривленные кости сына — а Райя был любящий отец — и жалкая, неизвестная судьба мальчика не вызывали у него отчаяния. Когда сын, ковыляя, выбирался на улицу поиграть с ребятишками, но вскоре отходил в сторонку, так как не мог равноправно участвовать в игре, мать, наблюдавшая за сыном вместе с Райей в маленькое, полуразбитое окошко, начинала тихонько всхлипывать. Райя, надо признаться, тоже вздыхал, отходил от окна и принимался мерить крупными, трагическими шагами комнату из угла в угол, но по сути дела не чувствовал, подобно жене, глубокой боли и тоски, он никогда трезво не оценивал свое жалкое положение и поэтому не сознавал своего несчастья. Он был беден, но не несчастен. Может быть, он просто отупел и свыкся со своей участью, так как жизнь с самого детства слишком часто его била.

А теперь коротко расскажем о совсем обычном, но все же любопытном происшествии.

Когда господин Райя Болманац, надев свой котелок, вышел из канцелярии, он слегка зажмурился от света, кашлянул и сплюнул. Потом поморщился, ибо почувствовал, что голову сдавило, а во рту неприятная горечь. Так с ним случалось всегда, когда на обед была капуста. А что поделаешь, приходилось есть капусту, да еще два дня в неделю.

Господин Райя, следовательно, направился домой, намереваясь попросить у жены стакан полынного настоя; а меж тем он обтер платком потрескавшиеся губы и улыбнулся, глядя на свои честные пальцы, желтые от табака и черные от чернил. Придя домой, он хотел тут же окликнуть жену, но вспомнил, что она этого не любит. Поэтому он прошел в комнату. Там было пусто.

— Марта, Марта!

Никакого ответа. Он разозлился, а отчасти и обрадовался — теперь можно будет с полным основанием упрекнуть ее за то, что оставляет дом без присмотра. Но, войдя в кухню, он заметил сына, увлеченного игрой в шарики; сидя на корточках в углу, мальчик что-то бормотал и тоненькими, бледными пальчиками закатывал шарики в ямку.

Райя подошел ближе и стал смотреть. Сын не видел его и продолжал играть, разговаривая сам с собой. Было похоже, что каждому шарику он дал имя, потому что ласково уговаривал их и подбадривал, как друзей. Один пестрый стеклянный шарик он явно предпочитал всем остальным и дал ему кличку «Орлик». Посылая его в ямку, он весь подавался вперед, моргал, стискивал зубы, задерживал дыхание, старался изо всех сил. Другие катал, как придется. Он явно хотел, чтобы победил любимец. Когда пестрый побеждал, он поднимал его с полу и целовал. Отец улыбался, забыв отругать сына за то, что тот остался дома один и не ушел к соседям, забыв спросить, где мать. Он улыбался, и ему было приятно, что сын так увлечен игрой. А у мальчишки даже личико похорошело; он вдруг стал похож на мать, какой она была в молодые годы, и отец почувствовал теплоту в сердце и прилив любви, заставивший его нагнуться и поцеловать сынишку. Тем временем его внимание все больше привлекала сама игра. Он быстро уловил, что мальчик по-особенному относится к пестрому шарику и играет пристрастно. Пестрый шарик, в отличие от других, был стеклянным, но Райе он показался на редкость уродливым — слишком много в нем было желтого и красного, да еще и зеленого. Нет, он просто отвратителен, твой Орлик! Но как раз это, по-видимому, и нравилось Митице. Господин Райя смотрел и все больше включался в игру, как заправский болельщик, и все больше ощущал несправедливость мальчика. Он уже интуитивно возненавидел этого стеклянного подлеца и явно симпатизировал другому, обычному каменному шарику синего цвета. Да ведь и играть им легче. Он больше, тяжелее, и его проще посылать в ямку по щербатому земляному полу. А Митица катил его не целясь, кое-как, словно нехотя, предпочитая стеклянный; а когда мальчик в довершение всего поднял своего любимчика-победителя и в награду поцеловал, отец подскочил и крикнул:

— Постой-ка! Так не годится!

Ребенок вздрогнул, испуганно взглянул на отца и, решив, что тот хочет запретить игру, невольно прикрыл свое богатство руками. Но отец уже присел возле него и серьезно сказал:

— Этот твой стеклянный никуда не годится. Давай играть вместе. Чур, я синим, вот увидишь — он лучше!

Митица с радостью согласился. Игру начали внима-

тельно и корректно. Отец недоумевал, почему у него все получается не так просто, как он предполагал. В то же время он уже завидовал ловкости и сноровке своего маленького пузана. Глаз хороший и бросок точный!

Они состязались молча и с полным азартом. Отец, сидя на корточках, подпрыгивал, как лягушка, высовывал язык, целясь, прищуривал глаз, наклонялся к шарику, дул на него, желая остановить в нужном месте, а к тому же начал даже переступать линию, с которой катили шары. Но и мальчуган не дремал и строго требовал соблюдать правила: пусть-ка уважаемый папочка играет честно и не жульничает. Господин Райя огрызнулся, стал оправдываться, но, увидев, что малыш несколько раз подряд удачно попал в цель, начал его злобно подначивать:

— А теперь не попадешь, вот и не попадешь!

Когда у мальчика остался последний решающий ход, отец присел вплотную к нему, уставился прямо в глаза и, оскалив желтые зубы, торчащие из-под желтых же усов, смешно скорчив рожу, принялся его совсем уже по-ребячьи дразнить:

— Будет мимо, вот и мимо, эй, ты, не ступай на черту, вот сейчас — и мимо, ха-ха-ха, вот сейчас мимо!

Но мальчика это не смутило. Он весь ушел в себя, глаза его горели, щеки разрумянились. Он стал красивым, на лице появилось взрослое, мудрое выражение. Однако сейчас Райя не чувствовал к нему никакой любви. В голове его начали роиться совсем уж мерзкие мысли, в которых завтра он будет раскаиваться,— например, он вдруг вспомнил, что сыну надо покупать корсет для позвоночника, а это обойдется в три сотни крон; да стоит ли этот карлик того, чтобы его отец и дальше ходил ободранный?! И много еще других постыдных мыслей промелькнуло в его голове. Но вот наконец малыш, внимательно и точно соразмерив силу, толкнул своего Орлика, и тот медленно, качнувшись туда-сюда, завертелся и замер в ямке. Мальчик запрыгал от восторга, запел хриплым взволнованным голосом и захлопал в ладошки.

А побежденный господин Райя сморщил лоб, сплюнул в песок, резанул взглядом ребенка и схватил его за руку.

— Ну, ладно, ладно, чего разорался; давай еще раз, если ты уж такой молодец!

И они начали снова. Мальчуган не мог играть, как прежде. Он устал. А отец весь ушел в игру. Он играл точнее. И все же в конце игры, за время которой они не

произнесли ни слова, шансы сравнялись, только теперь уже у отца оставался решающий удар.

Он целился с таким усердием, словно от этого удара зависело повышение по службе. Целился, прикидывал, кусал губы, сердце у него стучало от возбуждения. На лбу выступил пот, было жарко, такого состояния ему еще никогда не доводилось испытать. Он как-то ожил, показался себе молодым, сильным, красивым — он словно готовился к великому подвигу и чувствовал себя чуть ли не Обиличем [1]. Он целился и в страхе — как бы не промахнуться — так наклонился при броске, что немного переступил за черту. Шарик точно вкатился в ямку, и господин Райя, как это только что было с Митицей, расхохотался, наслаждаясь успехом.

— Ха-ха, что, видел, а? Я тебе говорил, что с отцом не так-то легко справиться.

Меж тем Митица серьезно заявил протест, не желая признавать победу отца. Наконец, после долгих препирательств, отец победоносно, но зло набросился на мальчугана с бранью. Тот расплакался и встал, чтобы убежать из кухни. И тут послышался голос матери. Она уже долгое время наблюдала за игрой и, когда увидела ее плачевный исход, вмешалась:

— Иди сюда, сынок! Ты выиграл! Зачем ты связался с этим большим дурнем...— Потом быстро обернулась к Райе: — А тебе не стыдно доводить ребенка до слез? Совсем рехнулся, в детство впал. Неужели тебе не жалко сына; последнюю радость у него отнял. Как не стыдно!

Райя медленно поднялся, весь красный, и, не глядя на жену, начал очищать пыль с колен. Ему и впрямь стало стыдно. Смущенно он пробурчал:

— Я пошутил!

Но весь вечер был мрачный и молчал. Когда все улеглись и уснули, он долго лежал, не смыкая глаз. Хотелось плакать, он и сам не знал отчего. Но потом, немного успокоившись, он встал, потихоньку на цыпочках подошел к детской кроватке и поцеловал мальчика в горячий вспотевший лобик.

И тогда заснул.

1907

---

[1] Обилич Милош — легендарный герой сербского эпоса.

Буня

История человека без корней

I

Доктор Стипа Паштрович, адвокат, чистокровный серб и неизменный безмолвный кандидат в члены государственного сабора, заканчивал свой обычный утренний моцион. Сегодня он опаздывал, и, когда в конце улицы, ведущей к вокзалу, появилась его неуклюжая коренастая фигура, было уже половина десятого. Кухарки, вдовы, жены мелких чиновников и девицы, имеющие не более десяти тысяч крон приданого, возвращались с рынка усталые, раздраженные дерзостью наглых торговок, огорченные и разочарованные тем, что снова, покупая продукты к обеду, не удалось уложиться в один форинт из-за этой проклятой дороговизны! А мужчины — чиновники, адвокаты и священники, заказав обед и еще раз с порога напомнив своим сердитым растрепанным супругам, чтоб те не забыли напоить кур или свиней, отправлялись кто на службу, кто в суд, а кто и в читальню — сыграть партию в шахматы. По дороге они раскланивались друг с другом, перекликались через улицу, спрашивали, как спалось, осведомлялись о здоровье, взвешивали на руке живых сазанов и щук, которых коренастые венгерки, согнувшись под тяжестью корзин, разносили по домам, и вспоминали, что надо успеть до двенадцати изловить своих поручителей, а не то векселя опротестуют и рыбное рагу так и не увидишь. В легкой дымке февральского утра их лица казались белее и светлее, чем обычно. Щурясь в лучах молодого солнышка, они еще издали впивались взглядами в задыхающегося от астмы доктора Стипу, здоровались с ним, а затем долго глядели ему вслед, многозначительно подмигивая друг другу.

Доктор Стипа переставлял свои толстые, похожие на столбики ножки, на которых, когда он садился, так натягивались брюки, что казалось, они вот-вот лопнут. Доктор

шагал широко, переваливаясь с ноги на ногу, точно старая раздобревшая торговка, и отчаянно бил по тротуару толстой тростью с большим, как кулак, резиновым наконечником, стараясь отставлять ее подальше от себя, словно боялся попасть по собственной ноге. Однако все его движения были по-детски неуверенными, беспокойными, лишенными привычного для него ритма; он покачивал своей большой круглой головой, сидевшей на таком же круглом, только гораздо больших размеров туловище. В левой руке доктора — он размахивал ею, видимо, чтоб легче было удерживать на ходу равновесие,— развевался огромный белый носовой платок, которым он то и дело вытирал пот, градом катившийся по его красному, воспаленному лицу.

Встречные здоровались с ним, но он отвечал едва ли каждому десятому, не глядя, сквозь зубы, чуть касаясь указательным пальцем полей своей шляпы. Палка его при этом угрожающе поднималась вверх.

— Низко кланяюсь, господин доктор, доброе утро! — крикнул ему тонким голосом кастрата кассир церковной общины, растягивая в улыбке лицо и тараща немигающие глаза, как мальчишка-футболист, ожидающий гола в воротах.

— Alaac colgaja [1],— буркнул в ответ Паштрович, тряся головой, стуча палкой, кряхтя и вытирая лоб.

Кассир Мита Шешевич облизнулся, жеманно вытер губы и подумал: «Да, плохо дело! Такой достойный господин! Ай-ай-ай! Я знал, что так долго не может продолжаться. Вот только до каких пор?..»

И он бросил взгляд на сборщика податей Туну Мучалова, шнырявшего по городу в поисках способа покрыть небольшую растрату, и у обоих возник один и тот же вопрос: когда же все-таки?..

Они остановились и посмотрели друг на друга серьезным неподвижным взглядом, как две курицы. Затем оба прищурились, почмокали губами и покачали головами. Наконец Мучалов изрек с откровенным злорадством, сделав, правда, при этом печальный жест рукой, выражавший покорность судьбе:

— Да! Деньги — дело нешуточное, но и жена не дай бог, так-то, друг мой сердечный!

Они разошлись, не попрощавшись, опустив головы и приняв вид людей огорченных и целиком погруженных

---

[1] Слуга покорный *(венг.)*.

в свои заботы. И все же души их приятно будоражила затаенная радость давно ожидаемого удовлетворения.

Тем временем доктор Паштрович незаметно для самого себя свернул со своей обычной дороги, и ноги принесли его на Златну Греду, самую тихую улицу города, где в восемь часов закрываются все окна и опускаются все жалюзи и кажется, что там, за занавесками, никто не живет и только внизу, в комнатах без окон, копошатся какие-нибудь увядшие старые девы, ослепшие врачи или чудаки пенсионеры, которые целуют розы и кормят из рук голубей; комнаты здесь непременно должны пахнуть старой мебелью, покрытой белыми полотняными чехлами, и сосновой смолой.

По этой-то тихой улице, где слышно, если и зубочистка упадет, спешил Паштрович, словно преступник, спасающийся от преследования. Вдруг он остановился как вкопанный, поднял руки над головой и, бормоча что-то непонятное, стал грозить кому-то палкой, потом стукнул ею о камень с такой силой, что закололо ладонь, и продолжал свой путь, ничего не замечая вокруг, отплевываясь, небрежно утирая пот и бурча:

— Фу, фу!

Накануне он всю ночь не сомкнул глаз. Он хотел хоть раз в жизни трезво и объективно взглянуть на свое положение, на причины своего разорения и на его последствия. Долги по векселям и ипотечные на дом и имение; запущенные дела; взбудораженные клиенты, угрожающие подать на него жалобу за то, что он, получив деньги, не выполнил своих обязательств; растраченные и неучтенные авансы; злоупотребления коллег, о которых он знает, но почему-то молчит; жизнь не по средствам, легкомысленная красавица жена, которая всю жизнь носила его в кармашке, как измятый носовой платок, тянула из него деньги и держала под каблуком; будущее его избалованной дочки, на чьи занятия музыкой в Лейпциге он тратил огромные деньги, будучи уверен, что у нее нет музыкального таланта, и, наконец, бесконечные цифры, ощущение собственного бессилия, воспоминания о молодости, пролетевшей как во сне, рухнувшие планы, вся его жизнь, прожитая наперекор собственным убеждениям и желаниям,— все это навалилось на него непомерной тяжестью, словно огромный мешок с песком. И он судорожно извивался под этим грузом, не в силах уже ничего осмыслить, ничего предпринять. Он видел только, что больше нельзя уподобляться

страусу, что глупо было бы пускать себе пулю в лоб, заткнув уши и закрыв глаза, с затуманенным рассудком. Ведь он не сорняк на пустыре, который ветер вырывает с корнем и гонит по своей прихоти; он связан с людьми, с учреждениями, с государством; он обязан оставить им баланс своей бессмысленно прожитой жизни. И неважно, что в итоге дефицит, что точку в конце печальной, неправильной фразы поставит пуля, неважно! Но счет после себя он должен оставить!

И все-таки он никак не мог заставить себя припомнить все подробности. Он запутался, утратил душевное равновесие, потерял нить, которая бы вывела его из этого лабиринта. Зачем продолжать мучить себя? Уж если начался обвал, пусть рушится все, пусть засыплет его, пусть!

Он знает: через два-три дня его объявят банкротом, начнутся торги и все его имущество пойдет с молотка, его привлекут к суду, дочери придется идти в гувернантки — это, так сказать, результат, все прочее — материал для обвинения.

Все перемешалось у него в голове, и он выдохнул свое «фу» — сердито, раздраженно, с отвращением и в то же время умоляюще. В этом восклицании были и ненависть, и тоска, и стыд, и пренебрежение, и попытка оправдаться перед самим собой, и желание наконец что-то понять. Адресовано же это «фу» было всем: людям, семье, себе самому!..

Подойдя к своим воротам, он остановился и посмотрел на полукруг из разноцветных стекол над входом, как бы желая убедиться, что он дома. Ему очень хотелось побыть наедине со своими мыслями, запереться в своей комнате, и все-таки он был огорчен тем, что уже дошел до дома. Было неприятно, да и немного страшновато входить. Но что поделаешь! Он взялся за щеколду и, небрежно сплюнув, попал себе на сюртук. Бормоча проклятия и стирая платком плевок, он вошел в ворота, намереваясь пройти к себе через двор, а не по коридору, чтобы избежать встречи с женой, от которой не услышишь ничего, кроме новых упреков и капризов.

У самой лестницы, ведущей в коридор, он чуть не сбил с ног нищего Рыжего Перу. Пера, изогнувшись, протягивал ему своей короткой высохшей рукой засаленную шляпу, пробитую в нескольких местах мальчишками из мелкокалиберки. Он стоял скособочившись, так как его левая, более короткая нога едва касалась земли. Лохматый, пе-

бритый, с голой грудью, покрытой рыжеватым пушком, с отвисшими, как у всех эпилептиков, губами, с тупым взглядом, он постоянно бубнил пьяным басом: «Отче наш, иже еси на небесех... от лукавого... хлеб наш насущный...» И снова: «Отче наш...» И так — упорно, монотонно, без конца, пока ему не подавали.

Доктор Паштрович разглядывал Рыжего Перу не без некоторого интереса. Пера продолжал держать перед ним свою шляпу и бормотал:

— Отче наш... хлеб наш... долги наши...— не замечая, что этот господин, который вот уже десять лет только подтрунивал над ним, никогда не глядя ему в глаза, сейчас пристально смотрит на него, на его скрюченную сухую руку.

— По какому праву ты суешь мне под нос свою вонючую шляпу? — спрашивает серьезно адвокат: он стоит перед нищим, выпятив грудь и прищурив один глаз, будто целясь, а другим глазом глядит ему прямо в лицо.— По какому праву? А?

— Мертвым за упокой, живым во здравие... Отче наш, иже еси... хлеб наш... и избави нас от лукавого... отче наш...

— Оттого, что ты эпилептик, я должен дать тебе пять крон и свои еще совсем целые ботинки? Только потому, что ты не моешься, и потому, что ты калека? А почему это я должен тебе подать? Я тоже калека. Подашь ли ты мне, братец, если я вот так же раздеру на груди рубашку и протяну руку? Я ведь, знаешь, тоже нищий. Как ты. Да, такой же, как ты! А ну, убирайся отсюда вон!

— Да святится имя твое... хлеб наш насущный даждь нам днесь...

— Нет хлеба! Нет! Пошел вон!

— Опять эта комедия, Пишта! Подай ему, и пусть уходит. А ты что стоишь, когда тебе господин велел убираться отсюда? — раздался голос супруги Паштровича. Она появилась на веранде в голубом пеньюаре, с напудренным лицом, похожая на перезрелый персик; прикрывая унизанной кольцами рукой обнаженную шею, она швырнула нищему крону, которая весело зазвенела на кирпичах.

Монета подкатилась к ногам Паштровича. Какое-то мгновение он хотел наступить на нее и не отдавать, но присутствие жены сразу лишило его проснувшегося было в нем духа противоречия и упрямства, наполнявшего его горькой гордостью и удовлетворением.

— Идите сюда, Паштрович, мне нужно с вами поговорить! — сказала жена, когда наконец Рыжий Пера, дрожащей рукой напяливая на голову свою шляпу и сильно припадая на больную ногу, боком заковылял к воротам.

— Я зайду потом. Дай мне побыть одному.

— Потом у меня не будет времени. Зайдите сейчас.

«Зачем ссориться? — подумал Паштрович.— Все равно скоро все успокоится, как только я сделаю задуманное».

— Фи, где это вы испачкались? Ты, Пишта, совсем как ребенок. Не входи ко мне так! Вытри ноги! Маришка, щетку, почистите господина!

И когда господин, задрав голову, чтобы ему нечаянно не попали щеткой по носу, поворачивался во все стороны, как на примерке, а Маришка шаркала по его сюртуку щеткой и пальцами снимала пушинки, он почувствовал, что от ее волос пахнет его французским бриллиантином. Но ничего не сказал, хотя его задела эта откровенная наглость.

«Все меня обкрадывают, все хотят моей смерти. Жулики, жулики, пауки»,— подумал он, сказал горничной «спасибо» и, когда жена разрешила ему войти: «Ну вот теперь можно!» — вошел в комнату, стараясь не ступать на паркет и придать своему лицу приязненное выражение, так как госпожа Боришка была особой сангвинической и весьма раздражительной.

II

Госпоже Боришке Паштрович, урожденной Колошвари де Колошвар, было уже тридцать девять лет, но благодаря новейшим достижениям косметического искусства, беззаботной жизни, хорошей пище и ваннам годы не оставили на ней глубокого следа. В ее комнате, отделенной тяжелыми занавесями от супружеской спальни, отовсюду — со стен, с круглого столика красного дерева, на котором стояли всевозможные коробочки, флакончики, баночки с пудрой, помадами, духами, зубными эликсирами, кремами, лежали изящные вещицы из слоновой кости для ухода за руками и ногтями, со столика для умывания сияли, манили, кокетливо улыбались самые разнообразные зеркала. Большую часть своей жизни она проводила, глядясь в них, поворачиваясь перед ними и улыбаясь их блестящей по-

верхности, которая услужливо отражала блеск ее черных глаз, белизну ровных зубов, сияющих между пухлыми чувственными губами, и дружески умалчивала о паутинке морщин в уголках рта и у глаз.

Госпожа Боришка умела держаться так, чтобы подчеркнуть свой высокий рост и горделивую осанку. Она принадлежала к тем женщинам, которые хотят нравиться всем и поэтому действительно всем нравятся. Из этого правила она делала два исключения: это были другие женщины и муж. Первых она стремилась перещеголять: «Пусть лопаются от зависти», а от второго — получить все, что ей нужно. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела Паштровича, нет, просто она его слегка презирала за крестьянское происхождение, за невзрачную внешность и не скрывала этого, считая совершенно естественным, что угождать ей — его обязанность. И это безоговорочное убеждение с первого же дня определило границы и характер их отношений. Он в душе возмущался против гнета жены, но со временем смирился и покорно тянул свою лямку.

Приятельницы считали ее женщиной жестокой и испорченной, но она этого не сознавала. Ее нисколько не смущало, что дочь ее одевалась куда скромнее, чем она, и что молодые люди больше уделяли внимания ей, чем дочери. Точно так же в свое время жила и она, теперь «милостивая госпожа» Боришка, у своей матери, известной красавицы и жены разорившегося помещика, позднее ставшего помощником жупана [1]. Свои девичьи годы она провела, наблюдая триумф своей матери, прислушиваясь к шепоту о ее похождениях и страстно мечтая о замужестве, которое и ей откроет все двери и усыплет ее жизненный путь розами, комплиментами и подобострастными поклонами услужливых черных фраков.

В шестнадцать лет она вернулась в родительский дом из монастыря и перешла из рук монахинь в руки горничных и взрослых подруг. Она получила отдельную комнату, куда во время домашних вечеров — строгий взгляд матери повелевал ей удаляться с них ровно в десять часов — доносились приглушенные и потому еще более заманчивые звуки музыки, шарканье ног танцующих, разговоры, шепот в коридоре. Ей часто приходилось слышать ссоры отца и матери из-за очередного поклонника или из-за денег,

---

[1] Жупан — начальник административного округа — жупании *(сербскохорв.)*.

и это не удивляло ее, так как она всегда была далека от идеального представления о браке. Живя в обстановке вечной суеты, нервного напряжения и постоянных забот сохранить внешний блеск и видимость хорошего настроения как основные признаки прочного положения в обществе, она, конечно, не могла не возненавидеть и свои простые платья, и тишину своей комнаты, и одиночество. Перед матерью ей поневоле приходилось быть тихой, робкой девочкой с гладко причесанными волосами; но стоило ей остаться одной, как она созывала служанок, танцевала и прыгала с ними, заставляла их рассказывать о своих любовных интрижках с солдатами и студентами. У подруг она тайком от родителей брала книги, где грубо и вульгарно описывались любовные похождения, глотала их одну за другой и в душе уже готова была пуститься в опасные авантюры.

На семнадцатом году она целовалась с делопроизводителем своего отца, тщедушным веснушчатым юношей, у которого глаза и уши были красные, как у кролика. Она его презирала, но тем не менее кокетничала с ним, постоянно облизывала губы, небрежно бросалась при нем на диван, стоявший в канцелярии, и выставляла ножку, пока однажды не повисла всем телом у него на плече — якобы затем, чтобы посмотреть, что он пишет,— и он не поцеловал ее в волосы. Она подставила ему губы.

Из-за нее его и выгнали. Ей нравилось играть с огнем, и она бросалась к нему на шею, стоило отцу хотя бы на минуту выйти из комнаты. В конце концов отец застал их. Несчастного делопроизводителя он уволил, а мать выбранил. Боришка хохотала, слушая, как родители ссорятся из-за нее и как мать, чтобы досадить отцу, смеется ему в глаза и защищает ее.

С того времени за ней стали смотреть строже, и мать, боясь оставлять ее надолго одну, скрепя сердце начала вывозить ее в свет. Но Боришка не находила подлинного и сколько-нибудь постоянного удовольствия в светских развлечениях. Причуды и настроения менялись у нее непрерывно. До половины вечера она могла быть нежной и сентиментальной, а затем вдруг наступало бурное веселье, переходящее границы приличия. Она могла пуститься в дружескую беседу с молодым человеком, покоряя его душевной теплотой, ошеломляя откровенными излияниями и пробуждая в нем страсть неосторожными прикосновениями; а когда у того уже расширялись зрачки и голос

начинал прерываться от волнения, ей ничего не стоило, притворившись оскорбленной совершенно безобидным словом, внезапно стать чопорной и холодной, или вдруг расхохотаться, оставив своего рыцаря ни с чем, или, прикинувшись усталой, спросить сонным голосом, который час, или, прервав свои собственные излияния, вдруг с детским озорством указать пальцем на незначительную погрешность в туалете какой-нибудь дамы.

И хотя ее приданое заключалось в дворянском происхождении и связях ее семьи, своим поведением она скоро добилась того, что ее начали считать интересной девушкой и многие пытались к ней посвататься, но со временем молодые люди стали бояться ее и избегать.

Годы шли, но ни о чем серьезном она не задумывалась. Замужество она считала тем надежным убежищем, воспользоваться которым никогда не поздно. Вероятно, так же настраивала ее и мать. Впрочем, в самых тайных уголках своего сердца Боришка скрывала тоску по любви, но человека, достойного ее любви, этакого современного демона, с одинаковой ловкостью мчащегося на автомобиле и обуздывающего бешеного скакуна, человека с железными мускулами, грубого и в то же время нежного, политика и борца, финансиста и спортсмена, она не находила среди тонкошеих помощников адвокатов и увязших в долгах делопроизводителей с их высокими воротничками, взятым напрокат остроумием и сильно заглаженными складками на брюках.

В двадцать два года она пришла к убеждению, что напрасно ждет своего гусарского капитана со шрамом на щеке, напичканного впечатлениями от путешествий по Тибету и от охоты на бенгальских тигров. Раньше у нее была привычка забираться в уголок холодной, темной гостиной и, покусывая краешек кружевного платочка, посасывая лимон или горьковатые апельсиновые корки, упиваться своими неоромантическими мечтами. Теперь она стала более вялой, легко утомлялась и забросила свои дорогие тайные грезы.

В двадцать три года она заметила, что начинает худеть, что волосы ее теряют блеск, а тело утрачивает упругость и гибкость. Она замкнулась в себе, стала язвительной, вечно чем-то недовольной и вспыльчивой. Угрожала родителям, что убежит с каким-нибудь солистом цыганского хора или уйдет в актрисы. Она порвала со всеми поклонниками, оставив только одного — пехотного пору-

чика Шмидта, добродушного венца, которого привлекали обеды, сигары и вино господина помощника жупана.

Она знала, что офицер не может на ней жениться, но ей нравилось изводить окружающих и поступать наперекор всем. Игра окончилась печально — она полюбила. В один прекрасный день около пяти часов вечера, когда Боришка ожидала прихода Шмидта, сердце ее забилось и она побледнела. Это ощущение до сих пор было незнакомо ей. Она заплакала от радости и боли. Она чувствовала, что эта любовь не будет легкой и бурной, как вешние воды,— это было последнее усилие, последняя радость ее уже почти убитой, отравленной души.

Боришка знала, что запоздалый цветок уходящей молодости в своих лепестках скрывает смертоносного червя. Она отчаянно ухватилась за это чувство, как мать впивается последним поцелуем в губы своего умирающего от яда ребенка.

Через несколько месяцев Шмидт обратился к начальству с просьбой о переводе обратно в обожаемый «кайзерштадт»[1], где его семейство радостно констатировало, что он поправился на десять килограммов.

А Боришка после очередной домашней бури была отправлена к родным в Татры — забыться и отдохнуть.

В отсутствие Боришки было решено во что бы то ни стало выдать ее замуж. Выбор пал на помощника ее дяди адвоката Стипу Паштровича. Это был прилежный и терпеливый буневец[2], который обладал двумя особенностями — склонностью к полноте и способностью краснеть всякий раз, когда помощник жупана протягивал ему руку.

Дядюшка хорошо знал своего подчиненного. Однажды, когда Стипа закончил работу и собирался идти обедать, доктор Колошвари де Колошвар преградил ему путь и, засунув руки в карманы брюк, с широкой улыбкой посмотрел ему прямо в глаза:

— Послушайте, коллега, вам скоро предстоит открыть собственную контору. Следовательно, потребуются связи с чиновниками и в селах и в округах, понадобится войти во все круги общества. Не собираетесь же вы жить на доходы от ваших хуторов? Вам надо жениться. И у меня есть для вас невеста. Много денег вы за ней не получите.

---

[1] Кайзерштадт — «императорський город», Вена.

[2] Буневец — житель северо-восточной части Бачки, входившей до 1918 года в состав Австро-Венгрии.

Но ее имя, связи этой семьи создадут вам клиентуру за одну ночь. Так вот, женитесь на нашей Боришке. Родные охотно отдадут ее за вас. Они вас знают как серьезного и солидного человека, который, войдя в такую семью, несомненно будет играть видную роль в нашем городе, а может быть, и во всей Южной Венгрии. Ваше происхождение для них неважно. Когда речь идет о молодом человеке, смотрят не на предков, а на его личные качества. Ну, что вы на это скажете?

Стипа покраснел до ушей: у него побагровела даже коротко остриженная голова.

— Для меня, господин доктор, это, разумеется, большая честь... Я... я только удивляюсь, как это я... моя незначительная особа... И, кроме того, барышня...

Он не смел поднять глаза на шефа, так как в этот момент вспомнил о сплетнях, которые ходили по городу, и ему стало не по себе, но все же сердце у него приятно забилось.

— Неужели вы настолько не знаете особенностей женской души? Да, чувствуется, коллега, что вся ваша молодость прошла в занятиях. Боришка умная девушка, пожалуй, только чересчур темпераментная. Поэтому и с вами она держалась несколько стесненно. Вы же серьезный молодой человек, не такой, как эти студентики и паркетные шаркуны из военных, которые только и способны, что танцевать чардаш, хохотать и вести легкомысленные разговоры. Она вас всегда выделяла и отзывалась о вас с уважением. Впрочем, мы еще об этом поговорим. Приходите сегодня ко мне ужинать. Придете?

— Конечно, конечно, господин доктор!

— Оч-чень хорошо!

Стипа Паштрович был неглупый человек. Он прекрасно окончил гимназию и юридический факультет; сын крестьянина, он ни на кого не мог рассчитывать, кроме как на самого себя и свое трудолюбие. Поэтому он был смешным исключением в стране, где все делалось по протекции. Простоватый «буня» [1] со своими толстыми румяными деревенскими щеками и допотопными понятиями о честном труде, он резко выделялся среди своих товарищей в этом городе олигархии, где при попустительстве чиновников-переселенцев по очереди властвовали два омадьярившихся семейства —

---

[1] Буня — насмешливое прозвище буневцев.

Феричи из Баймока и Вайтбахи из Чонопле, разбогатевшие на ростовщичестве, государственных поставках и всякого рода злоупотреблениях. Главы этих семейств меняли жен и любовниц, как породистых лошадей, били зеркала в пештских ресторанах, стреляли в раввинов пробками от шампанского, пробивали пулями инструменты в цыганских оркестрах.

И в то время, как его товарищи просто перешагивали экзамены с помощью компендиумов и визитной карточки дядюшки, украшенной фамильным гербом, Стипа трепетал у зеленого стола, хотя весь год аккуратно посещал лекции, и таял от восторга, если какой-нибудь профессор во время экзамена говорил, что припоминает его лицо. В то время как его товарищи, танцуя с бледными и жеманными столичными барышнями, приобретали нужные знакомства и заручались на своих векселях подписями светлейших или, по крайней мере, будущих светлейших господ, он оставался чужим, никому не известным, не посвященным в способы достигать положения в обществе.

Только когда он вернулся в родной город с дипломом в кармане, его «открыли» и заметили.

Но и здесь он оставался чужим. С первых же встреч со своими прежними друзьями, теперь столоначальниками, делопроизводителями и секретарями, он обнаружил, что ему многого еще недостает. Они с удивлением осматривали его с головы до ног, и он чувствовал, что некоторые из них с притворной сердечностью пожимают ему руку, с трудом припоминают его имя и в то же время делают над собой усилие, снисходительно обращаясь к нему на «ты», и недоумевают, неужели они в самом деле когда-то были с ним близки.

Дальше «ты» дело не пошло. Он был уже недостаточно молод и гибок для того, чтобы перенимать их жесты, их изысканную манеру говорить пришепетывая и растягивая слова. Он не понимал их намеков, ему не доставляли удовольствия их сплетни и зубоскальство в адрес местной и столичной знати, о которой было принято говорить как о своих ближайших знакомых.

Он понимал, что коллеги не считают его равным себе, и потому жил замкнуто и работал за троих. И хотя начальство ценило его, он все же чувствовал себя неловко.

Все это задевало его самолюбие, и он мечтал о том, что когда-нибудь займет блестящее положение и будет признан городской аристократией.

Поэтому приглашение патрона взволновало его. Несмотря на то, что его здоровый крестьянский разум, дисциплинированный работой и занятиями, восставал против этого предложения, так как он слышал все сплетни о Боришке и знал, насколько запутаны денежные дела ее отца; несмотря на то, что он давно уже решил жениться на какой-нибудь богатой невесте из родных мест и завоевать признание и власть силой денег; несмотря на то, что его неотмершая консервативная крестьянская душа еще болела при мысли, что ему придется навсегда расстаться с отцовским хуторком в Буковаце, с беленьким домиком в тени акаций, открытым ветру и солнцу, льстивые слова и знаки подчеркнутого внимания к его особе опьяняли его, мутили разум и будоражили воображение.

Стипа, правда, еще не решил окончательно, но и не ответил отказом.

Боришку срочно вызвали домой телеграммой. Она слегка похудела, от нее веяло задумчивым спокойствием и апатией, что делало ее еще привлекательнее.

Когда она услышала, о чем идет речь, она побледнела, молча отвернулась и ушла к себе в комнату. Там, запершись, она проплакала полдня, а к вечеру вышла и объявила, что согласна.

На следующий день состоялось сватовство, и в тот же вечер — помолвка.

Стипа все делал так, как советовал ему шеф. Временами ему казалось, что он пьян или что все это происходит во сне. Он был представлен всем членам семейства Колошвари де Колошвар. Одного его оставляли только ночью, и никогда в жизни он еще не спал так беспокойно.

Своим родным он сообщил о женитьбе, когда все уже было сделано. Отец не стал возражать. Он только задумчиво покачал головой, пуская дым из своей глиняной трубки.

— Ты, сынок, образованный, ты умнее нас, тебе лучше знать. Смотри только, не выпускай узду из рук, да и нас не забывай.

Мать и сестра сначала расплакались, но тут же засмеялись от радости.

— Наш Стипа женится на жупановой дочке! Ну, теперь он у нас великим жупаном будет!

Боришка относилась к нему сдержанно. Стипа, помня, что говорил ему шеф, не обижался. Он старался почаще беседовать с ней. Вначале их разговоры были натянутыми,

Она отвечала ему тихо, глядя прямо перед собой. Он смотрел на нее влюбленным, преданным и слегка испуганным взглядом. Она чувствовала, как он упивается белизной и ароматом ее кожи, и ей это нравилось.

Через неделю после помолвки, во время одного из таких разговоров, она вдруг обернулась к нему и молча посмотрела ему в глаза долгим взглядом. Он побледнел от волнения, взгляд его заискрился, а она слегка покраснела, и на глаза ей навернулись слезы. Стипа осторожно обнял ее и поцеловал в шею, затем в глаза и наконец — в губы. Она закрыла глаза и вернула ему поцелуй.

В этот вечер, ложась спать, он что-то напевал и думал о том, что сегодня он в первый раз в жизни поцеловал настоящую барышню.

III

Войдя к жене, доктор Паштрович бросил шляпу на неприбранную постель и уселся в кресло-качалку. Госпожа Боришка любила, сидя в этом кресле, читать какие-нибудь фельетоны или перелистывать модные французские романы.

Доктор невольно сморщил нос, попав со свежего воздуха в непроветренную комнату, где все было пропитано одеколоном и зубным эликсиром. Не осмеливаясь спросить, зачем его позвали, он ждал.

Тем временем его супруга, сидя перед зеркалом, массировала лицо, оттягивая к вискам кожу у глаз, и, послюнив пальцы, стирала пудру с бровей и ресниц. Она была похожа на ребенка, который, оставшись наедине с зеркалом, строит самому себе смешные гримасы. Не поворачивая головы, она бросила мужу равнодушной скороговоркой, словно речь шла о погоде:

— Дай мне, пожалуйста, Пишта, сто крон — ах, боже мой, как быстро потускнело зеркало, черт знает что! — надо купить бисквиты и закуску для сегодняшнего журфикса; коньяка и рома у нас тоже нет. Там, правда, осталось немного, но все выдохлось. И парикмахерша сегодня опять приставала с деньгами. Представь себе, даже молочница уже не дает в долг. Как будто мы убежим!.. Нет, причесала она меня сегодня ужасно. Придется еще раз звать после обеда.

В груди у Паштровича медленно закипала злоба. К чувству стыда примешивался гнев.

Госпожа Боришка занялась своими волосами. Она старалась взбить их на висках. К ее круглому лицу не шла гладкая прическа.

— Дай мне спички, надо подогреть щипцы. Если ты торопишься, я тебя не задерживаю. А где же спирт? Маришка! Маришка! Принесите спирт!

Паштрович смотрел на нее, и гнев его постепенно улетучился, сменившись грустью.

Ему жаль было эту женщину, которая едва ли представляла себе, что ее ожидает. Ему до сих пор нравилась ее статная фигура, округлые белые руки и плечи. Несмотря на высокий рост и полноту, движения у нее были по-кошачьи мягкие и томные, как будто она все время ощущала на себе чей-то ласкающий взгляд и ждала, что вот-вот ее обнимет чья-то нежная, вздрагивающая от страсти рука.

Он все еще любил ее, вероятно, потому, что никогда не знал наверняка, любит ли она его, и, хотя они прожили вместе восемнадцать лет и у них была уже взрослая дочь, они оставались так же далеки друг от друга, как и в тот день, когда он впервые поцеловал ее. Он всегда вел себя с ней так, словно был еще женихом: старался ей во всем угождать, развлекать ее; говорил с ней, тщательно подбирая слова, и никогда не решался быть до конца откровенным. Очевидно, в ее поведении было что-то такое, что его связывало.

Когда он осмеливался сделать ей какое-нибудь замечание и она расстраивалась или сердилась на него, ему ничего не оставалось, как молча уйти из комнаты. И потом оба они старались больше не вспоминать об этом.

Сейчас он смотрел на нее, и ее равнодушие, самоуверенность заставляли его страдать. Неужели они действительно по-прежнему далеки друг от друга? Неужели она ничего не видит, неужели не замечает, что он уже несколько ночей не спит? Ненавидит она его или просто не понимает? И кто в этом виноват?

Да, несомненно, его семейная жизнь не удалась, и вот теперь все это должно окончиться катастрофой. В ком же причина этой катастрофы — в нем или в ней?

У Паштровича не хватало духа признать жену виновницей своей гибели.

И он не знал, что ей сказать.

— А если у меня нет ста крон? — тихо спросил он.

— Как это нет? Найди. Надо найти, нельзя же оскандалиться перед людьми,— отвечала она, лизнув палец и пробуя накаленные щипцы.

— Да вот так — нет, и все. Ты не знаешь, что у нас со дня на день должны описать имущество? Не видишь, что у меня от всего этого голова идет кругом? — почти простонал Паштрович.

— А при чем тут я? Будь добр, не устраивай мне сцен. Когда мы поженились, ты прекрасно знал, какое мы займем положение в свете и какой у нас должен быть дом. Нужно было тогда с самого начала запереться в четырех стенах. А ты вошел в нашу семью и хотел, чтобы все осталось по-прежнему. И тогда это тебе нравилось. Перед тобой открылись двери в высшее общество. Я не виновата, что ты не сумел вовремя сманеврировать. Ведь отец тебе тысячу раз говорил, что нужно порвать с консерваторами. Положение их пошатнулось. И что бы там ни было, к власти придут радикалы. Нужно было сразу же войти в контакт с Вайтбахами. И ты был бы сейчас уже великим жупаном или, по крайней мере, статс-секретарем. А так даже этот карьерист Петика обскакал тебя. Он еще у тебя и должность нотариуса отберет. Ну, что ты здесь сидишь? Иди наверх!

— Все это уже ни к чему. Дело сделано. Жена Балога была у министра. Все кончено. Ждать нечего.

— Надо устоять.

— Не могу. Через несколько дней меня ожидает банкротство,— медленно проговорил Паштрович, вычерчивая палкой на ковре: б-а-н-к-р-о-т-с-т-в-о.

— Бан-крот-ство? — повторила госпожа Паштрович шепотом, чтобы не услышала прислуга. Она обернулась и увидела жалкую, сгорбленную спину мужа, туго обтянутую сюртуком, которая напомнила ей спину всплывшего утопленника.

— Да. Мы погибли. И я, и ты, и Эржика.

— И ты мне это говоришь? Говоришь сейчас! Да ты понимаешь, что это значит? Понимаешь?!

У нее посинели губы, и она судорожно вцепилась в мраморную доску столика, на котором стояло зеркало. Она еще не уяснила себе до конца смысла сказанного, но побледнела от злости, от душившего ее презрения к этому поникшему человеку, похожему на сломанное бурей трухлявое дерево. Она дрожала от ярости, ей хотелось броситься на него, вцепиться ему в волосы и исцарапать лицо.

По улице, ведущей от вокзала, прогромыхали экипажи. В них за баррикадами чемоданов небрежно развалились коммивояжеры, которые, казалось, и тут не переставали подсчитывать барыши; беззаботные путешественники и их жены в нарядных шляпках с вуалями с любопытством озирались по сторонам; грустные родственники в трауре возвращались с похорон.

В кухне во весь голос пела Маришка своим неприятным, дребезжащим сопрано.

Все это свинцом навалилось на Паштровича, сдавило ему грудь. Наконец он решил прервать мучительную сцену и поднял голову.

Госпожа Боришка вдруг громко захохотала и забилась в истерике.

— Что с тобой? — испугался Паштрович.— Подожди, я хочу тебе все сказать...

— Уйди, убирайся отсюда, уйди с глаз долой! — выкрикивала она как безумная.

— Ну, успокойся же! Это ужасно, я понимаю, но я постараюсь сделать все, что возможно...

Он хотел взять ее за плечи. Она вырвалась.

— Трус, лгун несчастный! Фу! Как не стыдно! И все это ты затеял из-за каких-то жалких ста крон! Не надо мне их теперь, не надо! Достану и без тебя!

— Ну что ты! Эти сто крон ты еще получишь! — И решил: завтра он покажет ей все счета. Пусть тогда плачет.

— Что значит «еще»? Ты что, хочешь сделать так, чтобы мы перестали принимать? Нет, милый мой, не выйдет! — Она презрительно выпятила нижнюю губу и издевательски усмехнулась, глядя на его рубашку, которая вылезла из-под мятого жилета.— Буня! Никогда ты не станешь настоящим господином! Но если ты лучше всего чувствуешь себя на своем хуторе, под своей мужицкой периной, то я создана не для того, чтобы варить тебе сычуг и мыть ноги твоему отцу! Я тебя ввела в свет, изволь теперь приспосабливаться к моим вкусам. Ты, может быть, боишься за меня — так я тебя и раньше могла обманывать! — И она бесстыдно посмотрела прямо ему в глаза.— А деньги зарабатывать — твоя обязанность, а не моя! Буня несчастный! Ты хочешь заставить меня есть печеную тыкву?.. Чего ты сто́ишь, если даже свою жену не можешь содержать!

Паштрович взял шляпу и, тяжело дыша, стал чистить ее рукавом. Дойдя до двери, он сказал глухо, не оборачиваясь:

— Деньги ты получишь. А остальное уж мое дело. Увидишь сама.

IV

Около семи часов вечера в маленькой гостиной уже собралось обычное общество. Уютная гостиная госпожи Паштрович напоминала спальню. Матовые лампочки, светившие из стеклянных лилий, которые держала в руках бронзовая вакханка, бросали мягкий, усыпляющий свет на хрупкий столик, украшенный эмалевыми миниатюрами в стиле XVIII века. У этого столика, как вокруг волшебного котла, по средам собирались дамы. С деланной улыбкой, которая, как густая вуаль, скрывает истинные мысли и чувства,— одни унаследовали эту улыбку от своих матерей и бабушек, другие переняли у подруг,— они перелистывали книгу соблазнов, куда каждый раз заносили свежие пикантные подробности из интимной жизни общих знакомых.

Этот погруженный в полумрак уголок с мягкой мебелью, обитой розоватым шелком, словно был создан для едва слышного шепотка, прикрытого легкими усмешками клеветы и женских интрижек. Сквозь аромат надушенных кружев не ощущался запах трупов и крови, хотя каждую среду тут четвертовали бесчисленное количество ближних, так что оставалось только исколоть жертвам языки мелкими иголками, словно Иоанну Крестителю.

На этот раз начала княгиня: умело жонглируя непристойностями с непосредственностью испорченной девочки, она рассказывала о дочери депутата Вайтбаха, которая три дня тому назад вышла на балкон своего дома совершенно голая и, напевая разудалую ямщицкую песню, стала посылать воздушные поцелуи собравшимся на улице молодым подмастерьям. Сейчас девушку увезли в санаторий, говорила ее светлость, что, конечно, ей не поможет,— это материнская кровь, «ее просто надо выдать замуж». И княгиня затянулась тонкой египетской сигаретой и, закинув голову и надув щеки, выпустила дым с невинным видом ребенка, пускающего мыльные пузыри. Дамы смеялись, интересовались подробностями, и лишь жена присяжного заседателя, по прозвищу «Язва Милчика», оста-

валась серьезной. Все втайне ненавидели эту низенькую полную женщину с очень белой кожей, прищуренными серыми глазами, вздернутым утиным носом и большим мужским ртом, говорившую пронзительным альтом, но боялись ее острого языка. Если бы она выросла в другой среде, она, возможно, писала бы трактаты по общественным вопросам, а сейчас ее воинственный пыл, так сказать, был приглушен мокрым одеялом, и она только выедала глаза подругам дымом своих язвительных замечаний.

С ней никто не мог ничего поделать, так как она никогда не лгала и всегда была искренна. Кроме того, было известно, что за ней нет никаких грехов, кроме злого языка. Она была настолько смела, что ничуть не стеснялась любить своего мужа и сохранять ему верность. Откровеннее всего она бывала с молодыми людьми. И хотя на словах Милчика издевалась над всем хорошим, в глубине души она гнушалась пороков. Общество никак не могло ее понять, а приятельницы напрасно шпионили за ней. Мадам Тришлер дошла до того, что даже уговаривала своего любовника, капитана Ороси, соблазнить Милчику. Но из этого ничего не получилось. Наконец все пришли к единодушному мнению: она просто больная. Иначе как объяснить ее поведение?

Вот эта-то Милчика, закинув ногу на ногу и обведя всех насмешливым взглядом, заявила:

— Интересно, до каких пор мы, женщины, будем говорить и думать только о мужчинах?

— Ведь и они делают то же самое, только наоборот,— раздраженно отозвалась аптекарша Шомоди, в девичестве Шефер, которая, чтобы скрыть свои веснушки, покрывала лицо толстым слоем белил и при этом чернила волосы и жжеными спичками подводила брови. Она никак не могла справиться со своим визгливым голосом, который успевал пройтись чуть ли не по всей октаве, пока она произносила короткую фразу. Муж ее, вечно занятый в аптеке, и деверь были близнецами. Деверь, поскольку он был уездным начальником, имел в своем распоряжении жандармов и лошадей, а поскольку он был холост — свободное сердце и удобную квартиру. Поэтому никто особенно не ставил в вину госпоже Шомоди ее частую error in personam [1].

— Ну да! Тебе лучше нас всех известно, как мало у твоего мужа времени на это. Ведь, бедняга, целыми днями

---

[1] Путаницу в людях *(лат.)*.

крутится в аптеке, заботясь о здоровье своих ближних и о твоем благе! — Круглое лицо Милчики скривилось в язвительной улыбке и стало похоже на полный месяц, каким его рисуют в юмористических журналах.

Княгиня пресекла начавшуюся было перепалку.

— Тсс... Тише вы, индюшки! Главное, чтобы все было хорошо. А что хорошо, то и правильно. Живи, пока живется. Все равно потом черви изгложут.

Вслед за этой трактирной сентенцией вспыхнула дискуссия о том, почему мужчины так любят актрис, можно ли излечиться от ревности и как — и тому подобное. Княгиня придерживалась того мнения, что мужьям надо изменять, ведь грешник всегда легче вывернется, чем тот, на кого напрасно пало подозрение. По крайней мере, знаешь, что придется отвечать, и ведешь себя соответственно.

Молодежь собралась в большой комнате, освещенной одновременно голубоватым светом электричества и желтым светом свечей. За роялем сидела дочь Паштровича, маленькая, вялая, некрасивая, похожая на отца. Все ее движения были тяжелыми, словно вынужденными, и вызывающе неуклюжими. При ходьбе она волочила ноги и размахивала руками. Ни за что на свете не согласилась бы надеть ботинки на высоких каблуках. Говорила в нос, подперев кулаком подбородок и глядя прямо в глаза собеседнику, или поворачивалась к нему чуть ли не спиной и в ответ на каждое его слово передергивала плечами.

Она никогда не носила ни корсета, ни хотя бы корсажа. Неизменная крепдешиновая кофточка скрадывала ее и без того почти незаметную грудь.

В глубине души она страдала оттого, что некрасива, но всячески давала понять, что ничуть не стремится казаться лучше. Это была слабая попытка самозащиты и утешения. Ведь подчас отнюдь не наивные люди охотнее повторят самую злую сплетню о себе, чем потерпят намек на свои действительные недостатки. Музыка трогала ее до слез, но по-настоящему Эржика ее не понимала. Часто, когда она сидела одна у рояля, ее вдруг охватывала тоска и желание исповедаться струнам. Но стоило ей сделать два-три аккорда, как она опускала голову на клавиши и начинала плакать. В такие минуты она жалела о том, что богата (она была уверена, что очень богата), и ей хотелось быть нищей и чтоб ее увез любовник.

Сейчас она сидела за роялем, согнувшись и опустив левую руку. Пальцы правой руки неподвижно лежали на

клавишах. Рядом, совсем близко к ней, сидел окружной делопроизводитель без оклада Кезмарский и, похохатывая, что-то рассказывал. Она рассеянно слушала приятный, мягкий голос Кезмарского, в который раз уже излагавшего свои всем известные эпикурейские принципы. Через полуоткрытую дверь столовой Эржика наблюдала, как инженер Халас целует ее матери руки — от кончиков пальцев до плечей, а та смеясь легонько бьет его по щеке.

«До чего все это скучно! Удивительно, как это матери не надоест!» Эржику уже не трогали игривые, пьяные слова и прикосновения, точно так же, как давно приелись шоколадные конфеты. Она иногда украдкой глотала ром, и ей нравилось, что он обжигает горло и слезы выступают на глаза. Убежать бы отсюда с кем-нибудь, чтобы они все рты разинули от изумления!

А Кезмарский в этот момент толковал ей о том, что женская ножка у щиколотки должна быть тонкой, как у лани, а выше — как бутылка из-под шампанского, и в то же время прикидывал, сколько он скажет еще фраз, прежде чем перейдет к хромой Флоре, сироте, за которой шло верных триста тысяч крон приданого.

Промотав десять тысяч форинтов на женщин, карты и дорогие вина, он наконец по совету своих заимодавцев со всей силой своей галантности и красноречия устремился на эту богатую невесту. Он тратил вексель за векселем на цветы, конфеты и серенады под ее окнами, уверенный, что в этой азартной игре ему посчастливится сорвать банк. Опекуны Флоры старались раскрыть ей глаза на истинные причины «пылких чувств» Кезмарского, да и собственный рассудок подсказывал ей, что за ними кроется. Она знала о том, что он регулярно упражняется в фехтовании, учится на ощупь распознавать карты, благородно картавить и покусывать кончики красивых черных усиков, а остальное время проводит в уходе за своим свежим, по-девичьи румяным лицом (рассказывали, что он прикладывает к щекам сырые говяжьи шницели). Но она была молода, и ей так хотелось верить, что ее можно полюбить ради нее самой.

Как только в гостиную вошел инженер Халас, со всех сторон послышались приветственные возгласы.

Халас улыбался, кланялся, целовал руки женщинам и каждой успевал сказать какую-нибудь любезность. У него было круглое, гладко выбритое лицо, живые голубые

глаза и прилизанные каштановые волосы, разделенные посередине ровным пробором.

Никто не знал толком, кто он такой и откуда приехал. Подозревали, что он словак, изменивший свою фамилию на венгерский лад. Женщины в шутку называли его «Словачка». Появившись в городе, он сразу же завоевал всеобщие симпатии. Он умел вызвать к себе интерес своим изысканным остроумием, увлечь рассказами, которые всегда были уснащены множеством подробностей, и охотно пускался во всякого рода споры по общественным вопросам. Он лучше всех танцевал и катался на коньках и без труда попадал рапирой в мяч, подвешенный на проволоке; у него была целая коллекция револьверов и два породистых пса, ведущих свое происхождение от собак графини Эстергази, чья голубая кровь подтверждалась документами; он знал бесчисленное количество вальсов и куплетов, а также арий из опер в переложении для фортепьяно.

Он всегда после обеда пил ликер и ел персики с помощью ножа и вилки; никто не умел так непринужденно развалиться в кожаных английских креслах и, закинув ногу на ногу, показать шелковые носки. Мужчины поносили его, называли проходимцем и утверждали, что в один прекрасный день он вылетит из города, как автомобиль, оставив за собой только вонь да облако пыли; однако все без исключения подражали ему.

Зимой он катался на санках с мадам Тришлер, сейчас он танцевал с Боришкой Паштрович, но весной в лаун-теннис намеревался играть с женой богатого серба Прекайского, которая заявила ему, что ненавидит своего мужа и строгость «православных ханжей».

Девицы окружили Халаса и звали его к роялю, а дамы требовали новых анекдотов, эпиграмм и свежих сплетен. Он шутя отбивался от тех и других, а потом уселся на пол посреди гостиной, скрестил ноги по-турецки и стал рассказывать своим бархатным баритоном. А пока в гостиной раздавался смех и возгласы удивления, в соседней комнате одна из дам, раскачиваясь на стуле и то терзая, то лаская многострадальный рояль, пела, полузакрыв глаза, «народные» песни — какую-то смесь из любовных словацких всхлипов, разудалых цыганских воплей и турецкой страсти.

Часов в восемь, когда кавалеры уже доедали последние бутерброды с маслом, икрой и ветчиной, с успехом и выгодой для хозяев заменявшие ужин, средняя дверь осто-

рожно приоткрылась и в столовой появился доктор Паштрович. Его заметили только тогда, когда он дошел уже до середины комнаты. У него было сосредоточенное лицо и совершенно пьяные глаза. Он был в одном жилете. На взрыв смеха, которым встретили его гости, он даже не обернулся. Он направился прямо к своей жене. Она покраснела и сказала, с трудом сдерживая злость:

— Дорогой Паштрович, почему это вам взбрело в голову являться в таком виде в общество, где есть дамы? Боже мой, от вас любую минуту можно ожидать каких угодно нелепых выходок!

В ответ он взял ее за руку и стал возбужденно что-то ей говорить, в то время как она выталкивала его из комнаты.

— Тсс... Потом, потом... Перестань! Если хочешь выйти к гостям, то оденься и веди себя как следует.— И, напевая, она побежала за его сюртуком и помогла ему одеться.

У него глаза наполнились слезами.

— Нет ничего, дорогая, ничего!

Она обняла его за плечи и при этом больно ущипнула, но не успел он опомниться, как она уже взяла его под руку и, разразившись громким смехом, очевидно предназначенным для гостей, широко распахнула дверь столовой, ввела его и, не переставая смеяться, грациозно поклонилась. Все на минуту замолчали, а потом раздались аплодисменты.

Паштрович уселся за круглый стол между аптекаршей Шомоди и мадам Трипплер и сразу принялся за коньяк, так как у него очень болела голова. Виски жгло, словно там были открытые раны, к которым каждую секунду кто-то прикасался костлявыми пальцами.

Передергиваясь и втягивая в себя воздух после рюмки крепкого мартеля, он вспомнил о неоплаченном счете от гастронома и о том, что он, кажется, уже пятый раз пьет этот коньяк. Никто ничем его не угощал. Кезмарский взял бутерброд с сардинами, впился в него своими крупными редкими белыми зубами и, улыбнувшись ему, сказал:

— Извините!

Халас сидел на корточках рядом со стулом, с которого только что встала Боришка. Сильно покраснев, он не спеша поднялся, разгладил складки на брюках и взглянул в глаза Паштровичу, желая показать всем, какой он герой.

— Как ваше здоровье, господин доктор?

— Да так...— неопределенно ответил Стипа, наливая себе вторую рюмку коньяку.

Вопрос его задел. Он старался не поднимать глаза на Халаса, потому что тот прочел бы в них неприкрытую ненависть. Он понял, что Халас имел в виду совсем иное, и ощутил в этом унизительном вопросе сочувствие и скрытый намек на свое положение. Осушая очередную рюмку, Паштрович обвел взглядом присутствующих. Все старались надеть на себя маску равнодушия или веселья.

Мадам Трипшер, отвернувшись от него, окликнула Флору, которая сидела в другой комнате:

— Ты закончила те розы на шкатулке? — видно было, что, оборачиваясь, она еще сама не знала, к кому обратиться и что сказать.— Флора замечательно рисует,— добавила она тише, словно сообщив бог знает какую новость.

«Несомненно,— подумал Стипа,— она хочет заполнить мучительную паузу. Я прервал их беседу, испортил им настроение. Я им мешаю. Сижу тут, как белая ворона».

— Господин доктор, вы поедете на съезд Южновенгерского культурного общества? — спросил вдруг Кезмарский и облизнулся.

— Зачем? — Паштрович словно очнулся от дремоты.

— Ну-у...— Рука Кезмарского скользнула по блестящим надушенным волосам.— Как один из борцов за нашу государственную идею в этих непросвещенных краях, вы смогли бы и на этот раз многое сделать для усовершенствования методов проведения нашей культурной миссии. Говоря по чести, наше отечество и наша идея национальной государственности...

— Какая там миссия, какая культура, какое отечество, какая идея, пф-ф, ну скажите на милость, молодой человек?! Слова, слова...— Паштрович откинулся на спинку стула и, обхватив руками свой кругленький животик, склонил голову набок с вызывающим видом человека, который непременно решил затеять спор и резать всем правду-матку в глаза.— А будьте добры, скажите-ка вы мне откровенно, вы любите отечество и народ? А?

Кезмарский дернул себя за ус и обиженно заморгал. Даже шея у него покраснела.

— Я полагаю, что всякий настоящий и честный мадьяр должен любить свое отечество и народ. После смерти мы все будем лежать в родной земле. Конечно, красный Интернационал и науськанные его пропагандой...

— Брр! Оставьте ваши прописные истины и общие места! Будьте чуть-чуть искреннее! Положа руку на сердце, ну кто из нас настоящий мадьяр? Примите уверения в совершенном к вам почтении, но ведь вы словак, маленький Молдавани — румын, Халас... М-да! А я серб, буня. Вот вам и чистые мадьяры. Собрали нас с бору по сосенке, и мы распределили между собой роли. Какая там к черту миссия! Сплошное хвастовство, молодой человек, сплошная трескотня! А сейчас все эти Вайтбахи и другие богатые швабы только и думают о том, как бы попасть в столичные газеты и не отстать от других, если опять запахнет мертвечиной. Спорт и туалеты — вот вам все заботы наших магнатов о родине, а мы обезьянничаем. Ведь если иметь голову на плечах, мадьярский патриотизм — весьма прибыльное дело! Акционерное общество — вот что такое все наши миссионеры. «Любите родину, любите народ!» — это сказки для маленьких детей. Я, например, твердо знаю, что мне снится то, что я люблю. Например, я люблю женщин — и поэтому мне снятся женщины; я люблю играть в карты — и мне снится, что я играю в макао; я люблю рыбу — и мне снится загородная прогулка с рыбной ловлей и пикник; но родина и народ мне еще ни разу не снились... Так скажите же мне, пожалуйста, что такое родина и что такое народ?

— Ха-ха-ха, господин адвокат шутит! Ха-ха-ха! Чудесно! Ха-ха-ха!

— Шучу? К сожалению, я совсем не шучу,— сказал сердито Паштрович и продолжал торопливо, точно боясь, что кто-нибудь прервет этот рвущийся из него поток слов: — Да возьмите хотя бы наши выборы. Всюду выдвигается лозунг: «Против немадьяр». А ведь вы и сами знаете, что это отнюдь не служит на пользу нашей так называемой идее. Да о ней никто и не думает. Просто-напросто надо как-то пристроить сыновей чиновников, чтобы они могли выплатить долги патриотическим учреждениям и жениться на дочерях-бесприданницах тех же самых чиновников. А мадьярская армия? Восемь тысяч вакантных мест для разорившихся мелких помещиков! А разве не патриотизм рождает взяточничество, всякого рода «панамы»? Вы вот молоды, вы, вероятно, не помните, как после оккупации огромный фонд в помощь раненым и семьям погибших солдат — а среди них были, конечно, и хорваты, и сербы, и мадьяры — вдруг исчез, испарился, как камфара. Погорел на этом деле только один помощник жупана — и все...

А зачем нам, скажите, эти мерзкие деньги? Кто у нас ощипал платановые аллеи и выковырял бетон из-под потрескавшегося асфальта? И почему это именно немецкая фирма должна портить нам глаза тусклым освещением? А? Господа славят Арпада[1] за то, что он привел сюда венгров. Конечно, его есть за что славить. Его можно и нарисовать. Но кто возьмется нарисовать современных арпадов, которые выселяют народ? Ни у кого нет сердца! Хватай, хватай, сколько можешь, хватай — и больше ничего. А если у тебя есть сердце — ты погиб!.. Но позвольте,— Паштрович вскочил с пылающим лицом,— почему мы все сидим как в воду опущенные? Сегодня мы будем веселиться! Простите, господа, одну минуточку!

Возбужденный и пыхтящий, он резко повернулся, опрокинув при этом чью-то чашку с чаем, рассмеялся и со словами:

— Пусть знают, как в этом доме умеют принимать гостей! — выбежал из столовой, хлопнув за собой дверью.

Гости застыли в изумлении. Они чувствовали что-то похожее на приближение бури.

— Я не знала, что у тебя такой темпераментный муж,— не преминула подпустить шпильку княгиня.

— Да, я, пожалуй, еще могу в него влюбиться под старость! — небрежно бросила в ответ госпожа Паштрович и закусила губу, беспокойно поглядывая на дверь.

Эржика целиком запихала в рот пирожное и, не разжевывая, уставилась неподвижным взглядом в пространство. Было заметно, как под тонкой тканью кофточки билось ее сердце. Вдруг она вздрогнула, тихо поднялась и вышла в коридор. Там она открыла окно и подставила лицо холодному и влажному весеннему ветру, который шелестел в стеблях дикого винограда, обвивавшего стены дома. Она услышала негромкий голос отца и, когда он проходил мимо нее, остановила его и обняла за шею.

— Папочка, что ты там делал?

Отец взял лицо дочери в свои ладони и поцеловал ее в волосы.

— А-а, вот увидишь. Тебе понравится.

Эржика угрюмо отстранилась, уверенная, что он ничем не сможет ее ни удивить, ни обрадовать.

---

[1] Арпады — династия венгерских королей от Стефана Святого до Андрея III (997—1301).

V

Гости собрались было расходиться, но Паштрович пригласил их остаться поужинать, сказав первое, что пришло ему в голову,— якобы сегодня двадцать пять лет со дня получения им докторской степени. Он был необычайно любезен со всеми и даже вникал в детали приготовления ужина. Про себя он решил напоследок до отвала накормить этих гусениц. Они изгрызли ему корни, пожрали цветы, так пусть съедят и последние прелые листья.

— Петр, поставьте шампанское в лед.

Как странно, что он так поздно прозрел! Он только теперь ясно осознал, кто все это время подкапывался под него и кто, по сути дела, эти люди, которым он чуть ли не каждый день пожимал руки, ни разу не догадавшись заглянуть им в глаза. До сих пор он, например, не замечал, какие глаза у Кезмарского. Унылые и совершенно пустые! И какая у него отвратительно тонкая кожа! Наверное, стоит подцепить ее ногтем, и она сползет, как кожура с ветки рябины.

А княгиня просто отвратительна. До чего же противно смотреть, когда старуха кокетливо закатывает глаза и на ее увядших, поддерживаемых бесконечными массажами щеках появляется багровый румянец. Такой же станет когда-нибудь и Боришка. Ужасно!

— Проследите, чтобы на каждый бифштекс выпустили яйцо. Мясо я уже заказал.

«Кто эти люди? Что меня с ними связывает? Ведь как только станет известно о моем разорении, они в тот же миг начнут открещиваться от меня, как в свое время от бедняги Бириловича. Пять лет он их поил и кормил, но стоило ему подделать вексель, как все они в один голос стали утверждать, что ничего другого от него и не ожидали.

Что же я, проспал эти двадцать лет? Неужели и меня, как этого полоумного Бириловича, опьянила господская жизнь? Боже мой, да думал ли я о них, скажем, за десять лет до того, как впервые увидел их и стал пожимать им руки; и вообще, думал ли я о чем-либо? Вероятно, я верил им. Но какого же черта я им верил? Что я, любил их, что ли? Как бы не так! Даже имен их не знал.

Грустно, никто меня не любил, и сам я не любил никого.

Я был глуп. И самое смешное, что только теперь я это понял. Это было безумие, какая-то болезнь бесконечного ожидания и терпения... Нет, не то. Это была безумная жизнь, лишенная стержня. Ненужная жизнь... Да нет, и это не так. Ведь родился же я для чего-то? Только не сумел его найти, это что-то. Растерялся. Оказался среди этих людей и заблудился! Они вырвали меня с корнем и потащили за собой. И я перестал принадлежать себе. Я принадлежал им. Да, моя жена совершенно права: я буня. Только она не в состоянии этого понять. Я буня, я — как пшеница, которую выкопали из земли и перенесли в оранжерею. Да, я буня...»

И Паштрович рассаживал гостей и улыбался. Все думали, что эта необычная любезность вызвана его юбилеем, а на самом деле ему просто понравилась мысль, что он буня. Жаль только, что они этого не понимают. Но он непременно объяснит им. Пусть посмеются.

К полуночи дом ходил ходуном. Начались танцы, пение, гости бросали на пол пустые бокалы, а Кезмарский даже вытирал кровь со своих губ, так как, желая поразить общество, ухитрился сжевать бокал из-под шампанского.

Дамы раскраснелись, все они казались чуть-чуть сонными и то и дело без всякого повода начинали хохотать, бросались в кресла, игриво похлопывали по щекам скрипача-цыгана и дергали за усы кавалеров, требуя сказать, кто их учил целоваться.

Халас вырвал у цыгана скрипку и заиграл вальс. Все закружились, сталкиваясь друг с другом и ударяясь о косяки дверей; у стола остались только Паштрович и его жена.

Паштрович, не мигая, смотрел на люстру и тянул коньяк. Он погрузился в воспоминания, навеянные той неуловимой печалью, которая звучит даже в самом веселом вальсе.

...Он вспомнил свою молодость и те два-три бала, на которые он отправлялся с сильно бьющимся сердцем и с которых возвращался грустный и разочарованный, так как в этом вихре шуршащего шелка, блеска глаз и драгоценностей его всякий раз охватывало чувство подавленности и мучительного одиночества. Он вспомнил, что когда-то учился танцевать вальс, но так ни разу его и не танцевал, потому что боялся, что ошибется и его поднимут на смех. Случалось, он даже направлялся к какой-нибудь красавице, но сердце начинало бешено стучать, и он в не-

решительности останавливался посреди залы, бледный, не зная, куда девать руки; в это время ее приглашал кто-нибудь другой, и Стипе сразу становилось легче. Придя домой, он швырял лакированные туфли в угол своей дешевой, кишащей клопами комнаты, бросался на кровать и прятал лицо в подушку. Он жалел и укорял себя; в ушах звучала музыка, и он ясно слышал смех девушки, к которой не решился подойти, проплывающей в паре с другим; а когда под утро он наконец засыпал, ему снилось, что он скользит по паркету и вдыхает нежный аромат пушистых девичьих волос...

— Ну, старик, давай и мы потанцуем! — Но после нескольких тактов госпожа Паштрович вырвалась от мужа: — Ничего-то ты не умеешь, недотепа! Халас, сюда!

С трудом пробравшись между улыбающимися парами, вспотевший и сердитый Паштрович сел и стал смотреть на жену, которая кружилась с Халасом, тесно прижавшись к нему и полуоткрыв рот, словно хотела вобрать в себя звуки музыки и дыхание молодого человека.

Паштрович почувствовал себя обиженным. Ему было больно. Это была не ревность, нет, его оскорбляла несправедливость, и, кроме того, ему было стыдно. Быть может, жена ему изменяет и весь город давно смеется над ним, как над простофилей, который ни о чем не подозревает? Боже, до чего все это мерзко! Об этом он тоже никогда не думал, а если и думал, то отвлеченно, так же, как человек иногда думает, способен ли он убить. Теперь эта мысль пришла ему в голову всерьез: но сейчас он воспринял ее с тупой болью, как еще один укол в сильно израненное тело.

«Ведь она никогда не была моей женой. Господи, как все это гадко и невероятно глупо!..»

Между тем один за другим стали появляться и мужья присутствующих дам. Лысый аптекарь Шомоди бросал свирепые взгляды на свою супругу. По возвращении домой ему предстояло, наспех поужинав подогретой капустой, всю ночь промучиться над заданным сыну уравнением с одним неизвестным, упорно ускользавшим от него. Мадам Шомоди, продолжая вальсировать, бросила через плечо:

— У нас кутеж!

Бедняга раздраженно передернул плечами и отправился искать утешения в ветчине и раках. К нему присоединился и полицмейстер Тришлер, который долго постукивал перстнем по стакану, потом вдруг вскочил, размахнулся и

хотел дать пощечину слуге, но передумал и потрепал его по подбородку.

— Принесите нам, дорогой, что-нибудь горячее.

Он был в плохом настроении, потому что проиграл в карты все деньги, которые так долго прятал от жены в рукоятке своей трости. Деньги эти он получал от молочниц на рынке за то, что пропускал без осмотра их молоко. Правда, иногда для проформы или после очередной жалобы покупателей ему все же приходилось лично проверять молоко. При этом он так пинал сапогом бидоны, что на шум сбегались все уличные собаки. Молочницы поднимали дикий галдеж и проклинали господ, которым на следующий день мстили тем, что осеняли еретическим баптистским крестом снятое молоко, и без того уже испорченное сальными лепешками. Все прочие дела по рынку он обычно передоверял своему помощнику. Пусть себе возится с мужицкими грошами, он помоложе и у него нет семьи. Себе же он оставил ночные рестораны, публичные дома и прочие заведения, содержательницы которых всюду и везде хвалились, что им не надо никакого разрешения, так как они в хороших отношениях с господами из магистрата.

Князь прислал экипаж и лакея, у которого был весьма благородной формы нос и сберегательная книжка и которому не раз случалось выручать княгиню, когда она, играя в карты, входила в раж и не могла расплатиться с партнерами.

Не успели гости занять места, как из передней донесся радостный крик.

Все загалдели:

— Сервус, Петика!

В дверях появился Петика Мразович, последний отпрыск старинного рода сербских патрициев. На надгробных плитах его предков еще можно было прочесть заплесневелые надписи: «Почетный гражданин и сенатор свободного народа». Один из его прадедов даже дослужился до полковника и писал оды анапестом.

Петика стоял среди этого шума, бессмысленно глядя перед собой и шмыгая носом. Очевидно, он был уже навеселе. Петика служил в налоговом ведомстве, где получал сто сорок крон в месяц. Сейчас он проматывал последние тысячи, вырученные за свое поместье. Поместье купили его же собственные крестьяне, не желая, чтобы оно попало в руки мадьяр. Лет пять тому назад Петика охлаждал рислинг, ставя его в шампанское, но теперь он уже не

брезгал и сливовицей. Его выгнали из гимназии за то, что он из упрямства непочтительно отозвался о Кошуте. Он с трудом разбирал кириллицу и в минуты откровенности говорил, что по-сербски он еще не разучился разве что ругаться, однако при звуках волынки всегда плакал и говорил, что он сер-рб, топтал ногами собственную шляпу, обнимал волынщика и лепетал ему: «Друг ты мой, ведь я серб! Ты меня понимаешь?» Волынщик Йоца, если ему сунешь пять крон, скалит зубы и все понимает.

— Эта ваша Маришка не умеет даже как следует снять пальто!

Петика икнул и потянулся к рюмке. Руки и ноги у него были крошечные, как у изнеженной барышни, грудь впалая, а лицо розовое, детское, и, только вглядевшись в морщины на щеках и на шее и в начавшие уже седеть сухие, словно сено, волосы, можно было догадаться, что ему уже под сорок. Казалось, он никогда не был молодым. Он производил впечатление хилого мальчишки, преждевременно состарившегося от табачного дыма и винных паров, словно недозрелое яблоко в сыром погребе.

Сколько раз причитала над ним его квартирная хозяйка, когда ей приходилось на руках тащить его, бесчувственного, от дверей до постели. Уж очень был он жалок со своими закатившимися под лоб, налитыми кровью глазами и набухшими синими венами на висках.

Последнее время его терпели в обществе только потому, что над ним можно было безнаказанно издеваться. Вот и сейчас, как только он собрался сесть, Тришлер выдернул из-под него стул, и Петика во весь рост растянулся на полу.

Вслед за Петикой пришел Прекайский. Он редко выходил по вечерам, так как у него болели глаза. Вероятно, это были первые признаки иссушения позвоночника. В тот момент, когда он остановился на пороге и стал протирать очки, его жена училась у Халаса пускать дым колечками.

— Что, неужели и ты ударился в погоню? Не волнуйся, я не убегу.

Прекайский молча проглотил эту дерзость. Ладно, хватит и того, что он вошел в комнату в пальто. Это, конечно, шокировало жену и было вернейшим способом заставить ее уйти домой. Впрочем, он давным-давно отпустил бы ее на все четыре стороны со всем ее приданым, если бы не дети и не боязнь скандала. Прекайский был чиновником в полном смысле этого слова, добросовестным и аккуратным.

Поэтому начальство часто подсовывало ему и чужую работу. Ему это не нравилось, но он никогда не выказывал своего недовольства. Он никому не хотел быть обязанным. Еще студентом он выучил русский язык и много читал. Внимательно следил за настроениями масс. В верхах Прекайский пользовался репутацией прекрасного чиновника, но политически неблагонадежного. «Вы панславист»,— заметил ему однажды начальник, видя, что он закурил сигарету сербскими спичками. «Ну, что вы, ваше превосходительство, знаете о панславизме!» — ответил довольно грубо Прекайский. С тех пор ему поручались самые запутанные дела.

В душе он действительно был пламенным сербским националистом. Он учил своих детей декламировать народные песни и «Смаил-агу Ченгича» [1]. Госпожа Прекайская считала это крайне неблагоразумным, ибо такое воспитание могло только повредить детям в школе, где преподавали венгры. Втайне он сочувствовал социализму. Более того: отчасти он симпатизировал и террористам. Но при всем этом доставлял немало хлопот сберегательным кассам, без конца переводя то в одну, то в другую капитал своей жены из-за какой-нибудь ничтожной четверти процента. Накануне у него произошло серьезное объяснение с женой, которая приняла в качестве подарка поросенка от одного просителя. Прекайский рассердился, выпустил поросенка прямо на улицу, и тот долго с визгом носился по ней к восторгу мальчишек. Жена никак не могла взять в толк, почему для него это вопрос чести. По ее мнению, это был чисто поросячий вопрос, связанный с прекрасным, веками освященным обычаем. «Ты только портишь мужиков, они и так уже нам на голову садятся»,— заявила она.

О Сербии он был невысокого мнения и любил говорить, что там «профессора занимаются политиканством», однако часто рассказывал сыну о Воеводине и Милетиче [2]. Вместе с тем все это не мешало ему, скрепя сердце и негодуя, голосовать за правительство.

Вновь прибывшие гости старались как можно скорее догнать «аборигенов» в степени опьянения. Прекайский же

---

[1] «Смерть Смаил-аги Ченгича» — поэма хорватского поэта Ивана Мажуранича (1814—1890).

[2] Милетич Светозар (1826—1901) — адвокат и журналист, игравший активную роль в политической и общественной жизни Воеводины.

не стал пить, сославшись на болезнь глаз и на то, что у него утром очень много дел.

Паштрович сидел молча, но, когда жена попыталась отправить его спать, он самым решительным образом воспротивился и подсел к Прекайскому, которого уважал за его начитанность.

— Вот ты, Стева, умный человек. Скажи мне, положа руку на сердце, что это такое — фарс или всерьез? Вот это все,— он обвел рукой вокруг, опрокинув при этом масло и уксус, и взял Прекайского за золотую цепочку часов,— все, что с нами происходит. Ты меня понимаешь?

— Понимаю,— ответил Прекайский, лишь бы что-нибудь сказать, он видел, что Паштрович пьян.— Гм! Конечно, комедия, да только сердце от нее истекает кровью.— И его тонкие, бледные, потрескавшиеся губы болезненно скривились.

Стипа кивнул головой и повторил словно про себя:

— Да, сердце истекает кровью... А у меня, видишь ли, только теперь оно стало болеть... Перед концом. Больно! — Глаза его наполнились слезами.

Прекайский внимательно взглянул на приятеля. От этих слов и в нем затрепетала какая-то тонкая жилка. Он сочувственно положил руку ему на плечо.

— Ну что тут поделаешь? Надо тянуть лямку, пока есть силы. Тут уж ничего не изменишь.

— Говоришь, не изменишь? Это верно. А мне бы так хотелось все начать заново! Только не думай, что я это говорю потому, что выпил. Нет, брат, тут все шло не так, как нужно. Эх, начать бы все сначала, если бы только можно было... Надо было мне остаться мужиком, буней, какими были мой дед и отец. Дышал бы себе свежим воздухом, женился бы на девушке, с которой познакомился бы на гулянке, и жил бы себе, плодил детей, пахал, выпивал, бил жену, если есть за что, и, свалившись вечером в сено, полумертвый от усталости или от скверного вина, храпел бы до рассвета; и умер бы в свое время. Посеешь — бог даст, уродится, а накажет бог — затянешь пояс потуже и ешь зимой побольше картошки в мундире да поменьше мяса. Сын задурит — отдубасишь его как следует, а назавтра он с тобой вяжет вместе снопы. Какого еще счастья желать? Буне и умирать легко. А здесь тяжело. Я не умираю, я чахну. Сохну, как бурьян, которому плуг перерезал корни...

Прекайский слушал его, стараясь не упустить ни слова. Вероятно, и он раскрыл бы свою душу перед старым приятелем, но в это время встал полицмейстер и предложил тост за хозяина дома.

Под звон бокалов, хохот и крики Тришлер возносил хозяина до небес. Он восхвалял его как примерного отца, мужа, гражданина и коллегу, как патриота, который, конечно, получит достойную награду за свои заслуги перед народом, как видного государственного деятеля, который до сих пор не имел возможности развернуть свои способности, но придет время, и он расправит крылья и станет украшением и гордостью всего города и прежде всего своих друзей, своей достойной супруги, «этого доброго гения дома», и милой, такой одаренной дочери! Ура, ура, ура! Музыка, туш!

Паштрович во время этой речи сидел весь потный, смущенно потирал рукой лоб и строил какие-то фигуры из спичек. Он чувствовал себя очень неловко и едва дождался минуты, когда ему предоставили слово для ответа.

Хотя он встал, галдеж за столом не унимался. Он поднял руку, но затихли только цыгане-музыканты. Жена, смеясь, крикнула ему:

— Пишта, только покороче! И не в три приема, как в прошлый раз! Смотри, у тебя галстук съехал набок!

Он молча отмахнулся от нее, пристально глядя на солонку, прищурился и сунул левую руку в карман брюк.

— Дамы и господа! Я встал не для того, чтобы поблагодарить господина полицмейстера. Во всяком случае, не только для этого. Я встал для того, чтобы излить свою душу.

Паштрович на секунду замолчал и огляделся. Головы гостей, окружавших его, показались ему похожими на кочаны капусты. Крики и шум постепенно стихли. Все почувствовали что-то необычное в голосе хозяина, который говорил негромко и спокойно, словно и не был пьян. Голос его звучал глухо и с укором, и в первый момент многие подняли на него глаза, чтобы убедиться, действительно ли это говорит доктор Паштрович.

На лбу у него не было тех глубокомысленных морщин, которые невольно появляются у всех произносящих тосты. Лицо его светилось какой-то мягкой задумчивостью.

У Эржики сжалось сердце, и она не сводила с отца глаз.

— Дорогой Туна, ты говорил красиво, но я не буду тебя благодарить. Зачем обманывать себя? Сегодня я

хочу говорить правду. А ты, друг мой, лгал. Да, да, ты лгал.

Паштрович произнес эти слова так спокойно, что они никого особенно не смутили; все, в том числе и сам Туна, сочли за благо принять это необычное предисловие за шутку; на лицах гостей появились натянутые улыбки, хотя полицмейстер и мадам Паштрович все же заерзали на своих местах.

— Но хуже всего то, что ты, вероятно, после каждого своего слова думал: «А ведь я лгу». И самое печальное — что мы все таким же образом лжем друг другу и обманываем самих себя и весь мир. Нет, дорогие мои, все вы прекрасно знаете, что никакой я не борец и не великий деятель, что нет у меня никаких заслуг и что никогда их наша так называемая родина и народ не признают. Лгал мой друг Туна, когда говорил о счастье, потому что я никогда его не знал, не знаю и не узнаю. Вы, господа, негодуете, вы возмущаетесь, вы не можете понять, зачем я это говорю? Если хотите, вы можете уйти, но я сегодня выскажу все. Довольно я молчал. Меня будут слушать эти стены, на которые я сегодня в первый раз взглянул по-другому, и мои собственные уши, которые сегодня впервые внимают голосу Стипы Паштровича...

Жена хотела силой усадить его на стул, но он взглянул на нее с такой ненавистью, что она отступила и вышла из комнаты вместе с остальными дамами.

Эржику душил стыд, как во сне, когда ей казалось, что она голая бежит по улицам. Она подошла к отцу и взяла его за руку:

— Папочка, ну зачем ты все это говоришь? Сядь, ведь тебя никто не слушает.

Отец погладил ее по волосам:

— Оставь меня. Так нужно... Вся моя жизнь прошла, как в пьяном угаре. Я без конца блуждал по незнакомым местам, разговаривал с чужими людьми. Я прошел много длинных дорог, не измеряя их; пролетали годы, и я не считал их; отцвела не одна весна, прошла моя молодость, но сердце мое осталось пустым. До моих ушей доносились шаги моих ближних, я приветствовал их и даже обнимал, но взгляды их не согрели мою душу. Была у меня и жена, но друга и любимой никогда не было.

Мне казалось, что у меня есть родина с ее историей, с ее народом, но теперь я вижу, что ничего этого у меня не было и нет.

Вокруг меня — холод и мрак... Все чужое... Я заблудился и отчаянно ищу выхода, но чувствую, что мне его не найти и холодный труп мой сгниет в этой земле...

Чужим я пришел к вам и, как паршивая овца, гонимый и одинокий, погибну. Я оставил все, что было мне близко. Дом мой был тесен и беден, но мне было в нем тепло и спокойно. Я покинул его — и ничего не получил взамен. Я повис в воздухе... Я оторвался от родной земли и стал чахнуть, как дерево с подрубленными корнями. Ведь я буня, простой мужик, который принес свое живое сердце, согретое у деревенской лежанки, к вам, в ваш мир, где ценятся только те люди, которые смогли сразу же вырвать свое сердце, пока оно еще не созрело, или спрятать его. А я оставался все тем же буней, и для меня не было иного выхода, как замкнуться в себе и в одиночку искать свое счастье, без вас или даже наперекор вам, или, взяв в руки посох, идти к морю, туда, где в бурях, в борьбе с волнами, пиратами и голым бесплодным камнем вырос и окреп благородный род Паштровичей.

Словно запах ладана от древних одежд, поднимаются в моей душе старые предания, которые мне рассказывал долгими зимними вечерами мой дед... С превеликой гордостью и печалью говорил он о нашей родной земле, где день и ночь слышится неумолчный шум моря, где поют ветры, где человеку трудно жить, но зато легко умереть геройской смертью; рассказывал он и о святом Стеване Штиляновиче, сербском деспоте, который тоже был из рода Паштровичей, человеке большого и доброго сердца. В годы, когда голод царил в Баранье и Толне, он открыл свои житницы и амбары беднякам; и когда он умер, черви не тронули его тело.

«Запомни, сынок,— говорил мне дед, откидывая со лба седые волосы,— потому мы буневцы и море любим, и волны спелой пшеницы, и привольную жизнь своих хуторов, что здесь свободно гуляет ветер и еще потому, что земля здесь, кроме бога, покоряется только богатырской руке. И если буневец от нее оторвется, не будет ему ни счастья, ни покоя...»

Я покинул все это — и громкие оклики пастухов, далеко слышные в просторах пастбищ, и тихую песню в сумерках под скрип колодезного журавля, и звон колокольчика барана-вожака; я оставил веселые праздничные обряды, я отвык засыпать, зарывшись головой в шуршащую солому, я забыл запахи желтой глины, горячей печи и аро-

мат свежего хлеба и полевых цветов; я ушел от объятий крепких трудовых рук. Я утратил здоровый деревенский сон, меня уже не будит бодрящий холодок рассвета, я разучился по звездам определять время и предсказывать погоду...

Что вы дали мне взамен этого? Беспокойство, горячку, погоню за призрачным счастьем, утонченными страстями, постоянный пьяный угар!

Я носил в своем сердце тоску по идее, в которую я бы поверил, тоску по живой душе, которую я мог бы полюбить. Но видел вокруг себя лишь зияющую пропасть.

Вам этого не понять. Потому что вы и я — это не одно и то же. Мы только лгали друг другу, что мы заодно, бесконечно лгали. И эта ложь, это притворство стоили мне жизни...

Гости постепенно разошлись. В столовой остался только Прекайский, впервые не ушедший вместе с женой, и Эржика. Мать ее провожала гостей и извинялась за мужа, который «пьян в стельку и несет всякую чушь». Потом и Эржика ушла в свою комнату, легла в постель и, накрывшись с головой одеялом, заплакала от боли и стыда.

Паштрович тихо продолжал:

—...Я повис в воздухе. Я оторвался от родной земли... Я гибну, и нет мне спасения...— Он взглянул на Прекайского, который слушал его очень серьезно, от волнения проводя рукой по своим волосам. Он обдумывал, что ответить другу.

Паштрович огляделся по сторонам, и, заметив, что они остались вдвоем, удивился. Неожиданно он вспылил:

— А где цыгане? Сейчас же верните цыган! Я хочу петь и плакать. Пусть нам сыграют что-нибудь нашенское! Да, Стева?

Но Стева тоже собрался уходить. Паштрович опрокинул в рот еще рюмку и стал, фальшивя, напевать под нос какую-то народную песню.

— Как тебе не стыдно, ты разогнал гостей своими мужицкими выходками! Дикарь!

Маленькие, глубоко запавшие глаза Паштровича сверкнули, опущенные усы вздрогнули, и он запустил в жену бокалом. Она взвизгнула, а бокал разбился о люстру, висевшую над столом.

Прекайский быстро оделся и пустился наутек от Паштровича, который долго топал за ним по ночным улицам.

VI

На следующий день начались розыски адвоката Паштровича, который словно сквозь землю провалился.

Через день приехал с хутора его свояк Йова Матич и сообщил, что Стипа, весь ободранный и грязный, накануне пришел к ним. Сейчас он изводит всех просьбами дать ему крестьянскую одежду и плуг. Он хочет колоть дрова и пахать, хотя пахать еще рано. Говорит, что господа срубили его под корень и что он больше не вернется в город. Жену ругает последними словами, а когда ему говорят о дочери, то плачет и просит не дать ей умереть с голоду.

Прекайский и врач из магистрата поехали за Стипой; они встретили его на дороге. Без шапки, запыхавшийся, он шлепал в сапогах по подтаявшему снегу, таща за собой срубленный ствол акации. Он вежливо поздоровался с ними и с улыбкой сказал, что это дерево, к сожалению, на дрова не годится и из него нельзя сделать подпорки для винограда и что здесь очень чистый воздух. И еще — что у него теперь не болит голова и что он начнет новую жизнь.

В ответ на их приглашение прокатиться в коляске он от всего сердца расхохотался:

— Вы, наверное, думаете, что я сошел с ума. Но это не так. Просто я не желаю больше жить с этими гадами.— И сплюнул.

Он говорил так трезво и убедительно, что им стало не по себе.

— А как же Эржика? Долги? Кредиторы уже собрались. Поезжай и дай им знать, по крайней мере, как твои дела. Мы не сомневаемся в том, что ты здоров.

Он ничего не ответил, но в коляску сел. Когда они проезжали по улицам города, люди бесцеремонно глазели на них. Стипа вышел из себя:

— Что глаза пялите, сволочи!

Он хотел остановить экипаж около своей квартиры, и тут Прекайскому пришлось сознаться, что жена сегодня утром уехала в Татры к своим родным и увезла Эржику с собой. Он вскочил с сиденья и, потрясая кулаками, закричал:

— Потаскуха! Дрянь!

— Я знаю, вы везете меня в сумасшедший дом,— наконец безразлично сказал он своим спутникам.

Ночевать его оставили в городской больнице, так как еще не было решено, кто будет за него платить и в каком классе поместить его в нервном санатории доктора Шварцера. Он спокойно поужинал, дал себя раздеть и самым серьезнейшим образом спросил неопрятного санитара Джюку, который построил себе дом, леча по своему усмотрению, без ведома докторов, молодых людей и тайком продавая втридорога лекарства из больничной аптеки, твердо ли он держится на ногах и как Джюка думает, действительно ли он сошел с ума.

Джюка на первый вопрос ответил «да», на второй — «нет» и зазвенел связкой ключей.

Наутро адвоката Паштровича нашли лежащим на полу в луже крови с перерезанными венами. Он еще дышал, но спасти его было нельзя, так как осколок стекла, валявшийся рядом, был чем-то измазан — по всей вероятности, ядом.

1909

Янош и Мацко

Он держался почти целый год. Игумен уже не раз хвалил его при монастырских гостях, не опасаясь, что он обнаглеет, заленится или потребует прибавки. А когда он запил и стал скандалить, сначала в кухне, а потом и в других покоях, игумен рассердился и уже упрекал себя за то, что похвалил проходимца и тем сглазил его.

Он пришел однажды вечером, в феврале, когда зима за две недели вьюг, метелей и стужи взялась наверстывать то, что пропустила в течение нескольких дождливых и сравнительно теплых месяцев.

В монастыре ужинали. Сидели втроем: игумен Сава, его помощник Феофан и старый, согбенный эклизиарх, отец Севастьян; молчали и степенно управлялись с заячьим жарким, обмакивая огромные куски хлеба в соус.

Игумен вдруг вспомнил, что еще не распорядился насчет своей завтрашней поездки. Поездки были его страстью. Стоило ему просидеть в обители несколько дней, как что-то поднимало его со стула. И он снова отправлялся в дорогу. Чаще без всякой цели, только чтоб уехать из монастыря. У него было такое чувство, что если б не его поездки, он заживо сгнил бы в этом пустом домище, среди алчных людей, которых он мог переносить единственно за картами и которые по целым дням пьянствуют и спят в низких, душных кельях, пропахших ракией и растительным маслом, куда по вечерам крадутся шуршащие тени.

Ночи напролет он, как пойманный лев, ходил по комнаткам, иногда теплым, а чаще холодным; покоя не было нигде, ни в одном углу, «резиденция» давила его, он чувствовал себя очень одиноким. Какой может быть аппетит в вечно холодной, огромной трапезной с застоявшимся запахом свечей, ладана и несвежей пищи, где с мрачных стен и тяжелых сводов удивленно и словно похваляясь взирают старые игумены и митрополиты, держащие двумя пальчиками кресты перед собой? Лики иных

уже совсем потемнели, так что сверкают лишь глаза на фоне черного потрескавшегося полотна. Со сводов осыпаются древние фрески, изображающие мученические подвиги и праведников в длинных одеяниях с вытянутыми ногами и малюсенькими головками; длинные волосы скрывают уши, у всех — одинаковые, неестественно большие глаза и кокетливые вишенки губ.

Ничто в монастыре не радовало его, и поэтому был он здесь такой немногословный, строгий и придирчивый, зато во время своих поездок становился совсем другим человеком — любезным и разговорчивым.

Он ел через силу, будто бросал еду за шиворот.

— По вкусу ли вам теперь, ваше высокопреосвященство? — льстивым и подобострастным голосом спросил отец Феофан, расчитывая угодить игумену таким обращением, ибо тому положено было быть лишь «преподобным».

— Ни-че-го. Можно бы и получше... Кто это там, в коридоре?

Послушник, прислуживавший за столом, вбежал с тарелками в руках.

— Извиняюсь, тут один человек хочет поговорить с господином игуменом.

— Опять какой-нибудь прощелыга! Эти проходимцы думают, что здесь трактир.— Отец Феофан с раздражением швырнул нож и вышел.

— Он говорит, слышал, что нам нужен истопник, но выглядит что-то сомнительно,— сказал он, возвратившись.

— Пусть войдет,— изменив своему обычаю, распорядился игумен.

Его помощнику это явно не понравилось, но человека ввели.

Он был невысок, лицо помятое, с мохнатыми рыжими бровями, и усы тоже рыжие, а нос красный от холода.

— Целую руки, добрый вечер! — произнес он с нездешним акцентом.

— Откуда ты узнал, что нам нужен истопник? — Игумен поднял голову и важно нахмурился.

— В селе сказали.

— А паспорт есть?

— Есть! — Он начал расстегивать что-то спрятанное под пиджаком, безрукавкой и грязной солдатской рубахой.

— Ладно, ладно. Завтра покажешь... А как тебя зовут? Подойди поближе!

Мужчина нерешительно приблизился, словно оберегая глаза от света.

— Янош Томка.

— А! Хм! Значит, католик. А пьешь? — спросил игумен и внимательно посмотрел на его нос, испещренный синими прожилками.

Янош зашаркал ногой и смущенно уставился на носок ботинка.

— Я не буду пить, ваше благородие.

— Из пустой бутылки! — язвительно заметил отец Феофан назидательным тоном полноправного хозяина. — Если нажрешься, тут же вылетишь. Алекса, отведи его к работникам, расскажи все, что он должен делать. А ты утром принесешь паспорт!

Игумен встал и направился к себе в комнату выпить чашечку черного кофе, довольный, что не посчитался с мнением своего помощника.

Янош выслушал, что от него требовалось. Каждый день он должен напилить и наколоть дров для печей и, покороче, для плиты и нащепать лучины на растопку. Начинать топить следовало в пять часов утра и поддерживать огонь в течение всего дня; кроме того, он должен наполнить водой кадку и все ведра — для кухни и других надобностей. С этой целью ему даются два ушата и старый осел, известный во всей округе под именем Мацко. Он должен кормить осла, потому что господин игумен очень его любит и каждый день с ним забавляется.

Дел было по горло, до самой полуночи слышался в дровянике скрип пилы и стук топора. Печи были всегда теплыми, а если, случалось, одна из них давала трещину, Янош тут же залеплял ее смесью из глины, повидла и теста. Работал он молча и безотказно. К завтраку и обеду приходил позже других и безропотно съедал все, что давала ему кухарка, имевшая абсолютную и непререкаемую власть над всей прислугой. И тоже серьезно и молча. Послушники за его спиной подталкивали друг друга, смеялись над тем, как важно он ковыляет за ослом, но напрасно пытались вызвать его на разговор. Янош работал, жевал, глотал. Это злило послушников, привыкших издеваться над истопниками, проделывать с ними злые шутки. Кухарка поглядывала на него искоса, хотя была довольна тонкими поленцами, которые он приносил для плиты. В ее правилах было или бесконечно ссориться с истопниками или жить с ними в тесной дружбе.

Иногда слышали, как он бормочет что-то себе под нос, втаскивая дрова со двора в комнаты или отправляясь утром на поиски Мацко, который пользовался привилегией, подкрепленной многолетней практикой, ночевать, где ему вздумается. Послушники тогда подкрадывались к нему и, навострив уши, прислушивались, но понять ничего не могли — по всей вероятности, Янош, лаская Мацко, говорил по-словацки.

Они очень дружили и любили друг друга. По утрам Мацко, казалось, прятался лишь для забавы, потому что, когда Янош около шести часов обходил, похлестывая прутиком все углы и закоулки, и только начинал сердито ворчать: «Мацко, Мацко-о, где ты, мошенник! Мацко-о-о!» — тот неожиданно появлялся, весело потряхивал большой мохнатой головой, фыркал и взбрыкивал задними ногами. Подтрусив к Яношу, он по-заячьи хлопал ушами, принюхивался к его одежде и пощипывал его то за рукав, то за шляпу своими толстыми влажными губами.

Тогда Янош, играя, стегал осла прутиком, шлепал по спине и ласково пенял ему, глаза же его при этом совсем исчезали под бровями, а усы, приподнявшись, обнажали черные, гнилые зубы. Он улыбался. Ишак тряс головой, клал свою облезлую шею ему на плечо, а его серые, обычно равнодушные глаза как-то осмысленно, по-детски блестели. И он тоже умел только тихонечко фыркать: как и Янош, он был безголосый. Говорят — от старости. Затем, вероятно, ослом овладевало чувство долга, ибо он кончал с забавами и без всякого принуждения брел к кухне, где Янош взваливал на него седло и ушаты. Так начинался их трудовой день.

Игумен ежедневно с удовольствием наблюдал из окна, как Мацко, низко опустив голову и внимательно глядя под ноги, привычным, неторопливым шажком спускается с горы к роднику и подымается обратно. Прежде чем шагнуть, он словно ощупывает землю и, убедившись в ее надежности, аккуратно ставит свои коротенькие ножки. На обратном пути под тяжестью поклажи спина его сгибалась, а живот надувался и отвисал. Вода выплескивалась то с одной, то с другой стороны, но он шел спокойно, без натуги и не смутился бы, не остановился, даже если б на дороге оказалась горбушка душистого свежего хлеба; но отнюдь не потому, что боялся Яноша, который следовал за ним строго и с достоинством и лишь символически почесывал осла прутиком по животу.

Однажды утром игумен спустился к Яношу и Мацко. Он выспался и был в добром расположении духа.

— Ну как, Янош, нравится тебе Мацко?

— Хорошая скотина,— ответил Янош и покраснел.— И голова и душа ровно как у человека.

—Ха-ха, да поди ты, дурень, к чертям... А это правда, голова у него что надо, газеты любит,— сказал игумен и протянул к морде Мацко скомканную газету.

Мацко обнюхал — не грязная ли, облизал и, целиком отправив в рот, начал жевать.

— Нехорошо так, заболеть может.

— Еще что скажешь! Он обходится без карлсбадской соли.

А Яношу было жаль осла. Когда кто-нибудь хотел таким способом развлечь гостей, он прятался вместе с Мацко. Ему казалось, что эта жестокость унижала и его самого.

Заметив слабость истопника, монастырская челядь обрадовалась.

...Монашеская братия и работники, выслуживаясь перед игуменом, его помощником, лесником, полевым сторожем и даже перед ключником и кухаркой, по нескольку раз на неделе затевали свары и бесстыдно делали свою злость и ярость достоянием всей округи, но потом мирились, создавали новые заговоры и снова топтали данное слово; своенравные, как фрушкогорские потоки — то полноводные, то совсем пересохшие, то мутные, то прозрачные, которые лениво ползут, сливаются, безумолчно клокочут и шепчутся,— эти необузданные и распущенные люди не могли выносить в своей среде спокойного и молчаливого рыжего иноверца. Они привыкли выставлять свою душу напоказ. Им было не под силу скрыть от чужих глаз и затаенную родинку на теле, и поэтому их так раздражал, оскорблял и волновал этот бродяга, который проходил мимо них, как мимо каменных столбов, не испытывая ни малейшей потребности хотя бы взглянуть на них или высказать вслух, о чем он думает и что чувствует. Откуда он пришел, как жил до сих пор, почему не пьет, кого любит, кого ненавидит или хотя бы просто — какую предпочитает пищу?

Он делает свое дело, входит, выходит и всегда молчит, значит, презирает их, значит, хочет казаться лучше, чем они.

Алекса убеждал всех, что Янош наверняка пьяница

и только притворяется трезвенником. Он таки его как-нибудь приволокет в дом мертвецки пьяным. Тогда уж этот молчальник развяжет язык, вот будет потеха. Поэтому всегда, отправляясь за вином, он звенел ключами над ухом Яноша, окликал его, заговорщически подмигивал и уговаривал — одну, мол, стопочку рислинга,— и при этом причмокивал губами, поглаживал себя по животу и манил в погреб.

Янош краснел, как индюк, отворачивался и спрашивал, не пора ли звонить или не надо ли почистить лампадки мелом.

Однажды утром кухарка подала Яношу специально для него поджаренную печенку. При этом она увивалась вокруг него, словно он сам владыка. Янош смутился, не мог есть, пища застревала в горле, он все время пил воду, хотя ему и не хотелось. Тщательно выбирая слова, плаксивым тоном, принятым у обывательниц ремесленного предместья, щеголяющих в шляпках, госпожа Перса стала рассказывать ему, что родом она из приличной семьи, говорила о золотом своем девичестве, когда по вечерам в их сад наведывались даже господа богословы с мандолинами, о несчастном замужестве, о грубости своего супруга мастера Перы, о том, как они разорились.

— И видите, до чего я, горемычная, дошла. Сама себе была хозяйкой, а теперь должна обслуживать других, терпеть обиды да еще и почитать тех, кто хуже меня. Да вы сами все видите, и вы ведь, наверно, знали деньки получше. Разве не так, дорогой мой? — вытирая фартуком глаза, закончила она свой трогательный рассказ.— Послушайте, Янош, не сердитесь, умоляю вас, на мои слова, но я хочу вас спросить — только из уважения к вам и по христианской любви,— откуда вы родом, есть ли у вас родственники, жена, дети, в общем, кто-нибудь свой?

Янош обтер пальцами усы, поднялся и, делая над собой усилие, произнес:

— Извините, я вам сегодня хорошо наколол дрова?

Перса яростно ударила ножом по индюшачьей лапке и подумала: «Не увидишь ты больше, подлец, на свой фруштук ничего, кроме вчерашнего гороха!»

— Хорошо, хорошо. А теперь убирайтесь, нечего тут торчать, раз вам не сидится! Подумаешь, философ!

В тот день она уже не дала ему оставшиеся на столе куски хлеба для Мацко, хотя Янош, дрожа от негодования, доказывал, что сам видел много объедков и что ско-

тину, которая целый день трудится, надо кормить. Над ним потешались, а ему не оставалось ничего иного, как разделить с Мацко свою порцию.

Каждый день приносил новые неожиданности.

Однажды утром у Мацко оказалась вымазанная известью спина, в другой раз ему подрезали хвост. Все было точно продумано, согласно общему заговору. Напрасно Янош жаловался игумену. Тот ругался, но и сам не прочь был позабавиться, а позже от всего сердца смеялся, глядя, как Янош, изрыгая сквозь зубы проклятия, промывал ослиные ноздри, в которые послушники насыпали нюхательного табака, так что осел совсем очумел, чихал, кашлял, сопел, скакал и дул в небо.

Каждое издевательство над безответным животным Янош принимал на свой счет.

Он стал еще более мрачным, но более беспокойным. Куда бы ни пошел, он пугливо оборачивался, словно опасался засады и подвоха. От людей он совсем отгородился, однако теперь он неуклонно следил за ними — смотрел, подслушивал, а в его мутных глазах, едва заметных под опущенными веками, вспыхивали огоньки ненависти. Он и работал уже не так старательно, стал небрежнее, не мог целиком уйти в дело, ежеминутно отрывался, прислушивался, выслеживал, крадучись на цыпочках: не затевают ли опять против него какую-нибудь каверзу. Усталый, он нередко вскакивал среди ночи, потому что ему казалось, будто ржет от боли Мацко, будто ему втыкают булавки под копыта.

Лежа на тюфяке, Янош, когда его никто не слышал, скрипел зубами, сжимал кулаки и мечтал о мести. А на заре вставал несколько успокоенным, но еще более печальным. Куда податься? Город его страшит. Здесь — то самое место, где, казалось, можно было бы спокойно ждать или чего-то хорошего — что почти невероятно,— или смерти.

...Плачь, словак, и скрывай свои слезы!

После совершенного греха, отбыв наказание, Янош Томка хотел вступить в битву с этим миром и силой отвоевать себе место в нем. Но тщетны были все его усилия. Стена предрассудков и бабьей, мещанской морали, возникшая перед ним, оказалась крепче, чем его лоб и ногти. В конце концов он изнемог и пал духом, разбитый и окровавленный.

Казалось, глубокое отчаянье завладеет им в тот час,

когда он понял, что он заживо похоронен. Но нет. Только оборвалось что-то дорогое и звонкое в груди, поникли плечи, опустилась голова, а глаза замутились, как грязная вода на мостовой, и захотелось тишины и забвения.

Последний раз он служил у одного адвоката в Банате. Работал на совесть, но каждый день приходил на службу непроспавшийся, с красными глазами и при разговоре, особенно с шефом, держался на расстоянии, потому что от него несло, как из старой, пропитавшейся бочки, винным перегаром и сивухой.

— Вы, Томка, рассудительный, умный человек. Зачем вы так много пьете? Если б не это, я сделал бы вас своим поверенным. Эта должность требует знаний и доверия к человеку.

Томка покраснел как рак и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Он почувствовал, как сердце подкатилось к самому горлу. Шеф задел его за живое. В нем вдруг заговорила жажда жизни, признания.

— Я не буду больше пить, ваше благородие.

Он надел чистый костюм и уж снова с вызовом поглядывал вокруг, собирал «комиссионные» и мечтал о выигрыше в лотерее.

Не прошло много времени, а налаженный механизм канцелярии начал сдавать. Томка снова приходил на работу непроспавшийся. Его доклады шефу потеряли прежнюю ясность и сжатость, расходные книги пестрели подчистками и исправлениями. Он стал вспыльчивым, потерял присутствие духа.

И наконец дождался того, чего ежеминутно опасался. Во время выборов агитируя за своего шефа на собрании избирателей, он столкнулся с доверенным лицом противника, с таким же, как и он, поверенным. Они схватились, как настоящие гладиаторы. И в какой-то момент его противник вдруг вспыхнул и с омерзительной усмешкой ткнул пальцем в его сторону:

— Нетрудно заключить, дорогие избиратели, что у него за хозяин, если он держит у себя на службе этого... этого каторжника!

Он побледнел, а со всех сторон на него ливнем хлынули издевки и ухмылки.

По испытующим взглядам горожан он уже давно догадывался, что и сюда дошел слух о его прошлом и что правду скрыть не удастся.

Адвокат в ярости и раздражении отказал ему от места.

— Навлечь на меня такие неприятности, такие неприятности! И как раз в это сумасшедшее время!

Вот тогда Янош запил, и пока не пропил и месячную зарплату, и всю свою одежду, он не думал ни о чем, кроме вина.

Зимние холода и голод заставили его вспомнить о монастыре. В каком-то кабаке, в Бачке, от какого-то албанца, пильщика дров, он услышал, что в сремских монастырях можно вольготно прожить. Никто никем не интересуется. Живут, мол, с песнями и умирают без мук.

Теперь-то он понял — албанец все врал. Может быть, он никогда даже не бывал в Среме. Может быть, он сам мечтал о покое и об укромном уголке и себе в утешение и радость придумал этот рассказ и этих людей.

...А что такое жизнь? — терзал себя Янош Томка. И трезвый, как стеклышко, а заносит тебя в сторону, как пьяного. Не можешь разобраться ни в словах, ни в делах, а где уж там до конца понять себя или людей вокруг. Идешь, куда тебя ведет нюх, вещи распознаешь по запаху, а не по весу и объему. И поэтому в переломные, решающие и страшные минуты оказываешься в положении человека с завязанными глазами, который набрел на острие ножа или угодил в логово чудовища. Оплели тебя чужими волосами, словно привязали к конскому хвосту и тащут, бьют, рвут на части...

Поэтому лучше пить, тогда хоть не понимаешь, что пьян, и видишь, что многие трезвые пьянее тебя.

Он пришел сюда, чтобы просто жить, чтобы его забыли и он сам все позабыл. Чтобы не видеть дальше своего носа, чтобы думать лишь на двадцать четыре часа вперед, чтобы делать только то, что сегодня надо закончить до того, как лечь спать, и на следующий день снова заниматься положенным делом. Словом, не выходить из круга лишь самых близких по времени или в пространстве вещей — топора, сухих поленьев, всего того, что можно взять в руки и что лишено дара слова. Избыть свои дни и свою силу. Не думать ни о чем — это ведь прекрасно, это лучше, чем утопиться в тяжелую минуту вроде той, что, например, сейчас.

Но здешние люди не дают ему даже дышать. Им хотелось бы разорвать его на куски, как поминальную лепешку и сожрать.

Мацко другой. Когда ишак кладет шею к нему на плечо — это так приятно согревает; когда он ест, Мацко тянется к нему своей большой головой, смущенно жмурится, и молчит, ласково заглядывая в глаза, и прижимается, как ребенок. А стоит Яношу нахмуриться, Мацко незаметно отведет голову, спокойно отойдет в сторонку и ляжет под кустом, возле родника.

Он любит Мацко, потому что тот тихий, скромный и ласковый, потому они и делают ему гадость за гадостью. Надо бы быть умнее, выше этого, но душа не позволяет, внутри все теперь кипит, уже не совладать с тоской и горечью, и над мирным полусном тает и редеет желанная, таинственная дымка.

Из кухни начали поступать жалобы, что дрова для растопки недостаточно мелко наколоты. Янош, не ожидая звонка на обед, забивал топор в колоду и спешил на кухню, явно не скрывая того, что хочет помешать пересудам. Его угрюмое молчание, то, как он сидел, хмуро уставившись в пол или на стену, вызывали еще более едкие насмешки. Он как будто испытывал силу своей выдержки, но обходилось это ему дорого.

Он придирался к еде, демонстративно отталкивал от себя тарелку с пустой тыквой без мяса.

Кухарка плакала и ходила жаловаться игумену.

Когда игумен призвал его к ответу, он оправдывался тяжелой работой, неуважением к нему, издевками монастырской братии, глупой и наглой, не знающей порядка, словно это не монастырь, а постоялый двор.

Дрожа от негодования, однажды он спустился в кухню и, подойдя вплотную к кухарке, взвизгнувшей от страха, презрительно бросил ей в лицо:

— Гусыня!

Это уже означало военный ультиматум. Естественно, более слабая сторона, без союзников, или, точнее сказать, с единственным союзником — старым, длинноухим, парнокопытным, заранее была обречена на поражение.

Разве дело жить с ослом в такой дружбе? Так можно, мол, и самому перенять все ослиные повадки и привычки.

По утрам вся челядь выбегала на галерею смотреть, как Янош погоняет Мацко. Алекса совершенно серьезно пояснял, тыча в них пальцем:

— Видите, разве я не говорил, сбоку он уже вылитый осел. Еще неделя, другая — и его не отличишь от Мацко.

Взрыв смеха. Некоторые тряслись и хватались за живот. Женщины, хохоча, садились на корточки, а отец Севастьян рукавом вытирал глаза — до слез насмеялся. Да и игумен не пытался сохранить обычно строгое выражение лица. Янош свирепел, но не сдавался. Но чем сильнее он кипятился, тем выглядел смешнее.

Однажды он сорвался, отодрал планку от скамейки и швырнул ее в своих мучителей, а потом закрылся в дровянике, в ярости разбросал с таким трудом уложенные поленницы и проплакал там целый день. Только вмешательство игумена и отца Феофана кое-как привело его в себя.

В тот вечер издевки и смех словно бы прекратились, и Алекса, прикидываясь, как будто очень сожалеет о случившемся и не сможет пережить, если они не помирятся, уговорил наконец Яноша в людской выпить стаканчик в знак примирения.

Янош сначала не решался, а потом напился в стельку. Над ним издевались, но он ничего не замечал.

Часам к одиннадцати он свалился замертво пьяный. Около двенадцати, когда и остальные изрядно накачались и без всякого опасения заголосили пьяные песни, он подпер руками голову и заплакал. Потом обнял послушника Алексу и начал говорить:

— Подло, что вы надо мной издеваетесь. Зачем вы меня изводите? Кого я обидел? Дайте мне спокойно дожить свои дни и умереть. Мацко и тот добрее вас. Только у него здесь и есть сердце...

...Вы что, думаете, я совсем пропащий? Я лишь пострадал, и то, что случилось,— не я сделал. Какой-то дьявол вселился в меня. Но теперь это уже неважно. Я триста раз искупил свою вину. Мне нужен только покой...

...Неужто вы такие невежды, что не можете понять, кто вы и кто я? Я выше любого из вас. Я учился в гимназии. Я и сейчас мог бы вести двойную бухгалтерию. А вы — вы даже читать не выучились! Едите, пьете, путаетесь с бабами и сплетничаете. Я выше вас, но я не собирался вам этого показывать, я хотел затеряться среди вас. Все вы злые и вздорные. Только у меня да у Мацко есть здесь душа и сердце.

— Так вы же родные братья! — возмущается садовник Илия.— Давай-ка лучше сыграем в очко, раз ты такой «антиллигентный». Да ты просто дурень и босяк, тебе по дворам ходить да горшки лудить...

Алекса перестал слушать и запел:

— Кастрюли чиним, горшки, котлы лудим!..

— ...Братья у меня господа. Один — в Великом Варадине, на железной дороге, начальник станции, другой — в гимназии преподает, в Пеште. И я раньше в Пеште в банке служил. Какое богатство, какое богатство! И золото и банкноты, большие, зеленые, жирные банкноты. ...Это и был мой конец! — Он ударил кулаком себя в грудь, махнул рукой, словно стирал пыль со стола или отгонял дым от лица.— Все, все прошло! Но этого никогда не забыть; это убивает. Э, да что говорить! Все прошло...

— Рассказывай кому-нибудь другому. Найди других дураков, кто тебе поверит! У господ таких носов не бывает. Лудильщик ты или стекольщик. Когда к нам заявился, от тебя замазкой несло. Будь ты из порядочной семьи — не пришел бы сюда, не взял бы в дружки Мацко,— заключил садовник, омерзительно осклабившись.

Алекса во весь голос заладил одно и то же:

— Стекла вставляем! Стекла вставляем!

Янош пробормотал что-то, тяжело встал, собрался с силами и, покачиваясь, вышел, после того как ему вылили недопитую чарку за шиворот.

Утром он вернулся из села, добитый самогоном. Его ругали, а он, заплетаясь одеревенелым языком и не в силах повести левым глазом, который стал похож на застывший шар, подходил то к одному, то к другому и доказывал, что он культурный человек и никто не имеет права его унижать. Но все посылали его спать.

Отрезвев, он тихонько поднялся с постели, чувствуя жгучий стыд. Что будет? Вероятно, ночью он выдал себя, и теперь его выгонят. Кто навозил воды? Может быть, осла мучили и не накормили. Надо идти к игумену, просить прощения и защиты.

Его встретили руганью и смехом. Из сарая выглядывал Мацко. На боку у него известью было написано имя — Янош.

В людской каждый старался его уколоть, а он, в доказательство, что не пьян, повторял свой рассказ о гимназии. Но и трезвому ему никто не верил. Игумен отругал его, но он и его убеждал, что ни в чем не виноват и что он не ровня другим: грамотный! Игумен гнал его вниз: мне нужны твои руки, а не грамота. Может быть, газеты тебе выписывать? Ты дрова мне пили!

В тот же день он снова напился, читал какое-то стихотворение Петефи и говорил, будто знает английский язык, чего «даже сам ваш патриарх со своими епископами не знает». Спустя две недели Янош окончательно спился. Сломя голову бежал, заслышав звон ключей от погребка, и мог унижаться и ползать на коленях, выпрашивая у Алексы стакан сивухи, который выпивал залпом, жадно и торопливо, будто опасаясь, что вот-вот его хватит удар и он не успеет допить.

Игумен уже подыскивал ему замену, на случай, если он не возьмется за ум. Янош плакал, валил вину на монастырскую челядь, которая не дает им с Мацко покоя, считает его бродягой и мошенником, да и высокопреосвященство с ними заодно, а это ему очень обидно.

Однажды, когда Яноша снова довели до слез, высмеяв его рассказы о гимназии и любви, он, озлобленный, выбежал из монастыря. В поле его радостно встретил Мацко. Осел ласково заглядывал ему в глаза, бил копытом, хвост его жалобно повис. Янош расстроился. Ему показалось, что Мацко укоряет его за то, что, ссорясь и пьянствуя, он забыл о своем друге.

Он обнял его голову и, всхлипывая, поцеловал между большими беспокойными ушами.

— Мацко, Мацко, милый мой Мацко! Никто нас не любит. Все нас бросили. Только я тебя люблю, старый мой осел, товарищ мой. Я ведь вижу, как иной раз сверкнут твои глаза,— знал и ты лучшие деньки. Сочную траву щипал на широких, раздольных лугах, нюхал полевые цветы, забавлялся с колючим репейником. Тебя убаюкивал перезвон овечьих колокольчиков, веселило нежное блеяние еще слабеньких пушистых ягнят. А когда летними вечерами поблизости оказывалась молодая, с пепельной шерсткой соседская ослица с восхитительными крепкими боками, ты волновался, беспокойно поводил ушами, по нескольку раз бросался в сторону от избытка сил, а потом, раздув ноздри, задрав в небо голову, кричал хриплым, неумелым голосом, однако полным молодости, необузданной страсти и любви. Ты был красавец тогда, дорогой мой дружище Мацко! ...И я был другим. Но мне здесь никто не верит. Ты один можешь мне поверить...

Мацко положил голову на плечо Яноша, словно хотел получше расслышать жалобный рассказ своего друга, который совсем расчувствовался и говорил уже прямо в

большое ишачье ухо, щедро поливая его слезами. Время от времени осел прикрывал глаза. Очевидно, он был растроган и, как мудрец, медленно кивал головой, чтобы утешить Яноша и показать, что он все понимает.

— Прости, мой дорогой Мацко, что из-за меня и над тобой издеваются. Они хотят мне напакостить, а ты за это расплачиваешься, но знай, я тоже страдаю, когда они тебя мучают. Если б мы были помоложе, оседлал бы я тебя и сбежали бы мы отсюда, а так что делать? Не бойся, Мацко, недолго твой дружок здесь протянет. Чувствую, опять зашаталась подо мной земля. Уйду я отсюда. Может, меньше станут измываться над тобой, но уж, конечно, и не накормят, как следует, старый мой товарищ!..

Янош вздрогнул, услышав громкий смех. Поднял голову и окаменел. Столпившиеся монастырские гости глядели на него и громко смеялись, обнажая красные десны, а среди них, протирая очки, стоял управляющий тюрьмы в Митровице, которого Янош узнал с первого взгляда. Он его видел однажды в Илаве, куда тот заезжал, вероятно, по служебным делам.

Янош побледнел и бросился бежать. Напрасно его звали и пытались выманить из дровяника — полупьяный, он дрожал, забившись в темный угол.

Но Алекса придумал, как его выманить. Вскоре Янош услышал, что весь монастырь гудит от громкого крика, смеха, беготни. Он тотчас догадался, что все это как-то связано с ним. Прислушавшись, он различил отдельные восклицания и бешеный топот копыт по мощеному монастырскому двору.

Янош резко распахнул двери. Он решил спасти ишака и навсегда расстаться с монастырем.

На галереях возбужденно толпился народ, почти вся обитель. Мацко, несмотря на свой десятилетний водовозный стаж, вертелся на месте, скакал, брыкался, налетал на заборы, скамейки, строительные леса. Он кувыркался, тряс головой, вероятно, от боли; махал ушами и сокрушал все, что попадалось на пути. Дважды он бросался на церковные стены, а монастырская братия облепила окна галереи и теснилась в дверях, слышался смех и ругань. Некоторые, правда, жалели животное.

Наконец Мацко кое-как удалось добраться до ворот, он выскочил со двора и помчался по дороге, фыркая и широко раскрывая рот.

Янош кинулся за ним.

— Какой-то подлец поджег трут у него в ушах. Мацко, родной, остановись, остановись, ради бога!..

Но Мацко не оборачивался, он опрокинул скамью, наскочил на вяз и полетел вниз по откосу. Здесь Янош нагнал его, протянул руку, чтоб удержать и вытащить из ушей зажженный трут, ласково уговаривая его, как ребенка. Но Мацко вздрогнул, поднялся и, собравшись снова бежать, вскинул зад, ударил копытами Яноша в грудь и понесся по узкой тропинке куда-то в сторону хутора.

Янош сразу обмяк и сплюнул кровью. Работники, монахи, гости и кухарка, побежавшие за ним, чтобы посмотреть, чем это кончится, задыхаясь от смеха, оказались рядом как раз в тот момент, когда он упал. Его окружили, смех стих.

Яноша подняли, и в тот же вечер отправили в городскую больницу на подушках, в выездной карете игумена.

Гости, расстроенные, разъехались, а игумен закрылся у себя в келье. Он не вышел к ужину, а его помощник, отец Феофан, изругал Алексу за то, что тот позволил «этому олуху словаку так налакаться». Кухарка плакала.

Янош не приходил в сознание. Спустя несколько часов он умер. Произошло кровоизлияние в легкие, так как грудная кость прогнулась и треснула.

Игумен сожалел о случившемся, но отказался платить за больницу и похороны. Ему пригрозили подать в суд. Тогда он написал письмо в Великий Варадин, начальнику железнодорожной станции Ференцу Томке. Но ответа не получил. Дело рассматривали гражданские и церковные власти.

А Мацко в тот день исчез.

Когда осел чувствует приближение смерти, он прячется так, чтобы его никто не нашел. Через три дня на его труп набрели собаки. Они прибежали из леса, громко лая, с клоками шерсти в зубах. Осла приволокли и ободрали на виду у всего села и перед игуменом. Мацко жалели, много говорили о нем, а теперь он лежит у ручья, красный и безобразный, с поднятыми вверх ногами.

Окрестные собаки собираются вокруг него и по ночам заунывно воют.

1909

Наш учитель

Когда отец, взяв меня за руку, повел записывать в четвертый класс к господину Йовану Чутуковичу, сердце у меня под новой курточкой колотилось отчаянно. Волнение мое объяснялось отчасти тем, что мне было жалко расставаться с каникулярными штанами, в которых так удобно лазить под мосты и взбираться на деревья в чужих садах, отчасти уважительным трепетом перед бородатым учителем, а отчасти и гордостью, переполнявшей мою душу. Надо вам сказать, что в школу я шел, сжимая под мышкой новые учебники: хрестоматию, задачник, географию. Они были толще, в более плотных переплетах, с множеством картинок и стоили дороже, чем разные там буквари и библейские сказки. И пока господин учитель смотрел на меня сквозь большие выпуклые стекла черных очков и серьезным, замогильным, хотя и добрым голосом подбадривал, говоря, что жить мы будем дружно, надо только вести себя хорошо, я разглядывал его длинную мягкую волнистую бороду, которая плавно колыхалась при каждом его слове, и размышлял, почему учитель не носит черный галстук, как мой отец и другие господа, и как — о боже — он выглядит, когда умывается. Учитель мне понравился, хотя я и не перестал его бояться. В школе про учителя четвертого класса говорили, что он строгости необычайной, но, правда, никогда не бьет. Первое мне было вполне понятно, а второе просто не укладывалось в голове. Какая может быть строгость, если не бить учеников тростью по рукам? Это казалось мне загадочным и внушало страх. Но все же в моем трепете перед учителем больше всего было уважения к его почтенному возрасту. До сих пор моими учителями были люди молодые, которые смеялись вместе с нами,

играли в мяч и нередко посылали нас отнести цветы их хорошеньким барышням. Помню, что во втором классе, возвращаясь домой, я всегда делал круг, чтобы пройти мимо дома дьякона и посмотреть, как торчит под окном дьяконовой дочки Анки господин учитель Паица и как он постукивает тросточкой по своей туфле. Я считал своим долгом громко с ним поздороваться, но он почему-то меня не замечал. Тем не менее это доставляло мне громадное удовольствие, и всю дорогу домой я смеялся.

Едва мы вышли из школы, я вопреки запрету отца помчался прямо домой, чтобы через забор подразнить соседскую девчонку Мацу, которая перешла лишь во второй класс. Я покажу ей сквозь штакетник страшные, огромные и длинные числа в задачнике, запутанные горбатые дроби — настоящие ребусы для семилетней рохли, которая только и знает, что облизывать губы, есть зеленые абрикосы, баюкать куклу да ходить с ней по гостям. Она, разумеется, вытаращит в изумлении глаза и — вот индюшка! — пустится наперед реветь, едва услышит, что таблица умножения — пустяки по сравнению с проклятыми дробями. По пути домой я то и дело совал нос в новые учебники, наслаждаясь запахом бумаги и свежей типографской краски.

Не прошло и месяца, как мы полюбили своего учителя. Незаметно для себя мы настолько привыкли к нему, что все наши разговоры так или иначе вертелись вокруг него. Когда мы играли в школу, Мита, умевший всех передразнивать, превосходно копировал походку, движения и голос учителя. Особенно здорово у него выходило, когда он, подражая господину Чутуковичу, поднимал карандаш, опускал его и барабанил им по столу или, совсем как наш низкорослый учитель, становился на цыпочки, стремясь дотянуться до верха доски, что, учитывая возраст учителя, выглядело весьма забавно. Правда, над господином учителем мы никогда не смеялись, мы смеялись над Митой. Во сне мне часто снились уроки. Я знал каждую морщинку на лице учителя и любил смотреть на его пухлую старческую руку с широким перстнем, когда он, объясняя, клал ее на мою скамью. Мы так быстро привязались к нему, что, встречаясь со своими старыми учителями, я чувствовал себя неловко, словно я у них никогда не учился.

Не было случая, чтобы учитель ругал нас, но стоило кому-нибудь поднять в классе шум, как он прерывал рас-

сказ, поворачивал свои круглые черные стекла в сторону провинившегося, и тут же наступала тишина, какая и в церкви редко бывает. А виноватого мы сами награждали тычком в бок. Учитель никогда не смеялся. Однако, рассказывая что-нибудь веселое, он повышал голос и говорил запинаясь, будто боролся с душившим его смехом, а мы, затаив дыхание, точно мины, готовые вот-вот взорваться, неотрывно глядели на его кривившиеся губы. В черных окнах очков нам мерещился блеск его глаз. И едва улыбка разливалась по лицу учителя, по классу проносился вздох облегчения, за которым следовал громовой хохот. Учитель размыкал губы, чуть заметно вздрагивал и, словно застыдившись, снимал очки и сосредоточенно вытирал стекла и уголки глаз большим голубым платком. Для нас это были минуты радости, мы оживленно переглядывались: «Смотрите, Чича-то [1] наш, а?!» Расходясь по домам, мы только о нем и говорили, останавливались, смеялись, размахивали руками, позабыв о поджидающем нас дымящемся пахучем супе, а за обедом надоедали домашним рассказами об учителе. Сейчас я не мог бы объяснить, почему, но тогда в его мигающих красных глазах, которые почти не знали солнечного света, нам виделось что-то доброе и родное; его слабые кротовые глазки мы, быть может, за то и любили, что они всегда скрывались за таинственными мрачными черными очками.

Мы были настолько полны учителем и его рассказами, что матери подчас ревновали нас к нему.

— Господи, что вы такое нашли в своем учителе! Надо будет у него поучиться, как вас держать в руках! — говорила моя мать, но и ей была приятна моя привязанность.

Самого красивого голубя я звал Чичей, а на ярмарочной площади мы, не сговариваясь, окрестили Чичей мяч, лучше всего сплетенный и самый прочный. Более того, помню, что несмотря на укоры родителей, я постоянно допытывался у отца, правду ли говорит тот или иной учитель, рассказы же Чичи я только подробно пересказывал, ни разу не усомнившись в их правдивости.

А рассказывал Чича великолепно! Все уроки он превращал в чудесные рассказы — по крайней мере, нам так казалось. Он не придумывал, скажем, какого-нибудь Ми-

---

[1] Дядя, уважительное обращение *(сербскохорв.)*.

лана — олицетворение благонравия, учтивости и прилежания, и, наоборот, какого-нибудь Йоцу, который, разумеется, был само зло, непослушание, разболтанность. Учитель рассказывал о самых обычных вещах, о которых пишут в учебниках, но в его устах они оживали, становились близкими, понятными, привлекательными и незабываемыми. И теперь, когда я представляю себя сидящим на второй парте, исчерченной и изрезанной внутри именами моих предшественников, а снаружи изборожденной царапинами по желтой масляной краске, и неподвижную фигуру учителя за кафедрой, его длинную спокойную бороду и глубокий тихий голос, я понимаю, что только наша большая любовь придавала его словам обаяние, обвивая их мягким шелком материнского платка. Вот он произнес: «Дети!» — и класс, словно колосья в поле, неслышно качнулся. Каждый усаживается поудобнее и, скрестив руки на груди или облокотившись на парту, остается в такой позе до самого звонка. Он рассказывает об Иисусе, и мы, улыбаясь про себя, видим, как Иисус шагает пустынными ливанскими тропами; вот он говорит о Дунае, и ручейки дождевой воды, текущие в половодье вдоль заборов, на наших глазах, глазах детей равнин, оврагов и поросших осокой болот, бурлят, ширятся, разливаются; или он берет мел и принимается выводить красивые, словно напечатанные цифры, а мы, по-прежнему недвижимые и притихшие, пожираем их глазами, мысленно прыгаем по ним, переставляем, стараясь первыми угадать, что еще напишет Чича. Невольно мы отдавались радости безмолвного духовного общения со старым учителем, и он, видя перед собой сотню глаз, устремленных в его очки, испытывал то же чувство. И если первую фразу учитель произносил будничным тоном, как обычное дружеское приветствие, то потом, чем сильнее он ощущал биение детских сердец, тем убедительнее говорил, а в его голосе все больше чувствовались твердость и молодой задор. Мне вспоминаются минуты, когда мы, увлеченные и целиком поглощенные его рассказом, забывали, где мы, кто мы, и лишь неотрывно следили за двумя светлыми точками в стеклах его очков. Нам казалось, что сквозь эти черные окна мы видим на его глазах слезы, и сердца наши замирали; все границы между ним и нами стирались — мы были в нем, он в нас; юные кипящие души жадно впитывали его мудрые слова. И самого его охватывал трепет непосредственного сози-

дания, и от этой близости с увлеченными птенцами на его лицо возвращался румянец, он тоже забывал обо всем на свете — и о доме и о могилах, и я уверен, спроси его в этот момент, есть ли у него дети, он бы показал на нас.

А между тем у господина Чутуковича была дочь.

Когда озорно и пронзительно звенел звонок, учитель поднимал голову и замолкал. Лицо его постепенно приобретало обычную суровость; мы выходили из класса с горящими ушами и только на улице принимались гомонить.

Чича жил неподалеку от городского парка с женой и дочкой. Об этом знал каждый ребенок в городе, знал и я, но раньше его дом в моих глазах ничем не отличался от других домов, мимо которых я проходил, а его жена и дочь — от других дам и барышень, перед которыми, здороваясь, я снимал шапку. Теперь же они заняли в моем сознании особое место. Часто, проходя мимо четырех маленьких окошек их дома, я замедлял шаги и видел чистые зеленоватые стены, белые как снег кружевные занавески. Я любил, преодолев робость, заглянуть в тяжелые еловые, выкрашенные темной краской ворота, когда они были приоткрыты. Оттуда доносился запах жасмина, а если дело было вечером,— пьянящий аромат флоксов и белых звездочек ломкого и сильного благородного табака. Виноградные лозы покачивались за воротами на натянутых нитях, а в глубине двора, перед крыльцом, обвитым хмелем, улыбались абсолютно круглые, обложенные черепицей клумбы с кокетливыми анютиными глазками и огненными геранями. У входа стояли ядреные и важные молодила с мятыми толстыми листьями, которые, если их надуть, становятся похожими на зеленых лягушек.

Меня преследовало страстное желание войти в этот дом, отмеченный какой-то особой тишиной и опрятностью. Учитель изо дня в день оставался все такой же — серьезный и официальный; на нем самом, на его поведении — и не только в классе, но и на улице — лежал отпечаток его профессии, и нас разбирало страшное любопытство: как ведет себя учитель в собственном доме, в кругу своих, способен ли он, как все люди, говорить о пустяках, не имеющих ничего общего ни с арифметикой, ни с географией; как он работает в саду, подвязывает и прививает дикий виноград; как говорит с женой о дороговизне на рынке; как, сняв пиджак и развалившись в кресле, слу-

шает щебетанье своей любимицы, гладит ее волосы, целует в лоб...

Потому-то я и приставал к отцу с расспросами: что делает господин учитель в читальне, что читает, с кем и о чем разговаривает, играет ли в карты? Я хохотал до слез, узнав однажды, что учитель увлекается картежной игрой. Да еще на деньги! Я никак не мог представить его себе за зеленым столом, в дыму, среди окурков, не мог вообразить, как его добрая полноватая рука сдает карты или сгребает чужие деньги, а вокруг плюют на пол и говорят гадкие, непонятные слова. Тем не менее я с нетерпеньем ждал завтрашнего дня,— мне интересно было посмотреть, не будет ли дрожь в руках или сонливость в голосе выдавать в нем заядлого картежника, и вообще, проверить, изменилось ли что-нибудь в его столь знакомом мне облике.

Для нас он был существом, стоящим высоко над нами, мы не замечали у него ни одной слабости, ни одной привычки, какие наблюдали у других — наших отцов и братьев; потому-то мы и старались подойти к нему поближе и чуть ли не на ощупь удостовериться, такой ли он человек, как наши родные и близкие, или он только учитель. Потому-то каждый раз мы горячо, до тумаков препирались за право оказать учителю личную услугу.

— Разрешите мне! — вопили мы наперебой, вскакивая из-за парт, тянули руки выше голов и шевелили в нервном нетерпении пальцами, когда в дверях класса появлялся учитель со свертком под мышкой.

И если учитель удостаивал своим вниманием меня, я стремительно вскакивал и, невзирая на зимнюю стужу, без шапки, в пальто нараспашку, счастливый, мчался вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, подгоняемый страхом, как бы Чича не передумал и не послал вместо меня другого. А Чича стучал пальцем в окно, качал головой и кричал мне вслед:

— Застегнись, Милутин!

Встречала меня жена учителя, высокая, очень полная дама. Она и дома ходила в трауре, а глаза у нее постоянно были опухшие и заплаканные. Даже когда она благодарила меня, ласково поглаживая по щеке, улыбка у нее получалась печальной, болезненной и натянутой. Она и трех слов не могла произнести, не сопроводив их скорбным вздохом. Но я почти не смотрел на нее, бросая беглые взгляды вокруг и стремясь удержать в памяти убранство

коридора и комнаты. Барышня Владислава обыкновенно или играла на фортепьяно, или читала, сидя у окна на круглой вертящейся табуретке. У окна находилось возвышение, покрытое сербским ковром, так что, если смотреть с улицы, можно было видеть барышню по пояс. Комнаты дышали свежестью, чистотой и ароматом неизвестных духов, напоминающих запах заморских фруктов. В простенке между окнами теплилась красная лампада, висевшая перед русской иконой богородицы, в золочено-медном окладе которой чернели большие глаза и серьезное, старообразное лицо младенца Христа. Другая лампада мерцала на столике со старыми, выцветшими фотографиями. Моя мама говорила, что на них изображены умершие дети учителя.

В городе было известно, что учитель похоронил трех взрослых детей: двух дочерей на выданье и сына-юриста. Я помню только последние похороны. Стояла поздняя дождливая осень. В церкви царил полумрак; от сильно пахнувших осенних роз и толстых разноцветных восковых свечей не продохнуть. На хорах расположились члены хорового общества; одной из певиц сделалось дурно, и наверху поднялась суматоха. Когда священник и хор на мгновение замолкали, своды церкви оглашались судорожным плачем матери и сестры и приглушенными причитаниями. Учитель же только согнулся еще больше, а плакал он или нет — из-за черных очков никто не видел. Но когда мать, упав на гроб сына, дерзко посылала грозные проклятия священникам и самому богу, он схватил ее за руки и принялся успокаивать:

— Успокойся, Наталия, умоляю тебя, успокойся, не гневи бога! На все воля божья!

С тех пор у госпожи Наталии всегда заплаканные глаза; из дому она выходит только в церковь к вечерне и на кладбище. Как-то на кладбище она встретилась с моей матерью и со слезами жаловалась ей, что она, к стыду своему, все полнеет. Мать утешала ее, говоря, что это от того, что она много плачет.

Господина учителя никто никогда не видел плачущим. А я так даже ни разу не видел, чтобы он шел вместе с женой или дочкой. Изредка Владислава останавливала его на углу перед церковью, тихо говорила что-то с улыбкой, с какой барышни обращаются к незнакомым мужчинам, а он серьезно выслушивал ее, бросал несколько слов и, вытащив бумажник, давал деньги.

— Целую руку, папа!

— До свиданья!

Разумеется, он любил свою дочь. Но это была какая-то странная любовь, и у нас за столом часто приходилось слышать разговоры о том, что учитель — единственный человек на свете, который с такой легкостью перенес страшные удары судьбы. Любой другой на его месте потерял бы рассудок или умер, а он живет себе, словно ничего и не случилось. Это никак не укладывалось у меня в голове. У всех у нас были отцы; они часто приходили за нами в школу, проверяли уроки, сидя за накрытым к ужину столом, и не стеснялись иной раз повозиться с нами на полу или на постели. И если случалось, что отец за весь день ни разу не поцеловал меня или за столом не перекинулся со мной взглядом, я не находил себе места, решал, что в доме произошло что-то неладное, копался в собственной совести, а ночью, притворившись спящим, прислушивался, спят ли отец с матерью или шепчутся. А когда отец набирал огромный букет красных и желтых роз и, срезав шипы, преподносил барышне Владиславе, забегавшей иногда к нам на минутку и непрерывно взглядывавшей при этом на маленькие часики у пояса, та, улыбнувшись, говорила:

— Боже мой, разве бы стояли у меня на окне розы, если бы не вы?

— Да у вас же в саду их полно!

— Отец не разрешает срезать ни одного бутона!— отмахивалась Владислава.— Это, говорит, вредно розам. И потом — зачем они тебе? Женская забава! Он меня воспитывает, как сына.— Она смеется, на лице ее, обычно бледном и суховатом, появляется румянец, и тогда она хорошеет.

Романы и повести Владислава читала тайком от родителей — брала их у моей сестры. Отец покупал ей только путевые записки и серьезные книги. И она привыкла к этому. Физику, математику и химию Владислава знала лучше моего брата, выпускника гимназии. Своими познаниями она страшно гордилась, и в городе ей этого не прощали. Ходила она всегда прямо, роста была высокого и любила носить платье «принцесс» из клетчатой или полосатой английской шерсти. Всю прошлую зиму она читала словарь Брокгауза. Как-то мой отец в разговоре с ней сказал, что такое чтение лишено смысла и что словарь предназначен для иных целей. Замечание задело ее,

она покраснела и, усмехнувшись, ответила, что зато ей не так легко вскружить голову, как другим девушкам. Она и замуж-то не хочет выходить — молодые люди так пустоголовы и легкомысленны! На вечеринках Владислава не танцевала. Молодые люди и вправду побаивались ее. Разговаривали с ней только на серьезные темы и крайне принужденно, так как она, точно кошка на мышь, бросалась на малейший промах в их речи. Девушка утверждала, что она без всякого страха отправилась бы в большой мир, но отец не отпускал ее одну даже к родственникам.

Владислава слыла не бесприданницей, однако, пока ей не исполнилось двадцать четыре года, отец не пускал на порог ни одного жениха. А теперь — я слышал такие разговоры дома — она стала настолько разборчива и капризна, что и сама не знает, чего хочет. Вечно недовольная, напичканная дурными, «научными», представлениями о мужчинах, она отталкивала молодых людей и своей манерой держаться, и странными вопросами. Сейчас, на двадцать седьмом году жизни, ее отличала душевная неуравновешенность и угрюмость перезрелки, юность которой прошла вяло и бесцветно. Мать понимала состояние дочери, огорчалась, но уже исчерпала все подручные средства домашней дипломатии, с помощью которых окольными путями сначала доводила до ее сведения имя очередного претендента, чтобы потом, постепенно и деликатно, настроить дочь благосклонно к намечаемой партии. Многих слез стоила матери и эта — живая — дочь; мать видела, что родная дочь презирает ее.

— Знаю, ты у меня умница,— исподволь начинала несчастная госпожа Наталия,— но, видишь ли, надо все-таки жить, как все люди живут, и, наконец, ведь от бога это. Вчера вот тетушка Ната сказала мне, что один прекрасный молодой человек, с положением...

— Перестань, оставь меня в покое, брось свое старушечье сватовство. Захочу выйти замуж — выйду, когда захочу и за кого захочу! — выкрикивала Владислава дрожащим голосом и, гордо вскинув голову, уходила в свою комнату и грызла там платок, неудержимо рыдая или смеясь.

У матери опускались руки, но мужу она не смела и заикнуться об этом. Он давал деньги, обедал, читал, возился в саду и ходил в школу.

Так протекала жизнь в доме Чутуковича, по крайней

мере, такой она представлялась горожанам. Мита, сад которого примыкал к саду учителя, рассказывал, что, спрятавшись в винограднике возле ограды, он не раз наблюдал, как вдруг со звоном распахивались стеклянные двери дома и Владислава, как всегда, внешне спокойная, прямая, только покусывая губы, спускалась по ступенькам и бежала к беседке в глубину сада. Там она падала на дубовый стол, плечи ее вздрагивали. Спустя некоторое время приходила мать, но девушка даже смотреть на нее не хотела.

— Оставь меня, оставь! Вы одни во всем виноваты! Сначала сделали из меня игрушку, «нашу гордость», утешение за могилы, а теперь вас грызет совесть и, чтоб ее успокоить, хотите выдать за первого встречного! Не хочу! Не хочу! Лучше умру тут, на ваших глазах, чтобы все видели, что вы сделали из ненаглядной доченьки!

Но вот появлялся отец, она вскакивала, торопливо приглаживала волосы на лбу и у ушей и, покусывая листочек, мурлыкала себе под нос веселую песенку.

Однажды господин учитель на уроке снова рассказывал. На этот раз о воздухе. Говорил он о нем так, как можно говорить, например, о столе, который стоит перед глазами и который ты в состоянии сдвинуть или пощупать. Урок о воздухе мы уже давно прошли, но по-настоящему не задумывались над тем, что это такое, как не задумывались над учением о безгрешном зачатии матери божьей. Несмотря на все старания, мы никак не могли уразуметь присутствие того, чего никогда не видели, никогда не держали в руках. Учитель предложил нам помахать перед лицом рукой; мы ощутили дуновение легкого ветерка. Это изумило и обрадовало нас. Да, здесь действительно что-то есть! Потом учитель сказал, что, не будь воздуха, люди бы задохнулись. Как — не будь воздуха? Разве может не быть того, что, по сути дела, ничто? Наши головы отказывались это понимать. Тогда учитель внес в класс столик с отверстием посередине и двумя рычагами. На столик он водрузил стеклянный колокол, вроде тех, которыми в гастрономических магазинах закрывают от мух сыр. И, к нашей неописуемой радости, вытащил из кармана шустрого, хоть и ошалелого, воробья. Сунул его под стекло; тот забил крыльями, застучал клювом по стеклу. Наконец он угомонился, сел посередине, нахохлился, втянул шею и замигал крохотными круглыми, блестящими, как черные алмазы, глазками.

— Как видите, дети,— продолжал Чича,— воробьишка прекрасно чувствует себя под колоколом, дышит, а подкинешь ему зерна — он вообще решит, что его пригласили в гости! Тихо! Пера, оставь крошки! И все потому, что под стеклом есть воздух, такой же, как в этом классе или на улице. А если выкачать из-под колокола воздух, бедный воробышек задохнется и погибнет. Ибо без воздуха, дети мои, жизнь невозможна, без чистого, вольного воздуха, каким сотворил его для нас господь бог!

Учитель привел в движение рычаги, воздух стал с шипением вырываться наружу. Воробышек забеспокоился, суматошно запрыгал, в последнем порыве сил забил крыльями о стекло и наконец упал, только сердце его еще билось — судорожно, учащенно и сильно. Учитель распахнул нижнее отверстие, воздух хлынул внутрь, и воробей начал медленно приходить в себя. Глазам его вернулся прежний блеск. Чича взял воробья в руки, и все увидели в раскрытом клюве на язычке капельку крови.

Как-то по дороге домой Мита шепнул мне на ухо:

— Приходи ко мне, я тебе что-то покажу.

Я сразу догадался, что речь идет об учителе.

Бросив книги и выпив залпом чашку кофе, с обожженным нёбом, я побежал к Мите. У них было два двора и большой сад. Наши игры во дворе или в амбарах, где мы любили скатываться с кучи нелущеной кукурузы, кончались обыкновенно тем, что отец Миты грозил нам кнутом. Тогда мы убегали в сад и там прятались. Сад этот сплошь зарос бурьяном и был засажен яблонями с побеленными стволами и персиковыми деревьями. Здесь мы могли беспрепятственно играть в разбойников, а в дни, когда мать Миты бывала нездорова и расхаживала по дому, обвязав больную голову, ворча и плаксиво ко всем придираясь, мы выламывали из стены, отгораживающей соседний сад, старые кирпичи, соскребали с них белый порошок селитры, разводили его в воде, наливали в старые пузырьки и играли в аптеку. С особым удовольствием мы забирались в глубину сада, к самому забору, где земля под мощными кронами уксусных деревьев всегда оставалась влажной, а под камнями жило множество червяков и бесцветных букашек. Отсюда было удобно наблюдать за всем, что происходило в учительском саду.

Когда мы оказались в саду, Мита с важным видом приложил палец к губам, что еще больше разожгло мое любопытство. Мы встали на два кирпича и прильну-

ли к ветхой, источенной червями доске. Я ничего не видел. Мита немилосердно тыкал меня носом в одну из дырок:

— Видишь? Направо!

Наконец я услышал голоса. И сквозь виноградные листья увидел в тени за столом Чичу и отца Душана, носившего прозвище отец Труба, так как он не мог говорить тихо, а Евангелие читал — словно прихожан отчитывал. Поп мурлыкал стихиру, а учитель гладил бороду, покашливал в кулак и, покусывая ус, задумчиво глядел на шахматную доску. Сделав ход, поп насмешливо тянул:

— Эх-ха-ха, следовательно, та-ак. А мы вас теперь по голове! Шах! С головы рыба тухнет, с головы рыба тухнет! — тянул он на манер «гласа пятого».

Владислава сидела рядом, обхватив руками колено и устремив неподвижный взгляд на доску.

— Отец, сделай рокировку!

Поп вызывающе глянул на нее и язвительно заметил:

— Барышня, это не вашего ума дело! Женщины в таких вещах не разбираются.

— Простите! — сердито отрезала Владислава и дернулась, когда поп, будто бы отечески, похлопал ее по плечу. Продолжая гнусаво напевать, шмыгать носом и разводить пальцами в воздухе, размышляя, за какую фигуру взяться, другой рукой — я видел это совершенно отчетливо — он стиснул колено Владиславы. Девушка сжала губы и с еще большим вниманием вперила взгляд в доску, в то же время силясь сбросить со своего колена руку мужчины.

— Эх, будь что будет! — радостно воскликнул поп, глаза его заблестели, и он поставил ладью против королевы учителя.— Шах и мат в два хода!

Побледневшая Владислава встала, изломанно, как кошка со сна, потянулась, отряхнула блузку, хоть на ней не было ни одной соринки, и медленно пошла к дому. У самого порога она обернулась. Приоткрыв дверь, обернулась снова, еще раз мелькнуло ее бледное овальное лицо и черные глаза. Тряхнув головой, она вошла в дом и решительно захлопнула за собой дверь.

Чича все это время теребил свою бороду и безмолвно переставлял фигуры.

— Дочка! — тихо позвал он и поднял голову.

— Владислава ушла,— отметил отец Душан фамильярным тоном.

— Что? — не понял учитель и снова опустил голову.

— Мадемуазель Влада! — крикнул поп, и в его голосе звучало удовольствие от возможности вслух произнести имя девушки.

— Воды,— пробормотал в бороду учитель.

— Принесите воды! — распорядился поп и неизвестно отчего засмеялся.

— Вы хотите сказать «пожалуйста, принесите»? — глухим строгим голосом сказала девушка, не глядя на попа.

— Ха-ха, я не прошу!

Следующую партию проиграл поп, и партнеры поднялись.

— Подождите, я только руки вымою,— попросил учитель и пошел к дому.

Владислава собирала в коробку фигуры. Поп Душан насвистывал.

Внезапно девушка вскинула голову и умоляющими глазами посмотрела на попа.

— Зачем вы так?

Поп ласково похлопал ее по щеке, нагнулся, будто что-то искал на столе, и быстро поцеловал ее в шею.

Она резко отшатнулась.

— Осторожно!

Поп забормотал богородицын кондак, перебивая его жгучим шепотом:

— Глупышка моя, глупышка!

Она улыбнулась; заслышав шаги отца, вытащила из блузки иголку и кольнула попа Душана в руку со вздутыми венами, похожими на шнуры.

Мита объяснил мне, что и вчера она так забавлялась.

Вся эта сцена изумила меня. Любопытство смешалось во мне со стыдом, что я шпионил и оказался свидетелем того, что твердо считал тайным и запретным. Когда учитель и поп Душан направились к выходу из сада и старик, застегивая сюртук, беззаботным, будничным голосом наказывал Владиславе, что приготовить на ужин, он впервые показался мне несчастным и жалким. Домой я пришел, мучимый сознанием тайны, как будто совершил страшный грех; точно урок из катехизиса, твердил я про себя: «Об этом нельзя говорить! Об этом нельзя говорить!»

Тем не менее за ужином, словно невзначай, я спросил мать:

— Разве отец Душан приходится учителю родственником?

Отец и мать переглянулись.

— С чего это тебе пришло в голову?

— Так, сам не знаю,— ответил я и должен был склонить голову к самой тарелке, потому что почувствовал, как кровь заливает мои щеки.

— Ты приготовил уроки на завтра? — прервал молчание отец.

Я поднялся и, уходя, услышал, как мать что-то шептала отцу по-немецки. Он же, пуская дым в потолок, говорил:

— Просто не могу понять!

На другой день в школе я был рассеян. Каждую минуту я ловил себя на том, что слышу голос учителя, но не понимаю, о чем он говорит. Я морщил лоб, напрягал внимание, пытаясь следить за его рассказом. Но через мгновение он снова как бы отдалялся от меня и я видел его точно в перевернутый бинокль: вместо головы учителя, уменьшившейся до размеров булавочной головки, мне мерещилась красивая, окладистая черная борода отца Душана, его крупные, глубоко посаженные черные глаза и мясистые губы, с которых в любую секунду могли сорваться и песня, и брань, и смех. Подобные головы я встречал на иллюстрациях в немецкой истории отца. Они красовались на плечах ассирийских царей с заплетенными волосами и бородой, и восседали те цари на колесницах, запряженных укрощенными львами. Правда, эти каменные изваяния были видны лишь в профиль. Отец Душан смеется и похлопывает Владиславу по тонкой бескровной щеке. Но почему она, такая гордая и неприступная, терпит это? Отец и мать наверняка никогда бы не осмелились потрепать ее по щеке. Она как-то говорила моей матери, что не любит целоваться ни с отцом, ни с подругами. Ее всегда тянет вытереть место поцелуя платком — до того противно. Она и не танцует потому, что все мужчины грязнули, даже после рукопожатия ей не удается как следует отмыть руки. На пальцах, как ей кажется, еще долго остается запах табака и трактира. И она — подумать только! — жала жилистую черную руку отца Душана и позволяла ему целовать себя в шею! Моя детская душа протестовала.

Сознавая, что поступаю отвратительно, я снова после школы отправился к Мите.

По пути мы встретили господина учителя с супругой — они ехали куда-то в коляске. Видно, снова на кладбище или на хутор, где у учителя была пасека. Я молча ждал, что мысль, промелькнувшую у меня, выскажет Мита, который отличался способностью говорить обо всем и при всех; ведь это только он мог передразнивать хромых, прекрасно зная, что тетка у Симы хромая.

— Ага, значит, они будут одни!

— Гм!

— Да, клянусь богом! — воскликнул он с такой радостью, словно напал на новое воробьиное гнездо.

Мита оказался прав. Отец Душан и Владислава прогуливались по саду и оживленно беседовали, но так, словно боялись, что их могут услышать в пустом доме. Он то и дело останавливался, хотел присесть, но она поворачивала назад прежде, чем они успевали подойти к беседке или крыльцу.

Он что-то говорил и все время пытался взять ее за руку, она же делала вид, что не понимает, чего он хочет.

Неожиданно девушка остановилась и прижала ладони к вискам.

— Но разве вы не видите, что это невозможно? — спросила она и, закрыв глаза, продолжала: — Я и сама не могу понять, как все это получилось! Я... я не знаю, чего хотите вы, не знаю, наконец, чего хочу сама. Можно с ума сойти... Смилуйтесь, умоляю вас, если любите меня, смилуйтесь!

Он взял ее за руку, и на этот раз она не отняла ее.

— Зачем мучить себя такими вопросами? На все я могу ответить только одним — я люблю тебя. Да, люблю. Для меня в этом и вопрос и ответ. Ни о чем другом я не могу думать. И когда я сказал, что люблю тебя, я сказал все.

Он хотел обнять ее, но она резко оттолкнула его:

— Уходите! Я ненавижу вас!

Он улыбнулся. Владислава сурово посмотрела на него, но он притянул ее к себе и поцеловал в волосы, а потом в губы. Девушка вся как-то поникла и, вздрагивая от рыданий, прильнула к его груди. Отец Душан гладил ее волосы и ласково, как ребенка, уговаривал. Голос его смягчился, и мне казалось: еще мгновение — и этот сильный, плечистый мужчина заплачет.

— Глупышка моя маленькая, букашечка! Видишь, какая ты у меня маленькая, хрупкая, ровно фарфоровая.

Первый ветерок подует и разобьет! Но я заслоню, защищу тебя!

И как больную, только что вставшую с постели, он медленно и осторожно повел ее в беседку и бережно усадил на скамью; она все еще плакала, пряча лицо в ладонях.

— Будь умницей, перестань! Глупышка ты, глупышка, даром что начиталась своих книжищ!

Владислава решительно подняла голову и открыла лицо, похорошевшее от слез и смущения.

— Почему ты меня мучаешь? Почему ты так груб со мной? Почему? Что я тебе сделала? Хочешь убить во мне гордость и стыд? Что за странная прихоть! Ну хорошо, ты сломил меня, растоптал мою гордость! Зачем тебе моя любовь? Не хочу, не хочу слышать твой гадкий смех! — И Владислава зажала уши ладонями.

Отец Душан горько усмехнулся, медленно отнял ее руки от лица и задержал в своих.

— Ну что ты говоришь! Ведь я тоже человек, хоть и в рясе! — И он с мрачной яростью поднял подол рясы к ее глазам.— Да, хоть и в рясе! И во мне бьется сердце! Когда я в первый раз увидел тебя, оно застучало у меня вот тут — в горле, а в груди все захолонуло от боли. Сам дьявол заставлял меня изводить тебя, доводить до слез, и все, наверное, из-за того, что ты презираешь меня. И с самой той поры, как вижу тебя, колет в груди, и нет мне покоя, и нет мне без тебя жизни! Кем я был до сих пор? Голодным гимназистом и семинаристом, который, как собака, бродил вокруг вонючих кухонь, боясь попасться на глаза хозяевам. А закончив учение, должен был, чтоб только получить приход, жениться на больной женщине, которую до того честью и не видел. Ел с ней, спал; родился ребенок от ненавистной женщины. Перебранки, ссоры, рыдания, непроветренные комнаты, пропахшие лекарствами,— вот какой была моя жизнь до недавнего времени. На похоронах жены я плакал. Себя оплакивал и свою дурацкую жизнь. Что меня ждало? Кабаки, служанки, обкрадывающие меня, издевающиеся над моим ребенком и позорящие меня. И вот тогда я познакомился с тобой. Первые дни повергли меня в отчаяние. Ты не смотрела на меня иначе, чем через плечо, а я мечтал раздавить твою слабую руку. Владислава! Я не могу ни о чем думать. Я люблю тебя и умоляю ради всего святого — люби меня! Люби, будь моею!

Владислава, прижавшись щекой к его руке, тихо прошептала:

— Люблю! Боже мой, люблю! Разве так я себе это представляла? Мне кажется, что все это случилось без моего участия. Да! Но теперь я не могу отказаться от тебя. Когда ты здесь, меня ужасает мысль, что ты уйдешь. Мне страшно остаться без тебя, но, когда ты не со мной, я боюсь тебя. И рвусь к тебе, и молю бога, чтобы ты больше никогда не приходил. А то вскакиваю из-за фортепьяно, сердце холодеет, и мне чудится, что сейчас войдет мать и скажет, что ты умер.

Суждено ли нам было встретиться или нас свел случай? Меня охватывает неудержимый стыд при одной мысли, что все сделала твоя искусность. Твоя страсть. Нет, нет, не мешай, дай мне сказать все. Мы никогда еще не говорили откровенно. Ведь мы так плохо знаем друг друга! Жали друг другу руки — и только!

Понимаешь, милый, ты считал меня гордячкой, а я была так одинока и так несчастна! Я глотала книги не из особой любви к ним. Мне просто не с кем было говорить, не с кем дружить. Разговоры, которые вели подруги, не интересовали меня, казались мне далекими и непонятными. Дома я жила на всем готовом, не знала цены вещам. Выходя на улицу, я попадала в неведомый мне мир; люди в книгах совсем не походили на тех, кого я видела вокруг, и они были для меня загадкой. Любовь, которую я якобы отрицала, тревожила меня, я искала ее, не зная, как она приходит. Подруги влюблялись чуть ли не с первого взгляда, достаточно было нескольких букетиков и ночных серенад под окном, а мне хотелось чего-то большого — пожертвовать собой ради счастья другого или чтобы этот другой принес жертву ради моего счастья. Мать моя вообще не думала про любовь. Сама она никогда не любила и не могла себе представить, что ее дочь в один прекрасный день подарит свое сердце кому-то, кто не был рекомендован какой-нибудь тетушкой или шефом канцелярии. Здесь, в этом доме, никогда не говорили о любви, словно это постыдный грех. Сколько слез я пролила из-за того, что меня никто не любил! Боже мой, как я была глупа! Сколько раз я садилась среди ночи на постели, и прислушивалась к мужским шагам, и ждала, вот-вот они замолкнут и кто-то назовет меня по имени. Случись так, кажется мне, я поднялась бы и пошла за ним. Но шаги равнодушно удалялись, и ночной прохожий даже

не подозревал, что совсем близко от него мокнет от слез девичья подушка.

И вот пришел ты и посмотрел на меня так, как никто до сих пор не смотрел. Когда я на улице проходила сквозь строй игривых молодых людей и они оглядывали меня с ног до головы, мне становилось гадко и я опускала юбку — пусть волочится по грязи! А когда ты поглядел на меня первый раз и словно чему-то удивился, я чуть стакана из рук не выронила! Ты глядел на меня вначале — или мне только казалось — такими широко раскрытыми, удивленными глазами, что я невольно поднимала голову, кровь приливала к щекам, и по всему телу разливалось тепло. Это было так прекрасно!

Ты был груб, высмеивал все, что бы я ни сказала, и все-таки ночью я не могла забыть твоих глаз, ты и во сне не оставлял меня.

И вот я люблю тебя! Не знаю, что будет с нами. Говори, что хочешь, делай, что знаешь! Вижу, что сопротивляться бесполезно! Только люби меня, люби!

Владислава говорила, глядя ему прямо в глаза, обхватив его голову руками; он обнимал ее, целовал и улыбался...

Тут слуга позвал нас есть простоквашу. По дороге к дому я дернул Миту за рукав:

— Никому ни слова!

Между тем даже дети, которых уже не выставляли из комнаты во время разговоров взрослых, болтали в школе, что у отца Душана и барышни Владиславы роман. Некоторые пускались в споры: может ли поп жениться? Стева, сын протоиерея, заявил: его отец утверждает, что поп не может жениться и будто бы отец собирается поговорить с отцом Душаном, так как он над ним старший, как, к примеру, господин директор над нашим учителем.

Из сада Миты мы больше не видели отца Душана и Владиславу. Пошел снег, наступили холода. В шахматы, наверное, играли в комнатах. Жители верхнего города рассказывали, что их можно встретить около пяти часов, лишь только опускались сумерки, возле католического кладбища, где они обычно гуляют. В городе Владислава показывалась редко, хотя выглядела веселее обычного.

Однажды она зашла к нам за образчиком для вышивания, много смеялась, рассказывала о театре. Заметила и меня, подозвала и спросила, строгий ли ее отец и бьет ли

учеников. А услышав, что ее отец никогда никого пальцем не тронул, засмеялась. Прощаясь, она без умолку говорила — никто не мог слова вставить,— смеялась, шутила, весело пожимала всем руки. Мать, проводив ее за ворота, посмотрела ей вслед, пожала плечами и вздохнула.

На митров день к нам примчался Мита и отозвал меня в сторонку. Он еле перевел дух и затараторил так, что я едва его понимал.

— Учитель избил Владиславу!

— Что?!

— Избил! Я лепил снежки — снег шел мокрыми хлопьями,— вдруг слышу чей-то плач и крики: «Йован, ради бога, Йован, убей лучше меня, Йован!» Я полетел в сад, и знаешь, что я увидел? Учитель, взлохмаченный, без очков, без пальто, тащит за волосы Владиславу, потом бросил ее на землю и давай хлестать ремнем по чему попало, да еще пряжкой! Пинает ногами и шепотом приговаривает: «Вон из моего дома, вон!» Мать то на колени бросится перед ним, то поднимется, но тут же поскользнется и снова упадет, но он отталкивает ее и опять топчет ногами дочь, волочит за косу к воротам. Владислава белая, глаза закрыты, точно у мертвой, и ни звука. Под глазом кровь, блузка на груди разорвана, юбка в грязи. Около ограды столпился народ, но учителю ни до кого нет дела — знай колошматит дочь. Наконец отворил ворота и вытолкнул ее в толпу. Одна из женщин подхватила девушку и начала ругать учителя, а он захлопнул ворота, на мгновение застыл, обхватив голову руками, и медленно пошел в дом. В голос рыдающая госпожа осталась лежать на снегу.

Вечером в городе только и было разговоров, что о Владиславе и отце Душане. Меня лихорадило, и я долго не мог заснуть. Выл ветер, всю ночь в окно билась ветка дикой яблони, пугая меня своим стуком и стоном, словно и ей было холодно в глухую, темную осеннюю ночь, словно и она, одинокая, всеми покинутая, умоляла пустить ее в дом, в тепло. Как только я закрывал глаза, пускались в пляс большие и ровные кровавые круги; они стремились увлечь меня в свой безумный круговорот и тоже выбросить во тьму. В ужасе я вздрагивал.

— Мама, кто это плачет?

— Никто не плачет, сынок! Спи!

— Мама, а Владиславе сейчас холодно?

— Нет, сынок! Свет не без добрых людей!

— Мама, а отец Душан плохой человек?..

— Перекрестись, сынок, и спи!

— Мама, а почему учитель нас никогда не трогал, а родную дочь чуть не убил?.. Мама, а почему учитель не избил отца Душана, раз он виноват? Отец Душан сильнее господина учителя?

— Спи, сынок! — раздавался в темноте голос матери, в котором словно слышались слезы, и я чувствовал на лбу ее руку. Судорожно схватив эту руку, я целовал ее и клал под голову.

Рано утром пришла тетушка Мария, которая имеет обыкновение говорить не умолкая, то и дело вытирая краешки рта платочком. Конфузясь и всплескивая руками, она пространно рассказала, с каким трудом ей удалось сплавить от себя «эту». Отказать ей в ночлеге она не могла, но ссориться из-за нее с людьми она тоже не желает. Пришел отец Душан, сыпал угрозами, она еле уговорила его не врываться в учительский дом среди ночи. Сейчас они вместе уехали в село, так как отец заявил, что дочь для него мертва. Что будет, один бог знает, но только она, тетка Мария, может прямо сказать: давно ей это дело казалось сомнительным! Вот так всегда кончают святоши и умницы!

Школа походила на улей перед тем, как вылететь пчелам. Класс ходил ходуном. Один из ребят выглянул в коридор и вспрыгнул на стол с воплем:

— Чича!

Мы бросились по своим местам, лишь Пера подбирал разбросанные по полу страницы из учебника арифметики. Господин учитель вошел в класс. Он выглядел худее и бледнее обычного, а стекла очков казались еще чернее. Стоя, он ожидал, пока Пера соберет страницы.

— Другой раз будь внимательнее и готовь учебники до звонка,— сказал он глухим голосом и сел.

Мы продолжали стоять. Он не спеша выбирал из связки ключ от стола и только, когда кое-кто из ребят начал покашливать и перешептываться, поднял голову, и лицо его как будто порозовело.

— Царю небесный...

Закончив молитву, мы сели, учитель принялся судорожно листать учебники, не останавливаясь ни на одной странице. Мита под партой наступил мне на ногу.

— Спятил!

Удивительное дело — мне было совсем не жаль его. Я зло ухмыльнулся. Вчера он избил дочь, выгнал ее на улицу, а теперь притворяется, словно ничего не случилось... Я думал, что увижу слезы на его глазах, увижу, как дрожит его рука, та самая, которой он рвал волосы на голове своей дочери. Выгнать родное дитя! Ничего страшнее для меня не существовало. Я умер бы на месте, если бы однажды, придя домой позже положенного времени, наткнулся на запертую дверь.

Учитель все листал книги, будто искал забытое в них, очень нужное письмо, а мы переговаривались все громче. На окно сел взъерошенный воробей и стал старательно мыть клювик в свежевыпавшем снеге. Кто-то крикнул: «Воробей!» — и мы дружно прыснули.

— Тихо! — строго призвал нас к порядку учитель и встал.— Сидите тихо и ждите!

Как только дверь за учителем закрылась, Мита вскочил с места, нахмурился, передразнивая учителя, и крикнул:

— Тихо!

Мы захохотали.

Учитель вернулся с тем же самым аппаратом для выкачивания воздуха и металлическим сосудом.

— Недавно я рассказывал вам о воздухе. Теперь вы знаете, что это такое. Сегодня продолжим. Воздух представляет собой смесь. Состоит она из двух частей, все равно как если бы мы смешали дым и пар. Одна составная часть воздуха обладает удушающими свойствами. Называется она водородом, дышать им нельзя. Другая, меньшая часть, которая, собственно, и делает возможной жизнь, называется кислородом. Он участвует в горении, в образовании крови. Однако в воздухе его содержится гораздо меньше, чем водорода. Так божьим промыслом в природе поддерживается равновесие. Ибо хотя чистый кислород и дает более сильное пламя и кровь с его помощью оборачивается быстрее, но пламя это недолговечно, а жизнь, поддерживаемая одним кислородом, была бы короче и безумнее.

Вот перед вами ленивый, неповоротливый жук-рогач. Видите, с каким трудом он ворочает лапками? Есть у него под панцирем и крылья, но ему лень ими пошевелить. А теперь я пущу под колокол, из которого выкачан воздух, чистый кислород, что содержится в этом металличес-

ком сосуде, посажу туда жука, и вы увидите, что с ним произойдет.

И правда, черный жук-рогач с клешнями, как у рака, которому до сих пор тяжко было нести даже собственную украшенную рогами голову, вдруг начал бегать с необычайной быстротой. Он шевелил рогами, прихорашивался, будто внезапно осознал свою красоту. Расправил жилистые крылышки и полетел, ударяясь о гладкие стеклянные стенки, не жалея напрасно растраченных сил, не ощущая боли. Он летал гордо и стремительно, как ночной мотылек; между беспокойно вздрагивающими щупальцами сияли полнотой счастья черные точки его крохотных глаз. Когда он подлетал к самой стенке, слышался высокий звук — видно, это была песня омоложенного жука. Но продолжалось это недолго. Как раз в тот момент, когда крылья жука заискрились и стали переливаться, точно у стрекозы в летний солнечный день, он вдруг обессилел и упал на спину; одно крыло переломилось, лапки сплелись в жестокой судороге. Жук-рогач погиб.

Мы были поражены. Учитель хмуро кивнул головой.

— Вот видите, в обычной атмосфере он мог бы жить еще долго, вялый и малоподвижный, каким его создала природа. Но человеческая рука бросила его в стихию огня, и он моментально сгорел. Разве думал он, довольно взмахивая крылышками, что через мгновение упадет замертво?

Это был последний рассказ Чичи. С тех пор у него редко возникало желание рассказывать, а у нас — слушать. Ему стало трудно говорить, речь его часто прерывали длинные паузы. В классе то и дело раздавалось его старческое покашливание, он подолгу всматривался в зимнюю мглу за окном. Постепенно мы привыкли договариваться еще до того, как он выйдет из класса, где у нас будет война русских с японцами и где мы будем лепить снеговика с дубинкой в руках и трубкой во рту. Учитель раздраженно одергивал нас. Обзывал негодяями, говорил, что мы годимся только в ремесленники, что все сербы лентяи, хвалил трудолюбивых немцев, над которыми мы, болваны, зря потешаемся. Эти речи мы встречали смешками, он злился еще пуще, ругал всех по очереди, но никогда не мог угадать истинного виновника.

— Это не Стева, а Милан! — кричали мы хором.

— Ладно, пусть Милан. Негодяй этакий! Прекрати, а то я тебе ноги переломаю!

Но укротить нас ему было уже не под силу. Встречали его шумом, провожали гомоном и гримасами. Чем сильнее он раздражался, тем мы становились изобретательнее. Мы вкалывали в парты сломанные перья и звенели ими. Мита притащил в класс мышь, привязал ее на веревочку и спустил на пол, мы же с хохотом гонялись за ней, пытаясь накрыть шапкой. Директор заглядывал в класс и недоуменно качал головой, а старика бросало в дрожь, и, пожимая плечами, он напускался на нас с бранью:

— Не знаю, просто не знаю, что с вами такое. Пока кого-нибудь не отлуплю, видно, не угомонитесь!

Так и случилось. Как-то Мита вытащил из башмака резинку, смастерил из нее рогатку и принялся стрелять бумажными шариками в уши сидящим впереди него. Один раз он промахнулся, и шарик попал в нос учителю. Мы были уже готовы разразиться хохотом, как вдруг заметили, что лицо учителя покрыла мертвенная бледность, борода затряслась. Мы онемели. Учитель встал, обвел взглядом весь класс и остановился на Мите — тот был красный как рак. Он медленно подошел к нему, и звук пощечины разрезал тишину. Наши сердца перестали биться. Мита упал на парту, закрыв лицо руками. Учитель повернулся, дрожащими руками взял со стола шляпу, уронил ее, поднял, не глядя на нас, грустно бросил: «Негодяи!» — и вышел.

Пораженные, мы некоторое время сидели не шелохнувшись. Затем на цыпочках я подкрался к распахнутой двери и выглянул. Учитель стоял у окна и вытирал глаза. На дворе кружились крупные снежные хлопья, по земле стелился дым.

После полудня в класс пришел директор с какой-то барышней. Он отчитал нас, оставил без обеда, объявил, что до конца года нас будет учить эта барышня, и велел троим из нас идти просить прощенья у господина Чутуковича.

Мы пошли, долго ждали у ворот, но дом словно вымер. Наконец выглянула служанка и велела нам идти по домам.

После этого мы редко видели учителя. С дочерью он так и не помирился. Она поселилась в отдаленном нищем селе, где отцу Душану дали приход. Старый учитель

весной слег и больше не поднялся. Владиславу он не пожелал видеть, а наши букетики фиалок, которые мы набрали в лесу, принял охотно. Совершенно пожелтевший, он глядел на нас с улыбкой.

На похоронах учителя мы пели. Мать и дочь, обнявшись, рыдали. Тогда мне довелось увидеть и отца Душана. Держался он теперь не так прямо, как прежде. В городе говорили, будто владыка заявил, что, пока от него не уйдет Владислава, лучшего прихода ему не видать. А жаль, сказал владыка. Пошел бы в монахи, мог бы и сам владыкой стать. Но он ни за что не соглашался.

1910

Игрушки

Маленький Стевица ворочался во сне. Отец и мать по очереди подходили к его кроватке и прикладывали руку ко лбу.

— Ну что, опять жар?

— Нет.

— А по-моему, есть. Ты ничего не понимаешь!

— Да нет же! Почему тебе всегда чудится плохое? Просто переел засахаренных слив. Я ведь говорил, что нельзя ему столько давать.

— Нет, совсем это не от слив. Он простудился. Ты разрешаешь ему играть у окна. И во сне раскрывается.

Так укоряли они друг друга шепотом, чтоб не разбудить сына, и то и дело поправляли на нем одеяло.

Избалованный Стевица чаще притворялся больным, чем на самом деле болел. Ему нравилось смотреть, как отец и мать ходят вокруг него на цыпочках, наперебой стараясь ему угодить, и даже ссорятся из-за него. Последнее время он был действительно немного простужен и поэтому, проснувшись, некоторое время лежал, не открывая глаз, наслаждаясь окружавшей его атмосферой любви и настороженного внимания. Отец и мать стараются двигаться как можно тише и шепчут прислуге, чтобы не шумела, растапливая печку. Он любил в этот час наблюдать сквозь полуопущенные ресницы, как за белой тканью вышитых розами занавесок рождается день, как бледный металлический свет зимнего неба и ослепительный блеск покрытых снегом крыш и замерзших стекол смешиваются с тенями от мебели и висящей на стене одежды, с тенями, которые прячутся в углах комнаты и, как бы оживая, начинают плясать в красных отсветах постепенно разгорающегося в печи огня.

Хорошо лежать вот так в теплой кроватке, удобно устроившись в углублении, оставленном твоим маленьким телом, на мягкой подушке, надутый угол которой похож на теплую щеку и умеет нашептывать сны.

Но на этот раз Стевица проснулся при первом же скрипе дверей, при первом шепоте родителей, и в голове у него ярко сверкнула мысль: сегодня рождество!

Он открывает глаза и с волнением и приятным страхом вглядывается в свои игрушки — все ли он рассмотрел вчера, не ждет ли его еще какая-нибудь неожиданность — незамеченная игрушка, новый винтик или не разгаданная вчера тайна каких-нибудь колесиков и пружин. На столике у кровати спокойно плавал в масле огонек лампадки, вокруг него на тарелке пробивались зеленые ростки пшеницы, в комнате пахло, как в часовне. В углу на укрепленной в раскрашенном ящике елке блестела золоченая мишура, сверкали свечи, снег, висели сахарные фигурки, орехи, паяцы с красными высунутыми языками. Под елкой лежали игрушки. Лежали они так, как он оставил их вчера, заснув над большой иллюстрированной книгой «Приключения барона Мюнхгаузена».

На рельсах стоял паровозик, который, если его завести ключом, мчится по кругу, таща за собой красные и желтые вагоны с раскрашенными силуэтами пассажиров в окошках и с застывшим на своем месте голубым машинистом. Здесь и маленький паровой двигатель, который больше всего привел Стевицу в восторг, потому что был совсем как настоящий. В него можно наливать воду и спирт, из него идет пар, работая, он вращает ремень и свистит. К нему приложена веялка и еще одна машина с ножом, который режет солому или бумагу. Увидеть, как работает веялка, ему не удалось, потому что, как он ни кричал и ни бил ногами, в канун рождества ему нигде не могли найти необмолоченной пшеницы. Но сегодня им придется ее найти! Были тут и другие подарки. Книги с картинками и стихами (и зачем только пишут эти стихи — непонятно?) и разрисованная доска, по которой надо было двигать раскрашенных оловянных коней. И эту игру он тоже заставил показать ему еще вчера вечером. Там какие-то кубики с точечками и закругленными углами, их встряхивают, а затем, бросив на стол, считают эти точки, и чей-нибудь конь скачет вперед. Доска очень смешная. На ней нарисованы рвы с водой,

деревья и заборы. Время от времени какой-нибудь конь останавливается, а все остальные скачут дальше. И тогда тот, чей конь стоит, сердится. Очень смешная игра! Его конь все время был первым, но в конце концов это ему надоело, особенно когда он заметил, что мама и папа нарочно поддаются.

Нет, все-таки паровая машина лучше всего. Она, по крайней мере, настоящая. Самая настоящая! Тут уж нет никакого обмана и никаких пружин. Пружины он ненавидит.

Надо сразу же попробовать веялку. Он возьмет ремень и прикрепит его конец к тому толстому колесу, что сбоку веялки. Это он уже знает. И как только пар начнет вращать машину, колесо тоже будет вертеться. Только как же в ней появится ветер? Ужасно интересно! Надо обязательно узнать. И когда к нему в гости придет сын прачки Тришко, он сам ему все покажет, как большой, то-то Тришко удивится!

Стевица быстро сел в кроватке и высунул из-под одеяла голую ногу.

— Мама-а! Мама-а!

— Что тебе, золотко мое? — В комнату испуганно вбежала госпожа Наталия в небрежном утреннем туалете.— Ты уже проснулся? Полежи в кроватке, пока не натопят. Холодно.— Она спрятала его ногу под одеяло и осыпала сына поцелуями.— У тебя нет жара, ты не кашлял? Подожди, я тебе дам лекарство, знаешь, деточка, то, сладкое. Ну, будь хорошим мальчиком, не огорчай маму на рождество. А то боженька возьмет обратно все игрушки.

Но Стевица упирался. Он и слышать не хотел о лекарстве.

— Я хочу вставать, хочу играть с веялкой.

— Подожди, золотко, ну еще немножко, сейчас затопят. Если выпьешь лекарство, я дам тебе игрушки в кроватку. А потом я тебя перенесу в гостиную, пока здесь проветрится.

Наконец они сговорились. Он показал матери язык и, всхлипывая, кричал сквозь слезы «А-а-а!», пока она, прижимая язык ложечкой, вливала в рот белое, похожее на молоко лекарство, которое раньше ему нравилось своим миндальным вкусом, а теперь вызывало отвращение. Потом Стевица, вздрагивая, вытянул шею, и мать обернула ее влажным полотенцем.

Устав от всех этих процедур, он лежал среди кучи игрушек и долго не мог решить, с чего начать. Игрушки были холодные, с острыми углами, играть ими в кровати было неудобно. Он вертел их в руках, заглядывал во все отверстия, а потом бросал на подушки в ногах. Наконец Стевица отбросил и веялку: надоело нагибаться и разглядывать. Он никак не мог понять ее устройство.

Он зябко поежился, свернулся калачиком, натянул одеяло до самого носа и, прищурившись, стал смотреть на огонек лампадки. Тонкий слой масла был похож на золотую монетку, пламя тянулось вверх длинным желтоватым язычком. Сквозь зеленые ростки пшеницы пробивался черный дымок.

Стевица думал о теплых сапожках, о катке, о снежках, о своих товарищах, которые сейчас берут штурмом снежные крепости, лепят снежных баб и поливают их водой, чтобы они стояли до весны. Он злился на свою болезнь и на родителей, которые держат его дома. И как это мужицкие дети не болеют? Синие от холода, без перчаток, а замерзнут — постучат по промерзлой земле деревянными башмаками — и ничего! А у него каждую зиму то ангина, то кашель. Просто невыносимо!

— Мама-а-а!

Мама поспешно вбежала к нему, притворяясь рассерженной, закатала его в одеяло, как блинчик, и на плече понесла в уже убранную светлую гостиную, где в печке весело трещали дрова. Там она с трудом натянула ему на ноги чулки и, накрыв одеялом, посадила среди игрушек у печки.

Но когда Стевица подал голос в третий раз, пришлось уже и отцу поторопиться с туалетом и завтраком, лечь рядом с ним на пол и объяснить устройство веялки.

Стевица обо всем спрашивал: зачем то, зачем это, ну а это как? — и отцу потребовалось немало терпения, пока сын понял, как пар крутит шестеренки, как движется ремень, как лопаточки, прикрепленные к оси, создают ветер и как, трясясь, ходят туда-сюда решета. Пришлось раздобыть на голубятне по соседству непровеянное зерно и показать сыну, как от него отделяют пыль, куколь и мякину.

Поняв все это, Стевица захлопал в ладоши от радости. Снова и снова он смешивал зерно с пылью и очищал его. Наконец он устал, позволил себя одеть и умыть и, не

сводя глаз с игрушек, уселся в кресло в ожидании «прачкиного Тришко».

Больная трахомой прачка Юла, много лет служившая у госпожи Наталии и ставшая уже чем-то вроде старой мебели, была польщена, что ее сына пригласили на рождество к барчуку. Сам Тришко предпочел бы ту же роль сыграть у старшего брата, и притом по всем правилам. В канун сочельника сидеть до полуночи у огня и ковырять палкой пылающее рождественское полено. А наутро мать подняла бы его с первыми колоколами, умыла, одела в новый, негнущийся костюм и в сапоги, полученные вчера в школе в награду за успехи, а затем он постучал бы в окно к брату и первым, как полагается по церемониалу, поздоровался бы: «С рождеством Христовым!» Его торжественно ввели бы в душную, жарко натопленную комнату, по колено устланную соломой, и угостили, как взрослого, медовой ракией. А потом бы он вместе с братом отстоял заутреню, а за обедом сидел на почетном месте, все пили бы за его здоровье, и он впустил бы в комнату шествие, изображающее поклонение волхвов, пел тропари и кондаки и пил из стакана, где на дне непременно оказалась бы монета. А к вечеру, досыта наевшись и напившись, они бы «провожали рождество» на санях с колокольчиками или по-ухарски — на неоседланных лошадях, и стреляли из старого заржавевшего пистолета.

Здесь, у брата и его жены, Тришко всегда охватывало праздничное настроение. Он чувствовал себя человеком: мог расставить ноги, как ему удобно, мог плюнуть, куда хотел, мог, как и другие, понизив голос, рассказывать о «нечистой силе» и засовывать руки в карманы своих штанов.

А теперь ему придется несколько дней выслушивать от матери наставления о том, чтоб он хорошо себя вел в господском доме, всех слушался и все время говорил «прошу вас», «спасибо большое» и «пожалуйста». И не набрасывался на одно блюдо, а отведывал всего понемножку и, наконец, — боже упаси! — не дрался с маленьким ифьюром [1]. И вообще был паинькой.

Если бы не новые игрушки Стевицы, которыми можно играть (но при этом беречь пуще глаза!), Тришко бы

---

[1] Ифьюр — молодой господин *(венг.)*.

вырвался от матери и убежал. Но игрушки его интересовали.

Он украдкой на всякий случай сунул в карман и свои любимые игрушки: пустую катушку с привязанным к ней длинным шнурком, моток пестрой шерсти и полую трубочку из бузины, с помощью которой плетут тесьму. За собой он тащил маленькие сани, сделанные братом из старого ящика из-под пива.

Мать привела его, как уговорились, в девять часов, потому что до девяти господа спят. Она передала его госпоже Наталии, смущаясь и заранее выговаривая сыну за будущие ошибки, а госпожа любезно ввела его в гостиную к Стевице и велела ему быть внимательным со своим гостем.

Стевица обнял Тришко за плечи и сразу повел смотреть елку. Маленький, остриженный лесенкой крестьянский мальчик словно оцепенел, он позволял тащить себя куда угодно, то и дело останавливался и пугливо озирался на блестящую мебель. Перед разукрашенной елкой он замер, как будто боялся неосторожным вздохом разрушить эту необыкновенную красоту. Он молчал, и только глаза у него сияли.

Госпожа Наталия, растроганная до слез, поцеловала маленького мужичка в красные щеки и на руках подняла к елке.

— Смотри, как красиво! Правда, красиво?

Тришко только одобрительно кивнул головой.

— Видишь вон тот золотой орех? Возьми его себе. И вон ту шоколадную трубочку тоже возьми. Бери, бери, она сладкая.

Тришко некоторое время для приличия отказывался, но потом осторожно протянул руку и снял с елки подарки.

— Вот так, а теперь ешь. Ну, попробуй, что же ты?

Тришко повертел трубочку в руках.

— Нет, я лучше положу ее дома в комод.

Госпожа рассмеялась, погладила его по голове и ушла, чтобы не мешать детям.

Стевица сразу же уселся на корточки около вороха новых игрушек и нетерпеливо звал своего гостя взглянуть на них.

Тришко, все еще ошеломленный, осторожно обходил комнату, с изумлением разглядывая висевшие на стенах картины, рояль и серебряную посуду в стеклянных

шкафах. Он уже немножко осмелел, подходил ближе к вещам и даже трогал их. А когда Стевица подвел его к своим игрушкам и начал их показывать, лицо Тришко выражало такой восторг, так сияло, что Стевица хохотал, глядя на него, и прыгал от одной игрушки к другой, не зная, с чего лучше начать.

Тришко брал их, неторопливо вертел в руках, рассматривал со всех сторон и осторожно ставил на место. Стевица не мог спокойно видеть, как он не спеша перелистывал книги, подолгу разглядывая каждую картинку. Но в то же время восхищение гостя доставляло ему такое удовольствие, что он не спускал с него глаз.

— Нет, ты посмотри, а?

И Тришко вдруг захохотал во все горло, указывая на Мюнхгаузена с его торчащей косичкой, сидящего верхом на ядре.

— Ух ты!

Стевица вкратце рассказывал ему содержание картинок и торопил начать игру с конями.

Тришко выбрал себе рыжую лошадь. Он так увлекся игрой, что не замечал ничего вокруг. Если его конь вырывался вперед, он покрикивал:

— Но, рыжий! Но, не поддавайся!

И когда он наконец выиграл, он высоко поднял свою рыжую лошадь и пронес ее по комнате. Стевица смотрел на него с удивлением и завистью. Потом Тришко достал из кармана горсть крошек, высыпал их на пол и ткнул в них рыжего мордой.

— А теперь давай покормим его сеном.

— Каким сеном?

— Вот этим,— убежденно сказал Тришко, и Стевице это очень понравилось.

Наконец они перешли к машинам. Тут уж Стевица был в своей стихии, и Тришко оставалось только молчать и таращить глаза от удивления.

Он помогал Стевице, наливал в машину спирт и удивлялся, что все получается именно так, как говорит Стевица.

— Сейчас я поверну вот это, и пар пойдет вот сюда и толкнет вот эту штуку, и она будет ходить туда-сюда, и вот это начнет поворачиваться, и колесо будет вертеться, а вместе с ним и ремень.

И машина начала работать, запыхтела, загудела, нож

стал подниматься и опускаться, из-под него полетели мелкие полоски бумаги.

— Ну и ну, это дело стоящее! — восхищенно кричит Тришко, пробует сделать сам и хлопает себя по коленкам от радости, что все здорово получается.

— Смотри, настоящая сечка! Давай накормим лошадей!

— Да ну их, лошадей! Посмотри лучше, какая веялка!

Тришко точно так же удивлялся и веялке. Ну точь-в-точь такая, как у брата на хуторе! И все-то в ней есть, как в настоящей! Он крутит ее, заглядывает внутрь — да, все как надо, все на месте. Жаль только, что нельзя ее открыть и потрогать, еще испортишь, и она не будет работать. Да и зачем, он и так знает, что в ней есть.

Паровая машина вызвала у Тришко не меньшее восхищение. Когда Стевица тянул за шнурок, она свистела, совсем как паровоз. Тришко рассмеялся. И почему она свистит? Кто это там в ней свистит?

— Да это пар! Папа говорит, что он проходит вот через эту дырочку, знаешь, как если бы ты свистел или дул в свистульку. Это воздух проходит.

Теперь они уже все рассмотрели, и все действовало, как надо. Стевица уже устал и прилег на диван, а Тришко все еще что-то высматривал в машине.

Машина, самая настоящая машина! Там нет никакого человека. Стевица даже знает, что у нее внутри. Папа ему все рассказал. Значит, это так и есть. Все делает пар. И всегда одно и то же. Вот здорово!

И Тришко, не зная больше, что делать с машиной, потихоньку ставит ее на место и садится рядом со Стевицей.

Они молчат.

— А как вы играете? — спрашивает вдруг Стевица.

— Да так... Камешки, мяч, сани — вот и все,— скромно и даже с оттенком пренебрежения отвечает Тришко.

— И больше ни во что?

— Да нет, иногда и во что-нибудь другое.

— А во что?

— Мы играем в людей, лошадей, в зверей и русалок, строим дома и города, играем в бойню и режем свиней, делаем колбасу и ветчину.

— И вам дают и лошадей, и кирпичи, и штукатурку, и ножи, и свиней?

— Зачем? А нам не надо. Мы так играем.— И, недоумевая, как это Стевица его не понимает, Тришко добавляет: — Ведь мы же только так играем, понимаешь? Ну, не по правде.

Стевица ничего не понимает и надувает губы:

— А у нас все по правде. Мне летом подарят настоящую столярную мастерскую и живую лошадку, маленькую, с собачку.

Тришко задумался и ничего не ответил. Казалось, он уже не слушал.

Мать внесла завтрак. Она удивленно посмотрела на примолкших детей и спросила:

— Что случилось? Почему вы не играете?

Стевица сказал усталым голосом:

— Мы уже во все переиграли.

— Ну вот, опять тебе уже надоели игрушки. Боже мой! Тратишь на них такие деньги, а тебе уже на второй день неинтересно. Весь чердак забит твоими игрушками. Нет, больше мы тебе ничего покупать не будем. Выброшенные деньги. Ну, а теперь поешьте. Обед сегодня поздно.

Дети едят неохотно. Потом Стевица опять ложится, а Тришко садится на ковер. Стевица закрывает глаза и незаметно засыпает. А Тришко потихоньку подползает к игрушкам, разглядывает их. На минуту задумывается, а потом вытаскивает из кармана свою пустую катушку на шнурке, гладит ее и чему-то улыбается. Губы его насмешливо двигаются, как будто он что-то ласково шепчет. Он вытягивает руку, ставит катушку на ладонь, хмурит брови и грозит ей пальцем:

— Ну, погоди у меня, я тебе покажу! Разве так стоят перед капитаном?

Потом он присаживается на корточки и свободной рукой дергает шнурок у себя за спиной, как будто это делает кто-то другой. Катушка падает. Тришко сердится не на шутку:

— Ну, погоди, я тебе покажу! Как ты посмел напиться?

И ставит ее опять прямо.

— Смирно!

Катушка-солдат стоит смирно, трепеща перед офицером. Она смотрит на него единственным глазом со страхом и уважением.

— Так. Ах, ты опять падаешь? Ах, ты...— в пылу гнева Тришко уже кричит на своего солдата, забыв, что барчук спит.

Барчук между тем проснулся и в недоумении прислушивается к бормотанию Тришко. Он едва сдерживается, чтобы громко не рассмеяться. Тришко опять поставил на ноги своего солдата и бьет его соломинкой.

— А, теперь ты еще и орешь? И не слушаешь, что я тебе приказываю?

— Хи-хи-хи, что ты, кто орет? Никто же не орет! Ты что, с ума сошел? Что ты делаешь?

Тришко едва поднимает голову — он занят серьезным делом:

— Солдат у меня напился!

Стевица подходит поближе и с любопытством, но все еще насмешливо спрашивает:

— Какой солдат?

— Да вот, мой солдат; не слушает меня. А я его капитан!

— Да это же просто катушка от ниток, дурак!

Тришко отвечает сердито и презрительно:

— Пф, так ведь это игра! И играть-то ты не умеешь. Эх, ты!

— А как в это играть?

— Как? Видишь, это мой солдат, а я капитан, я его обучаю. А ну смирно! Так. Вперед! Как ты поднимаешь ноги, не ел, что ли? Стой! Ложись! Встать! А теперь весь полк, стой! Нале-во! Так. Очень хорошо! Молодцы! Получите сегодня суп!

Он удовлетворенно похлопал катушку и гордо обернулся к Стевице:

— Видишь, как надо играть.

Стевица уже серьезно берет в руки этот обточенный кусочек сухого, легкого и такого удивительного дерева и нерешительно просит Тришко:

— Давай еще во что-нибудь поиграем.

— А во что?

— Во что-нибудь.— Он грустно пожимает плечами.— Я ни во что не умею.

— Постой. Давай играть в подзорную трубу, как в нее смотрят на звезды.— Он берет катушку двумя пальцами и, прищурив один глаз, смотрит сквозь отверстие на потолок.

— Что ты видишь, Тришко?

— Вижу Луну и много-много звезд. На Луне горы большие-большие, как дом, и какой-то человек пашет на горе на белых волах и кричит: «Но, Белый! Но, Крылатый!»

Глаза у Стевицы блестят, он прижимается к Тришко и пытается взглянуть вместе с ним в круглое отверстие.

— И мне дай, и мне, и я хочу посмотреть! — И он закрывает один глаз рукой.

Стевица с трепетом берет в руки катушку, смотрит в нее и, разочарованный, возмущается:

— Я ничего не вижу. Где же Луна?

— Ну и осел же ты! Ведь это игра. А ты только все портишь! Ну, видишь теперь!

Стевица, пристыженный, лепечет:

— Вижу.

— Что ты видишь?

— Луну.

— А еще что?

— Не знаю.

Тришко сердито вырывает у него катушку.

— Не сердись, Тришко! Ведь я не умею, ведь я так, по-всамделишному, никогда не играл. Научи меня.

— Ну, хорошо,— смилостивился Тришко.— Давай играть в пушку. Я буду наводить, а ты стреляй. Возьми спичку, поднеси вот сюда, здесь порох и ядро, и стреляй! Да не настоящую. Пальцем. Вот! Раз, два, три — пу-у! — Смотри, как валятся турки!

Стевица радуется своему успеху.

— А теперь вон по тем, в лесу.— И он указывает на кадку с пальмой.— Ветки летят! Все попадали! Ура! Да здравствует наша пушка! Ура артиллеристам! Вот вам, герои-молодцы, медали!

И Тришко, оторвав два листика от стоящей в комнате герани, вставляет их Стевице в петлицу. Тот гордо выпятил грудь и с уважением смотрит на Тришко.

— А теперь что мы будем делать?

— А теперь давай играть в лесных разбойников. Разведем костер и уговоримся, на кого нападать.

Стевица, опечаленный, поеживается.

— Да-а, мама не разрешит в комнате костер устраивать.

— А мы и не будем. Мы понарошку.

Стевица задумывается, а потом начинает скакать по комнате от радости, что ему пришла в голову счастливая мысль.

— Погоди.

Он притаскивает из соседней комнаты тарелку со всходами пшеницы и лампадкой. Тришко хлопает его по плечу.

— Вот здорово!

Стевица, обрадованный похвалой, спрашивает:

— А куда мы это поставим?

— Сюда,— приказывает Тришко.

Стевица охотно покоряется и лезет под рояль.

Тришко, изменив голос, заговорил басом:

— Сегодня мы должны подстеречь богатых греков из города. Нам нужны дукаты.

— Да! Я задушу Мошу, а ты Полака! — отвечает в тон ему Стевица и, взяв в рот карандаш, пускает изо рта воображаемый дым.— Ты, атаман, выходи на дорогу, а я буду ждать под этим пнем, ты свистнешь, и я выстрелю.

А из-за приоткрытой двери за ними уже давно наблюдает мать и старается понять, что это делают дети. Ей и смешно и интересно.

— Я знаю,— говорит Тришко басом, поглаживая воображаемые усы,— они должны пройти здесь, по этому ущелью. Мы их увидим сквозь деревья. Ты спрячься вон за тот дуб с дуплом, в нем наверняка полно змей, осторожно, подкрадывайся ползком, да смотри не наступи на сухую ветку — хрустнет и выдаст нас. А я взберусь вон на этот тополь, в зубы возьму кинжал, а за пояс заткну револьвер. Нет, в орла не стреляй, они услышат,— шепчет он, указывая на муху, проснувшуюся от света лампадки. И снова, взяв в руку катушку, прижимает ее к глазу и продолжает зловещим шепотом, так что у Стевицы замирает сердце: — Ползи осторожно, вот здесь, да потихоньку, чтобы курок не соскочил, так, дай-ка мне руку... Так. Стой! — И, приложив ладонь щитком к глазам, спрашивает приглушенными голосом: — Видишь?

— Нет еще. Но постой.— И Стевица прикладывает ухо к полу.— Я слышу конский топот. Спускай курок, стреляй! — И, прицелившись катушкой в зеленые ростки на тарелке, он щелкает языком. Щелкает языком и Тришко, они вскакивают и нагибаются над тарелкой.

— Они здесь, побратим мой! Эх, хорошая добыча, разделим по-братски! — И они хватают руками воздух, наполняют карманы, прячут что-то за пазуху.

— Ох, как мы устали и замерзли! Погреемся и изжарим на вертеле этого барана! — И они потирают руки, держа их над бледным огоньком лампадки, поворачивают над ним катушку, делают вид, что отрывают от нее мясо, и громко жуют.

— А теперь мы пойдем в тот город, где спит царская дочь. Сначала перелезем через крепостную стену, потом убьем львов, которые ее охраняют, и войдем во дворец по дорожке, обсаженной розами. Сюда, сюда, вот по этой кривой тропинке. Только бы нам не потерять друг друга! Вон туда, где на башне сияет солнце из золота... Все спят. Тсс, тихо, тихо, на цыпочках, чтобы царь не проснулся. Ух, какая у него борода, прямо с кровати свешивается... Тсс, тише! Смотри, луна светит ей прямо в лицо. Смотри, смотри, она улыбается... Видишь? — спрашивает чуть слышно маленький крестьянский мальчик, а Стевица, обняв его и не сводя глаз с его губ, крепко зажав в кулачке катушку, отвечает доверительно, дрожащим, восторженным голосом:

— Вижу, вижу! Боже мой, какая красивая, совсем как покойная сестрица!..

Мать покачала головой и улыбнулась, глаза ее наполнились слезами, и она тихонько, чтобы не мешать им, прикрыла дверь.

Дети!

1913

Самец

Он происходил из богатой крестьянской семьи, а она — из старинного знатного дворянского рода. Внешность с головой выдавала его происхождение, которого он, собственно говоря, и не скрывал. Он был небольшого роста, широкоплечий, с короткими, сильными ногами, с длинными руками, широкими кистями и толстыми пальцами с плоскими ногтями. У него была круглая голова, заросшая жесткими волосами, мясистые щеки, сильно выступающие скулы и челюсти, большие вывернутые губы и маленькие, глубоко сидящие татарские глазки. Ничуть не изнеженный, держался он просто и ходил вразвалку, никогда не думая ни о своей внешности, ни о том впечатлении, какое производил на людей. Мысли его постоянно были заняты своими, сугубо практическими соображениями и планами. Она же, наоборот, была хрупкой, нежной и чувствительной, всецело поглощенной собой, своей красотой, своими противоречивыми, мимолетными мыслями, капризами, настроениями и порывами; она то любила себя, то ненавидела, то все ей нравилось, то она была страшно недовольна собой и окружающими; она вечно бросалась из одной крайности в другую и могла быть то желчной, то сентиментальной, то оживленной, то вялой, впадала поочередно то в экстаз, то в апатию. В одно и то же время мечтала о блестящей светской жизни и издевалась над собственным тщеславием. И страдала оттого, что сама не знала, чего хотела.

Он влюбился в нее, будучи еще студентом сельскохозяйственной академии. Свое чувство он воспринимал как трудную жизненную задачу, которую во что бы то ни стало надо решить. При всей трезвости и расчетливости своей натуры, он ни на минуту не раскаивался в том, что позволил себе такую роскошь, как экономически не

оправданное намерение любой ценой жениться именно на ней.

Сначала она не обращала на него ни малейшего внимания. Потом, когда узнала о его любви, почувствовала себя оскорбленной. Она с презрением оттолкнула его, а затем начала подшучивать над ним, иногда добродушно, а порой и зло. Но он не позволял себя смутить. Он продолжал бывать у нее и по-прежнему преследовал ее своим серьезным преданным взглядом, исполнял все ее капризы и делал вид, что не замечает иронических усмешек окружающих.

Он никогда не говорил ей о своей любви, довольствуясь тем, что осыпал ее цветами на балах и в праздники и, по провинциальному обычаю, скромно музицировал под ее закрытыми окнами.

По окончании академии он явился к ее матери и торжественно попросил руки дочери. Родные были склонны пойти на компромисс и породниться с крестьянской семьей, так как приданое за Иванкой было небольшое. Но Иванка и слышать об этом не хотела. В довершение всего она вызывающе заявила, что выйдет замуж только за доктора медицины.

Это был тяжелый удар, и не только по его самолюбию, но и по его планам. Но он не отступал. Что ж, хорошо. Он добьется и докторской степени.

Она смеялась, но Марко Бикар не пал духом и спустя четыре с половиной года снова появился в салоне госпожи Пецарской уже с докторским дипломом в кармане.

Иванка плакала, угрожала самоубийством, говорила ему в глаза, что не любит его и что он никогда не будет с ней счастлив, но он, стиснув зубы, продолжал, как и пять лет назад, осаждать ее цветами и музыкой.

В конце концов они обручились. Она шипела от злости и диктовала свои условия, а он на все покорно соглашался. Пока они были женихом и невестой, она очень редко показывалась с ним на людях. Если же они все-таки выходили вместе, то она никогда не шла с ним под руку или даже рядом, а всегда на шаг впереди, бледная, глядя куда-то в сторону. Он бывал у них каждый день, и ее мать не раз заставала их сидящими молча в разных углах комнаты. Оба они похудели и побледнели, но он не отступал, а она, несмотря на предложение матери порвать с ним, если уж он ей так противен, не пожелала нарушить своего

обещания. Она словно за что-то мстила всем, в том числе и самой себе.

После свадьбы, как было условлено, они провели два года в европейских столицах. Он посещал тамошние клиники, а она — концерты, картинные галереи, театры и публичные лекции. Она совершенствовалась в пяти иностранных языках, из которых Марко едва научился кое-как объясняться на двух, поскольку это ему было необходимо для работы. Он предоставил ей полную свободу. Иной раз он сопровождал ее, но если сильно уставал, отпускал ее одну и поздно вечером. Но уже через полгода она никуда не хотела идти без него. Одной ей было как-то неловко. И она все чаще просила его пойти с ней. Он смеялся:

— Не понимаю я этой твоей музыки и твоих картин! Ну хорошо, хорошо, я пойду, только ты мне скажи, когда будет интересно, и разбуди, если я вдруг засну.

Она сердилась, но уже больше по привычке.

Через полтора года она почувствовала, что устала и пресытилась. Она уже не дочитывала до конца новых книг и отбрасывала их в сторону. Если ей хотелось почитать, она брала старые. Реже стала выходить из дому. В полдень или к вечеру, когда он возвращался из больницы, она обычно встречала его, и они шли рука об руку по бульварам, а потом уже домой. Она начала интересоваться его работой, медициной, и сердилась, если он отвечал на ее вопросы упрощенно, словно ребенку. Она любила разговаривать с ним, и ей нравилось, что он умеет обо всем на свете говорить просто. Словарь у него был довольно скудный, но говорил он необыкновенно ясно и точно. Иногда и она рассказывала ему о своих девических мечтах, о своих развлечениях и былых сумасбродствах. О том, как она ждала какого-нибудь графа из романа, как мечтала стать очень богатой или встретить талантливого художника, с которым бы она вместе страдала и прославилась. Он улыбался и, очевидно не принимая всего этого всерьез, думал о чем-то своем, то и дело доставал записную книжку, карандаш и что-то писал, чертил, высчитывал.

— Ну что ты там все считаешь? — спрашивала она.

— Что я считаю? Во что нам обойдется постройка дома, и еще я думаю о том, что у нас в имении надо посадить хмель, разбить фруктовый сад и ввести новый способ поливки. Все это даст хороший доход.

— А зачем это? — удивлялась Иванка.

— Как зачем? Надо действовать, если мы хотим разбогатеть.

— А медицина?

— Э, у нас порядочный врач, да еще серб, не очень-то разбогатеет. Это так, между делом. Главное, голубчик, имение, хозяйство. Неужели ты думаешь, что ты и дальше сможешь покупать картины, ездить в оперу, содержать, как ты говоришь, дом в определенном стиле на те деньги, что у нас есть? Нужно работать, очень много работать.

Ей стало грустно, и она замолчала, не зная еще, радоваться этому или огорчаться.

— И до каких же пор ты собираешься работать?

— Ха-ха, до самой смерти.

— И все это только ради моих развлечений?

— Э, нет, и у тебя найдутся другие занятия. Когда у нас будут дети, работать придется обоим.

— Для того, чтобы они могли развлекаться?

— Своих детей я научу работать. Я хочу накопить денег, чтобы им легче было начинать, чтобы они могли работать лучше меня. И я буду радоваться, глядя на их успехи.

Этот разговор произвел на Иванку угнетающее впечатление и заставил ее задуматься. Ей показалось, что она вдруг ощутила, как крепка и тверда земля под ее ногами, и на мгновение увидела, как в сущности несложна и коротка ее собственная жизнь. И она склонила голову, словно под тяжестью чьей-то сильной и неумолимой руки, а потом со всем примирилась и только загрустила, как будто пережила что-то печальное и непоправимое.

Она и после этого не раз заговаривала с мужем о его планах, об их будущем, но он неохотно вдавался в подробности. Единственное, о чем он вместе с ней совсем по-детски мечтал,— это о «нем», о том, кто должен был скоро родиться: как они его назовут, какие у него будут глаза, как они его будут одевать и кого из них он будет больше любить.

Пока они жили за границей, Иванка еще могла хотя бы в мелочах оказывать воздействие на мужа. Иногда, собираясь в театр, ей удавалось упросить его переодеться в новый костюм или насильно повязать ему галстук. Но как только они вернулись на родину, Марко влез в сапоги, охотничий костюм, наглухо застегнутый на роговые пуговицы, на голову нахлобучил маленькую зеленую ша-

почку с кисточкой из шерсти дикой козы. Он отпустил бороду, чуть ли не наполовину сократил и без того небогатый запас слов и стал говорить по-крестьянски, растягивая слова. К жене он заходил только в определенные часы, чтобы немного передохнуть. С утра он обычно разъезжал по пациентам, поскольку на дому больных не принимал. Всю вторую половину дня он носился по имению, заходил в конюшни, заглядывал в клети и на чердаки, без конца торгуясь и переругиваясь то с управляющим, то с батраками, то с рабочими на стройке. Он успевал всюду побывать, все заметить и потрогать собственными руками — каждый кирпич на кладке, каждую лопату и мотыгу на поле. Каждую косу он проверял сам — ударит о камень и слушает, как она звенит. Не раз он проводил ночи в поездах, не желая тратить на дорогу дневное время. В любую пору он просыпался сам, без будильника. Среди ночи мог вскочить с постели и помчаться на ферму, где должна отелиться племенная корова. Вообще он спал очень мало, но зато много и без разбору ел и был всегда здоровым, загорелым и бодрым. Он вечно участвовал в каких-то спекуляциях, вечно торопился на какой-нибудь аукцион и, даже если ничего не покупал, то хоть отступного получит; он перепродавал, сдавал в аренду земельные участки, делал займы на одних условиях и давал на других, более выгодных. Он всегда был начеку, всегда готов был броситься на добычу, как хищная птица. Он безошибочно определял выгодное дело и точно так же сразу чуял никудышное, и умел быстро сбыть его другому. С домашней прислугой и батраками он был строг, выжимал из них все соки, но никогда не обсчитывал и, если требовалось, умел помочь, никогда не хвастаясь этим. И хотя крестьяне боялись его, но были ему по-настоящему преданы. Иванка смотрела на него не только со страхом и неприязнью, но и с невольным уважением. Она не осмеливалась ни протестовать, ни вмешиваться в его дела. Ей оставалось только молча кусать губы, когда Марко приводил грязных мужиков в опанках[1] в ее гостиную, и они, ввалившись туда со своими кнутовищами, сплевывали прямо на дорогой персидский ковер. В таких случаях он нарочно приглашал ее, вводил в гостиную и представлял этому мужичью как своим хорошим друзьям, с

[1] Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи *(сербскохорв.)*.

которыми он «всегда рад иметь дело», и словно не замечал, как это ей неприятно.

Во всем прочем он предоставлял ей полную свободу: она обставила дом по своему вкусу, могла тратить сколько угодно на туалеты и вечера. На ее журфиксах он появлялся на несколько минут, по обыкновению весь в пыли, и то лишь для того, чтобы поздороваться с женой и с искренней радостью приветствовать гостей, и сразу уходил или заниматься своими делами, или спать.

Но и у нее оставалось все меньше времени для развлечений. Один за другим рождались дети. И почти каждый год весь бальный сезон она была прикована к дому. В городе поговаривали, что доктор Бикар нарочно так устраивает. Ей было жаль своей молодости. Но когда однажды ее мать намекнула на это Бикару, он быстро заставил ее замолчать, сказав: «В моем доме хозяева мы — моя жена и я. И никто не имеет права вмешиваться в наши дела! Не так ли, жена?» Иванка тихо ответила: «Да. Оставь, мама».

И она все больше забывала о балах и вечерах, поглощенная заботами о детях и хозяйстве. Забывала она и о своих прежних неясных стремлениях. У нее не было сил противопоставить ощутимым результатам его труда свою угасающую тоску по нежности и романтическим излияниям. Кроме того, она так уставала, что ей некогда было и подумать об этом, а он никогда не давал повода к ссорам и никогда не старался казаться не таким, каким был на самом деле.

Она не любила его и иногда думала, что ненавидит его, но у нее не было причин не уважать его, смеяться над ним, стыдиться его или чувствовать к нему отвращение. Любовь его была ненавязчивой. А о том, чтобы требовать от нее любви, он и не помышлял. Она была его женой — и этого ему было достаточно. Он никогда не мучил ее подозрениями или ревностью, бессознательно придерживаясь принципа — хотя он не был человеком принципа,— что это было бы оскорбительно для его жены. И она была ему за это благодарна, так как только тщеславным и влюбленным в своих мужей женщинам нравится, когда их ревнуют. И рядом с ним, и вдали от него она одинаково испытывала полное доверие к каждому его слову или поступку и была уверена, что он всегда и во всем знает меру, никогда не сделает ошибки и не осрамит ее.

Если им случалось вместе бывать в обществе, то он либо добродушно улыбался и молчал, слушая, что говорят другие, и, очевидно, гордясь остроумием своей жены и тем, что она разбирается в недоступных ему вещах, либо говорил только о том, что знал наверняка и проверил на собственном опыте. А когда речь заходила об искусстве, то на все вопросы он отвечал:

— Да, я, кажется, припоминаю... Жена советовала мне обратить внимание... Вообще-то я в этих вещах ничего не смыслю, но мне понравилось.

Иногда, если он бывал в особенно хорошем настроении, он показывал своим гостям гравюры, картины и коллекцию старинного фарфора:

— Это моя жена купила в Париже. Ей нравятся такие вещи, она говорит, что это имеет большую художественную ценность. Ну, а раз ей нравится, значит, и мне тоже.

В такие минуты она преисполнялась дружеским расположением к мужу и испытывала своего рода семейную гордость: в ней укреплялось чувство ответственности за свою семью. А во время жатвы она любила в легком нарядном платье, под кружевным зонтиком приезжать под вечер в имение, взяв с собой чистеньких и веселых ребятишек. Еще издалека был слышен свист парового двигателя, стук молотилки и хруст соломы. В облаках розовой пыли двигались жнецы; ей было приятно отыскать среди них фигуру мужа, похожую на сноп пшеницы, услышать в общем гаме его хозяйский голос, который звучал особенно внушительно в облаках пыли и мякины, в приторном запахе машинного масла — ведь он заставлял работать столько человеческих рук, оживлял серпы, колеса и приводил в стремительное движение толстый ремень молотилки. Заметив жену, он быстро подходил к ней, целовал ее в лоб и с улыбкой просил отойти в сторону; и она никогда не обижалась на него за недостаток внимания.

За десять лет семейной жизни она свыклась с ее тихим, однообразным ритмом. Прежние мечты все реже навещали ее, постепенно она и сама начала верить в то, что эта тихая, без больших перемен жизнь под надежным кровом и есть единственно возможное счастье.

Но после шестого ребенка Иванка серьезно заболела. Как-то купая новорожденного, служанка поленилась принести из колодца побольше холодной воды и обожгла его. Ребенок весь покраснел и отчаянно раскричался. Иванка

страшно рассердилась и, еще слабая после родов, в легком платье сама выбежала на двор за водой. В тот же вечер у нее началась горячка, а на другой день — кашель. Открылось кровохарканье. Муж перепугался, вызвал из столицы профессора и, по его совету, немедленно сделал все, чтобы как можно скорее отправить ее с матерью в Каир.

Перед отъездом Иванка сильно переменилась. Лихорадка вернула щекам прежний яркий румянец, а глазам — блеск. Она опять стала болезненно чувствительной и капризной, какой была до замужества. Часто плакала, но не от боли и не от мысли о кончине. Она не верила в возможность своей смерти и говорила о ней лишь потому, что ощущала в себе еще большой запас жизненной энергии и ей приятно было видеть, как от ее слов страдальческая гримаса искажает лицо мужа. Она мучила его всевозможными капризами и противоречивыми прихотями, наслаждалась его заботами и вниманием, и глаза ее сияли, если она видела, как дрожат его руки, когда он дает ей лекарство или поправляет подушки. Она не желала принимать лекарство ни из чьих рук, кроме его. Она требовала, чтобы он постоянно находился около нее, и могла целыми часами держать его руку в своей, пристально глядя ему в глаза. Только так она и засыпала. Но если во сне чувствовала, что его нет рядом, то начинала плакать, как ребенок, звала его, опять брала за руку, клала ее себе на сердце и шептала:

— Поцелуй меня.

Он целовал ее в глаза, в губы, и она, счастливая, спрашивала:

— А ты не боишься?

— Чего мне бояться?

— Что поцелуешь меня и тоже заболеешь?

— Не говори так! — строго прерывал он ее.

— А ты меня и сейчас любишь? — шептала она.

— Ну как ты можешь об этом спрашивать? — сердился он, стараясь не быть грубым, и голос у него срывался.

Она успокаивалась, а потом снова говорила:

— Если я умру, ты женись. Я не хочу тебя связывать.

— Не смей говорить об этом! — кричал на нее муж, и нижняя челюсть у него дрожала.

Она с улыбкой сжимала его руку:

— Ну, не сердись! Прости меня.

Он отвез ее в Египет. Прощаясь с ним в Александрии, она страстно обняла его, смеясь и плача.

— Я здесь поправлюсь. Я чувствую. И когда вернусь, мы будем счастливы.

Первое время ей становилось все хуже. Бикар целыми днями бродил по имению, ничего не видя перед собой. Он забросил своих пациентов и с трудом заставлял себя следить за делами. Но затем из Каира стали приходить все более утешительные известия, и с ними к нему словно возвращались силы и воля к жизни. Четыре месяца спустя он навестил жену и вернулся очень довольный. Снова дело спорилось у него в руках, и каждый раз после очередного письма от нее он устраивал пирушку со своими друзьями — старыми холостяками.

Подошло время жатвы. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. При ярком свете луны, когда выпавшая роса смывает дневную пыль с листьев и цветов и смачивает сухую солому, косили мелкий овес, а днем — пшеницу и усатый ячмень. Поскрипывали коромысла на плечах детишек, приносивших воду жнецам. С трех участков, расположенных в разных местах, доносились громкие голоса. Всюду пестрели яркие платки и юбки.

Среди жнецов были и венгры, и словаки, и сербы-католики. На каждом участке было и по нескольку человек православных сербов. По приказанию хозяина их разделили, так как они хорошо работали только среди «иноверцев». Собираясь вместе, они принимались чесать языки, дурачиться и могли провести самого бдительного надсмотрщика. А так, стоило их только подзадорить: «Эй, Милан, поднажми-ка, этот мадьяр тебя обгоняет!» — и Милан так нажимал, что у мадьяра язык на плечо.

Бикар сам объезжал поля. Привстав в пролетке и указывая палкой туда, где замечал непорядок, он покрикивал на жнецов, не делая разницы между мужчинами и женщинами. Каждого он знал по имени.

— Эй, дядя Мато, последи там за Аницей, не оставляет ли она колосьев!

Часто он вылезал из пролетки и проходил по рядам жнецов. И сразу затихали все шутки и ссоры, замолкали все песни, хотя он никогда не требовал тишины. Венгерки в коротких юбках в черный горошек и коротких кофточках с узкими рукавами нагибались так низко, что из-под юбок белели незагоревшие ноги. Они спускали на са-

мые глаза свои желтые косынки и из-под них бросали кокетливые взгляды на хозяина. Покачиваясь в ритм взмахам серпа, тела их трепетали под тонким полотном одежд. Весело позвякивали стеклянные бусы под пшеничными косами с вплетенными в них длинными красными лентами. Сербки-католички в тонких полотняных рубашках с глубокими, не застегнутыми на груди вырезами и таких же тонких вышитых юбках, подоткнутых за пояс, обращались к нему с каким-нибудь вопросом, смело глядя в глаза. Словачки прерывали свою грустную песню, которую они пели почти шепотом, словно испуганные громкими и озорными голосами других девушек, и вежливо здоровались с хозяином, не поднимая глаз. Православные же сербки всегда на что-нибудь жаловались, добиваясь справедливости и в чем-то обвиняя всех прочих.

Бикар смотрел, как идет работа. Что ему не хотелось слушать, он не слушал и шел дальше. Но по вечерам всегда угощал жнецов вином, ракией, бараниной и высылал к ним музыкантов.

Женщины подозрительно косились друг на друга и шепотом принимались гадать, которая из них сегодня ночью исчезнет с сеновала. По поведению хозяина ничего нельзя было узнать. Он на всех смотрел одинаково, ругал всех подряд и каждый вечер приказывал привозить большую кадку воды, чтобы женщины могли помыться, потому что он вовсе не желал, чтобы они тут у него запаршивели от грязи и начали болеть.

Несмотря на взаимные подозрения, женщины по молчаливому уговору не устраивали друг другу сцен ревности. Но когда среди них появилась цыганка Гина, все дружно ее возненавидели.

Она была, как говорили, разводка. Всегда молчаливая, очень опрятная. У нее была кожа цвета слоновой кости, рыжие волосы и желтые глаза. Она не белилась и не румянилась, а одевалась почти по-господски: всегда в чулках и в красных туфельках без задников, на высоких каблуках. Их хлопанье вторило шуршанью ее накрахмаленных плиссированных юбок. Платок она повязывала так, чтобы узел его как бы невзначай чуть-чуть прикрывал ее маленький подбородок. Она прекрасно разбиралась во всех женских хитростях и держалась так, что придраться к ней было невозможно. Работала она вместо заболевшей

сестры, но женщины утверждали, что она нарочно явилась сюда, узнав, что госпожа уехала за море.

Бикар встретил ее неприветливо. Он строго заявил, что не терпит белоручек и что у него нужно работать. Она скромно ответила: «Целую руки»,— пошла на гумно без чулок, в красивой белой рубахе и работала весь день, не поднимая головы, не разгибая спины и ни с кем не разговаривая.

Вечером доктор приказал бабке Магде, чтобы этой ночью она прислала к нему Гину. Бабка скоро вернулась и испуганно сообщила, что та не хочет идти. Бикар, с трудом удержавшись от брани, холодно сказал, чтобы Гина больше на работу не выходила и утром пришла за расчетом.

Гина не пришла, а утром он застал ее на своем месте. Она усердно работала. Он крикнул ей:

— Эй ты, цыганка, смотри, как работаешь, колосьев не оставляй после себя!

Только тут она подняла на него глаза, покраснела до ушей и покорно сказала:

— Слушаюсь!

...Когда на заре она собралась уходить, он протянул ей деньги. Она спрятала руки за спину и стыдливо попросила, чтоб лучше он, если уж ему так хочется, купил ей какой-нибудь подарок.

— Возьми сейчас же! Не хватало из-за тебя в город ехать!

И так продолжалось до окончания работ. По их поведению никто ничего не мог заметить. Он по-прежнему ничем не отличал ее от остальных, кричал на нее, называл «цыганкой», а она покорно слушала и целовала ему руку. Иногда только хмурила брови, словно о чем-то задумываясь.

Осенью он опять на месяц съездил в Каир и вернулся веселый и довольный. Жене стало намного лучше. Он оставил ее там еще на одну зиму, чтобы весной привезти домой совершенно здоровой.

Вернувшись, он сразу же приказал прислать к нему Гину. С тех пор она приходила довольно часто. Спала она всегда в комнате для гостей. В другие комнаты он ее не пускал. Однажды, когда в доме убирали, она хотела остаться в спальне, где посреди комнаты стояли две тяжелые кровати.

Он резко одернул ее.

— Ну, ты готова? Выходи, я запру дверь! Здесь спит моя жена!

Она, как и раньше, говорила ему при людях «целую руки» и «милостивый господин» и даже наедине обращалась к нему на «вы». Как-то раз, будто обмолвившись, она сказала ему «ты».

— Ты что возомнила о себе, цыганское отродье? — закричал он и вытолкал ее вон.

В ней возмутилась женская гордость, и она, задыхаясь, прошипела, что она не «какая-нибудь» и пусть он тогда привезет себе «свою чахоточную». Он выбежал вслед за ней и, размахнувшись, ударил ее по лицу.

— А какая же ты, ведьма цыганская? Если я еще раз услышу от тебя хоть слово о моей жене, прикажу тебя избить, как паршивую собаку!

После этого она несколько раз подсылала к нему бабку Магду. Приходила и сама, рыдала под дверью до тех пор, пока он наконец снова не пустил ее к себе. Она упала перед ним на колени и, обняв его ноги, умоляла простить ее и клялась, что никогда больше рта не раскроет.

— Милостивый господин, если вы меня прогоните, я брошусь в воду. Ничего мне от вас не нужно, не такая я, хоть и цыганка. Что мне делать, если я вас люблю, не могу без вас!

— Еще что, стерва, выдумала! Не надо мне твоей любви! Цыганка должна знать свое место!

Но все же отправил ее домой только на рассвете, заставив взять деньги.

Весной он дал ей сотенную.

— Вот тебе — и с богом! Через две недели приезжает госпожа, чтобы духу твоего здесь больше не было, не то я тебе ноги переломаю.

Гина побледнела и, комкая в руках деньги, попросила дрожащим голосом:

— Возьмите меня в прислуги, очень вас прошу. Госпожа приедут еще слабые после болезни, нервные, а я буду им служить лучше, чем эти ваши мадьярки.

— Я в дела госпожи не вмешиваюсь. Ну, ступай!

Гина пошла к дверям, но, не дойдя, обернулась:

— Так вы не забывайте меня!

— Иди, иди с богом! Некогда мне тут с тобой!

Приехала Иванка. Недели через две после ее возвращения, когда доктор убедился, что жена его в самом деле

совершенно здорова и может заниматься домашними делами, все пошло по-прежнему. Муж обращался с ней так же, как и раньше. Для нее это не было неожиданностью. Только жаль было тех дней в начале ее болезни. Ей казалось, что он ничуть не изменился, и она долгое время не замечала многозначительных взглядов своих приятельниц, не понимала их намеков.

Однажды вечером, вернувшись домой, муж застал ее встревоженной.

— Знаешь, ко мне приходила сегодня цыганка, молодая такая,— хотела наняться в прислуги. Держится так, словно и не цыганка вовсе. Смущается и как будто боится чего-то. Я ей говорю, что мне сейчас прислуга не нужна, а она настаивает: возьмите да возьмите. «Буду, говорит, делать самую черную работу». И платы большой не просит, согласна на любые условия, муж, говорит, бросил и она осталась на улице. Одета прилично и опрятно. А когда я сказала ей, что все-таки не возьму, стала ломать руки. Плачет и руки мне целует. «Госпожа, золотая, дорогая, возьмите меня, Христа ради, я вам буду прислуживать, как самому богу!» Я перепугалась до смерти, едва отвязалась от нее. И все утро не могла успокоиться. Все тебя ждала. Рассказала я это прачке, а она сначала засмеялась почему-то, а потом нахмурилась и говорит: «Не пускайте больше в дом цыганку эту паршивую, она, говорит, такая паскуда». Вот уж, глядя на нее, никогда бы не сказала. Что ты, Марко, думаешь? Ты знаешь ее? Зовут ее, кажется, Гиной.

Бикар чуть губу не закусил. К счастью, она рассказывала довольно долго и, когда кончила, он уже овладел собой.

— Ну да, знаю,— отвечал он уверенно,— конечно, знаю. Она у меня работала в имении. А потом натирала тут полы к твоему приезду. Как хочешь. Я бы на твоем месте не стал ее брать. Не люблю, когда в доме болтаются цыгане. И уж если ты решила ее не брать, не разрешай больше досаждать себе.

Этого было достаточно, чтобы Иванка поняла, как нужно поступить, но недостаточно, чтобы она могла успокоиться.

Теперь она невольно стала замечать, что служанки часто оживленно о чем-то шепчутся, но при виде ее сразу замолкают. Она начала задумываться над тем, что значат все эти разговоры приятельниц о верности мужей.

Ее мучили подозрения, но поговорить обо всем с мужем не хватало духу.

И тем больше мучений доставляла ей Гина. Она боялась лишний раз взглянуть в окно, так как была уверена, что непременно увидит ее. Даже в толпе на рыночной площади Иванка ловила ее горящий взгляд, пристальный и в то же время униженный и подобострастный. Встретившись с ней на улице, Гина всегда вежливо здоровалась: «Целую ручки, госпожа!» — а в глазах ее и в голосе чувствовалось ожидание, и это все сильнее тревожило Иванку. Не помогла и гордость: «Ах, боже мой, что мне за дело до какой-то цыганки!»

Наконец Гина как-то окликнула ее на ярмарке:

— Целую ручки, госпожа! Неужели вы так и не возьмете меня? Уже нашли кого-нибудь?

Она стояла перед Иванкой, опустив глаза и комкая в руках белый платок. Лицо ее, хмурое и печальное, выражало вместе с тем какое-то дикое упорство. Жена Бикара побледнела и раздраженно тряхнула головой.

— Что вы мне надоедаете? Я же сказала, что не возьму вас. И вообще я не держу в доме цыганок.

Вся дрожа от волнения, она прибежала домой и, выплакавшись, решила просить мужа избавить ее от этой напасти. Но он вернулся домой поздно, усталый, лег на диван и позвал к себе детей, чтобы раздать купленные на ярмарке подарки, и вся решимость ее исчезла. Она ничего не сказала мужу, и он так и не узнал, что творилось в ее душе и что происходит между ней и Гиной.

Наутро доктор уехал на несколько дней в степь, а жена его получила по почте письмо из города, в измятом конверте, с адресом, написанном каракулями. Она почувствовала, что за этим кроется какая-то грязная история, и сначала хотела порвать письмо, не читая. Но любопытство одержало верх, и она вскрыла конверт. Письмо было в каких-то пятнах и написано с ужасающей безграмотностью. Гласило оно следующее:

«Милостивая Госпожа

Вы вчера меня обидели и попали прямо в сердце а я от вас этого не заслужила потому что я вас берегла хоть вы этого не заслужили потому что если бы я захотела вы бы больше не вернулись в этот дом потому что Господин меня любили и жили со мной и это знают все а я хотела вас спасти от людей и служить вам как царице и заткнуть

им всем рот а вы меня презираете что я цыганка а раз я цыганка я знаю что делать и знайте что я вас прокляла и поцыгански заколдовала и вас живьем черви съедят а Господин вас бросит и я при вашей жизни войду в дом и буду Госпожа.

Гина Коломпарова, цыганка.

Если вы это письмо покажете Господину я знаю что он меня убьет но и он пойдет на каторгу и ваши дети будут нищие».

Иванка, собрав последние силы, дважды прочла это послание, скомкала его и упала без чувств. Служанки нашли ее на полу. Они уложили ее в кровать, захлопотали вокруг нее, но не могли разжать ее руку. Очнулась она уже в постели и сразу же спрятала письмо под матрац.

Утром ей стало лучше. Она стыдилась своей слабости. Страх поборол в ней злость и тоску, и она заперла письмо в свой письменный столик и приказала никого не впускать к себе. Она то и дело поглядывала в окно, но не замечала там ничего подозрительного.

Часов в двенадцать в комнату вбежал сынишка с букетом полевых цветов и запиской.

— Это мне дала одна тетя, очень красивая. Она вся заплаканная и хочет о чем-то тебя попросить, и велела передать тебе привет и вот это письмо. Я ее спрашивал, почему она плачет, а она все плачет и говорит: «Прости меня». Вон она, стоит у ворот.

Иванка вскочила, выхватила у него букет и швырнула его на пол, потом смяла записку и бросила ее в угол.

— Как ты посмел взять у нее цветы?

Испуганный мальчик расплакался:

— Ой, мамочка, я же не знал!

Мать замолчала, заставила себя успокоиться, вытерла сыну слезы и поцеловала его.

— Ну, иди в свою комнату и будь умником. Мама больше не сердится.

Потом она подняла с полу записку и, вся дрожа, стала ее читать:

«Милая золотая Госпожа простите меня а что я вчера написала неправда чтоб мне ослепнуть неправда простите меня несчастную глупую неправда а Господин на меня и не смотрели а вы такая красавица и хорошая а я прос-

тая цыганка простите меня и не верьте что я вас прокляла и ваших деток дай им бог здоровья на радость отцу и матери а и если б прокляла бог бы не послушал такую грешницу а я и не умею колдовать это только глупый народ думает что мы цыганки умеем а мы не умеем и сами не верим но раз люди просят и платят гадаем а я никогда этого не делала чтоб у меня руки отсохли и прошу вас допустите меня к себе и еще раз не бойтесь и не презирайте меня я больше вам никогда на глаза не покажусь и уеду из этого города куда глаза глядят только перед этим хочу вам поцеловать руки и ноги и услышать что вы меня простили а если вы меня не пустите к себе я себя убью у ваших дверей клянусь богом прошу вас целую ваши ручки.

Гина».

Женщина в комнате встала и взглянула в окно. У ворот, сиротливо прислонившись к ограде, стояла Гина и остановившимся взглядом смотрела куда-то на дорогу. Услышав стук открываемой рамы, она обернулась и с плачем ударила себя кулаками в грудь.

— Войдите!

Иванка сама открыла дверь. Гина застонала и в отчаянии прижалась щекой к ее руке, осыпая ее поцелуями и обливая слезами.

— Возьмите себя в руки! Идемте!

Иванка ввела ее в дом. Гина остановилась в дверях. Иванка отослала сынишку играть во двор, закрыла за ним дверь, а затем спокойно прошла в комнату и села. Как только она взглянула на Гину, та кинулась ей в ноги, рыдая, обняла ее колени и стала их целовать, с трудом выговаривая сквозь слезы:

— Простите меня, простите!

Иванка, взволнованная не меньше ее, не знала, что делать; наконец взяла Гину за плечи и мягко высвободилась из ее объятий.

— Ну, успокойтесь же. Чего вы хотите? Говорите скорее, а то каждую минуту может вернуться муж.

— Госпожа, простите меня, ради бога!

— Это правда? Посмотрите мне в глаза.

— Нет, нет, милая госпожа, чтоб глаза мои лопнули, да я и не умею...

— Я не об этом спрашиваю, а...— Она смутилась и не договорила. Гина начала отчаянно креститься.

— Неправда, все неправда, я все врала, и люди врут, только вы меня простите, и я вас никогда больше не буду мучить.

— Ну хорошо. Я вас прощаю.— У нее задрожал подбородок. Она хотела встать.— Вы тоже несчастная женщина.— И слезы хлынули из ее глаз.

— Нет, нет, госпожа, вы не несчастная, вы не можете быть несчастной, вы такая хорошая, такая красивая, и господин только вас любит, а Гина уедет и больше не вернется. Спасибо вам, спасибо. И... простите меня за все.— И она снова стала судорожно сжимать руки Иванки, осыпая их поцелуями.

— Это еще что такое? — раздался за дверью голос доктора.

Стремительно войдя в комнату, он остановился как вкопанный при виде плачущих женщин. Потом схватил Гину за шиворот и вытолкал ее из комнаты.

— Да как ты посмела войти к госпоже, мерзавка! Вон из моего дома! — Он столкнул ее с лестницы.— Я тебя с полицией отсюда вышлю! — крикнул он ей вслед. Потом со вздувшимися от ярости жилами на шее обернулся к жене: — А ты? Неужели тебе не стыдно?

— Марко, я...

— Что? Позор! Моя жена, хозяйка моего дома, мать моих детей не должна разговаривать со всякими потаскухами, понятно? И чтоб я больше о ней не слышал ни слова, понятно? А остальное уж мое дело.

— Хорошо. Прости, пожалуйста.

— Распорядись, чтобы мне принесли воды вымыть руки. И пусть подают суп.

Женщина вышла, но по дороге незаметно подняла с пола письмо, достала из столика второе и оба бросила в горящую печь.

1913

Бедняжка наша Мумица

Мумице исполнилось девятнадцать лет, когда ей наконец удалось сбросить с себя детскую матросскую курточку и отпустить ниже колен широкую гофрированную юбку.

Сестры долго и отчаянно сопротивлялись этому. Тихо, но взволнованно совещались они за закрытой дверью. И вот теперь Мумица, надув губки, стоит перед ними, словно обвиняемая, она топает ножкой и со слезами на глазах говорит:

— Подруги дразнят меня, а молодые люди смеются мне вслед.

— Какое тебе дело до подруг! — гневно и презрительно обрывают ее сестры.— Ты должна слушать только нас, своих близких, мы одни тебя любим. Люди злоязычны... А теперешние молодые люди такие невоспитанные! Не пристало тебе унижаться до того, чтобы обращать внимание на их дерзкие выходки. Впрочем, ты еще совсем ребенок!

— Какой же я ребенок, ведь мне уже девятнадцать лет! — упрямо протестовала Мумица.

Это привело сестер в такой ужас, как если бы настал конец света.

С тех пор пошли бесконечные споры между тремя сестрами, учительницами высшей женской гимназии, и Мумицей. Случалось и раньше, что они не сходились во мнениях, но тогда дело ограничивалось небольшим волнением.

Сестер огорчало легкомыслие Мумицы. Училась она неохотно, к книгам не обнаруживала ни малейшего интереса. Куда больше ее воображение волновали танцы. Гимназию она все же с грехом пополам окончила, но тут решительно заупрямилась и продолжать ученье наотрез отказалась. Все увещевания сестер были напрасны. Даже пример покойного отца, учителя, вегетарианца и автора

трех учебников для сербских православных автономных школ — по географии, арифметике и физике,— одним словом, высокоученого мужа, имя которого произносилось с благоговением и которому-де только смерть помешала занять достойное его учености место — кафедру в Белградском университете,— даже пример отца не производил на Мумицу должного впечатления и не возжигал в ней честолюбивых помыслов. На ежедневные призывы: «Ты, дочь Василия Поповича, должна быть первой ученицей!» — она только пожимала плечами.

— Тебе необходимо получить образование. Не то что с тобой будет, когда мы умрем?

— Я выйду замуж!

Услышав такую ужасающую банальность, сестры так и замирали на своих местах.

— Стыдись! Вот чего ты набралась от своих распущенных подруг!

Но что поделаешь со строптивой девчонкой? Пришлось уступить. Уж очень они ее любили! Только уроки свои теперь распределили так, чтобы одна из них оставалась подле «ребенка». Они оберегали ее, шили ей лучшие, чем себе, платья (хотя всегда по прошлогодней моде) и водили гулять, не скупясь при этом на мудрые рассуждения о тяготах жизни, о подлости людской, особенно доставалось мужчинам, которые и созданы-то для того лишь, чтобы лгать женщинам, обманывать их и губить.

Сестры — Катарина, Ангелина и Вукосава — невысокие, коренастые и плотные, были некрасивы, с костистыми лицами, маленькими, колючими, недоверчивыми глазками, птичьими острыми носами и медлительной походкой. Их черные, лоснящиеся от жира и отливающие синевой волосы были стянуты на затылке в тугой узел, из которого всегда торчало множество огромных шпилек. Мумица же с ее неизменным здоровым румянцем на щеках, большими голубыми глазами и непокорными каштановыми кудрями была вся пухленькая, с милыми ямочками на щеках, на подбородке и на круглых белых руках — тип настоящей славянской красавицы! Глядя на нее, сестры частенько говаривали: «Вылитая мать!» И с подобающей в таких случаях торжественностью сообщали, что она (Мумица совсем не помнила матери) была красавицей. Но стоило только девушке весело воскликнуть: «Все говорят, что я похожа на мать!» — как тон сестер мгновенно менялся:

— Да, конечно, некоторое сходство есть, но мама была красивее. Смотри не возомни о себе бог весть чего. Впрочем, красота тела — явление случайное и преходящее, главное — это красота души.

Все же сестры с тайным обожанием смотрели на хорошенькую Мумицу. Красота ее была предметом их гордости, доставляла им поистине эстетическое наслаждение. И в то же время они боялись за сестру. Они ревновали ее ко всем и даже друг к другу, как безобразные мужья ревнуют своих красивых жен. Иногда одной из них начинало вдруг казаться, что с другой Мумица более откровенна и дарит эту счастливицу бо́льшей любовью. Тогда уж «соперницы» не жалели упреков: «Ты портишь ее!», которые сменялись истерическими рыданиями, объятиями и примирением.

Когда Мумица отказалась учиться дальше, сестры решили дать ей домашнее образование. Они заставляли ее читать классические, отобранные на специальном совете и выдержавшие строгую домашнюю цензуру произведения. Большей частью Шиллера и Марли. Но ее хорошенькая головка не была расположена к столь серьезному чтению.

Очень скоро это ей наскучило. Тогда сестры взялись читать ей вслух, но мысли Мумицы были далеки от того, что ей читали и объясняли. То она уносилась в своих девичьих мечтах к морю, то грезила спортом, особенно конным крикетом, то видела себя рядом с гладко выбритым, неустрашимым лордом в белоснежном костюме, какие ей попадались на картинках в журнале «Wiener Mode». А иногда она представляла себя сестрой милосердия. Ей рисовалось, как она отправляется на войну, перевязывает раненых. И вот незаметно подкрадывается любовь. Разумеется, он — офицер, раненый, о котором она без сна и отдыха, долго и трогательно заботится. А потом появятся дети. Она страстно любила детей. Как часто она, улучив момент, утаскивала соседского малыша, тискала его, душила в объятиях, осыпала поцелуями и играла с ним на полу. Как мечтала она о замужестве, о таком вот бутузе, который будет болтать ножками, брызгая на нее водой, когда она станет его купать.

Чем пышнее расцветала Мумица, тем больше сестры боялись за нее. Они неусыпно следили за каждым ее шагом. Стоило ей на секунду задуматься, как они, обменявшись понимающими взглядами, подвергали ее суровому

допросу. Одна из них брала ее за подбородок, приподнимала голову и вопрошала: «Что с тобой? Смотри мне прямо в глаза! О чем ты сейчас думала? Непростительный грех утаивать что-либо от нас». А уж доведись одной из них заметить в поведении Мумицы нечто такое, что им казалось необычным и симптоматичным, она тут же шепотом делилась своими опасениями с другими, и все три немедленно удалялись на совещание и долго ломали себе головы над тем, что бы это могло значить и какую тактику лучше всего применить в данном случае.

Прогулки с Мумицей были для них настоящей пыткой. Нелегкое это дело — и с нее глаз не спускать, и наблюдать за прохожими. Сестер прямо в дрожь бросало от гнева и муки, когда мужчины при виде Мумицы выше обычного приподнимали шляпы. А некоторые останавливались на углу или даже у самого их дома, явно поджидая их. Стоило только женщинам поравняться с ними, как они, отвесив любезнейший поклон, принимались обстреливать Мумицу выразительными и озорными взглядами. Бедным девственницам казалось, что в их глазах пробегает гнусный смешок.

— На мужчин не смотрят, когда с ними здороваются! Отчего ты покраснела? — едва шевеля губами, разом шептали все три.— Не смей улыбаться, когда отвечаешь на поклон! Порядочная девушка должна лишь небрежно кивнуть. Эти шалопаи теперь бог весть что вообразят! Надо смотреть перед собой, только перед собой!

О замужестве Мумицы в ее присутствии никогда не говорилось. Да и без нее об этом редко заходила речь, а уж если этот вопрос и затрагивался, то только так, теоретически, ибо в городе не было ни одного заслуживающего их внимания человека. Ведь они отлично знали, что все здешние молодые люди ходят в кафе, легкомысленно предаются веселью, поглядывают на женщин, а иногда даже увязываются за ними. Сестрам представлялось, как в один прекрасный день явится к ним серьезный человек, они с ним познакомятся, изучат его характер, привычки и, если найдут достойным, вверят ему свое дитя, разумеется, сохранив за собой право совета и контроля. И хотя в глубине души у них теплилась надежда, что такой день никогда не придет, все же они собственноручно кроили, шили и вышивали чудесное и солидное приданое для своей Мумицы.

В марте, когда Мумице минуло двадцать лет, сестры усилили надзор. Примерно в эту пору в конторе адвоката, что помещалась в соседнем доме, частенько начал появляться практикант Матич, который всякий раз, проходя мимо, бесцеремонно заглядывал в их окна. Мумице запретили читать и вышивать у окна. Но вскоре сестры с ужасом заметили, что у нее всегда находится повод лишний раз подойти к окну или показаться в воротах именно в это время. И хотя все это их сильно тревожило, они из тактических соображений пока молчали. Но поведение Мумицы день ото дня становилось все подозрительнее. Настроение ее менялось каждую минуту. То она, радостно напевая, с жадностью и горячностью набрасывается на любую работу; даже та, от которой она прежде воротила нос, горит у нее в руках. С каким усердием колотит она выбивалкой из испанского тростника по одеялам — можно подумать, будто это палят пушки на рождество. То вдруг на нее находит какое-то дремотное оцепенение, и она на некоторое время словно выключается из жизни. Сколько раз за столом смех ее внезапно обрывался и ложка с супом повисала в воздухе. А то примется вертеться перед зеркалом, делает себе разные прически, как ребенок, наряжается в старые материнские юбки со шлейфом и, словно пава, расхаживает по комнате, искоса поглядывая на себя в зеркало. Наконец не на шутку встревоженные сестры призвали ее к ответу. Но поскольку сами они деликатно не касались основного вопроса, то ничего определенного вытянуть из нее не удалось.

На майском пикнике сестры имели случай убедиться, что противник их не из робкого десятка. Им казалось, что все и вся словно сговорились действовать им наперекор. Как ни всматривались сестры в движения губ Мумицы и ее кавалера, они все же не могли понять, о чем те говорили. Сестры уселись, прикрыв ноги юбками, на огромном ковре, расстеленном для пожилых людей прямо на траве, и стали наблюдать за танцующими. О, эти игры в горелки, где в стремительном беге мелькают и проносятся мимо развевающиеся юбки, руки мужчин, крепко обхватившие талии девушек! О, эти прогулки под руку! Молодые люди оживленно о чем-то говорят, подняв глаза кверху, словно отыскивают там кусочек небесной лазури или изломанный солнечный луч, пробивающийся сквозь кроны деревьев, а девушки лепесток за лепестком отправляют в рот приколотые к груди розы, зардевшись и опустив

глаза, словно считают, сколько раз показался из-под юбки кончик их ботинка.

Смотрят сестры на все это, и в груди их закипает возмущение. И подумать только, до чего безнравственна теперешняя молодежь! Нет, в пору их юности, лет десять, пятнадцать, двадцать назад молодые люди вели себя куда скромнее. А этот Матич и после второго коло[1] ни на шаг не отходит от их «ребенка». Но самое ужасное в том, что Мумица, кажется, ничего против не имеет. Она делает вид, что не понимает их красноречивых взглядов, или отвечает какой-то рассеянной, наивно-озорной улыбкой, а то и вовсе не смотрит в их сторону. Ох уж эти пикники, они, верно, и придуманы лишь для того, чтобы портить нравы!

Во время быстрых танцев Вукосава то и дело подходила к Мумице и одергивала ей юбку или поправляла широкую голубую атласную ленту, перехватывавшую талию девушки и ниспадавшую чуть не до самой земли. Стоило Мумице приблизиться к ним, как на нее сыпался град замечаний:

— Мумица, гребень вот-вот выпадет!

— Мумица, хватит прыгать, отдохни!

— Мумица, накинь-ка шаль, не то простудишься!

А потом вставала Катарина и шептала ей на ухо или о расстегнувшейся пуговице, или о кончике белой рубашки, показавшемся из маленького разреза на груди.

Когда Мумице захотелось пить, сестры силой усадили ее рядом с собой и стали журить за легкомыслие:

— Ну разве можно пить такой разгоряченной?

— Знаешь, вот точно так покойная Луйка выпила на вечере залпом целый стакан лимонада, и сразу ее зазнобило. На другой день слегла в горячке и за шесть недель сгорела.

— Но ведь мне совсем не жарко!

— Как так! Сейчас пить — это все равно, что лить воду на раскаленный утюг. Подожди.

И все три сестры принялись по очереди согревать ладонями стакан с водой. Через полчаса они наконец дали стакан Мумице, предупредив при этом, чтобы она отпивала маленькими глоточками.

— Не все сразу! Хватит! Теперь можно еще. Хватит! Остановись! Хватит!

---

[1] Коло — южнославянский народный массовый танец.

Если бедняжке Мумице хотелось мороженого, сестры разминали его до тех пор, пока оно не превращалось в сладкую жижицу, и только тогда ей разрешалось есть, да и то осторожно, по одной ложечке.

Но сейчас маневр сестер не удался. Матич, видимо, не желал ни на минуту расставаться со своей партнершей. Он тоже присел на ковер и стал насмешливо глядеть на эту забавную группу, не осмеливаясь, однако, вступать в разговор, потому что Мумица уже успела ему шепнуть:

— Не задевайте моих сестер. Они любят меня. И если хотите, чтобы мы были друзьями, то постарайтесь понравиться им.

— Уф! — Матич испустил глубокий вздох.

Вернувшись домой, сестры стали мягко и дипломатично внушать Мумице, что-де не годится поощрять ухаживания Матича, ибо он нисколько не лучше других, и что вовсе не следовало проводить все время в его обществе, потому что это неприлично и может повлечь за собой дурную молву.

— Что же мне делать?

— Во всяком случае, это нехорошо. В другой раз так не поступай. Придумай предлог и приходи к нам.

На другой день в открытое окно кто-то бросил на рояль букет. Мумица даже подскочила от радости, а сестры мертвенно побледнели.

— Сейчас же выброси на улицу!

— Не выброшу!

— Ты знаешь, кто его бросил?

Мумица залилась краской.

— Нет.

— Это тот.

— Если ты сию минуту не выкинешь букет, то мы сами сделаем это, когда он пойдет мимо.

Но Мумица еще крепче сжала цветы и решительно заявила:

— Не дам.

— Что-о?

— Ах, вот как! Ты вздумала упрямиться?.. Так и ты его... возможно ли это?

Разгневанные сестры, схватив ее за руки, притянули к себе, но тут Мумица вдруг отвернулась и расплакалась.

— Ну и что же здесь дурного? Ведь и другие девушки дружат с молодыми людьми. Потому и выходят замуж. И я выйду за него.

— И это ты делаешь у нас за спиной? Стыдись! Будь наша бедная мама жива, она бы сейчас плакала.

И все три дружно разрыдались.

— Он тебе уже объяснился в любви и сделал предложение?

— Нет... Пока еще... нет,— глотая слезы, ответила Мумица,— но сделает, я знаю.

С этого дня слежка за Мумицей усилилась. Но любовь хитра и изобретательна. Влюбленные нашли новый способ общения. Как они договорились, это так и осталось тайной, главное было в том, что Мумица вырезала своим бриллиантовым перстнем кусочек стекла в окне и прикрыла отверстие подушечкой, под которой каждое утро и вечер появлялись новые письма.

Однажды Мумица храбро объявила, что в воскресенье Матич придет просить ее руки, и тут же добавила, что, если они его отвергнут, она убежит — вот уж будет скандал! — а если ей помешают убежать, то тем самым только вгонят в чахотку и доведут до могилы. И пусть тогда льют слезы и раскаиваются, сколько их душе угодно. Она-то уж не воскреснет. Бр-р-р!

Общий ужас, рыдания до нервных спазм, упреки — черная неблагодарность! — и снова слезы.

После этой сцены Мумица ушла в себя, и никакими силами нельзя было вытянуть из нее ни единого слова. Перевернули весь дом в поисках тайника, допросили служанку, заподозрили всех соседей и друг друга и устроили совещание, затянувшееся до поздней ночи, на котором пришли к заключению, что пора вмешаться, если они хотят счастья своему ребенку. Уж так и быть, они примут Матича, со временем изучат его характер и тогда, если он окажется не лучше других, Мумица сама отречется от него, а потом ее отправят на время в село к родственнице, и она его совсем забудет.

В воскресенье сестры, настроив себя на воинственный лад, заняли боевые оборонительные позиции в трех креслах. Сначала прибыл букет, который тут же был переправлен в спальню, где запертая на ключ Мумица, прижимая руки к груди, считала минуты, оставшиеся до того, когда ей надлежало ринуться в бой и встать между воюющими сторонами, чтобы решить исход сражения. Время тянулось томительно долго, и, будучи не в силах выносить подобное испытание, она выпрыгнула через окно в

коридор, подкралась к двери, ведущей в гостиную, и, забыв про двадцатилетнее благонравное воспитание, прильнула глазом к замочной скважине и стала подсматривать.

Матич явился облаченный во фрак, который сковывал его движения, словно панцирь. Его круглое, пышущее здоровьем лицо, оттого ли, что он гладко выбрился, или от волнения, было совсем белым.

Он говорил спокойно, но в его голосе слышались нотки, ясно говорившие, что вся эта церемония нагоняет на него смертельную скуку. С трудом подбирая слова, он сказал, что цель его визита им, очевидно, известна. Он пришел просить руки Мумицы. «Вот так штука! — подумал вдруг он.— Ведь в столь торжественный момент следовало бы называть ее полным именем». А оно, как нарочно, вылетело у него из головы.

Катарина, как было заранее условлено, дрожащим голосом ответила, что его поступок удивляет ее, что Мумица еще ребенок (тут Матич едва удержался, чтоб не рассмеяться), что мысль о ее замужестве им еще и в голову не приходила и они не могут отдать свою сестру человеку, чей характер и взгляды на жизнь и на брак им неизвестны. Они должны как следует изучить его, а на это требуется время.

Матич начал заметно нервничать. Он был человек деловой и не терпел ни малейшего отлагательства в осуществлении принятых им решений.

— Помилуйте, что же тут еще узнавать? Вы же знаете, кто я такой, кто мой отец, чем я буду заниматься. Мумицу я люблю, она меня тоже, я прошу только ее, ни денег, ни другого приданого мне не нужно. Так к чему же усложнять такие простые вещи?

Катарина и Вукосава воззрились на Ангелину, которая, по их общему мнению, унаследовала отцовский ум. Та поджала свои и без того тонкие губы и тоном глубочайшего презрения заговорила:

— Так, так. А продумали ли вы как следует, что такое брак, какие обязанности он налагает, сколько требует нравственных сил, серьезности и ответственности? Достаточно ли вы тверды духом, чтобы нести ответственность за счастье другого, такого чистого существа? Нет, нет, сударь, жизнь — вещь очень серьезная.

— О господи! Но ведь я, кажется, не молокосос какой-нибудь!

— О, пардон. Вот видите, какой вы горячий. А знаете ли вы, что основой брака является терпение? Может быть, вы сейчас решились на брак точно так же, как решаются на какую-нибудь тяжбу, исход которой заранее неизвестен. Но мы, сестры, заменяющие ей и отца и мать, не можем поступить так легкомысленно и отдать ребенка в руки незнакомого человека. Нет, мы должны хорошо узнать вас, прежде чем дать свое согласие.

— Простите, но ведь Мумица согласна, позовите ее сейчас сюда и спросите!

— Нет, нет! Мумица у нас так воспитана, что ее желания всегда совпадают с нашими. И потом, неужели вы думаете, что мы своего ребенка отпустим от себя? О, этого никто не вправе от нас требовать! Это невозможно! Она всегда должна быть подле нас. Ведь она нежный цветок, такое еще дитя, золотое наше дитя,— мы были бы без души и не выполнили бы клятву, данную матери, если б пустили ее в жизнь одну с чужим человеком.

— Э, сударыни, вы уж меня извините, но это просто невероятно! У вас какие-то странные понятия! Жена должна повсюду следовать за мужем. Я вам очень признателен и благодарен за ту нежность и любовь, какою вы ее дарили, обещаю и впредь относиться к вам с глубоким почтением, мы будем приходить к вам в гости, но ведь не можете же вы не согласиться с тем, что конторе и жене положено быть в одном месте.

— Ах, вот вы какой! Да вы настоящий тиран! Мы так сразу и подумали, что Мумицу вам доверить нельзя.

Матич уже порывался встать и дать волю кипевшему в нем глухому раздражению, как вдруг в гостиную вбежала Мумица. Сестры остолбенело уставились на нее, а Матич раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но она сделала ему знак молчать.

— Теперь я знаю, кто здесь ребенок! Сами вы дети, если так говорите! Да и вы, господин Матич, недалеко от них ушли, раз так несдержанны. Все вы меня любите и желаете мне добра, и уж если речь идет обо мне, то позвольте и мне сказать свое слово.

— Мумица!

— Постойте!.. Вы, господин Матич, просили моей руки, потому что любите меня, не так ли?

— Да.

— Хорошо. Вы имеете какие-либо серьезные возражения против господина Матича?

— Но, Мумица, что это ты вдруг так!.. Grässlich! [1]

— Значит, не имеете! Я тоже согласна, и делу конец. А теперь давайте спокойно побеседуем.

— Ах, Мумица, и где ты такого набралась?

Матич вскочил и поцеловал ей руку, а она, чуть покраснев, с блестящими от слез, но улыбающимися глазами, кинулась обнимать и целовать сестер.

— Ведь он любит меня, сестрички, как и вы, я буду счастлива, ну поцелуйтесь же!

И Матич обнял каждую из ошеломленных дев и на их сухих, сморщенных щеках запечатлел по поцелую.

Но вот сестры пришли в себя, переглянулись и, утирая набежавшие вдруг слезы, подавленно и смущенно залепетали:

— Нет, нет, что же это такое? Мы хотели не так!

— Что поделаешь! — сказал Матич, с довольной улыбкой сжимая руку Мумицы.

— Постойте,— вмешалась осмелевшая и почувствовавшая себя вдруг гораздо разумнее и старше сестер Мумица.— Мой долг — всюду следовать за мужем, но вместе с тем я навсегда останусь вашей прежней Мумицей, вашим первым ребенком, а он — вторым.— Здесь она смутилась.— Нет, я не то хотела сказать. Я буду и его ребенком, а он — вашим братом. Он будет любить вас так же, как и я, а вы его — как меня. Не правда ли?

Матич в знак согласия кивнул головой, а лица сестер от недоумения еще больше вытянулись.

Когда Матич собрался уходить, они, то ли от душивших их слез, то ли от щебетания Мумицы, все еще не могли произнести ни слова. И только у ворот к ним снова вернулся дар речи, и они взволнованно повторяли:

— Что вы наделали! Что вы наделали!

Вскоре Матич уехал сдавать адвокатский экзамен. Через полтора месяца он вернулся. Молодые люди обручились, а спустя две недели обвенчались и отбыли в его родной город, где он открыл свою контору.

Сестры негодовали, всему противились, но поступали так, как хотела Мумица.

Вплоть до венчания они только и делали, что лили слезы да упрекали Мумицу, что она их совсем не любит. Бедняжка Мумица даже устала от бесконечных заверений в

---

[1] Ужасно! *(нем.)*

самой нежной любви к ним. В церкви сестры так горько плакали, словно присутствовали не при венчании, а на похоронах. Перед отъездом новобрачных они заманили Мумицу к себе в комнату и потребовали, чтобы она писала им о самых мельчайших подробностях своей жизни у мужа и чтобы немедленно возвращалась к ним в случае, если ее постигнет разочарование.

Матич крутил от злости ус и иронически усмехался.

— Какие вы странные! Можно подумать, что вы посылаете ее в пещеру к тиграм.

Проводив Мумицу, они грустили, как вдовы. Только и разговору было, что о ней. И все три сходились на том, что он не будет любить ее так сильно, как они, что она еще хлебнет горя и умрет от уязвленной гордости. Каждый день одна из них писала ей письмо, давая множество советов: как вести хозяйство, обставить дом, украсить комнаты; сестры посылали ей рецепты различных кушаний, выкройки блузок и без конца вязали для нее. Но что самое главное — давали ей мудрые советы, как держать себя с мужем. Надо сказать, что их советы и наставления смахивали на наивные немецкие руководства по дрессировке зверей. Все вместе, втроем, они вкладывали письма в конверт и точно так же читали ответы, причем буквально каждое слово тщательно комментировалось. Некоторые фразы вызывали долгие споры о том, счастлива ли она и не охладел ли уже он. И в очередном послании они требовали сообщить, не заметила ли она в нем каких-либо перемен, идет ли он из конторы прямо домой, не заворачивает ли в клуб, уж не появилось ли у него какой-нибудь пагубной страсти и достаточно ли он нежен.

Время шло, и чем дольше сестры жили без Мумицы, тем придирчивее становились друг к другу. Они часто спорили о том, кто из них больше любит Мумицу и какая из них была к ней более внимательна. Вспоминали все свои размолвки и упрекали одна другую, что именно она огорчала Мумицу чаще.

Матич был для них «он». Отчасти стыдливость, а отчасти ревность мешали им называть его по имени.

Из-за работы в школе сестры не могли отлучиться из города, и поэтому молодая чета через три месяца после свадьбы решила на рождество приехать к ним и погостить у них две недели.

В доме сестер поднялась невообразимая суматоха. Каждая втайне от других готовила сюрприз.

Эти две недели они, конечно, будут жить, как и раньше. «Он» при этом совершенно не принимался во внимание. Спать они будут все вместе в той же комнате. Ее кровать поставят посередине, между двумя своими, а четвертая ляжет на кушетке, и будут меняться, чтобы каждая по очереди была подле нее. Они будут поправлять съехавшее с нее одеяло, согревать поцелуями ее озябшую руку, касаться ладонью ее лба, проверяя, не поднялся ли у нее жар.

А ему предоставят раздвижное кресло в гостиной.

Наконец молодые приехали. Оба за эти три месяца посвежели и заметно пополнели.

Вся его фигура дышала гордостью и самодовольством человека, который уверенно, по-хозяйски держит в руках поводья жизни и вовсе не собирается выпускать их. Тон, каким он отдавал приказания носильщикам и кучеру экипажа, его манера перебирать деньги в бумажнике говорили о том, что он вполне постиг искусство приказывать. А на лицо и все движения Мумицы легла печать ленивого спокойствия и умиротворенности молодой женщины, которую уже не томят смутные предчувствия и неясные желания.

Расцеловав сестер, она как бы ненароком потрепала их по щекам, окинула оценивающим взглядом и снисходительно, как старшая, улыбнулась.

— А вы хорошо выглядите. Только ты, Ангелина, немножко осунулась. Опять, видно, эта твоя бессонница. Там у нас есть хороший доктор, я говорила с ним о твоей болезни. Ах, да, я ведь писала тебе в последнем письме. Я привезла тебе виноградный сироп с бромом. Ну, как вы здесь, детки, очень вы нас ждали? Ах, мой всю дорогу храпел, ха-ха-ха!

Вошли в дом. Пока сестры хлопотали вокруг Мумицы, из другой комнаты донесся голос Матича:

— Попрошу воды!

Мумица вырвалась от сестер.

— Одну минутку... Я сейчас, он любит, когда я сама поливаю ему на руки.

Выхватив у служанки кувшин, она стала весело поливать ему и, в то время как он, хлопая ладонями, разбрызгивал воду, шепнула ему на ухо:

— Веди себя хорошо.

Он засмеялся и звонко чмокнул ее в протянутые для поцелуя губы.

Сестры лишь переглядывались. Если за стеной раздавались его шаги или покашливание, то Мумица обрывала на полуслове разговор и прислушивалась.

— Миливой, тебе что-нибудь нужно?

Достаточно было одного его взгляда, и Мумица тут же покидала сестер и принималась искать то спички, то щетку. Она всегда угадывала, что ему нужно, и — это особенно удивляло сестер — услуживала ему весьма охотно и с видимым удовольствием.

Мумица расспрашивала их обо всем, но слушала как-то невнимательно и рассеянно, до того знакомы были ей все мелочи их однообразной жизни. Куда больше нравилось ей рассказывать самой. Но о чем бы она ни заговорила, всегда как-то само собой получалось, что в центре всех ее рассказов оказывался он, его привычки, так полюбившиеся ей, или его семья, город и контора. Все у нее теперь строго делилось на «наше» и «ваше».

— Сады у нас чудо как хороши, и там есть садовник, который даже и окна украшает цветами — так, забавы ради. А хлеб у нас — ну просто объеденье! Какие-то македонцы выпекают. А мама к гарниру делает совсем особенный соус. Миливой его очень любит. И я теперь так готовлю. И в самом деле получается вкуснее, можете мне поверить. Ха-ха-ха! Вам кажется, что я сильно переменилась? Вовсе нет!

Когда разобрали чемодан, Катарина заметила изменения на некоторых кофточках, которые они ей сшили.

— Зачем ты это сделала? — укоризненно спросила она.

Мумица покраснела.

— Знаешь, Миливой не любит низких вырезов на блузках, вот я и пришила этот пластрон и воланы.

— Ах, вот как, значит, он добрался уже и до кофточек, подаренных сестрами?

— Ох, ну ради бога не делайте трагедии из-за пустяков! Уж так и быть, здесь я из любви к вам отпорю их.

Сколь не усердствовали сестры, вернуть прежнюю жизнь не удалось. Правда, Мумица старалась во всем угождать им, но в роль «ребенка» вновь так и не смогла войти. Все, что в глазах сестер было важным и значительным, представлялось ей смешным и наивным.

Тогда сестры ревностно взялись за то, чтобы уничтожить его влияние. Ходили за ними по пятам. Баловали Мумицу и ни на минуту не оставляли их одних; не обращая на него ни малейшего внимания, ласкали ее, как

малого ребенка, так что Мумице часто становилось неловко перед мужем. А он уже на третий день заскучал. Бедняга изощрялся в выдумывании всяких глупых предлогов, чтобы увлечь ее одну в свою комнату. Ему было и смешно и досадно оттого, что свою собственную жену приходится вот так похищать и наскоро, по-воровски целовать, словно он был желторотым гимназистом. Даже официальный поцелуй после обеда, перед уходом в читальню, приводил дев в чрезвычайное смущение — они густо краснели и пронзали его уничтожающими взглядами.

А когда Мумица сказала им, что у нее будет ребенок, они сначала окаменели от страха, а потом залились горючими слезами и не могли спокойно смотреть на него. Тотчас же виновник всех их бед был призван к ответу, и на несчастного обрушился поток упреков. Что он сделал с «ребенком», какой смертельной опасности подверг! Теперь он должен беречь ее как зеницу ока, забыть про всякие глупости, запретить ей прислуживать ему, как паше, потому что малейшее напряжение для нее теперь равносильно смерти.

— Эх, да что вы в этом понимаете! — засмеялся он.

— Циник бездушный! — прошипели они ему прямо в лицо.

Теперь сестры вообще не спускали с них глаз. Мумице запретили оказывать ему даже мелкие услуги.

— Не трогай. Пусть сделает сам.

Стоило Матичу за столом взять ее руку или ласково поправить упавшую ей на глаза прядь, как они тут же хмурились и начинали беспокойно ерзать на скрипучих стульях. Стоило супругам на секунду остаться одним, тут же влетали сестры. А если им удавалось незаметно выскользнуть в соседнюю комнату, то сестры превращались в слух, и малейшее шуршанье одежды, тихий хруст суставов или приглушенный смех и шепот, прерываемый поцелуями, заставляли их смертельно бледнеть. И тогда одна из них начинала кашлять или с шумом передвигать стулья.

Молодую женщину обуял страх. От нее не укрылась натянутость в их обращении с Матичем и самая искренняя ненависть, обнажавшаяся, подобно змеиному жалу, в каждом устремленном на него взгляде, в каждом сказанном ему слове. Мумица стала вялой, угрюмой, безразличной ко всему. Она пыталась смеяться, чтобы хоть чуточку согреть ледяную атмосферу, царившую в доме, но

смех выходил неестественный и вымученный, похожий на трепыханье бьющейся в тенетах птицы. За неделю жизни в обстановке, которая так живо напоминала ей девичество, она снова начала подчиняться причудам и капризам сестер. Матич заметил это и помрачнел. Наступили дни тягостного молчания. Темы для разговоров иссякли, все труднее и труднее было находить новые.

На восьмой день Мумица всю ночь пролежала без сна. Сестры кинулись обнимать ее и сквозь рыдания спрашивали:

— Признайся, ведь ты несчастна!

Подавляя в себе то злость, то разбиравший ее смех, Мумица всеми силами старалась их разуверить:

— Я совершенно счастлива. Он чудесный человек. Только вы его не понимаете. Да и вообще вы этого не понимаете.

Вдруг Матич ударил кулаком в стену. Мумица испуганно вскочила и крикнула:

— Что с тобой? Почему ты не спишь?

На кончике языка у него вертелся тот же вопрос, но все же он ответил:

— Иди потри мне руку, разболелась что-то.

По лицу Мумицы скользнула едва уловимая улыбка, но тут же, приняв самый озабоченный вид, она направилась к двери.

— Мумица, куда ты в таком виде, оденься! — разом вскричали три сестры и протянули ей юбку и кофту.

— Вот еще! — чуть насмешливо бросила она и убежала.

Остолбеневшие сестры так и замерли на своих кроватях. Им не спалось. С сильно бьющимся сердцем напряженно прислушивались они к происходящему за стеной. И если бы Мумица, возвратившись, погладила одну из них по щеке, она бы почувствовала, что щека мокра от слез.

Боль в руке у Матича не проходила. Каждую ночь она так донимала его, что непременно требовалась помощь Мумицы. Иногда она замечала, что сестры потихоньку плачут, уткнувшись в подушки. Тогда ей становилось бесконечно жаль их, она склонялась над ними, чтоб поцеловать их, но от этого слезы у них начинали течь еще обильнее, они отворачивались и с нескрываемым омерзением шипели:

— Ступай прочь, ты нас больше не любишь!

На следующую ночь она не решилась проведать мужа. Но через два дня снова раздался стук.

На этот раз сестры решительно запротестовали:

— Нет, ты не пойдешь! Ты простудишься, заболеешь. Разве это человек? Настоящий тиран!

Стук повторился, и сестры, уже не владея собой, закричали с ненавистью и злобой:

— Она не пойдет! Она и так уже иззябла и вся дрожит. Души у вас нет. Она вам не рабыня!

— Ка-ак? Что вы суете нос не в свое дело? Бабы! Я зову свою жену.

— Паша! Тиран! Она наша сестра. И если вы такой бездушный, то наш долг — позаботиться о ней.

Тщетно, ломая руки, пыталась Мумица погасить вспыхнувший в сердцах сестер пожар.

Матич выругался, расшвырял все вокруг себя, потом подбежал к их двери и заорал:

— Жена, завтра же укладывай вещи! Я пошел в кафе.

И снова обмороки, нервная дрожь и слезы...

— Не вздумай завтра ехать с этим дикарем и убийцей. Останься у нас, не то весь век будешь несчастна.

Напрасно Мумица утешала их и старалась уверить в обратном — они стояли на своем: она несчастна.

На другой день молодые уехали. Сестры с пожелтевшими лицами, с красными от слез глазами проводили их на вокзал. Хотя Мумице и удалось ради всего святого уговорить их помириться с Матичем и попрощаться, все это они проделали, ни разу даже не взглянув на него.

Как только ноздрей Матича коснулся запах угля и паровозного дыма, он засмеялся и крепко обнял жену, словно боясь, что ее у него отнимут. А она прильнула всем телом к мужу, и, когда он посмотрел ей в глаза, зрачки ее заблестели.

— Хочется тебе домой?

Она счастливо кивнула головой.

Сестрам было больно смотреть на них, и они отвернулись.

Когда поезд тронулся, молодые высунулись в окошко, чтобы сестры могли помахать их платком. Придерживая жену за талию, забыв в эту минуту все обиды и огорчения, растроганный Матич тоже размахивал шляпой. На повороте он облегченно вздохнул, у него словно камень с души свалился, и нежно обнял жену, а она положила голову ему на плечо.

— Не сердись на них. Они хорошие, только очень несчастные!

— Эх, да разве я сержусь, я просто жду не дождусь, когда мы приедем домой.

Мумица улыбнулась.

— Я тоже.— И как-то совсем по-детски, с оттенком грусти добавила: — Господи, прости!

Катарина, Ангелина и Вукосава по пути в свою холодную, пустую квартиру не проронили ни слова. Только очутившись в спальне, они упали друг другу в объятия и громко, безудержно разрыдались. Но вот Ангелина пришла в себя, вздрогнула и, ощутив потребность что-нибудь сказать, смущенно прошептала, и сестры тут же хором повторили:

— Бедняжка наша Мумица, как она несчастна!

1913

Молох

Когда Милош Ока, первый сербский доктор технических наук и главный инженер «всемирно известной» фирмы «Пенц и Брезлмайер» в Берлине, в девять часов утра входил в парадный подъезд конторы Брезлмайера, направляясь в свой кабинет, помещавшийся на третьем этаже, он испытующе посмотрел в лицо швейцара. Огромный померанец в ливрее с неподвижными усами учтиво снял фуражку и пожелал ему доброго утра. Немного успокоенный, Ока сел в лифт. В голове так гудело, словно он ночь напролет глотал крепкий черный кофе.

В коридоре он на минуту остановился. Из большой канцелярии доносился стук пишущих машинок, скрип и звяканье кареток. Барышня в черном сатиновом фартуке и в таких же нарукавниках до локтей прошла мимо него в кассу с большим исписанным листом. Ока едва удержался, чтоб не спросить, что она несет, и, как был в пальто и со шляпой в руке, повернулся спиной к своему кабинету и пошел прямо к двери, за которой через два помещения для инженеров находился кабинет директора Брезлмайера.

Подходя к двери, он слышал все нарастающий шум голосов. Сердце у него упало, но он все же взялся за дверную ручку и с силой потянул ее на себя. Семь пар изумленных глаз немедленно обратились к нему, галдеж мгновенно стих.

Ока обвел присутствующих взглядом. Два инженера, три техника и два чертежника. Все, за исключением чертежников, были старше его, тем не менее после краткой мучительной паузы они приветствовали его легким поклоном. Ока сердито мотнул головой, поздоровался и спросил:

— Господин директор у себя?

— Да,— ответили трое в один голос.

«Обо мне говорили. Должно быть, что-то случилось. Что-то ужасное»,— подумал Ока и сразу почувствовал, как весь покрывается холодным потом, а ноги становятся такими тяжелыми, точно к ним привязали стопудовые гири. Чиновники раболепно раздались в стороны, однако их лица выражали самое неприкрытое враждебное любопытство. Милош понял, что они ждут от него расспросов, и, нисколько не смутясь и не удостоив их даже взглядом, решительно и внешне хладнокровно пересек комнату и вошел в кабинет директора.

— Доброе утро, господин директор! Какие новости? — с вымученной улыбкой спросил Ока старого Брезлмайера, на лице которого он уловил растерянное выражение. Тот тяжело поднялся из-за огромного письменного стола и молча протянул ему телеграмму.

Ока ледяной дрожащей рукой взял бланк с наклеенными на него бумажными лентами.

«Зондерхигель 7.30.

Сегодня точно 6 часов пускаем воду Изар поднялся течет по акведуку прогиб 1,5 м.

Кеслер».

Ока весь ушел в телеграмму. Последние буквы запрыгали у него перед глазами. Он прочел их еще раз. Кровь бросилась ему в лицо. Жилы на висках вздулись. Он ухватился за письменный стол, чтоб не упасть.

— Что скажете? Полтора метра! Мы пропали! — прошептал директор, едва сдерживаясь, чтоб не закричать. Длинная борода его дрожала.

Ока не отрывал глаз от бумаги. Вдруг лицо его осветила лучезарная улыбка.

— Так что же вы скажете?

— Это недоразумение. Простая опечатка. Тут полтора миллиметра. Не хватает одного «м».

Брезлмайер нетерпеливо вырвал у него телеграмму.

— Как опечатка? Не думаю.

Но Ока, уже спокойно глядя на испуганное лицо старого немца, тихо и наставительно, точно учитель ученику, ответил:

— Представьте себе, что прогиб действительно полтора метра. В таком случае акведук давно бы рухнул. Были ли после этой другие телеграммы?

Старый директор, словно плачущий ребенок, который ищет утешения у старшего и сильного, принял слова Оки и веря и не веря.

— Нет.

— Это хорошо. Тогда тотчас же телеграфируйте Кеслеру, чтоб незамедлительно сообщил новые данные, причем пусть все напишет словами, без цифр.

Сказав это, Ока снял пальто, повесил его вместе со шляпой на крюк, опустился на кожаный диван и стал с интересом наблюдать за суматошными движениями патрона. Смертельный страх старого патрона так забавлял его, что он почти забыл собственную тревогу и опасения.

Пока посыльный бегал на почту, Брезлмайер ходил взад-вперед по комнате и, поглаживая свою длинную бороду, придумывал самые невероятные варианты, в которые и сам не верил, лишь бы заставить Оку разуверять его. Ожидание и уговоры утомили Оку. Он встал и, сославшись на какое-то дело, направился было к двери, но патрон грубо остановил его.

— К черту все дела! Дождитесь ответа.

Брезлмайер нервничал и выказывал явные признаки нетерпения. Он поминутно поглядывал на часы, прислушивался, смотрел в окно, звал посыльного и ругал его из-за всяких пустяков.

— Нет, нет, я же говорил, что это слишком смело.

— Вы ошибаетесь, вот увидите! — уверенно отвечал Ока, хотя сам беспокойно курил сигарету за сигаретой.

— Вы еще слишком молоды, господин доктор, и потому так верите в теорию. Вы ведь помните, что я высказывал сомнение сразу, как только вы мне изложили свой вообще-то остроумный проект. Признайтесь, вы и сами побледнели, когда мы узнали, что наше предложение принято.

— Простите, господин директор, но это было волнение, вызванное нашим общим и моим личным успехом.

— Это верно, но я вам еще раз говорю, вы слишком полагаетесь на теорию и на «свой железобетон». На бумаге все выглядит превосходно, но ваши расчеты, возможно, не учли всех местных условий, и достаточно малейшей ошибки, чтобы эта страшная весть стала правдой.

И Брезлмайер схватился за голову.

Желая подбодрить и себя и патрона, Ока принялся неторопливо, доводами логики обосновывать свой проект, принимая во внимание всевозможные непредвиденные

случайности местных условий, в производительных работах, в материалах, беря «и наихудшие варианты»; и вывод, как рефрен после каждого пункта, гласил: катастрофа исключена.

В самый разгар его объяснений, которые никого не занимали — Брезлмайер его почти не слушал, а сам Ока находился в состоянии нервного напряжения,— влетел чиновник с нераспечатанной телеграммой.

Брезлмайер судорожно открыл ее, а Ока, выдворив чиновника и едва удерживаясь от искушения склониться над патроном, впился в него глазами.

Директор взглянул на измятую бумажку и вдруг поднял ее кверху, как знамя.

— Ур-ра! — радостно закричал он.— Браво, дорогой коллега!

Ока покраснел. С трудом высвободив свою правую руку, которую крепко сжимал патрон, он схватил телеграмму.

«Все порядке прогиб как и вначале полтора миллиметра

Кеслер».

Ока улыбнулся победоносной и несколько застенчивой улыбкой.

— Ну, что я говорил вам, господин директор?

— Браво, браво, дорогой коллега, поздравляю вас! — растроганно говорил директор с влажными от слез глазами, по-приятельски обнимая своего молодого главного служащего.

Ока снял с крюка пальто и шляпу. Патрон пошел за ним.

— Разумеется, хоть сегодня вы не будете работать? Идите отдохните, я знаю, вы плохо спали, как, впрочем, и я. А я прокачусь в Грюнневальд.

Но Ока спокойно возразил:

— Нет. Мне надо закончить плафон. Сегодня будет готов.

Когда он проходил через обе комнаты, чиновники, склоненные над своими досками, молча покосились на него, и только самый старший встал и, улыбаясь, торжественно подошел к нему.

— Вас можно поздравить, господин доктор?

— Можно, если вам угодно...

— Поздравляю вас, поздравляю!

— Спасибо.

Придя к себе, он немного постоял, достал зеркальце, протер припухшие глаза, улыбнулся и взялся за работу.

С улицы послышался гудок автомобиля Брезлмайера, но он сосредоточенно работал. Однако проработав час и закончив одну часть, он почувствовал, что рука у него дрожит и цифры путаются. Он отложил работу и пошел домой, чтоб прилечь. Но заснуть не мог. Ворочался с боку на бок, вставал, ходил по комнате и, несмотря на огромное удовлетворение, чувствовал какую-то огромную скуку. Сейчас ему нужен был друг, который разделил бы с ним его огромную радость и успех, но когда он стал перебирать в уме своих знакомых, то не нашел никого, к кому можно было бы запросто зайти или позвать к себе. У него есть знакомые, но все это люди, с которыми его связывают официальные, деловые отношения. Друзей и товарищей у него нет. И вдруг он машинально нажал кнопку звонка.

Когда вошел его слуга Франц, он стоял, заложив руки за спину и широко улыбаясь. Но холодное каменное выбритое лицо слуги с бакенбардами, тонким длинным носом и поджатыми губами привело его в смущение.

— Вот что, Франц, отутюжьте, пожалуйста, смокинг и подберите к нему сорочку.

Франц или не заметил в поведении своего хозяина ничего особенного, или не пожелал этого показать.

— Jawohl, Herr Doktor! [1]

На душе у Оки поскребывало, он расхаживал по комнате в шлепанцах, улыбался и ругал шлепанцы, когда они соскакивали с ног.

— Сегодня у меня хороший день, Франц. Мне удалось одно колоссальное дело!

Франц — он сидел на корточках и перебирал крахмальные сорочки — вежливо повернул голову:

— Уж не получили ли вы, господин доктор, прибавку или... высватали богатую невесту?

— Нет, тут кое-что получше... Эх, вам этого не понять! Нашли? Хорошо. А теперь наберите номер дубль-ве шестьдесят семь пятьсот сорок пять.

И, подойдя к телефону, стоявшему на письменном столе в первой комнате, он снял трубку.

— Добрый день, сударыня. А, вы одни?.. Отлично. Слушай, мы могли бы сегодня встретиться?.. Нет, нет, нет!

---

[1] Да, господин доктор! *(нем.)*

Умоляю, приходи,— у меня сегодня лучший день в жизни, я просто сам не свой от счастья. В семь... Ну хорошо, в половине девятого. Только точно. Надень то «твое платье», знаешь... Ха-ха-ха... Спасибо, целую глазки!

Когда Ока вернулся в спальню, белье уже лежало на кровати, а Франц в своей комнате утюжил бензиновым утюгом черный костюм. Милош пошел за ним.

— Франц, принесите потом от Клайнвехтера, как и всегда, ветчины, семги, икры, селедочного масла, конечно же, булок, миндаля, яблок, конфет, только не как всегда, а шоколадных без ликера; затем две бутылки бургундского и две пива. Я сейчас уйду, а вы тем временем накройте стол на двоих, приготовьте самовар, лед и сделайте бутерброды. Все это принесите ко мне. Да, посмотрите, есть ли у нас еще ром и бенедиктин. Если нет, тоже купите.

До восьми часов он гулял. Приятно было дышать воздухом ранней весны. Он снова чувствовал себя свежим и бодрым, словно и не было напряженной работы последних дней. На каждом шагу он встречал знакомых, на их приветствия он отвечал против обыкновения с изысканной любезностью, но почти снисходительно. Ему казалось странным, что никто еще не знает о его блестящем успехе. «Ничего, узнают»,— успокаивал он себя, но тут же с горечью подумал о том, как мал и узок круг его знакомых. И в памяти возникли картины недавнего прошлого. Ведь и пяти лет не прошло с тех пор, как он шел по бульварам, безвестный и незначительный. С каким вожделением смотрел он тогда на красивых женщин, страстно мечтая об интересном знакомстве и в то же время боясь его, потому что едва сводил концы с концами и жил в меблирашках. Теперь все иначе, и потому он смотрит на женщин смело, почти безошибочно определяя по одежде и поведению, кто эта особа и что собой представляет.

Когда он вернулся домой, в комнате горел свет, письменный стол был придвинут к окну, а посередине белел накрытый стол с красивым букетом в вазе. Все было в полном порядке. В ведре со льдом стояли две бутылки. Самовар оставалось только развести, а подносы с разнообразными бутербродами, семгой и ветчиной, возле которых блестели, словно стеклянные призмы, кусочки красного и белого желе, охлаждались на подоконниках.

Ока пошел к Францу, чтобы похвалить его за стол, а в особенности за то, что он вспомнил про цветы, взял у него

счет и сдачу и приказал сидеть у себя, пока он его не позовет.

Без четверти девять раздался короткий звонок, и Ока, облаченный в смокинг, побежал открывать. В прихожую вошла запыхавшаяся высокая женщина в черном пальто и под густой вуалью. Немного пошептавшись, они вошли в освещенную комнату.

Пока Ока помогал ей снять пальто, целуя ей руки и лоб, она прерывисто, со смехом говорила:

— Кто-то шел за мной по пятам от угла, где я оставила машину, и до самого подъезда. Мне даже показалось, что он вошел за мной в дом. Впрочем, все это ерунда. Вряд ли он меня узнал. Мне так было трудно выбраться сегодня! Пришлось отменить два визита. Но для тебя я готова на любые жертвы. Так что же мы стоим?

Ока все время держал ее за руки и, не выпуская их, то и дело отходил, чтоб оглядеть ее всю.

— Дай налюбоваться на тебя. Сегодня ты прекрасна. Спасибо тебе.

Он хотел ее обнять, но она, зардевшаяся и довольная, мягко отстранила его и повела к дивану.

Госпожа Пенц, жена первого патрона Милоша, надворного советника, который участвовал в предприятии и своим огромным капиталом, и весом в обществе, была высокой, длинноногой белокурой германкой с прямыми сильными плечами, высоким лбом и прямым носом, с изогнутыми тонкими губами и энергичным подбородком. Ее ясные голубые глаза смотрели всегда открыто и прямо. Ничего от героических вагнеровских женщин не было в ее облике. И хотя она была на двадцать лет моложе своего мужа, человека сильного и крупного, она внушала какой-то безотчетный страх и ему, и своему отцу, прусскому генералу. Оку она полюбила только год назад, когда он проявил к ней интерес, ибо до этого, хотя он и бывал у них в доме, не обращал на нее никакого внимания. В последнее время она часто слышала и читала о нем хвалебные отзывы. Хофрат Пенц особенно высоко ставил этого «воистину гениального молодого человека, являющегося воплощением энергии и добросовестности», но на ее вопросы о том, что он за человек и откуда, мог сказать ей ровно столько, сколько было сказано в паспорте Милоша. И эта странная экзотическая, таинственная личность непреодолимо овладела мыслями госпожи Пенц. Гордость мешала ей сделать первый шаг к сближению, и она продолжала

наблюдать за ним издали, однако с затаенной надеждой, что на этом дело не кончится. И именно в этот критический момент Милош вдруг стал проявлять к ней интерес. Она восхищалась его проницательностью, ибо была уверена, что прежде он ее сознательно избегал, а сейчас сознательно дарит ей тепло своих мудрых глаз. Женщина умная и лишенная всякой сентиментальности, она тотчас проникала в тайные замыслы, расчеты и ухищрения своих поклонников и заранее смеялась над ними, и смех этот каждый раз удерживал ее от безрассудных поступков. Но в поведении Милоша Оки было столько подкупающей простоты и искренности и вместе с тем непреклонной решительности и ясности... Этот рассудочный человек, в котором так причудливо сочетались цифры и мечты, честолюбие и душевная теплота, вызывал ее на поединок. Он уверен в победе, ведь такие люди действуют только наверняка; эта дерзость захватывает. И она все больше шла ему навстречу.

Она открыла в нем подлинного любителя музыки, хорошего музыканта и очень удивлялась тому, что об этом никто не знает. Кроме того, он был превосходным рассказчиком, который с легким юмором говорил о людях, книгах и картинах. Во многом он разбирался гораздо лучше, чем иные светские эрудиты, претендующие на знание искусства и изящной словесности. Но о себе он никогда не говорил. Не открывал своих планов, чувств, верований. В нем несомненно было что-то грубое, южное, но об этом можно было только догадываться. Чутье говорило ей, что под панцирем, который этот южанин надел на свою грудь, когда приехал сюда, на чужой север, должен таиться неукротимый темперамент, а возможно, и своеобразная чувственность. Ей нравился этот удивительный серб с черными как смоль, блестящими волосами, с зелеными глазами, длинным смуглым лицом, орлиным носом и крепкими здоровыми зубами в чуть выступающей нижней челюсти. Но особенно привлекало ее то непостижимое, что было в нем. И чем больше она узнавала Милоша, тем все больше и больше хотелось ей узнать о нем, увидеть его изнанку, его оборотную, затененную сторону. Она была абсолютно уверена в том, что у него есть своя тайна. Эта таинственность и эти смутные предчувствия, вероятно, и толкнули ее в его объятия.

Вот уже полгода, как она любит его, но пока они еще топчутся на том же месте. Она слушает его сердце

и чувствует, что это сердце не всегда бьется в лад со смыслом его слов и дел, что она все еще его не знает.

Сегодня она была обворожительна. Его голос в телефонной трубке просто поразил ее, он звучал так призывно и страстно, что она едва его узнала. И этот прием... А его расширенные глаза, чуточку хмельные и бездумные, которыми он словно обнимает ее, жгут ее лицо и плечи. Она смотрела на него с изумлением, полная ожидания и какого-то непонятного томления, готовая к ласкам, забавам, а может быть, к чему-то неожиданному и опасному.

— Не садись. Пройдись по комнате. Я хочу смотреть на тебя и слушать!

— Что с тобой?

— Мне нравится смотреть, как ты ходишь по моей комнате, слышать твои шаги, шуршанье твоего платья.

Женщина сделала несколько шагов, потянулась, как бы греясь в тепле его глаз, потом подошла к дивану — он уже сидел — и взяла его голову в свои ладони.

— Ну, что с тобой?

— Я доволен.

— Мной или собой?

— Собой, потому что сегодня мне удалось одно большое дело и потому что у меня есть красивая женщина, с которой я разделю свою радость.

— Себя ты любишь больше, чем меня. Правда, ты любишь только себя. Эх ты, эгоист!..

— В чем-то ты права; да, я люблю себя и тебя люблю потому, что ты часть меня, лучшая часть, сердце моей личности. Ты символ моей задуманной великой победной жизни!

— Значит, ты любишь меня, пока ты счастлив, и ты несчастлив, пока меня любишь.

— Ты просто играешь словами.

— Нет, нет, дорогой. Значит, если тебя постигнет разочарование, неудача или горе, ты перестанешь меня любить.

— Несчастный, неудачливый человек не смеет тебя любить. Ты хорошо сказала: оступлюсь — вырву тебя из своего сердца. Впаду в нищету — оттолкну тебя и возненавижу.

— Почему? За что?

— Ах, оставим это! Все это одни слова. Я счастлив и люблю тебя, счастье мое.

Женщина встревожилась. Она не понимала его и боялась вдумываться в тайный смысл его слов.

— Ну расскажи же, что сегодня произошло.

— Потом. Сначала поужинаем.

Лишь после второго бокала шампанского, смешанного с красным вином, она повеселела. Милош без умолку болтал о событиях дня, о репертуаре театров и концертов и наконец перешел на тихий, нежный шепот. Она любила эту его нежность, которая напоминала ей ласки тигра — ей всегда казалось, что в его бархатных лапах даже в самые страстные минуты любви словно бы дремлют опасные когти.

Погасили большой свет. Маленькая лампочка, горевшая у самой двери спальни, бросала на пол неширокий круг света. Женщина оперлась на обнаженный локоть и, гладя другой рукой курчавые волосы Милоша, попросила:

— Ну рассказывай же, не упрямься. Ведь ты для того и позвал меня, а теперь заставляешь себя упрашивать. Мне бы надо молчать, тогда бы ты сам начал еще у дверей.

Милош Ока сцепил под затылком кисти рук и, глядя на потолок прищуренными глазами, заговорил вдохновенно и громко, видя в красивой женщине подле себя всего лишь преданную слушательницу, средство, дающее ему возможность высказать вслух столь приятные для него мысли.

— Итак, я добился успеха. Вышел в первый ряд. Я сконструировал акведук, о каком до сих пор ни один архитектор даже и мечтать не смел. И все оригинально, все мое: и проект и материал.

Через месяц газеты всего мира будут писать о нем и о его строителе, давать их фотографии. Через полгода все специальные журналы посвятят свои страницы великому открытию «бетона Оки» и «дерзновенной мысли доктора Милоша Оки». Извлекут из архивов и библиотек все мои ранние труды, моя диссертация выйдет вторым изданием, а моя новая книга «Современный монументальный стиль в архитектуре и адекватный материал» станет важной вехой в развитии науки вообще, откроет новую эру в архитектуре и сделает меня почетным членом многих академий. Она принесет мне славу и богатство.

Ах, дорогая моя, нелегко мне было выстоять. Никто меня не понимал: ни патроны, ни коллеги, ни рабочие, ни публика. Но я все поставил на кон, лег под своды своего

создания; сердце мое замирало от страха, я знал, что если акведук рухнет, он похоронит меня под собой. Но, одержав победу над собственным малодушием и нерешительностью, я одержал победу над миром и сейчас с самой высокой своей башни, построенной в Зондерхигеле, помахиваю, словно майским флажком, и все меня видят, и все мне рукоплещут.

Если б ты только знала, что я создал! Я взял природу за рога, покорил стихию, и теперь она повинуется мне, делает то, что я ей велю. Целую реку я вышиб из ее древнего русла, увел в сторону, загнал в свой акведук и швырнул на турбины, и вот она послушно вертит колеса, дает свет, режет сталь, пилит дерево, греет камины, толкает паровозы, перевозит людей, грузы, деньги и идеи.

Когда в позапрошлом году огромная колония заводов Блайхграмма в Зондерхигеле в Баварии объявила конкурс на лучший проект использования энергии реки Изар, которая протекает на высоте сорока метров в пяти километрах от долины, где расположена колония, я сделал проект и вручил его Брезлмайеру. Я работал три месяца, не разбирая ни дня, ни ночи. И все это сверх своих служебных обязанностей. Когда он увидел мой проект, он просто остолбенел. Он полагал, что я построю каскад, что дало бы сорок — пятьдесят тысяч лошадиных сил, но я сделал акведук, который вбирает всю реку у самого Зондерхигеля и ведет ее к заводам, где она падает с двадцатидевятиметровой высоты в искусственный рукав, направляющий ее назад, в старое русло. Смета требовала миллионов, но падение воды давало пятьсот тысяч лошадиных сил.

Брезлмайера испугали не столько огромные затраты, сколько сам проект. «Это невозможно. Неужели вы надеетесь перенести такую бешеную реку на этих зубочистках?»

И в самом деле жуть берет при взгляде на мой проект. На протяжении полутора километров впечатляющей параболой поднимается,— шесть метров в поперечнике,— тяжелое искусственное русло на двухстах одиннадцати парах столбов. Каждый из них тоньше моей талии, самый низкий — четыре, самый высокий — тридцать два метра.

«Это абсурд, это истерия! — кричал старик.— Я бы не решился пройти под его сводами даже при пустом русле!»

Я смеялся, но все же упросил его послать проект на конкурс. Старик согласился только потому, что нисколько

не сомневался в его провале. Но наш проект приняли. По ходатайству молодого Блайхграмма.

Брезлмайер был поражен. Да и сам я, должен признаться, был ошеломлен до крайности. Брезлмайер трижды спросил меня: «Вы берете на себя ответственность?» — «Беру!»

И мы начали. Работами руководил Кеслер, веривший в меня, вопреки доводам собственного разума. Он понимал, что на карту поставлено принципиально новое решение, что это экзамен на зрелость моего бетона, и хотел участвовать в его триумфе. Однако я пережил с ним немало тяжелого. То и дело он посылал телеграммы, полные сомнений и тревожных предчувствий. Когда поставили опорные столбы и соединили их, рабочие и крестьяне из окрестных деревень оставили строительство. Они ни за что не соглашались работать в самом русле и на сводах. «Рухнет! Рухнет!» — слышалось со всех сторон. С большим трудом удалось мне ободрить Кеслера, а он с трудом уговорил рабочих снова взяться за работу. И вдруг я получаю от него отчаянный призыв: «Немедленно приезжайте, трещит!» Я был на грани самоубийства. Но где-то в глубине души жило сознание: я тут ни при чем, виноваты строители. Придумал какой-то предлог и поехал. От станции я шел один, сторонясь людей, высоко подняв воротник какого-то лапсердака, который надел на себя, чтоб не быть узнанным. У меня дух перехватило, когда я, подходя к стройке, увидел тысячу рабочих, работавших над осуществлением моего грандиозного замысла: чудовищная сороконожка, подобная огромной доисторической амфибии, уже выгнула свой гребень.

Кеслер, бледный, как полотно, бросился мне навстречу.

«Идите за мной»,— шепнул он, запинаясь от волнения. «Подождите. Где трещит? Внизу, у основания?» — процедил я тоже шепотом. «Да».— «Это оттого, что, когда вы отливаете свод, не поддерживаете столбы с противоположной стороны. И тяжесть готового свода давит туда, где свод еще не готов и где, следовательно, нет равного противодействия».

Глаза Кеслера сверкнули.

«Третью пару столбов я засыпал внизу. Осторожно, на нас смотрят! Видите?» — «Вижу,— ответил я сквозь зубы, равнодушно попыхивая сигаретой и делая вид, что осматриваю окрестности.— Стало быть, внизу, как я и

предполагал.— Я облегченно вздохнул.— Так, а теперь делайте так, как я сказал».

Кеслер горячо пожал мне руку.

...Сегодня, как вы уже, наверное, знаете, река пущена в мой акведук. Туда поехал Хофрат Пенц, Кеслер тоже там. Брезлмайер не решился, а я не захотел. Было бы куда театральнее в случае неудачи броситься под рушащиеся своды, но я бы и здесь нашел способ покончить с собой. А делить поздравления с господином Пенцем я не намерен. Сегодня я провел самую страшную ночь. И чуть не помешался после первой телеграммы Кеслера. Судя по ней, все должно было кончиться катастрофой. Меня это как громом поразило, но я, к счастью, сразу заметил нелогичность и понял, что в текст вкралась опечатка. Так оно и оказалось.

Я победил. На следующей неделе поеду посмотреть на свое творение.

«Я тоже поеду с тобой»,— чуть было не крикнула Вильма, ей так хотелось присутствовать при встрече творца со своим созданием, но она тут же вспомнила, что он, вероятно, забыл бы о ней, бросил в тени одного из двухсот своих тонких столбов.

— Что привело тебя сюда? Разве не легче было бы выдвинуться там, где тебя знают и любят? Кто тебя здесь любит? Одна я. Да и мне, по правде сказать, страшно тебя любить.

— Честолюбие привело, а любовь, если хочешь, прогнала. На моей родине любовь не терпит тщеславия. Они в постоянном конфликте. И тут надо выбирать, иначе пропадешь. Я выбрал тщеславие и славу, отказавшись от тепла семейного очага и народной любви. У вас здесь можно одновременно принадлежать и жене, и отцу, и брату, и сестре, и городу, и уезду, и государству, и народу, и всему человечеству. У нас нет. Или — или. Наша среда эгоистична и ревнива. Она хочет безраздельно владеть человеком. На моей равнине нельзя подняться настолько, чтоб видеть поверх ее низких крыш, земля под тобой немедленно превратится в топь и засосет по самую грудь. Она вкладывает тебе в руки свой микрометр, которым можно измерять только наши початки, она дает тебе кусок слезливого дерева с одной или в лучшем случае с двумя струнами, на котором можно выводить одной ей понятные мелодии, без модуляций, она вкладывает в твои уста язык, на котором только в нашем мрачном захолустье можно

называть ощутимые вещи. Ее любовь страшна, и если она тобой овладеет, ты уже ничего больше не сможешь любить, кроме того, что принадлежит ей, и ничего другого не сможешь создать, кроме того, что она любит и понимает, что требуется ей одной и никому больше на всем белом свете. Моя земля не терпит гениальности, ибо гений принадлежит всем, а она справедливая мать,— в этом ее волшебная сила,— она всех своих детей любит одинаково и не хочет, чтоб чей-то голос выделялся из общего хора. Моя земля живет своей жизнью, до остального мира ей нет никакого дела. У нее своя история и свои цели, которым она подчиняет все и вся. На тайный жертвенник приносит она денно и нощно сердца и умы своих лучших сыновей. Почему? Чтоб сохранить примитивное целомудрие своей пламенной любви ко всем своим маленьким и ничтожным детям, которые, однако, все вместе составляют несомненную величину.

Тебе это непонятно? Кажется сказкой? Рассказ о моей земле и вправду сказка, ибо ее теперешняя жизнь — это продолжение доисторической сказки. Хаос, в котором лишь смутно вырисовываются контуры великана. И в этой непостижимости как раз и кроется источник ее самобытного обаяния. Печальная и прекрасная, кровожадная и неумолимая, точно Молох, пожирает она своих лучших детей, движимая непостижимым инстинктом. Из-за какого-то болезненно неуемного человеколюбия, которое, пожалуй, превосходит по силе человеколюбие Достоевского, ибо она, наверное, и пожирает своих самых одаренных детей для того, чтоб когда-нибудь, через много веков, насытившись и окрепнув, с лихвой покрыть свой долг и родить изнуренному и сбившемуся с благой дороги человечеству новых гениев и апостолов.

Видишь, я возненавидел ее, потому что ее можно или страстно, самоотверженно любить, или ненавидеть, я проклял ее, когда почувствовал ее удушающее объятие. Я и сейчас не могу думать о ней без дрожи, я отшвырнул ее со своего пути, но я чувствую, что она и сюда тянет свои щупальца. Стоит мне только закрыть глаза, как я вижу ее спокойные горящие глаза, которые пронзают меня насквозь и молча повелительно зовут...

— Раз так, ты вернешься. Но я тоже поеду с тобой.

— Нет, нет! Никогда!

— Судя по силе твоей ненависти, ты очень ее любишь, а ненавидишь, наверное, потому, что не дал ей того, что

ей принадлежит, свою жизнь и свое честолюбие. Ты чувствуешь свой долг перед ней, оттого и ненавидишь.

— Это неправда!.. Ложь, ложь!

— Дорогой, ты мучаешься, ты несчастлив, несмотря на все свои успехи... Кто ты? Почему заставляешь себя жить в ледяной броне, если сердцу твоему зябко? Почему бежишь от любви, почему отталкиваешь ее? Ты замерзаешь в одиночестве, это противоречит твоей природе. Милош, ты заставляешь себя жить рассудком, ты не создан для этого. И любишь ты рассудочно: и меня, и себя, и свое безмерное честолюбие; ты заглушаешь голос своего сердца, которое жаждет искреннего чувства. Как тяжко тому, кто тебя любит, а я тебя все же...

— Нет, только не это! Я не хочу, чтобы ты меня любила. Беги от меня! Только плотская любовь... другого я не вынесу, не хочу быть в долгу перед тобой.

Я могу дышать только в одиночестве. Быть одному, для всех чужим, посторонним. Не хочу лезть ни в чью душу и в свою не пущу никого. Пусть лежит в земле, как факир с засунутым в глотку языком — сердце его бьется раз в полчаса, и, когда перестанет, никто не узнает об этой смерти, даже он сам. Я никому не смотрю в глаза, а когда кто-нибудь заглядывает в мои, я отворачиваюсь. Говорю тебе откровенно: я боюсь любви, она мне мешает. Любить — это значит связать свои цели и свою судьбу с другим человеком, а я ни перед кем не хочу быть в ответе за свою жизнь и за свои дела.

Еще в самом начале разговора Милош отстранился от нее. Теперь он пересел в кресло. Женщина прижалась к стене и, сдвинув брови, устремила на изменившееся лицо Милоша, на его впавшие глаза глубокий, внимательный взгляд.

— Может быть, ты... раздражен... в отчаянии... Может быть, ты бы и хотел любить, но тебе не позволяет твое непомерное тщеславие. И причиняет боль все, что ты сделал своими руками...

Милош вскочил на ноги, приблизил свое лицо к лицу женщины и судорожно сжал ей руки выше локтей.

— Не надо меня любить!

— Буду, именно за это и буду тебя любить,— простонала Вильма.— Тебя надо любить, ты сам этого хочешь...— И она обвила руками его шею.— Расскажи мне о своих близких, о тех, кто тебя любил.

— С тех пор как я уехал из дому, они непрестанно

думали обо мне, хотя никогда обо мне не говорили, видели меня перед глазами, мне предназначались первые бутоны на новых побегах. Я знаю это. А когда еще я был с ними, они говорили только обо мне, поджидали меня, встречали и провожали, если я куда-нибудь уходил. Они смеялись, когда я смеялся, мрачнели и хмурились, если я был не в духе. Они любили меня какой-то стихийной любовью, любили таким, какой я есть, и потому только, что родили меня, потому что и сами родились в той же постели, потому что у меня такие же жесты, глаза, голос и походка. Каждый из них готов был в любую минуту умереть за меня, но никогда никто из них не видел во мне отдельного человека, особенного, независимого от других,— от семьи. Никому из них и в голову не приходило, что человек, в чем-то, может быть, и схожий с ними, выросший в их среде и близкий им по крови, может иметь особый, закрытый для них мир и свою жизнь. Они любили меня как часть себя, как члена своей семьи, а не как человека самого по себе, с присущими только ему свойствами и талантами. Я мог бы быть весь в струпьях, но им казался бы писаным красавцем, я мог бы быть мелочным, злым и пакостным, но для них был бы самым лучшим. Надо только быть с ними, принадлежать им. Мой ум и способности импонировали им, они ими гордились, но не любили их. За мои идеи они не дали бы ни одного кирпича из наших старых стен, а к моим идеалам относились ревниво и ненавидели их. В семейной программе они отвели мне определенное место и не терпели никаких отступлений. Когда я после защиты диссертации приехал домой отдохнуть и набраться сил для большой работы, они буквально заплеснули меня своей любовью. Приготовили мне комнату, окружили нежным вниманием и неусыпными заботами, пребывая в сладкой уверенности, что я до самой смерти буду делать тут свое маленькое дело, провожать их на кладбище и целиком погружусь в мирное счастье, которое увенчается тем, что и меня когда-нибудь оплачут и проводят до семейного склепа. И когда я, испугавшись, что размякну от этих нежностей, сказал, что здесь для меня нет поля деятельности, что здесь я вообще не могу работать, они пришли в неописуемый ужас. Последовало тяжелое объяснение, полное жестоких слов и взаимных упреков, и в результате я хлопнул дверью и приехал сюда, в неизвестность, чтоб в борьбе добиться успеха. Через полтора года, после первой удачной

работы, я написал им и послал денег. Они вернули их. И с тех пор всякая связь между нами прекратилась.

— У тебя голос дрожит от волнения, когда ты говоришь о них. Это мучает тебя.

— Да, мучает. Ибо, и тут ты совершенно права, во мне еще живет желание, чтоб кто-то с любовью следил за моими успехами. Понимаешь, равнодушие толпы меня сковывает и парализует, зависть и ненависть соперников мобилизует, безмолвная же любовь, которая восхищается, трепещет от страха за меня и верит, прибавила бы огня моему духу. Особенно мне ее не хватает во время взлетов и падений. В такие минуты в одиночестве я как бы угасаю, мне начинает казаться, что равнодушие толпы окончательно задует тлеющий во мне огонь, а ненависть завистников и сплетников просто сотрет в порошок. ...Но зачем я все это говорю тебе! Совсем нервы разгулялись.

Милош встал и заходил по комнате, пряча от Вильмы глаза.

— Ты раскаиваешься, что был искренен со мной. Ты не любишь меня даже так, как час тому назад.

Милош с поникшей головой остановился перед женщиной.

— После такого разговора в самом деле тяжело... Прости. И, пожалуйста, уйди. И поскорее... Уйди!

Женщина побледнела и со стоном упала на кровать.

— Где моя гордость? Что ты со мной сделал?

Милош даже не заметил, как она перестала плакать, встала и подошла к нему. Он рассеянно смотрел в окно, бормоча что-то невразумительное.

— Милош, Милош, ты бредишь, ты болен. Ты говорил неправду.

Милош медленно обернулся. Глаза его горели.

— Умоляю тебя, уходи.

Женщина встрепенулась, в ней накипало бешенство. Ногти ее уже готовы были вонзиться в его лицо.

— Зверь!

Он схватил ее за руки и так стремительно заломил их назад, что она упала на колени. Потом, весь дрожа от ярости и отвращения, отшвырнул ее от себя, словно гадюку, и, крикнув: «Уходи!» — снова подошел к окну.

Красивая женщина с трудом поднялась и, подавляя рыдания, начала стыдливо одеваться.

— И это все?

— Все,— спокойно ответил Ока, даже не обернувшись.

Она убежала, как из темницы.

Ока еще долго стоял у окна, устремив на улицу пустой неподвижный взгляд. Его мучили угрызения совести. Глядя, как за окном густеет туман, обволакивая прохожих и превращая их в ужасно смешных расплывчатых карликов, он с тоской думал о том, что обидел такое милое создание, которое любит его, и, как ни странно, обидел именно потому, что любит. И вдруг его стала охватывать тоска, та щемящая тоска, какая обычно находит при мысли об одинокой смерти. Когда-нибудь, в такой же вот мутный и холодный день, он тщетно будет искать человеческую душу, готовую смиренно выслушать его исповедь. Он был уже близок к тому, чтоб на стекле, запотевшем от дыхания, пальцем выводить полузабытые имена, давнишние слова и безумные обеты. Но вдруг вздрогнул, отвернулся от окна и пробормотал:

— Чепуха, глупая сентиментальность. Надо быть сильным.

Он словно вытащил из ладони занозу.

Он отправился в кафешантан, чтоб развлечься. Во время представления у него стали слипаться глаза, он вернулся домой и лег спать.

Наутро Милош проснулся свежим и бодрым. Теперь он раскаивался лишь в том, что так разоткровенничался перед госпожой Пенц, и хвалил себя за твердость. В канцелярии его ждали многочисленные поздравления. На улице двое бывших коллег остановили его, чтоб пожать ему руку. Они были сама учтивость, и все же в их глазах и тоне он уловил изумление, и это особенно льстило самолюбию Милоша. «Раньше вы меня не замечали, да?» — с удовлетворением думал он.

Дома он нашел приглашение на вечер к начальнику отделения в министерстве путей сообщения, надворному советнику барону Хальму. И это успех! Должно быть, услышал сегодня от Брезлмайера, раз пригласил его в последнюю минуту. Прекрасно. Он сейчас же оденется и поедет.

Перед самым уходом слуга подал ему конверт. Он сразу узнал Вильмин почерк, на мгновенье задумался, но потом решил отложить его: «Не буду портить себе настроение. Завтра».

Когда лакеи сняли с него пальто и один из них пошел докладывать барону, Ока оглядел себя в зеркале. Он

пригладил волосы, разделенные прямым пробором, и улыбнулся. При ярком свете черный фрак и жесткая белоснежная сорочка как нельзя лучше подчеркивали резкие черты его смуглого лица.

Барон сам вышел к нему; проведя через два салона, сверкавших шелком и женскими декольте, он представил его баронессе и сразу увел в угол, где расположились мужчины. Среди них весело колыхалась седоватая борода Брезлмайера.

— О, мой дорогой доктор Ока! — крикнул старый предприниматель приветливым, дружелюбным тоном, глядя на него с отеческим добродушием.

Все уже знали о его успехе и, поздравляя, забрасывали его вопросами, кто он, откуда родом, где учился, чем занимался и каких принципов придерживается. Ока чувствовал себя словно во хмелю. Говорил и двигался легко и уверенно, сам удивляясь своему остроумию и с наслаждением слушая собственный голос. Он говорил о глубоком кризисе, который переживает современная архитектура, объясняя его тем, что, стремясь к монументальности, она не располагает еще адекватным новым материалом. Главная задача — создать новый материал. Наша культура развивается под знаком интеллектуализма; сейчас больше чем когда-либо развитие ее определяет переделка и подчинение природы нашим целям. Все индустриализуется, и поэтому мы должны создать новый камень, который больше бы подходил к нынешним условиям, чем естественный, просто взятый из каменоломни. Сейчас он работает как раз над этим.

Разгорелась дискуссия. Большинство не верило в успех его затеи, но все видели в этом молодом варваре, который и своей темной кожей, и огнем своих глаз, и пылом своих речей отличается от всех присутствующих, воплощение какой-то новой стихийной силы.

В среднем салоне начался концерт. Мужчины прервали ученый спор и перешли туда. Дамы сидели полукругом, а мужчины стоя слушали юную баронессу, которая несильным, но приятным альтом пела романс Реггера. Она хорошо владела голосом, но пению ее недоставало чувства. Однако ей дружно аплодировали. Баронесса поклонилась и улыбнулась. Ока заметил, что она метнула на него весьма выразительный взгляд и тут же, словно нехотя, отвела глаза. «Здесь, пожалуй, обошлось бы без особых хлопот»,— подумал он. Аккомпаниатор, какой-то

взъерошенный студент консерватории, сыграл на рояле две пьесы Грига и, видимо, во избежание вежливых аплодисментов и неискренних похвал, сразу же заиграл вальс. Дамы в сопровождении кавалеров перешли в танцевальный зал. Ока извинился — он-де не танцует, и снова примкнул к пожилой компании. Через некоторое время хозяин от имени баронессы попросил его присоединиться к дамам — им просто не терпится побеседовать с героем дня. Не успел Ока подойти к женщинам, как все общество облетела весть о прибытии супругов Пенц. Барон Пенц вернулся ночным экспрессом и приехал сюда с женой.

Вильма была чуть бледна. Увидев Оку возле жены барона и его дочери, она невольно вздрогнула. Милош поклонился и с благодарностью в душе принял поздравление Пенца, которое спасло его от минутного замешательства.

— Ах, господин доктор, это было прекрасно! Жаль, что вы не присутствовали при своем триумфе.

И он принялся наиподробнейше описывать церемонию пуска акведука. Дамы слушали барона с горящими глазами, то и дело поглядывая на устало улыбавшегося Оку.

Юная баронесса многозначительно подняла на Милоша свои голубые глаза и вздохнула:

— Счастливец! Успех, наверное, самое прекрасное, что может быть.

— Только порой его трудно вынести одному.

— В самом деле?

Милош подумал: «Девушка как девушка. Как любая наша поповна».

— В том-то и заключается вся его прелесть: переживать его в одиночестве, да еще про себя посмеиваться над ним.

— У вас, должно быть, сильная воля.

— Может быть... Хотя я и сам не знаю, чего здесь больше — стойкости или простого сопротивления.

— Похоже, что вы не умеете радоваться? Боже мой, как бы я радовалась!

— Нельзя оглядываться назад, если думаешь о новых свершениях.

— Пардон,— неожиданно вступила в разговор Вильма,— позвольте, господин доктор, от всего сердца поздравить вас!

Ока посмотрел на ее лицо и заметил в уголках рта горько-насмешливую складку.

— Спасибо! — И он поцеловал ей руку.

Снова начались танцы.

— Барон Хальм был очень любезен. Он уже полностью осведомлен о моей работе,— сказал Милош после недолгого молчания.

Женщина опять улыбнулась насмешливой, высокомерной улыбкой.

— О, вы безусловно продвигаетесь. С этим я вас тоже поздравляю. Только вперед! — И, делая вид, что поправляет приколотые к поясу цветы, тихо прошептала: — Не теряй головы, Милош, бог есть!

Он притворился, что не слышит, и как ни в чем не бывало продолжал свои равнодушные замечания о присутствующих — все, мол, такие милые, приятные, любезные.

Во время трапезы слуга попросил хозяина выйти. Вернувшись, барон ласково взял Милоша под руку и отвел в сторону.

— Вам телеграмма, дорогой доктор. Я не хотел вас беспокоить, но, кто знает, может быть, что-нибудь срочное.

— Откуда? — спросил Милош.

— Кажется, из заграницы.

Милош вздрогнул и вышел.

Телеграмма была из Равангpада.

«Милану и отцу очень плохо приезжай немедленно *Мелания*».

Милош побледнел.

Барон обнял его.

— Несчастье в семье? Жан, рюмку коньяку!

— Да. Спасибо. Будьте добры, попросите сюда господина Брезлмайера и барона Пенца.

Вышли оба патрона Милоша. Вид у них был встревоженный.

— Извините меня, пожалуйста, господа. У меня дома случилось несчастье. Какое, еще не знаю, но, видимо, речь идет о смерти. Надеюсь, вы извините меня и позволите сейчас же уехать. Самое большее через неделю я вернусь и наверстаю упущенное.

— Пожалуйста, не спешите. Можете вернуться и через две недели. Ах, какое несчастье!

В эту минуту к ним подошла Вильма. Она была так напугана, что даже не заметила, что порвала кружевной рукав, зацепившись за пуговицу на мужнином фраке.

— Что случилось?

— Ничего, ничего, дорогая. Вернись, чтоб не тревожить общество! — ответил Пенц, мягко подталкивая ее к двери и не имея времени удивиться поведению жены.

Но Вильма подошла к Милошу почти вплотную.

— Я знаю. У вас что-то случилось.

— Да. Смерть. Я должен сейчас же ехать.

— Что? Вы хотите уехать домой? — И она повернулась к мужу и Брезлмайеру.— Умоляю вас, не пускайте его!

Пенц и Брезлмайер переглянулись.

— Что вы говорите?

— Умоляю вас, не пускайте его! Если он уедет, он никогда больше не вернется.

— Не будь ребенком. Ступай, пожалуйста, в зал... До свидания, господин доктор! Значит, через десять дней мы вас ждем. Что бы ни случилось, крепитесь, ваша жизнь только начинается. И примите мое соболезнование.

Милош стоял бледный и неподвижный. Наконец он встрепенулся, вскинул голову, пожал господам руку и пошел к выходу.

— Не пускайте его, не пускайте! — шептала женщина голосом, в котором слышались и гнев и слезы.

Милош учтиво поклонился и выбежал на улицу.

Он чувствовал, что поездка эта будет для него роковой. Он страшился ее, но не ехать не мог. И, словно боясь самого себя, не хотел ничего предрешать заранее. С необыкновенной поспешностью пошел он домой, уложил чемодан и купил билет. В поезде у него будет предостаточно времени, чтоб привести в порядок свои мысли и чувства. Сейчас не до этого. Там, дома, его ждут несчастные, которым он должен протянуть руку помощи.

Он все делал размеренно и четко, но как-то механически, а когда наконец сел на мягкое сиденье и поезд медленно, откашливаясь, выполз из-под огромного станционного навеса, он закрыл глаза и почувствовал, как по всему его телу от усталости бегут мурашки.

Итак, домой...

Но только он начал думать, как чей-то голос прервал его:

— Пардон, куда едет господин, если не секрет?

Милош открыл глаза. Толстый еврей с массивной золотой цепочкой от часов, пропущенной по обтянувшему его бархатному жилету, насаживал на свою сверкающую лысину шелковую ермолку и, вздыхая как больной,

старался поудобнее устроиться на боковом сиденье. Все лицо его расплылось в учтивой улыбке.

— Секрет! — отрезал Милош и снова закрыл глаза.

— Извините, пожалуйста, я так просто спросил...

«Значит, еду домой. Я знал, что когда-нибудь мне придется вернуться. Но не так мне представлялось мое возвращение. Я думал, что вернусь в блеске славы, богатства, могущества, прощу им обиды и всех щедро одарю. От них мне ничего не надо, им же я дам все. И вот что вышло на деле! Бедные! Они сейчас плачут и, по всей вероятности, не надеются, что я приеду. Несчастный мой брат, бедный мой отец! Нет, самого худшего не случится. Они тяжело больны и, когда увидят, что я их по-прежнему люблю, сразу начнут выздоравливать. Только бы застать их живыми! А если самое худшее? Надо держаться. Посмотрю, в каком состоянии остались дети. Устрою, как смогу, их дела, возьму на себя долги, девочек обеспечу, а снохе надо назначить содержание. Большего от меня нельзя требовать. Конечно, чтоб все это осуществить, мне придется вернуться в Берлин, приналечь на работу и жениться на богатой наследнице. В конце концов, это мой долг, не родственный, а чисто человеческий. Первая задача — несмотря ни на что сохранить хладнокровие, не поддаться горю и общей сумятице, какая обычно царит в доме, теряющем кормильцев. Однако не стоит заранее строить планы. Сначала надо во всем разобраться»,— говорил себе Милош, но этот трезвый монолог не мог заглушить в нем огромной тоски. Душа его не принимала этих хладнокровных рассуждений. Всем своим существом он чувствовал, что материальная сторона не суть главное, что его гложет тоска, черная тоска по близким, которых он, может быть, больше никогда не увидит. И пока вагоны, ударяясь друг о друга, точно связанные за хвосты звери, которые силятся разорвать путы, визгливо бормотали в ночи мрачную и монотонную песню непрерывного движения, боли и отчаяния, он воскрешал в памяти время, проведенное с братом и отцом, представлял их лица, какими они были много лет тому назад, и слышал в стуке колес их голоса и смех. И в нем росло неодолимое желание увидеть их как можно скорее, утешить, помочь, забыв про все столкновения и семейные неурядицы. Он чувствовал, как в горле у него встает ком и нежность, грустная и мягкая, похожая на давно забытое приятное томление, увлажняет ресницы. Милош провел рукой по глазам,

вздохнул и вышел в коридор. Тут он прислонился головой к холодному стеклу и тихо-тихо зарыдал. То ли о брате и отце, то ли из-за чего-то другого, невозвратно потерянного, то ли из-за возвращенной любви? Он и сам не знал. А когда вдруг задрожал от холода, понял, что у него просто сдали нервы.

Он ходил взад-вперед по коридору, нетерпеливо вздрагивая при каждой остановке.

Снаружи был мрак, и только искры порхали в воздухе, кружились и гасли, как светлячки. Временами засветится будка, перед которой неподвижно, словно статуя, стоит человек, держа в руке жезл, похожий на круглую плоскую лопату. Может быть, у этого человека, в его крохотной законопаченной лачуге, умирает ребенок? Много горя на свете, много.

Милош протер занавеской окно и стал смотреться в него, как в зеркало. Точно так же рассматривал он свое лицо в окошке вагона, когда еще студентом возвращался домой после каникул. Как оно изменилось с тех пор, как потемнело и возмужало! Многое пережил он за эти годы: и борьбу за существование, и любовные утехи, и успех, и все это в стороне от своих близких, которые сейчас умирают. Что же тогда значит быть братом и сыном, если то, что составляет твою жизнь, полностью оторвано от их радостей и горестей?

Милош уже стучал зубами от холода, тяжелая голова клонилась книзу. В полном изнеможении вернулся он в купе, лег и сразу заснул.

В таком же смятении чувств ехал он и весь следующий день, рассеянно глядя то в окно, то на пассажиров, которые менялись на каждой остановке, входили, выходили, отдавали какие-то приказания.

Когда поезд подъезжал к Раванграду, он собрался совершенно спокойно, без малейшей нервозности, хотя на душе у него было неспокойно. Потом прильнул к окну, стараясь увидеть знакомые башни, и с удовольствием смотрел на зеленя, колыхавшиеся на вечернем ветру. «Что это за новая церковь? А вон и наша! — Сердце его забилось.— Может быть, здесь сегодня отпевали кого-нибудь из моих. Целая улица новых домов. Вот и кладбище. Есть ли там наша могила? Все они лягут здесь. А где я — одному богу известно. Будут ли меня встречать?»

Едва поезд остановился, он первый выпрыгнул на перрон, осмотрелся и громко крикнул носильщика, и вдруг

заметил в сумраке плохих керосиновых ламп женщину в трауре. Она пугливо озиралась по сторонам, но, увидев его, встрепенулась, вскрикнула, полетела к нему навстречу и судорожно обняла его. И пока Милош держал ее в объятиях, глаза его застлали слезы.

— Милош, Милош, наш Милан умер! Сегодня похоронили. Ты не мог успеть, но я знала, что ты приедешь. Отец не верил, не пускал меня, но я знала и хотела сама тебя встретить,— то кричала, то шептала сквозь слезы молодая женщина.

Милош быстро взял себя в руки, послал за вещами и медленно повел сноху, которая бессильно опиралась о его руку.

— Пойдем, Мелания, пойдем потихоньку! О боже, как это вдруг на нас обрушилось такое?

— За семь дней, о горе мне, за семь дней сгорел! Такой человек! Тиф, доктора ничем не могли ему помочь. О, горе!

— А что с отцом?

— Когда Милан умирал, он держал его голову, а потом и сам свалился. Сейчас лежит, отнялась вся правая сторона. Невозможно понять, что говорит. Несчастный, кажется, повредился в уме. Доктора говорят, что если не будет второго удара, то, может, выживет. Но вряд ли. Детки мои, сиротинушки, что ж с нами будет?

— Не бойся, Меланка, не бойся. Пока я жив, дети Милана не почувствуют, что у них нет отца. Успокойся, все образуется. Милана не вернешь. С этим надо примириться. Сейчас ты должна подумать о себе. Хотя бы ради детей. А о деньгах не думай. Это мы уладим.

И в то время как Милош вел под руку обессилевшую женщину, которая всей своей тяжестью привалилась к его плечу, пока он сажал ее в экипаж, следя за тем, чтобы не испачкались в грязи ее юбки, и укутывал ее пледом, к нему возвращалось его обычное спокойствие, он снова почувствовал уверенность в себе и какую-то грустную и вместе с тем светлую радость, словно получил новое свидетельство собственной ценности и силы.

У ворот их ждали трое детей в трауре. Долговязая бледная девочка девяти лет и два мальчика — восьми и шести лет. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и с удивлением смотрели на Милоша.

— Вот ваш дядя Милош! — заголосила мать.

Дети подошли, потянулись к его руке и тоже заплака-

ли. Милош вглядывался в их лица, обнимал всех по очереди и целовал.

В доме еще стоял тяжелый дух человеческих испарений, увядших цветов, восковых свечей, ладана и масляной краски. В прихожей, в углу, еще стояли носилки со смятым черным сукном, а в пустой гостиной медленно догорали две толстые желтые свечи в больших никелированных подсвечниках. Здесь их встретила старая тетка, сестра отца, со строгим лицом и сухими бодрыми глазами, какие бывают у женщин, которые уже привыкли к невзгодам, болезням и смерти в собственном доме и сохраняли силу духа и трезвую сметку среди общего смятения.

— Хорошо, сынок, что приехал. Дверь заперли? А то как бы кто не забрался. Иди тихонько. Несчастный говорит что-то, никак не пойму, чего он просит.

Милош неслышно подошел к больному и содрогнулся. Он не узнавал отца. Седая голова его была закинута, а грудь часто-часто поднималась и опускалась. Правая щека отвисла, правый глаз был закрыт, а правая рука, лежавшая на груди, все время дрожала. Левая половина лица казалась маленькой, как у ребенка, и только широко открытый левый глаз с какой-то тревожной жадностью, будто чего-то ожидая, пожирал скудный свет, цедившийся из-под затененной лампы. В горле и в легких у него клокотало и хрипело.

— Папа, посмотри, Милош приехал! — громко кричала сноха в самое ухо больного, подложив руку под его голову.

— Душно, воздуха, откройте окно! — невнятно стонал старик.

— Папа, ты узнаешь меня? — спросил Милош со слезами на глазах и приник губами к его дрожащей руке.

В глазу отца блеснуло сознание. Он тщетно попытался двинуть рукой, хотел приподняться, но не смог и тогда молча и строго воззрился на сына.

— Чего ты хочешь, папа?

Все выжидательно уставились на его рот, правая половина которого слегка зашевелилась.

— Тут, тут остаться?

— Что он говорит? — в отчаянии спросил Милош сноху.

— Спрашивает, останешься ли ты с нами.

Милош нахмурился. Он понимал, как жестоко было бы сейчас объясняться, спорить и доказывать, и, глядя на

горящий глаз отца, который ревниво и напряженно ждал его согласия, словно отпущения грехов, кивнул головой.

— Да, да, отец, останусь.

По щеке больного скользнула улыбка, в глазу блеснули слезы.

— Подойди, я поцелую тебя.

Милош наклонился, и отец с величайшим усилием коснулся его щеки вялыми синими губами.

— Дигиталис, дигиталис дайте! — простонал больной и снова впал в забытье.

Усталый, без единой мысли в голове, Милош долго сидел подле отца, глядя на его угасание, пока сноха и тетка не увели его ужинать. Дети окружили его, толково отвечали на вопросы: в каком классе учатся, слушаются ли мать. Сноха взяла с дивана младшую дочку с золотистыми кудряшками, прилипшими к румяным щечкам.

— Видишь, доченька, это твой дядя Милош!

Девочка захлопала ресничками, оторвала головку от материнского плеча и улыбнулась Милошу. Он тоже улыбнулся и протянул к ней руки.

— Иди к дяде!

Девочка, потупив глазки, пошла к Милошу и прижалась к нему своей теплой, пахучей, взлохмаченной головенкой.

— Ты просто прелесть! Солнышко мое ясное. Ведь ты дядино золотце, да?

Девочка смущенно кивнула и обхватила ручонками шею Милоша, а когда мать хотела взять ее обратно, она еще теснее прижалась к дяде. Растроганный Милош стал осыпать ее поцелуями.

— Пусть посидит у меня. Она совсем не тяжелая и испачкать не испачкает.— И, вспомнив, как про детей говорят, что они инстинктивно чувствуют доброго человека, заулыбался, гордо поднял девочку вверх и принялся ее качать.

— Вас дядя тоже любит, просто она маленькая, еще ничего не понимает,— сказал он присмиревшим детям, не спускавшим с него восхищенных глаз.

Под утро отец умер. Весь город пришел выразить Милошу свое соболезнование, почти все поздравляли его с успехами, о которых-де и они наслышаны и которыми все они, его земляки, гордятся. Иные особенно тепло пожимали ему руку за то, что он показал себя хорошим братом и сыном. Когда волна посетителей схлынула, он со

спокойной деловитостью принялся за организацию похорон, успевая при этом следить и за порядком в доме.

Тотчас после похорон он взялся за дела, позвал сноху и стал считать. Торговцы и поручители векселей брата пришли сами. Наконец ему удалось составить себе ясное представление о финансовом положении семьи. Из страховки брата он погасил все краткосрочные ссуды и часть долгов по векселям. Остальное перевел на себя и обязался к ежемесячной пенсии снохи в сто пятьдесят крон прибавлять еще хотя бы сотню. На это можно жить, пока подрастут дети. А там и сам он крепче станет на ноги.

Сноха горячо благодарила его, но не могла скрыть своей печали.

— Не умею я жить без опоры. До сих пор со мной было двое мужчин. Как я теперь буду одна?

Милоша глубоко тронул крик души этой кроткой, терпеливой молодой женщины.

— Придется научиться. Конечно, будет трудно, но теперь я буду чаще приезжать.

— Когда ты думаешь ехать? — дрожащим голосом спросила Мелания.

— Попрошу еще месяц отпуска. Я очень устал, надо прийти в себя.

Глаза женщины блеснули. Старшая девочка, Милица, схватила его руку и поцеловала.

— Дядя, не уезжай. Мы с мамой будем тебя слушаться... знаешь как... Мы тебя так любим.

Милош поцеловал ее волосы.

— Мала ты еще.

— Не такая уж я маленькая, дядя. Я могу тебе и пуговицы пришивать. Страшно будет без тебя. Ведь нашего папы уже нет.

У Милоша затуманились глаза.

— Дядя вас никогда не бросит. Не бойтесь... И хватит об этом!..

Первые три дня он не выходил из дома. Отдыхал. Бродил по комнатам, разглядывал стены, старую, знакомую мебель, вертел в руках последний стакан из тех, какими они когда-то пользовались. На прежних местах висели старые, поблеклые вышивки и старые картины: «Герцеговинское кладбище» Чермака и «Боснийские беженцы» Предича. Сейчас они ему нравились, и, улыбаясь в душе, он вспоминал, как когда-то, во времена бурного развития сецессии, эти самые картины казались ему ужасно

примитивными и безвкусными. Он брал книги отца и брата и часами вчитывался в отцовские наивные протестующие пометки на полях «Quo vadis», где старый приверженец православной церкви доказывал, что Петр никогда не был в Риме. Он листал семейный альбом и находил своеобразную красоту в смешных старинных одеждах теток и в островерхой прическе снохи, какую та носила еще до замужества. Особенно долго рассматривал он фотографию покойных родителей. Мать в черном шелковом платье с турнюром, высоким корсетом и узкими рукавами и с большим овальным медальоном на груди, а отец в серых помятых брюках, которые доходили до самых кончиков длинных штиблет и так книзу расширялись, что напоминали перевернутую воронку. У него длинные завитые волосы, а в руках новый котелок. Прекрасная пара. С последней страницы он вынул свою фотографию — он был снят в выпускном классе — и вставил ее рядом с родительской. Как удивительно он похож на отца! Только нос у него крючком, как у матери, но глаза и крепкие губы отцовские. Если отпустить бородку, то сходство будет еще сильнее.

— Милорад, поди сюда!

Мальчик вошел.

— Ну-ка, дай я посмотрю на тебя.

И Милош с невольной улыбкой глядел то на фотографию отца, то на свою, то на племянника.

— Знаешь, у тебя наши, окинские глаза. Как у дедушки и у меня.

— Мама говорит, что я вылитый папа.

— Да, да, настоящий Ока. Ну ступай!

— Боже праведный, так ведь это и есть преемственность поколений. Ewigkeitszug [1].

Милош зажмурился, и внутреннему взору его явилось то, чего не могла ему дать ни математика, ни история: перед ним во всей своей осязаемости предстало бессмертие, вечность, воплощением которой, похоже, является семья.

Милош гулял по двору и саду. Сноха показывала ему розы, которые прививал Милан. На них уже появились бутоны. Милан не увидит плодов своего труда, зато Милица будет вдыхать их аромат и украсит ими свой столик. А виноград, посаженный отцом, уже цветет. Отец только

[1] Наследственность *(нем.)*.

начал его обрезать, а теперь Милош продолжит его дело — срежет лишние побеги и листья. Голуби Милана воркуют и возятся на крыше. Вон те светлые, сегединские, произошли от тех самых, которые жили у них под крышей еще пятнадцать лет тому назад, когда он залезал на чердак и засыпал под их охорашивание.

— А Милорад любит голубей?

— Еще бы. От вас унаследовал. Хочу отучить его от этой пустой забавы.

— Оставь, пусть себе.

Каждый день он ходил со снохой на кладбище. Соседи почтительно здоровались с ними и долго смотрели им вслед. Он шел мимо могил, с грустью глядя на тот большой участок, который заполнился, пока он жил за границей.

— Все это наши хорошие люди!

И он упрекал себя в том, что совсем не думал о них, когда они боролись с жизнью и смертью.

Потом он выходил в город. Школьный товарищ, сопровождавший его в этих прогулках, с гордостью объяснял, сколько новых домов построено здесь за последнее время.

— Чей вон тот красивый дом?

— Симендича. Помнишь его? Учился с нами до четвертого. А потом выдержал экзамен на десятника. Толковый человек, что твой инженер.

— Он серб?

— Да.

— Слава богу! А как сербы вообще?

— Да как сказать, многие разоряются. Старые семьи. Зато молодые встают на ноги.

— Ну что ж, в добрый час!

В читальне его встретили особенно тепло. Старый отец Авраам горько сожалел, что вот-де и он, Милош, едет на чужбину.

— Трудно нам, здешним сербам, жить при теперешней конкуренции, когда все мало-мальски способные люди бегут или в Сербию, или за границу. Я, конечно, понимаю, что нет у нас здесь пока деятельности для сильных людей, но все же наш народ заслужил, чтоб его лучшие сыновья пожертвовали своим благоденствием во имя общего блага. Наконец, и у нас можно работать, была бы только охота и желание помочь своему народу. И у нас можно сколотить состояние. Сейчас мы, например, как

раз в отчаянном положении. Городу нужен хороший инженер, но только серб — об иностранце ни жупан, ни наша иноверческая община и слышать не хотят,— его сразу же поставят главным инженером. Место почетное, жалованье восемь тысяч крон в год, а человек с головой частной практикой заработает столько же. О пользе же для нашего народа в городе и его окрестностях и говорить нечего. Почему бы вам, молодой человек, не согласиться? Мы бы вас на руках носили!

Ока улыбнулся на простодушное предложение, однако не мог про себя не признать, что оно ему польстило.

— У меня прекрасное место, а потом я до сих пор занимался только крупными объектами.

— Простите, но и здесь вас ждут большие дела. Скоро в общине будет обсуждаться вопрос электрического освещения, асфальтирования, водопровода, новых железнодорожных связей и нового землеустройства. Нам позарез нужен подходящий серб, который не позволит воровать и обходить сербские села, сербские кварталы. Знаете ли вы, какой ущерб потерпели наши люди из-за того, что у нас не было специалиста, который бы энергично воспротивился возведению нового моста через Дунай — ведь он отнял у нас, у наших пахарей, хлебный рынок. Это вам не мелочи, господин хороший!

Случайно брошенная мысль закружила по городу, и городская газета не замедлила поместить заметку о нашем замечательном земляке, к которому депутация граждан собирается обратиться с просьбой принять пост главного инженера города, ибо лучшей кандидатуры желать нельзя и есть надежда, что он откликнется на единодушный призыв своей родины.

Сноха его ни о чем не спрашивала, но Милош читал в ее глазах и страх, и радость, и нетерпеливое ожидание.

На недельной панихиде в прокопченной кладбищенской церквушке Милош простудился. Стоя без шапки, он весь дрожал на сыром, холодном каменном полу. Он держал восковую свечу, напряженно следя за тем, чтоб не закапать воском платье снохи, и рассеянно смотрел на священнослужителей в черных рясах перед низким ветхим иконостасом. Они пели так же рассеянно, без ладу и складу, выводя своими гнусавыми тенорами и басами погребальные стихири и одновременно стряхивая растопленный воск на потресканные плиты, где он тут же застывал. Милош смотрел, слушал, и вдруг ему показалось,

что попы как-то странно закачались, взмыли вверх, смешались с бесплотными святыми на иконах и вместе с ними закружились над головами прихожан. Милош нахмурился и надавил пальцами на виски. «О, да я теряю сознание!» — в страхе подумал он и сразу почувствовал, что коленки у него дрожат, а бедра мокрые от пота. Он обернулся, как бы ища поддержки и опоры, и встретился с устремленным на него взглядом. Невысокая девушка с румяным в свете свечей лицом пристально смотрела на него ровно минуту, а потом спокойно опустила глаза. У Милоша пресеклось дыхание, и он с трудом отвел глаза от незнакомки. Странный и сладкий трепет охватил его. Что это? Кто эта девушка? Чего она хотела? И он с внезапной отчетливостью вспомнил, как испытывал подобное же чувство, когда гимназистом вот так же в церкви искал в толпе белый контур знакомого профиля. Откуда это давно забытое чувство? Уж не вызвано ли оно лихорадкой? Голова у него болела, но он, не оборачиваясь, чувствовал этот взгляд, который, словно мягкая ладонь, лежал на его горячей голове.

При выходе они опять обменялись взглядами. В ее ясных глазах, зеленевших на ее белом, почти детском лице, точно две клумбы в чистом саду, было упорство своевольной институтки и в то же время какое-то немое отчаяние. Ее по-детски надутые губы не улыбались. Что это? Это не взгляд подростка и не кокетство с впервые увиденным незнакомцем. Ее взгляд о чем-то говорит, будто продолжает уже начатый разговор. Что означают эта непреклонная серьезность, это настойчивое требование и страх, призыв и мольба: понять ее, услышать? Всю дорогу его преследовал этот взгляд, он даже оглядывался, чтобы увидеть его. Наконец он спросил сноху, что это за девушка, и она назвала незнакомое ему имя бедной девушки.

Дома он не стал говорить о своей болезни — думал, как-нибудь переможется. Но голова коварно шумела. Как ни старался он скрыть свое состояние, сноха и дети заметили неладное. Они испуганно переглядывались и спрашивали, будто невзначай, не устал ли он, не дать ли ему крепкого чаю или горячего вина — ведь на кладбище и простудиться недолго. Его тронули их нежная заботливость и внимание, но он отвечал, что совершенно здоров.

Всю ночь он думал об этой девушке. Ему снились она и Вильма, она была горничной Вильмы. Вильма застала

их за чтением «Фауста» и хотела прогнать девушку, а он не позволил.

Утром ему было очень плохо, но он собрал все силы, встал и пошел на ту улицу, где жила девушка с матерью и сумасшедшей сестрой. Усиленно делая вид, что идет по делу, он смотрел на окна. Возле того дома, где, по его предположениям, жила девушка, сердце его учащенно забилось. Он и радовался и смеялся над собой, что ведет себя, как восемнадцатилетний юнец. На углу он остановился, глубоко огорченный тем, что не увидел ее. Милош стоял, не зная, что делать, и боясь, что прохожие разгадают его тайну и станут над ним потешаться. «Эх, всякое могут подумать!» — вздохнул он и пошел назад той же дорогой.

Она стояла у низкого окна в белой кофточке из зефира, с мужским воротником. Ровно подстриженная челка придавала ей совсем детский вид, а сзади, на бронзовых распущенных мягких волосах, черной бабочкой лежал большой шелковый бант. Они посмотрели друг на друга так же серьезно и твердо, как двое на чужбине, которых несчастная любовь заставляет судорожно тянуться друг к другу.

Милош покраснел, он почувствовал физическую боль, когда отрывал свой взгляд от нее.

После обеда ему стало хуже. Он никуда не пошел и сел у окна. Ему нравилось решительно все. И то, как дребезжат в буфете стаканы, когда по тихой улице проезжает телега, но особенно любил он слушать крестьян, когда они громко, словно глухие, говорят о дневной выручке, о женитьбе сыновей. Они привыкли кричать на широкой, обвеваемой ветрами равнине, где, идя за плугом, перекликаются с поля на поле.

Вдруг он увидел ее. Она шла медленно, видимо, еще не оправившись от смущения, потому что почти бежала по улице, а потом на углу долго стояла, заставляя себя свернуть на эту улицу. Она шла с опущенной головой, хотя должна была видеть его. На ней легкое пальто до колен, руки по-мальчишески засунуты в карманы. Синяя юбка в широкую складку игриво бьет ее по лодыжкам. В мужской воротник сердито уткнулся ее маленький круглый подбородок. Но самым очаровательным в ней было именно то, что до сих пор Милош считал крайне безвкусным. На ней были высокие ботинки со множеством пуговиц. Но эти ботинки неплотно облегали ее ноги в чер-

ных чулках, и, когда она шла, ножки ее как бы кивали туда-сюда, и именно это и придавало ей столько милой детской прелести.

Он ее любит, любит, любит. Как бы это ни было бессмысленно и глупо, он ее любит. Он старше ее лет на четырнадцать, не меньше, он даже не знает, какая она: умная, добрая, нежная? И вовсе не красавица, как его прежние пассии; мала ростом и вообще ничем не примечательна, и все равно он ее любит. Как мальчишка, влюбился. Он замирает от счастья, как только видит ее, и весь дрожит, когда она подарит его взглядом. И хочется ему единственного — посидеть с ней молча полчаса; поцелуев роскошных светских женщин он жаждал с меньшей страстью. Это не болезнь, не наваждение, он в полном рассудке и отлично понимает, что с ним происходит. Одно только возможно — его, как говорится, приворожила душа родного города, ветер, колышущий зеленя, сдул с его души дым большого города и паркетную пыль, и в нем опять проклюнулись молодильник и ноготки. Ну и ладно, раз он чувствует себя здесь счастливее, чем на белых руках Вильмы, опьяненный тонким ароматом ее духов. Но чем все это кончится? Чего он хочет? Он и сам не знает. Он бездумно плывет по течению, и пусть этот поток несет его, как бумажный кораблик, а если все обернется опасной бессмыслицей, он очнется. Знакомиться он подождет. А потом? Одному богу известно, что будет потом.

И хотя голова его раскалывалась на части, а в боку стреляло, он все же собирался пройтись под вечер по ее улице и послать ей цветы. Ей будет приятно, даже если она не примет букет от неизвестного дарителя. Но не успел он выйти, как посыльный из гостиницы принес письмо. Он так и обомлел — письмо было от Вильмы.

«Приходите немедленно. Восьмой номер. *Вильма*».

В первое мгновенье он испугался и решил не ходить, но тут же гнев и желание выстоять перед любым женским капризом превозмогли этот панический страх.

Когда Милош вошел в восьмой номер, Вильма порывисто шагнула вперед, словно хотела броситься к нему, но, увидев его бледное каменное лицо, застыла в смущении и испуге.

— Почему вы здесь?

— Приехала посмотреть на вашу родину.

— Могли бы для этого выбрать другое время. Я в трауре, у меня умерли отец и брат.

— Ужасно! — прошептала Вильма и провела окоченелыми пальцами по щекам.— Милош, примите мое соболезнование. Но ради бога, берегите себя. Вы плохо выглядите.

— Легкое недомогание.

— Нет, вас потрясло это несчастье. Вам надо поскорее уехать отсюда. Мертвые все равно не воскреснут.

— Сейчас я не могу ехать, мне надо отдохнуть.

— Здесь вы еще больше устанете и зачахнете. Я вас знаю. Под конец вы так ослабнете и телом и духом, что останетесь здесь навсегда. Поэтому я и приехала за вами.

— Но как вы могли приехать? Вы одни приехали?

— Да,— ответила Вильма и улыбнулась.

— Одни? А господин барон?

— Господин барон снова привыкает к холостой жизни.

— Что вы сказали?

— Да.— И Вильма решительно посмотрела в прищуренные глаза Милоша.— Да, я его оставила.— Ее глаза сверкали героическим блеском.— Я больше не могу с ним жить. Я ему во всем призналась. Он вел себя очень корректно.

Милош побледнел и схватился за стул.

— Милош, вы побледнели. Неужели вы меня совсем... не любите... Я сделала для тебя все. Начнем новую жизнь, достойную тебя. Теперь ты не будешь простым служащим.

— Поздно, сударыня. Я уже не вернусь в Берлин.

Вильма опустила голову и заплакала.

— Хорошо. Выпью чашу до дна. Вы меня не любите, но примите хотя бы мою жертву, оставьте меня здесь. Я буду вам женой, метрессой... делайте со мной, что хотите...

— Я ничего не могу от вас принять. Я не люблю вас. Я люблю другую.

Вильма вскрикнула и пошла на Милоша, вытянув вперед окоченелые руки.

— Значит, ты мне лгал?

Милош тоже протянул руки.

— Нет, я полюбил здесь.

— Здесь, здесь, в этой дыре? — И она залилась нервическим смехом, который тут же перешел в судорожные рыдания. Внезапно она осушила слезы, лицо ее приняло

строгое, застывшее выражение, и она стала хрипло, размеренно скандировать:

— Уходите! Уходите!

Милош, храня видимое спокойствие, церемонно раскланялся и неторопливыми шагами лунатика пошел к выходу.

— Прощайте, сударыня.

На пороге своего дома он рухнул в беспамятстве.

Когда Милош пришел в себя, ему показалось, что он лежит в жаркой ванне. Тело его оплывало потом, а губы горели как в огне. Он медленно открыл глаза и увидел заплаканные лица, которые силились улыбнуться. Возле него стоял, держа его за руку, старый домашний доктор.

— У вас простуда и нервное потрясение. Придется полежать в постели.

— Воды!

— Вот лимонад.

— Я весь горю. Это тиф, господин доктор?

— Какой там тиф! Обычная лихорадка. Только лежите спокойно. Вам сделают холодный компресс.

К ночи жар спал, и он уже весело балагурил с домашними. Однако болтовня и смех скоро утомили его, и он закрыл глаза, попросив продолжать разговор, потому что голоса родных для него все равно, что колыбельная песня.

Тетка и сноха говорили шепотом.

— Кого это он поминал?

— Что-то по-немецки. Ссорился с какой-то женщиной, и все поминал какую-то Миру: «Meine Mira! Meine Mira!»

— Боже мой, боже мой! Ты слышала про эту Миру, дочку кассира?

— Ты спишь, Милош?

. . . .

— А что такое?

— Она слюбилась с учителем, сыном Ецы, знаешь, школьная любовь... Ты ведь знакома с Ецой, моей портнихой. Еца с самого начала была против. Перехватывала их письма. Месяц тому назад они вроде бы разошлись. А недавно Еца опять перехватила письмо. И знаешь, что пишет несчастная? Напоминает ему про его обещание не оставить ее в позоре. Теперь, говорит, ей остается убить и его и себя, если он на ней не женится. Представь себе, кто бы мог подумать!

Милош внезапно приподнял голову.

— Какая это Мира?

— А ты не спишь? Полюбуйтесь, пожалуйста, подслушивает женские разговоры!

— Да та самая, про которую ты спрашивал в церкви.

Милош закрыл глаза и упал на подушку.

— ...видишь, не надо было поднимать голову!..

— Нет, нет, идите, пожалуйста.

Женщины вышли, Милош сел на постели, хотя голова тянула книзу. С глухим стоном выдрал он скрюченными пальцами клок волос и бессильно повалился на перины; из глаз его потекли слезы; он не мог и не хотел их останавливать. Как никогда в жизни, он чувствовал себя обманутым, оскорбленным, разочарованным и несчастным и весь трясся от горя. Со страшными проклятиями повторял он ее имя. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Стыд, позор тебе, блудница!» Несчастье сразило его особенно сильно потому, что горе его было абсолютно ирреально, неизбывно и бессмысленно. Ему уже нет спасения. Он гневно сжимал кулаки, словно душил изменницу, отчаянно искал и придумывал способы мести и презрения, несколько раз пытался встать с постели и написать ей письмо. Сказать, что он знает все, что любил ее, а теперь презирает, презирает, презирает! И он бессильно метался по постели, жадно глотая воздух запекшимися губами.

Наконец все слилось в огромное красное пламя, в котором жаркими языками полыхали обрывки горячечных мыслей.

Он рвал на себе рубашку, раздирал одеяло и прыгал по комнате, крича хриплым голосом: «Блудница, блудница!»

Женщины с трудом уложили его в постель.

Целыми днями они по очереди сидели у его постели, потому что он то и дело рвал и расшвыривал все вокруг себя. Резиновая подушка со льдом успокаивала его на полчаса, а потом опять начинался бред и извержение вулкана.

Временами он приходил в себя. И только начинал поворачиваться на бок, как из груди его вырывался протяжный стон, потому что перина обжигала его точно каленым железом. В бреду он искал руками стены и прижимал к ним свои сухие ладони и щеки, искал и хватал стаканы, обнимая их и прижимая ко лбу.

— Воды! Воды!

Он судорожно сжимал поильник и тянул воду. И эта холодная круглая струя, которую он всасывал,— он полностью ощущал ее округлость и длину языком и пылающим горлом,— казалась ему шелковой, гладкой, милой и дорогой. В голове стоял туман. Все понятия, мысли, ощущения разделялись на две полярные по своему характеру категории: убийственные, мерзкие, горячечные и благородные, добрые, благоразумные. Только их он принимал и различал: ощущал, слышал, видел, вдыхал. Только жар и холод. Душа его рвалась на волю, прочь от этой постели, которая словно вознамерилась сжечь его живьем, а глаза смотрели куда-то вдаль, туда, где улыбались ему, зовя под свое тихое, благостное, успокоительное, ослепительно белое крыло сугробы, льды и морозы. И широкое, голубое, холодное море! Эх, окунуться бы нагишом в студеное море, как в мягкий бархат, вобрать его в свои поры, и плыть, плыть по холодной воде, и вдыхать холодную воду, пить холодную воду, думать холодные океанские мысли, целовать холодную воду, шептать ей нежные, ласковые слова, молиться ей, клясться, повенчаться на вечные времена с холодом... Бог — ледяной мир, ангелы — ледяные шорохи инея и снежинок, Христос — белое ледяное милосердие, лилии Марии — ледяные цветы, Мира — глыба льда на багровой ладони какого-то адского пророка. Вильма — солнечный диск, женщины — похотливые пузыри кипящей воды. Берлин — бескрайний навес на раскаленных добела платиновых столбах, по которым с треском бегут искры, люди с взлохмаченными, бьющими током волосами мчатся невесть куда, а сердца их светятся сквозь белые рубашки, словно горящие уголья... Милану холодно, отцу холодно, кладбище — заснеженная поляна, дом его из снега, дети совсем белые, пальцы их — сосульки с крыш. Раванград — белый, холодный, тишина — это холод, покой — тихая-тихая метель. Он слышит, как сталкиваются снежные звездочки, и, улыбаясь, подставляет им ладони, чтоб складывались, складывались горкой...

На третьей неделе горячка прекратилась. Как только он открывал глаза, он видел добрые, озабоченные лица, которые утешали его своими улыбками. Сноха и тетка не отходили от него ни днем, ни ночью. Стоило ему среди ночи шевельнуть ресницами — они и это слышали,— как сноха, прикорнувшая было в кресле, тотчас вскакивала и делала именно то, чего ему хотелось. Как ей удавалось

читать его мысли? Откуда эта большая, смиренная любовь? Неужели любовь к ближнему может быть такой сильной, такой щедрой? Это не корыстолюбие, ибо будь он в больнице, где за большие деньги можно получить хороший уход, разве там бы почувствовали, когда нужно вытащить одеяло из-под замлевшего бедра и положить руку на лоб, когда спросить, когда помолчать, как это чувствуют и делают его домашние. Кого можно считать настоящими женщинами — тех, кто лишает нас сил своими поцелуями, или других, которые нас, изнуренных поцелуями первых, исцеляют своей тихой преданностью?

Блаженная пора выздоровления после тяжелой болезни, когда все тело растворяется в каком-то вялом бессилии и отупении и так приятно лежать, слушать и говорить. Временами Милош ощущал такую радость бытия, что принимался петь и весело насвистывать. К нему вернулись непосредственность восприятий, желаний и фантазии.

Как-то он встретил сноху особенно радостно:

— Садись, садись, брось дела, посиди со мной, я расскажу тебе, какой я знаменитый человек...— сказал он и засмеялся.

Начал Милош громко, горячо, взахлеб, но скоро стих, а после третьей фразы перешел на шепот и, наконец, запыхавшись, замолчал. Но он вовсе не огорчился оттого, что не смог поведать приготовленный в уме рассказ. Все это уже в прошлом, изжито и предано забвению. Он откинул голову, улыбнулся усталой, но довольной улыбкой и прошептал:

— Не могу!

Дурные мысли не задерживались в его голове. Вспомнится ему Мира, он нахмурится и отгонит неприятную мысль, как хозяин сову со своего крова. Однако с каждым днем ему все труднее становилось направлять ход своих мыслей. Он был еще властен над своим воображением, но неприятные ассоциации никак не желали покоряться его воле. Все же прошло немного времени, и Вильма и Мира лежали мертвые на дне его души. Он еще чувствовал боль, но больное место выгородил подобно тому, как пчелы с помощью воска выгораживают забравшуюся в улей змею. Она лежит внутри, словно мумия, не причиняя никакого вреда. Образ Миры навсегда померк в его сознании. Он твердо знал, что не станет ей писать. Зачем?

И наконец, по какому праву? Достаточно будет, если он никогда больше не посмотрит на нее. Совершенно достаточно. А может быть, даже и это излишне. И в чем, собственно, она перед ним провинилась?.. Несчастная!..

Весна была в разгаре. Милош заметил это по тени лозы, которую та бросала по утрам на потолок над его постелью. Он внимательно следил за тем, как распускаются и растут листья. Он сосчитал все листья и сколько выступов на каждом листочке. Сосчитал лепные венки на голубом потолке. С одной стороны, их четырнадцать, с другой — четырнадцать с половиной, а с узких сторон десять и девять с половиной. В каждом венке по пять цветов, а в каждом цветке по восемь белых тычинок. Он считал, складывал, делил и наконец пришел к выводу, что через все эти комбинации проходит одно магическое число. Он обнаружил, что цветки только на первый взгляд кажутся одинаковыми, а если вглядеться получше, то видны и различия. Все венки, когда смотришь на них сквозь ресницы, похожи на кошачьи морды. Но среди них есть и хмурые и добродушные.

По дрожанию тени он узнавал силу ветра, а по ее положению — время. У него так обострилось чувство обоняния, что в свежевыстиранных платках он улавливал старые запахи, когда в его комнату входила сноха — он знал, что готовится на кухне, а если в доме бывали посторонние, он безошибочно угадывал, кто это — мужчина или женщина и откуда. Он полюбил тишину, научился понимать ее язык, ее тревоги и волнения. И шум доставлял ему истинное наслаждение. Зашуршит ли перина, когда он повернется, хрустнут ли доски, пробежит ли мышь, начнет расхаживать по столу муха — все эти звуки ласкали его слух и душу. Каждое утро превращалось в праздник! Открывали окно, и в комнату врывался воздух, солнце и душистая пыльца с виноградных гроздьев. А когда однажды в комнату залетела заблудившаяся пчела, у него от счастья выступили слезы. Ее жужжанье он слушал как оркестр; ее освобождение из невольного плена стало важнейшей проблемой дня. Он с ней разговаривал ласково и уважительно — она была вся желтая от цветочной пыльцы, а на ее лапах налип желтый воск.

Теперь уже и друзья приходили проведать его. Слушая их, он постепенно проникался их заботами, радостями и печалями. Все они хорошие люди, и их благополу-

чие действительно превыше всего. Ему льстило, что весь город интересовался его здоровьем, что, когда ему было особенно плохо, сам градоначальник приказал набросать на мостовую побольше соломы, чтоб больного не беспокоило громыхание телег. И когда ему сказали, что выборы инженера отложены до его выздоровления, он был так тронут вниманием сограждан, что тут же обещал принять это место и при этом вовсе не чувствовал, что приносит какую-то жертву. Его даже не задевало, что все вокруг радовались, совершенно искренне полагая, что и для него это большое счастье. Сноха и дети со слезами благодарили его за то, что он жертвует собой ради них, он же, нисколько не кривя душой, уверял их, что это не жертва, а его святой долг и счастье.

Однако сейчас гораздо важнее всех этих решений, давших новое направление его жизни, были этапы его выздоровления: молоко, манная каша, рисовая каша, суп, а первое рагу из цыпленка он вместе со всеми домашними ожидал так, как ждут возвращение победившей армии. В тот день, когда он встал с постели, в доме был такой праздник, какой бывает по случаю первых самостоятельных шагов ребенка. Ему присылали цветы, сласти, а дети получили шоколад. Поддерживаемый под руки, он шатаясь доковылял до дивана. Потом его вывели во двор и усадили на солнышке в плетеное кресло, закутав ноги пледом. Он подставлял лучам ладони и смеялся над их прозрачной кожей, сквозь которую ему виделась алая кровь, бегущая по сосудам. Через несколько дней он уже гулял перед домом, греясь на полуденном солнце.

Однажды он увидел в конце улицы Миру. Его охватило легкое волнение, уже готовое излиться гневом, но, заметив, как она побледнела, когда увидела его из-под широких полей своей соломенной шляпы, проникся к ней самой неподдельной жалостью. Бедняжка, она, видно, потеряла и сон и покой. Неделями бродит она по городу, словно по терниям, и боязливо, с замирающим сердцем вопрошающе взглядывает на людей: «Знают ли они о моем позоре?» Эх, как, должно быть, изболелась ее душа, сколько тревоги в ее взгляде, устремленном на его лицо. Может быть, его взгляд будет для нее роковым. Несчастная, она уже совсем близко.

И Милош с величайшим трудом поднял голову, напряг все свои силы, чтоб придать своим глазам прежнее выра-

жение. Бледная, осунувшаяся девушка медленно шла, понурив голову и глядя на него из-под ресниц. И сначала робко и стыдливо, а потом все смелее и смелее поднимала на него свои удивленные, расширенные глаза, в которых читалась смутная надежда: «Может быть, он все-таки не знает?»

Милош слабо улыбнулся и снял шляпу.

Мира покраснела, в затуманенных глазах ее блеснуло счастье, и она заспешила дальше.

«Бедняжка, как она, должно быть, страдает! Что мне стоит доставить ей хоть минутную радость?»

Милош выздоровел. Теперь он совершал длительные прогулки по полям и пашням, любуясь красотой равнины, по которой ходят спокойно, зная, куда идут и на что ступают. Все здесь открыто, ясно, честно. Без всякого притворства и обмана. Посеешь и видишь, где взошло. И насколько хватает глаз, все подвластно рукам, силе и уму человека. Даже крохотный полевой цветок прекрасен,— стоит сорвать, и убедишься в скромной красоте и совершенной гармонии его строения.

Он разговаривал с крестьянами и был доволен, когда ему удавалось найти с ними общий язык. Он останавливал тех, с кем учился в начальной школе, обращался к ним на «ты» и пожимал им руки, желая здоровья и благополучия их семьям и от души радуясь их успехам.

Когда его выбрали на пост главного инженера, он был счастлив и с удовольствием слушал комплименты своих сограждан. Он гордился тем, что внушает им такое доверие и что они всерьез ждут от него возрождения градостроительства.

Наконец, он не стал протестовать, когда приятели упрекнули его, что неприлично ему, человеку молодому, жить в одном доме с молодой снохой. Пойдут всякие толки и пересуды, а к тому же лучшей жены ему не найти, да и детям он бы был лучшим отцом, чем чужой. Конечно, понадобится разрешение владыки, но об этом уж позаботятся именитые люди, специально съездят для этого в Новый Сад.

Так все и произошло.

Милош Ока трудился не покладая рук. С величайшим пылом разработал он новый план города, но гордился он также и своей конструкцией скамеек в парке.

Когда в городской газете появилась заметка о его юбилее — десятилетии работы на посту главного инженера города, где его называли гордостью здешних сербов, гениальным инженером, который отказался от блестящей карьеры на чужбине ради процветания родного города, Ока весь сиял от радости и счастья.

Старшего сына он учил сам; он очень обрадовался, когда открыл в нем тот дар, каким обладал сам. Ночи напролет просиживал он с ним, посвящая его в тайны высшей математики; а когда сын получил аттестат зрелости, стал готовить его к поступлению на технический факультет, обещая по окончании факультета послать его для усовершенствования за границу, после чего он-де уступит ему свое место.

Но перед отъездом Милорад решил открыто поговорить с отцом. Он нашел его на кухне, где Ока, вооруженный очками и домашним инструментом, стоя на стремянке, налаживал домашнюю электрику. Он сконструировал новый микроаккумулятор, питающий не только звонок, но и все освещение и отопление в доме, и очень гордился этим своим изобретением, которое обошлось ему недешево. Милорад объявил отцу, что как человек честный, не хочет морочить ему голову, чтоб потом не было никаких обид, поэтому он заранее предупреждает, что решил посвятить себя науке, электротехнике, и сюда, в этот глупый городишко, не вернется, а уедет в Америку, к Николе Тесле [1].

— Зелен ты еще, выучись сначала, а тогда посмотрим! — И Ока с добродушным гневом ударил по гвоздю, а заодно и по честолюбивым притязаниям Милорада.

— Не надо, отец. Я чувствую в себе талант, и у меня хватит сил осуществить свое желание.

— И другие того же хотели, а вот припеваючи и здесь живут.

— Фу,— сын скорчил презрительную гримасу,— скажу откровенно, будь у тебя сила воли, ты не похоронил бы себя в этом равангрaдском болоте. Я бы сейчас же покончил с собой, если б знал, что мне придется вернуться сюда. Здесь нет простора, нет понимания больших проблем, одно крохоборство и мышиная возня. Я не хочу этого. Я ненавижу эту скуку, эту ограниченную мещанскую

---

[1] Никола Тесла (1856—1943) — выдающийся изобретатель в области электротехники и радиотехники, хорват по национальности.

жизнь. Это не жизнь, а прозябание без живой мысли и благих порывов.

Ока только улыбнулся.

— Иди-ка лучше нажми звонок в гостиной и включи свет.

Милорад смерил отца взглядом, полным жалости и презрения, и вышел.

Дз-з-з!

— Звонит! — радостно воскликнул Ока.— А горит?

— Горит! — ответил снизу Милорад.

— Горит!!!

1913

Служба

По тропинке, похожей на веревку, перекинутую через Игуман-гору, идут двое. Среди кустов терновника и чернолесья поблескивают на солнце лакированные ремешки касок, черной лентой обрамляющие их лица; острия штыков беспрестанно вспыхивают и гаснут.

Идут друг за другом.

Впереди — дюжий фельдфебель, уроженец Лики. За ним — маленький, тщедушный сремец, рядовой жандарм.

Фельдфебель Раде Будак рыж. У него совершенно круглая, как шар, голова, плоское, вытянутое и такое скуластое лицо, словно всю свою жизнь он вынужден был перегрызать кости и рвать зубами холодную и сухую пищу. Его длинный нос украшают похожие на улиток, большие, раздутые ноздри, из которых в изобилии торчат волосы. Под носом топорщатся усы, словно листья кукурузы, а над подковообразной бородкой нависает огромная выпяченная нижняя губа.

Маленький кривоногий жандарм Пая Недучин, подвижный и чернявый, напоминал тех низкорослых пастушьих овчарок, которых у нас называют «пули». С ними его роднили и маленькие раскосые глазки, сверкавшие изпод густых косматых бровей и длинных ресниц. Вся голова его почти до самых бровей была покрыта буйной растительностью. Указательным пальцем он непрестанно поглаживал тонкие длинные усы, распластавшиеся, словно ласточкины крылья, над беспокойными губами. Пая Недучин любил поговорить. Поэтому рот его не оставался в покое, даже если Пая был совсем один, а в обществе ему просто не под силу было молчать. В радости или в печали, когда его что-либо поражало, очаровывало или, наоборот, огорчало, Пая всегда спешил поделиться с любым, кто оказывался рядом.

— Ничего хорошего тут нет! — И Пая сплюнул на серый от пыли придорожный куст.— Ни пользы, ни красоты. И не лес, где можно отдохнуть в холодке да дров нарубить, и не сад. Наши люди насадили бы здесь виноградники или фруктовые сады, а то вспахали бы под пшеницу. Оно, конечно, пришлось бы попотеть, чтоб очистить все это от камней да пней. Но здешние работать не любят. Нет им в труде отрады. Должно быть, потому, что все здесь не свое — помещичье.

Фельдфебель и ухом не ведет, будто и не слышит этих слов. Он равномерно поднимает и опускает свои тяжеловесные, подкованные железом солдатские башмаки, и под тяжелыми шагами трава клонится в пыль, которая уже до самых колен покрыла его ноги.

Под ними расстилалась мягкая и зеленая блажуйская долина, а посреди нее, словно голубь, утомленный долгим перелетом через голую и мрачную Романию, покоилась белая церквушка, напоминающая по стилю старые сербские храмы, что строились на царские пожертвования.

Фельдфебель приподнял свою каску, отер пот со лба.

— Фу-ты, ну и жарища...

— А что это, господин вахмистр, чернеет вон там? Уж не замок ли это аги Ченгича, который батраки поджигали?

— Нет!

— И у нас в Среме такое бывало. Вы когда-нибудь слыхали про Тицанов бунт? [1] Давно уж это было. Но и позже мужики не раз бунтовали. Да вот еще в позапрошлом году поднимался у нас народ из-за выгонов. Князь Одескалки привел швабов из Гессена, а наши им пастбища не дают. Это их право. А в прошлом году опять же жнецы графа Пеячевича в Вогне подожгли тысячу стогов. Из-за платы. Он их зимой подрядил, а летом батракам стали везде платить больше, а он и слышать об этом не хочет. С жандармами их на работу погнал. Вот они и подожгли. Страшным бывает народ, как поднимется. Только ему же и приходится расплачиваться.

— Конечно. Порядок нужен. Закон надо уважать. Для того мы и поставлены, чтоб охранять закон и порядок.

---

[1] В апреле 1807 года в Среме сербские крестьяне подняли восстание против австрийских помещиков; вождем их был Тодор Аврамович Тицан.

— Так-то оно так. Закон есть закон, тут я ничего не говорю. Только когда крестьянин голодный, он в ярость приходит. Помещик ведь — это помещик, не знает он, что такое нищета. А у вас, господин вахмистр, в Лике есть помещики?

— Нет.

— А в Среме вы когда-нибудь бывали? Я говорю, среди крестьян сремских, потому что это совсем не то, что военные поселения.

— Не бывал я в этом вашем Среме, но и там есть царский закон, и его надо уважать, как и здесь, в Боснии.

— Да это уж конечно, я ничего не говорю. И я о том же... Только здесь-то помещики — турки...

— Их тоже закон защищает. И они царские подданные. Налоги платят и в армии служат.

— Это-то так. Сам знаю. Только помещики-то все турки, а беднота — одни сербы. Нелегко этак.

— Что нелегко? Как есть, так все и должно быть, пока закон предписывает.

— Это что ж, царский закон предписывает по-прежнему сербам платить помещику третью часть, да еще десятину на налог?

— Да.

— Ага! Потому сербы и поджигают их амбары?

— Да.

— А мы сейчас идем в Блажуй, чтобы помешать им? Так ведь они не будут жечь днем, да еще все вместе. Это ведь не так делается.

— Ну и дурак ты! Они, видишь ли, собрались там у церкви вроде как жалобу царю писать, а на самом деле договариваются, как им против закона идти. Вот мы и идем их разогнать.

— А-а!

— А в конце-то концов, не все ли равно, зачем и почему, главное: нам дам приказ их разогнать — и точка. Настоящий жандарм не спрашивает зачем. Он исполняет приказ.

— Вы меня простите, господин вахмистр, и не сердитесь, пожалуйста. Я знаю, что такое приказ. Три года в солдатах был, до ефрейтора дослужился, сами понимаете. Я знаю, что такое дисциплина.

— Жандарм — это не солдат. Солдатом должен и может быть каждый, а жандармом — нет. Солдат редко хо-

дит с примкнутым штыком, а жандарм всегда. Ему надлежит быть разумней, хладнокровней и решительней. Он всегда должен быть готов убить человека, который нарушает закон, идет против царя или поднимает руку на жандарма.

— Ну, что касается убить человека, я это запросто, как цыпленка, пусть только сунется! Уж я такой, господин вахмистр. Со мной шутки плохи. Только схватись у меня за винтовку, тут же пулю в брюхо получишь. Со мной лучше не связываться, у меня как потемнеет в глазах, даже в ушах загудит от ярости, я тогда сам не знаю, что делаю. Тяжелая у меня, несчастная рука!

— Вот видишь, ты еще не настоящий жандарм. Жандарму никак нельзя впадать в ярость. Он должен всегда держать себя в руках, только смотреть направо, налево и выполнять устав и команды. Будь перед ним хоть отец родной, а он ему: «Назад! Drei Schritt vom Leib! Три шага назад! Eins, zwei, drei! Раз, два, три!» И опять винтовку наперевес. А если кто посмеет к тебе подойти, да еще задеть — шаг назад и штыком в живот! Одного свалишь, оттолкнешь, штык вытащишь, вытрешь о рукав и «рут» — вольно... Вот это настоящий жандарм! Не яриться, а исполнять долг. Господин начальник подпишет приказ, и, если надо, жандарм хладнокровно убьет...

Стрелять в упор — это ерунда. Настоящий жандарм штыком убивает. Сделаешь это, тогда и станешь жандармом. Пока ты еще молод, зелен, как трава.

Пая Недучин молчит. Глотнул воздуху и вслед за фельдфебелем перескочил через ров.

Выйдя на дорогу, разбитую за время летних полевых работ, оба в удивлении переглянулись. Вместо огромной толпы, которую они ожидали увидеть, на площади возле церкви была совсем небольшая кучка людей — человек десять — двенадцать.

— Да тут никого и нету! — с радостью воскликнул Недучин, словно у него камень с души свалился.

— Нету! — процедил фельдфебель и прищурился, чтоб лучше видеть.— Это все жульничество! Должно быть, куда-то попрятались.

По поведению людей на площади, якобы очень занятых своими делами, чувствовалось, что им известно о приходе жандармов и что они поджидают их.

В этот момент из придорожной канавы, прямо у них из-под ног, выскочил молоденький мусульманин в

пестром тюрбане вокруг фески и, испуганно подняв голову, зашептал таинственно:

— Простите, жандарм-эфенди, Мамед-ага послал меня сказать вам, что гяуры в школе заперлись и чтоб ты разогнал их, иначе они сегодня ночью, говорит, будут цигарки прикуривать от беговских крыш.

— Вперед!

— Ой, только не я, эфенди, убьют они меня, если с вами увидят. Я уж побегу прямо на Илиджу.

— Павле, ты иди к церкви. Там должен быть вахмистр Латас с двумя парнями. Доложи ему о нашем прибытии и тотчас все идите к школе. Понятно! Ферштейн?

— Слушаюсь! — Пая откозырял и направился к церкви, в то время как фельдфебель повернул в сторону села, которое раскинулось значительно правее, у подножия желтой горы.

На площади возле церкви стоял стол, и за ним сидели священник, учитель, здоровенный рыжий общинный староста и председатель общины. Чуть поодаль на стульях восседали жандармы, зажав между колен винтовки. Вокруг стола стояло человек двенадцать крестьян. Все были заняты назначением новой учительницы и предстоящим собранием общины. Увидев жандарма, который, представившись местному унтеру, отозвал его в сторону, люди за столом начали тревожно переглядываться, священник побледнел, а учитель принялся нервно покусывать ноготь на указательном пальце.

Пошептавшись с Паей, унтер нахмурился и приказал своим парням отправляться вместе с Недучином.

Поднялся священник:

— Ну, слава богу, люди, мы окончили наши дела, теперь с богом можно спокойно разойтись.

Крестьяне уже было хотели разойтись, но дорогу им важно преградил унтер:

— Нет, нет, побудьте пока здесь, оставайтесь все на своих местах.

— Что такое?

— Хочу, чтоб вы были у меня на глазах. Думали провести нас, заговаривали нам зубы, а тем временем ваши там назначали, кому поджигать!

— Да что вы, господин вахмистр, мы люди мирные, отпустите нас по домам!

— Нет, нет, нельзя уходить, назад!

Пока продолжались эти объяснения, трое жандармов

уже догнали Раде Будака. Расставив их возле здания школы, он вошел во двор и осмотрелся. Из маленькой дверцы учительской квартиры высунулась взлохмаченная детская головенка и тотчас же в страхе исчезла. Фельдфебель сначала хотел войти туда, но, видимо, передумал и, подскочив к окну, заглянул в классную комнату. Там было красно от крестьянских тюрбанов. Взбежав по ступенькам, он ударил прикладом в дверь и закричал:

— Открывай! Именем закона приказываю — открывай!

Дверь медленно открылась, и фельдфебель вошел.

Длинная и низкая полутемная комната была полным-полна крестьян. Их было не меньше сотни. Одни стояли, другие кое-как устроились на кафедре и на партах. Тяжелый запах пота, овчин и кислой капусты мешался с едким запахом карболки, чернил и тряпок. Царила мертвая тишина. Очевидно, крестьяне еще из окна увидели бегущего жандарма. Среди напряженного молчания раздались голоса:

— Добрый день, господин вахмистр!

Фельдфебель не отвечал. Он медленно обвел взглядом всех собравшихся, и вдруг его взгляд остановился на плечистом и румяном крестьянине, который возвышался над всеми, чисто одетый, в щеголевато надвинутом большом красном тюрбане.

— А, и ты тут, Остоя! — многозначительно и насмешливо воскликнул жандарм.

Остоя дернул свой длинный светлый ус и прищурил глаза.

— Как видите, тут.

— Ну, раз ты тут, то вы, поди, не молитвы читаете.

Никто не улыбнулся.

— Чего собрались, как на съезд какой?

Остоя поправил тюрбан на голове, взглянул на свои опанки и посмотрел прямо в глаза жандарму.

— Собрались мы здесь, в этом нашем общем, православном доме, чтобы, как людям полагается, поговорить о наших крестьянских бедах. И вот порешили мы идти к высоким властям, подать нижайшую просьбу самому премилостивому цесарю — не уменьшит ли он нам налоги, чтобы не расплачиваться нам за нашу же родную землю кровавым потом, не гнуть спины на турецких бездельников и дураков да на бешеных мадьяр, чтоб им было потом что проматывать.

Фельдфебель выслушал его, не моргнув глазом.

— Ну что, кончил? А теперь выходи, выходи, я тебе говорю! И Ристо из Котораца, и Илия с Илиджи, и Васо из Сараевского Поля, и вон те — как вас там — ты, ты, что дурачком-то прикидываешься! Вот ты, белобрысый из Бутмира, а, Стева Деспа, да, да, и ты. А ну, выходите все. Пойдете со мной к начальнику. Вы главари. А остальным немедленно разойтись! Все по домам, а в семь часов, когда патрули будут ходить, чтоб каждый в окошко свою морду показал. А то всех в кутузку запрячу!.. Выходи, выходи, что стали? Будто не знаете, что запрещено собираться без дозволения! Давай, давай, двигай!

Схватив Остою за локоть и подталкивая его вперед, он в то же время винтовкой придерживал позади себя других. Оправившись от замешательства, крестьяне начали приходить в себя и уже переговаривались о чем-то взглядами. Когда фельдфебель протолкался наконец вместе с Остоей к выходу, толпа вдруг, словно очнувшись, подалась вперед, налегая на дверь.

— Назад! Пусть сперва эти пройдут, остальным подождать.

— И мы с ними! Веди и нас к начальнику! Они не больше нас виноваты. Все вместе пойдем!

— Назад! Назад!

Но фельдфебель кричал напрасно. Толпа пришла в движение и уже без особых усилий медленно потекла вслед за ним. Когда Будак вытолкал Остою, из дома высыпали и все остальные, словно возглавляемые этой пятеркой.

Весть о приходе жандармов молниеносно облетела село, будто пламя на ветру, охватывающее одну соломенную кровлю за другой, и трое жандармов, оставленных возле школы, с трудом удерживали женщин, детей и стариков, неистово рвавшихся на школьный двор. Как огонь, который сначала долго тлеет на чердаке подожженного дома, но как только прожжет крышу и вырвется наружу, вспыхивает ярким пламенем, так и люди, очутившись на воле, на залитом солнцем дворе, заволновались. Опьяненные видом родных зеленых лугов, желтеющих нив и голубоватой, подернутой дымкой линии далеких гор, они сразу же загалдели:

— Не пустим их одних! Ведите и нас вместе с ними!

Фельдфебель не растерялся:

— Расходитесь по домам! А мы здесь останемся.

— Не пойдем! Или всех отпускай, или всех веди к начальнику.

Их поддержали и те, что стояли за забором. Они поднимались на носки и, сорвав с головы тюрбаны и платки, размахивали ими.

— Не отпускайте Остою одного! Ведите и нас — женщин и детей.

Толпа рванулась к воротам. Молодежь полезла на ограду.

— Недучин, Стипич, оттесните их назад! — заорал фельдфебель и, выпрямившись, спустил предохранитель на винтовке.— Последний раз приказываю: вы, пятеро, в сторону, остальным — разойтись!

Видя, что положение осложняется, Остоя взмахнул рукой, и четверо его товарищей тут же отделились, а остальные, ворча и ругаясь, пошли к выходу, толкаясь в воротах.

Казалось, все кончится миром. Но народ, толпившийся за воротами, завидев идущих к ним мужчин, вдруг почувствовал прилив сил и поднял невообразимый крик.

Недучин, стоявший в воротах, пропустил, как распорядился фельдфебель, всех мужчин, и они тут же смешались с толпой на улице.

Он не совсем понимал, в чем дело, но общее возбуждение передалось и ему. Он беспокойно оглядывался по сторонам и, скорее подбадривая самого себя, говорил сквозь зубы, обращаясь к толпе:

— Ну-ну, тихонько, не толкайтесь! Давай расходись по-хорошему! Эй, ты там, замолчи, пока добром тебе говорю!

И люди бы действительно разошлись, но толпа за воротами не двигалась и задерживала их. Тут снова всех охватила какая-то лихорадка.

Женщины кричали своим мужьям:

— Не отпускайте Остою!

— Они изобьют их!

— Не отдавайте их!

И толпа снова устремилась к воротам.

Фельдфебель кричал со двора:

— Недучин, не пускай их сюда! Гони этих скотов!

— Сам ты скот, осел жандармский! — кричала пожилая женщина в желтом платке, съехавшем ей на плечи.

— Не орите и расходитесь, пока вам по-хорошему говорят! — теснил их Недучин, обеими руками сжимая винтовку.

— Недучин, не подпускай их близко! Drei Schritt vom Leib!

Недучина трясло.

— Назад, стрелять буду, назад! — кричал он глухим голосом.

Фельдфебель теперь уже с трудом справлялся и с теми пятью, которые тоже кричали, безуспешно стараясь удержать своих:

— Эй, люди, не лезьте понапрасну! — и сами рвались к выходу.

Наконец фельдфебель приказал:

— Недучин, Стипич, Рорбах — в штыки! И — форверц, вперед!

Жандармы, стоявшие по сторонам, со штыками наперевес двинулись на толпу, которая начала пред ними отступать. Но Недучин, который был у самых ворот, еще колебался. Он не спустил предохранитель и не сделал ни шага по направлению к толпе. Бледный, холодными как лед пальцами он сжимал винтовку и хрипло повторял:

— На-азад, на-азад, ну куда прете, назад!

Люди, словно почувствовав, что он колеблется, и усмотрев в этом лишь трусость, сразу навалились на ворота, а какая-то женщина, ничего не видя перед собой, подошла к нему вплотную, бранясь и брызгая ему в лицо слюной, разорвала на себе рубаху и вытащила сморщенные груди.

— Стреляй сюда, стреляй, швабский прихвостень, сюда стреляй, трус!

Недучин пошатнулся.

Со двора ему кричал фельдфебель:

— Los! [1]

— Сюда стреляй, выродок жандармский! — еще раз прокричала женщина и вдруг рванулась — народ за ней,— схватилась за штык и плюнула прямо в глаза Недучину. Недучин вскрикнул, как от укола, откинулся назад и вонзил штык в сухое и черное тело женщины. Женщина застонала, падая на стоявших позади нее. В это время щелкнули один за другим два выстрела, и люди с воплями отступили, разбегаясь кто куда.

---

[1] Живей! *(нем.)*

Вскоре на улице уже никого не осталось, кроме трех раненых. Недучин с трудом вытащил штык, застрявший в грудной кости окровавленной женщины, которая, корчась, умирала на пыльной и истоптанной траве.

Жандармы отправили пятерых главарей в тюрьму. За весь обратный путь Пая Недучин не проронил ни слова. Фельдфебель Будак доложил о случившемся жандармскому капитану и уездному начальнику, особо отметив новичка Недучина, отлично выдержавшего жандармский экзамен.

Перед уходом, проходя по коридору вдоль пирамид с винтовками, фельдфебель Будак остановился возле винтовки Недучина. Приглядевшись к ней, он провел по штыку пальцем, поднес палец к глазам, понюхал и, улыбнувшись, покачал головой:

— Эй, Недучин, ты забыл вытереть!

Бледный и смущенный, выскочил Недучин в коридор, несколько раз наспех провел рукавом своей рубахи по штыку, потом оторвал рукав и, даже не взглянув, есть ли на нем следы крови, выбросил его в окно.

Он не стал ужинать, сказав, что сыт. Усталый, лег.

Под утро фельдфебеля разбудил шорох в комнате. Полуодетый, в своем старом штатском платье, Пая Недучин складывал в сундучок белье.

— Недучин, ты что тут копаешься, как домовой?

— Вещи собираю!

— Что это ты надумал?

— Домой поеду, в Срем!

— Что-о? А служба?

— Не буду я больше служить. Возьмите вот назад жалованье за этот месяц. А я пойду, этакая служба не по мне...

1914


Земля

Хуторянин

Туна Джинич, старый служитель окружной управы, отправился к богатому хуторянину Бабияну Липоженчичу, чтобы «собственноручно» вручить ему приглашение на скупщину, так называемую конгрегацию. Делает он это не из корысти, хотя, правду сказать, с пустыми руками с хутора Бабияна никогда не возвращается. Но пара цыплят, десяток яиц, круг овечьего сыра или кусок окорока — не бог весть что! Старый служитель нужды в еде не знает. Господа из окружной управы то и дело устраивают ужины, пикники, банкеты; тут тебе и свадьбы, и крестины, и поминки. Кроме того, кулинарные способности жены Туны пользуются известностью во всем околотке, а на самых торжественных и парадных обедах под начало Туне отдают всех слуг, он же и самый нарядный из тех, кто держит свечи на богатых свадьбах и крестинах. Нет, ему просто приятно бывать на хуторе. Ведь и он хуторской, вырос на Верхних хуторах, только вот отец впутался в какую-то спекуляцию и разорился, потому-то Туна и подался в город; репутация у семьи была еще настолько добрая, что его взяли в управу. «Господский хлеб» понравился Туне, лестно было чувствовать себя на равной ноге с мадьярскими господами. Дети его и вовсе омадьярились в гимназии, однако и им казалось, что цыплята, принесенные «прямо с хутора», вкуснее и брынза лучше покупной, хотя и она делалась где-нибудь там. Бабиян к тому же приходился Туне дальним родичем по женской линии, с годами оба придавали все большее значение своему официальному положению, ценя друг друга и оказывая друг другу знаки внимания; такие отношения, очевидно, были по сердцу обоим.

Туна миновал город, вышел на «большую» железную дорогу, зашагал по шпалам и у первой станции свернул

налево, но, вместо того чтобы проселочной дорогой сразу направиться к хутору, видневшемуся среди садов на невысоком холме, решил сделать небольшой крюк, пройти рощицей, которую звали Шикара, и подышать весенним лесным воздухом. Рощица реденькая, куда ни посмотришь — всюду меж стволов проглядывают зеленые поля и разбросанные там и тут белые домишки. Среди развесистых дубов, которые, быть может, еще помнят стародавние непроходимые леса и топи с кипучей жизнью земных и небесных тварей, в предчувствии суеты и шума городского лета царит тишина. В эту пору года рощица лучше всего. Тихая, зеленая, ласковая и свежая. Слышен щебет каждого воробышка, каждой овсянки, редко-редко пройдет какая-нибудь девочка, срывая фиалки; загородный ресторанчик закрыт, осмелевшая трава вылезла между вбитых в землю столов и на кегельбане. Но не пройдет и месяца, как сюда повалят школьники, члены хоровых обществ, музыканты и пожарные, на траву выкатят бочки с пивом, фиалки затопчут, траву сомнут, молодые побеги на деревьях пообрывают, несколько несчастных дроздов разлетятся от визга и топота, а вместо грибов появятся пробки и разбитые бутылки, мятые, промасленные старые газеты, веревки и тряпки, потерянный женский гребень, куриные кости, а где-нибудь на высокой ветке повиснет продавленная шляпа.

Туна снял с головы красный картуз, вытер пот со лба и почувствовал себя празднично взволнованным. Сколько раз в молодые годы и он отплясывал здесь, гонялся за девчатами, которым не так-то легко было ускользать от него в своих широченных буневацких юбках; сколько раз прислуживал он здесь развалившимся на коврах господам, притворялся, что не видит, чем они занимаются за кустами, а напоследок целовался с опьяневшими господами, грузил их в экипажи и, поддерживая, развозил по домам.

Как ни мал и ни редок был лесок, но, выйдя из него, Туна потонул в ярком свете открытой равнины. Хлеба, еще реденькие и нежные, точно пушок на лице юноши, колыхались уже и переливались в лучах предзакатного солнца. Чернели на полях вороны и галки; людей не видно — «они свое сделали, освятили, теперь все в руках божьих».

Туна вступил на мягкую узкую тропинку и еще издали увидел высокую фигуру Бабияна, стоявшего посреди

небольшого виноградника перед хутором. Пощупал на груди карман — бумага на месте — и сразу забыл и природу, и господа бога, благословляющего посевы.

Бабиян, с непокрытой головой, с засученными рукавами рубахи, в расстегнутом жилете с мотком лыка у пояса, подвязывал лозы — короткие к колышкам, длинные к планкам,— которые образовали вдоль центральной дорожки виноградника своего рода крышу. Работал не спеша, с достоинством скрывая свою стариковскую мешкотню. Туну он заметил давно, лишь только тот вышел из рощи. Узнал его по некрестьянской походке торгового человека — Туна ступал на пятки, далеко в стороны разводя носки башмаков. Да и ярко-голубой мундир, отороченный белым шнуром, и красный картуз выдавали старого служаку. Однако Бабиян ни на мгновение не приостановил работы. Даже внучек, прибежавший сказать о приходе Туны, не изменил ритма его движений. Лишь когда Туна подошел к винограднику и крикнул: «Хвала Иисусу, кум Бабиян!», он выпрямился, прикрыл глаза ладонью, пристально вгляделся, будто не мог узнать, кто это с ним здоровается, и, притворно удивившись, ответил:

— ...и Марии, кум Туна! Заходи, заходи, я сейчас, вот только эту лозу подвяжу.

Туна сосредоточенно вытер о штаны вспотевшую ладонь, и они церемонно пожали друг другу руки. Оба прекрасно знали, о чем пойдет речь, но ни Туна об этом ни словом не обмолвился, ни Бабиян не выказал нетерпения ни взглядом, ни жестом.

— Каким счастливым ветром занесло в нашу деревенскую глушь столь досточтимых господ из управы?

— Есть к вам, кум Бабиян, серьезный разговор! — важно начал Туна, но Бабиян обнял его за плечи и повел к дому.

— Э, раз так, пошли в дом!

Пройдя загон, где на свободе, задрав хвосты, резвились жеребята и телята, и ступив во двор, Бабиян крикнул повелительно:

— Стипан, придержи-ка Куцую, кум Туна пришел, а ты, Магда, тащи-ка вина, ветчинки, сыра да маринованного перца.

Но по сути дела это было излишним, ибо, как только домочадцы еще издали увидели Туну, все тут же было приготовлено, и теперь они толпились в почтительном отдалении и с чуть ли не набожным подобострастием

провожали глазами обоих стариков, громко призывая Иисуса и Марию; Туна с довольной улыбкой отвечал на приветствия, обращаясь по имени ко всем сыновьям, снохам и внукам Бабияна.

Хозяин ввел гостя в верхнюю половину дома с верандой и двумя большими комнатами, которые открывались только по случаю гостей. На веранде томились от скуки два рассохшихся плетеных кресла и такой же круглый столик на шаткой ножке. Когда они вошли, по полу бегали и истошно пищали желтые цыплята, а клушка, похожая на хмурую и недоверчивую гувернантку, взлетев на стол, воинственно хлопала крыльями, собираясь оставить кого-то без глаз. В просторной комнате — «зале» — с белым, покрытым пылью полом из еловых досок отдавало застоявшимся холодом нежилого помещения. Городская кровать, мебель, обитая зеленым репсом, стол, зеркало, этажерка — все полированное, лишь в одном углу стоял давильный пресс, а на гвозде у портьеры висели вожжи. На стене — божья матерь с оголенным сердцем, проткнутым семью мечами, на ночном столике опять же божья матерь из фарфора, как в какой-нибудь часовне, на столе — прошлогодние высохшие пасхальные яички и белый ватный ягненок с красным церковным флажком из бумаги между передними ножками.

Не успели сесть, как зазвенели стаканы и тарелки. Младшая сноха Магда внесла поднос с большой баклагой мутного белого вина, толсто нарезанными ломтями ветчины, луком, сыром, маринованными перцем и зелеными помидорами.

— Хвала Иисусу и Марии! — застенчиво прошептала Магда, не поднимая глаз от подноса.

— Во веки веков аминь, Магда! А как твой сын?

— Да слава богу, хорошо, только вот озорует, дед разбаловал.

— Кому ж и побаловать, коли не деду! — улыбнулся Туна; Бабиян, сдерживая улыбку, поглаживал усы. Магда покраснела, сверкнули ее белые зубы, и вот уже в дверях зашуршали чистые накрахмаленные юбки.

Бабиян разлил вино, чокнулся с Туной.

— Ну, первую во имя божие! — Осушив стаканы, вытерли усы, крякнули и посмотрели друг на друга сквозь слезы, выступившие от залпом выпитого вина.— Ну, теперь выкладывай!

Лишь сейчас Туна полез в карман, долго рылся там и,

не выпуская из рук бумаги, заговорил официальным тоном:

— Прежде всего, кум Бабиян, вот это дал мне в руки сам господин великий жупан и сказал: отнесешь бате Бабияну, поклонишься ему от меня и от моего имени пригласишь послезавтра на скупщину. Без него, говорит, никак нельзя. Так скажи ему и поклонись от меня... А теперь извольте, читайте.

Бабиян не знал венгерского, а читать вообще давно разучился, но тем серьезнее он принял бумагу, поднялся и крикнул:

— Магда, дай-ка сюда мои очки! — Он долго насаживал очки на нос, разворачивал листок, то отдалял его, то приближал к глазам, и все это время на лице Туны не дрогнул ни один мускул. Скрестив руки на округлом животе, уткнувшись маленькой бородкой себе в грудь, устремив взгляд на стол, он ждал.

— Э, раз так, ничего не поделаешь, придется идти. А не сказали тебе, кого думают выбирать-то?

— Да двух судей, одного на сербское место.

— А кого думают?

— О сербском месте жупан сговорился с левыми, а на мадьярское хочет посадить своего племянника, того самого, что выиграл в очко у Плетикосича сто тысяч серебром; а левые хотят молодого Ратая, того самого, что увел жену у Фишера.

— А-а, знаю! Увидим, даст бог здоровья, увидим... Ну-ка, отведай ветчинки!..

Бабиян держался так, будто не хотел выдавать, за кого станет голосовать, и словно это целиком зависело от него. Между тем Туна знал, что Бабиян, старый левый, будет голосовать с оппозицией. Но он, с честью играя свою роль, не касался этого вопроса. После того как официальная часть была закончена, можно было приступить к главной цели визита, и Туна предложил хозяину перейти из холодной господской залы в нижнюю половину дома, где оба чувствовали бы себя вольготнее.

Тут, развалившись на стульях с плетеными из соломки сиденьями у громоздкого стола, покрытого клеенкой, и прислонившись к лежанке белой глиняной печи, на которой горой возвышались подушки, они пили, ели, беседовали и потели.

Вечером Туну, одаренного цыплятами, брынзой и яйцами, Стипан посадил в двуколку и отвез прямо домой.

Никто из домашних не посмел спросить батю, что ему передали из управы и что он думает делать. Они гордились честью, которую оказывали ему в городе, а роль, которую он играл в общественных делах, воспринимали как некое таинство и говорили об этом только шепотом. Наиболее трезвый в этом отношении Стипан несколько сомневался в пользе таких почестей, но высказывать свое личное мнение вслух не решался.

Батя вел себя еще более важно и загадочно. То и дело можно было видеть, как он безмолвно теребит ус, не выпуская изо рта трубки, а это означало, что он размышляет о чем-то значительном и серьезном. Только на третий день за ужином он заговорил:

— Стипан, утром запряги серых в парадную коляску. Есть дело в городе. С собой возьмем,— он обвел глазами замерших домочадцев,— Аницу!

Аница, девочка лет пятнадцати, вспыхнула от радости, остальные женщины пригорюнились.

— Как скажешь, батя! — ответил Стипан, не моргнув глазом.

На рассвете весь дом был на ногах. Бабка, мать и Магда еще до того, как поднялся старик, принялись обряжать Аницу в темные, цвета бузины, старинные одеяния из наилучшего сукна. На семь нижних широких в складку юбок до самого пола — на каждую пошло одиннадцать полотнищ — надели передник того же сукна и жесткий корсаж, стыдливо скрывавший едва наметившуюся грудь; шелковый платок, тоже цвета бузины, надвинули на глаза и завязали под подбородком; на шею на тяжелой золотой цепи повесили епископский крест, в руку вложили клетчатый платочек, молитвенник с застежкой и крестиком из слоновой кости и веточку базилика. Девушку обрядили, она отошла в угол и там, не шевелясь, стала ждать, когда будет готов батя. И хотя на душе у нее было светло и радостно, застывшая поза придавала ей печальный вид. Особенно из-за несоответствия ее детского румяного лица и еще не оформившегося маленького тела тяжелому и мрачному одеянию, какое носили и старые и молодые буневки.

Так же безмолвно, по установившемуся ритуалу, бабка со снохой снарядили и батю: чистое белье, праздничный сюртук из добротного черного сукна с серебряными пуговицами, сапоги до колен, круглая шляпа из блестящего фетра без единой вмятины. Перед домом в нетерпении

перебирали ногами, взмахивали головами и ржали серые, с широким крупом, сытые кони. Шерсть на них лоснилась — недаром их кормили овсом вперемежку с кукурузой. Только вот длинные хвосты были подогнуты и связаны по-крестьянски узлом да с коляски давно сошел лак. На и без того мягком сиденье, обтянутом кожей, лежали две взбитые белые подушки. У коляски стояла Магда с подносом, уставленным вином, мясом и вчерашними голубцами. Дед на ходу перекусил, выпил два стаканчика вина — девочка от еды отказалась,— перекрестился, взял Аницу под мышки, поднял ее в коляску, потом женщины подхватили его самого под локти и, поправив под ним подушки, усадили. Он лишь опустил к колесу руку, к которой приложились все домочадцы, и кивнул Стипану:

— Трогай, с богом!

Коляска затарахтела, домочадцы застыли перед домом, смиренно сложив руки на груди, и стояли так, пока она не скрылась из виду.

Въезжая в город, Бабиян млел от удовольствия, видя, как горожане оборачиваются на грохот коляски по мостовой и смотрят вслед добрым хозяйским коням. Остановились, как всегда, в трактире Бутковича. В конюшне и под навесом посреди двора торчали дышла, а из-за решеток на задках колясок выбирали сено лошади Йозы Бошняка, Ивана Алагича и остальных хозяев-буневцев, депутатов окружной скупщины. Все они были знакомы Бабияну.

Сидели хуторяне за большим столом; над столом рядом с изображением Иисуса и жестяной рекламой пива Дрехера висела картина, на которой посреди кровавого побоища коленопреклоненный Кошут, прижав руку к сердцу и обратив белый зрачок к небесам, молился богу — текст молитвы был тут же; рядом с картиной — мадьярский трехцветный флаг. Хуторяне уже завтракали: ели гуляш, пили пиво. За столом поменьше щебетали привезенные девушки, юные, с тонкими нежными лицами, но и перед ними — гуляш и пиво. Аница подсела к девушкам, а Стипан направился к третьему столу, быстро покончил со своей порцией и возвратился к лошадям. Скоро поднялись и девушки, каждая подошла к руке своего дядюшки и, прижимая к груди молитвенник, отправилась на короткую, десятиминутную мессу и долгую прогулку перед церковью.

Бабияна встретили с почтением, соответствующим его

«двумстам ланацам[1] земли в одном куске». За столом среди крестьян сидел и адвокат Вуевич, голос которого заглушал всех прочих. Говорить он старался «по-народному», кривлялся, растягивая гласные; стоило это ему немалых мучений, так как он почти совсем забыл родной язык. Вуевич «толковал» политику левых: все зло идет из Вены и от сербов — из-за них большие налоги, из-за них «детей наших в солдатчину берут». Сербов надо гнать из управы, пусть идут в попы, а на их место посадить наших детей, которые школу прошли, умеют говорить и с мадьярами и с народом. На этот раз еще бог с нами. «Ихний» кандидат — человек мирный, не из тех псов. А о племяннике жупана и речи быть не может. «Все честные левые будут голосовать только за Ратая, он человек кремень и добрый католик. А что жену чужую увел — так ведь небось у еврея!»

В десять часов все вместе, сытые и под хмельком, шумной «корпорацией» во главе с Вуевичем тронулись в управу. Перед ней черным-черно: бритые и небритые головы попов (попы почти все в рясах на красной подкладке), здесь же цилиндры, рединготы, домотканое сукно. Как только появляется новая группа депутатов, ядреные, нарядные стражники, стоящие в дверях, вскидывают в знак приветствия допотопные ружья, из которых еще ни разу не вылетала пуля. В глазах Бабияна этот военный парад особенно возвышал его депутатское звание.

В зале депутаты разделились на правых и левых, заняв свои постоянные места. Зал окружной скупщины был куда просторнее и несравнимо богаче, светлее и комфортабельнее залов старинных парламентов, где в свое время провозглашали многие государства. Всю левую стену закрывала картина, изображавшая победу у Сенты, только художник Айзенкут забыл монастырских сербов. По другим стенам были развешаны портреты всех предыдущих великих жупанов в золоте, шелке и бархате, с саблями и шпорами, с моноклями и бакенбардами. Когда все раскланялись друг с другом и уселись в уютные кресла, обитые красным бархатом, вошел жупан с моноклем в левом глазу и бакенбардами, и произнес торжественную речь о значении настоящей скупщины и великих задачах, стоящих перед ней. Бабиян ничего не понял, и его мало трогало актерское возбуждение некоторых его единомышленников

---

[1] Ланац — около 3600 кв. м.

в пиджаках, то и дело прерывавших оратора. Он был доволен. Непосредственно его ничто не касалось. Перешли к вопросу о железнодорожной ветке местного значения, но, поскольку рельсы не должны были разрезать его землю, он спокойно крутил карандаш и играл бумагой, положенной на пюпитр перед его креслом. После плотного завтрака его клонило ко сну. Мысленно он был на хуторе. Выгнали ли свиней на пустошь, смотрит ли кто за Билкой? Она вот-вот отелится! Вдруг наступила тишина. Вуевич сулил страшные кары, а жупан улыбался, как всякий жупан, располагающий большинством. Затем один за другим депутаты начали вставать. Бабиян встрепенулся, навострил уши, услышал чередующиеся «igen» и «nem» [1], увидел, как Вуевич шепнул Алагичу «нем», спокойно дождался своей очереди и храбро произнес: «Нем!» Немного погодя опять поднялся галдеж. Проходили выборы. Бабиян голосовал таким же образом, его кандидат провалился. После выборов все думали, что дело кончено и можно по домам — уже звонили полдень,— однако не тут-то было, началось «разное»: интерпелляции, политика. Бабиян скучал, но, когда вышел сербский священник и заговорил по-сербски, он оживился. Священник резко выступал против правительственного указа, ущемляющего права конфессиональных школ. Насколько хватало Бабияну политического разумения, ему нравилась эта не совсем понятная речь. И когда небритый поп желчно обрушился на «фармазонское насилие правительства», Бабиян через спину Йозы легонько толкнул дебелого берешского жупника [2] Блажо Аджича и, довольный, подмигнул ему:

— А поп-то сербский недурственно говорит!

Но бритый поп был более дисциплинированным и, хотя и ему пришлась по душе речь брата во Христе, он многозначительно поднял лохматые брови и шепнул:

— Берегись византийского!

Бабиян не понял мудреного слова, но понял, что восторгаться не следует.

Сербский поп, разумеется, ничего не добился. Оппозиция бросала на него ледяные взгляды, а кто-то из правых выкрикнул:

— В протоиереи не выбрали, вот и распинается!

---

[1] «Да» и «нет» *(венг.)*.

[2] Жупник — приходский священник католической церкви *(сербскохорват.)*.

Правительству было выражено доверие.

Наконец все поднялись. Туна протолкался к Бабияну, протянул ему большой кусок плотного картона с цветным изображением святого Павла с гербом Бачбодрошской жупании и, чтобы не ставить его в неловкое положение, шепнул:

— Кум Бабиян, пресветлый приглашает вас на обед. Приходите вместе с благочинным, они тоже приглашены.

Бабиян кивнул головой, сделав вид, что вовсе не обрадован этим пусть даже несколько запоздалым приглашением. В его глазах именно последнее обстоятельство делало приглашение особенно почетным. Жупан всегда созывал гостей по определенному распорядку. И ни один человек не бывал у него два раза подряд. Бабиян, следовательно, составил исключение.

Неприглашенные выходили, продолжая политические споры или договариваясь, когда и в какой кофейне встретиться. Начиналась самая приятная часть подобных собраний. Человек двадцать осталось, все вместе они должны были пройти на половину жупана. Бабиян сгорал от желания показать всем, что и он находится в числе приглашенных. Он шумно распрощался со своей компанией, просил передать «детям», чтоб обедали только у Бутковича и там же ждали его возвращения с обеда у жупана. Затем он подошел к отцу Блажо. Говорить он мог лишь с ним, да еще с боджанским игуменом и двумя-тремя адвокатами-сербами, но те затараторили с кем-то по-мадьярски.

— И вы приглашены на обед, благочинный?

— Много наслышан я об этих знаменитых жупановских обедах!

— Что и говорить! Я прошлый раз у него обедал,— вскользь ввернул Бабиян.

Отец Блажо поднял брови, внимательно поглядел на Бабияна и с откровенной усмешкой произнес:

— Как ты только веру не переменишь, раз ты в такой милости?

Бабиян, почти польщенный, презрительно отмахнулся:

— Мы и без того друзья!

За гостями пришел секретарь, а в дверях квартиры их встретил сам жупан. Он пригласил депутатов в гостиную, каждому пожал руку, для каждого нашел любезное слово. Бабиян растерялся. Он страшился ступить на зеркальный паркет, его приводила в смятение необходимость топ-

тать смирненские ковры. У стен навытяжку стояли стражники, но с пустыми руками. В прошлый раз они разносили пиво и закуску. А когда люди заняты едой и питьем, все легче. Но вот подошел и его черед здороваться с жупаном. Тот не только пожал ему руку со словами: «О, мой батя Бабиян!», но обернулся ко всему обществу и, улыбаясь, объявил:

— Вот, господа, мой самый опасный политический противник! — И, снова обратившись к Бабияну, продолжал по-буневски с мадьярским акцентом: — Я говорю, что вы мой самый главный противник в политике и самый лучший друг...

— Боже сохрани... это да...— запинаясь и покраснев от волнения, пролепетал Бабиян под общее веселое оживление.

Жупан подхватил под руку правительственного депутата и в прекрасном расположении духа сказал:

— Vous le verrez, il est drôle, trés amusant ce type-là! Quel appetit de diable! [1]

Пока рассаживались за столом, сервированным на двадцать две персоны, и кое-кто еще искал карточку со своим именем, жупан, по-прежнему «шармантно шаловливый», попросил главного нотариуса уступить свое место Бабияну, чтобы тот сел рядом с ним. Бабиян смущенно замер в предвкушении новой чести, которую оказывал ему жупан, и совсем растаял от счастья, когда жупан обнял его за плечи и усадил около себя. Едва архимандрит и аббат, занявшие места в центре широкого стола, безмолвно благословили трапезу и перекрестились, едва заскрипели стулья, в зал вошли шесть голубых стражников. Один на серебряном подносе нес пиво в тонких запотевших стаканах, двое других — двух желтых куриц на белых салфетках, остальные разносили бокалы. Жупан повел бровью, и одну курицу поднесли архимандриту, а другую — Бабияну.

Архимандрит читал венгерские газеты, в которых регулярно и подробно описывались аристократические обеды во дворце и в высшем свете и сообщалось обо всем новом в этикете. Курица в салфетке не смутила его, но он с интересом ждал, как примется за нее Бабиян. Да и все глядели на него. Никто из гостей ему не сочувствовал. Большие господа любят подобные шутки, а те, что

---

[1] Вы увидите его, очень забавный тип! А какой дьявольский аппетит! *(франц.)*

помельче, радовались, что не им первым ступать на тонкий лед. Всеобщее внимание не сконфузило Бабияна, он даже не заметил, что господа еле сдерживают смех. Желтая курица в салфетке, поднесенная ему служителем с холодной услужливостью евнуха, поразила его. Почему эту проклятую вареную курицу подают не на блюде? Решительно схватив вилку и нож, он принялся терзать обернутую серебряной бумагой ногу курицы. В то же мгновенье раздался хохот, немилосердный, неистовый хохот, сотрясавший, точно квашню с кислым тестом, даже богоугодное чрево отца Блажо. Только тут Бабиян заметил, что курица сырая. Он вытер рукавом пот со лба, поставил локти на стол, поднял вилку и нож с видом капитулирующего солдата и сам засмеялся.

— И это называется господское угощенье?! Ну не дьявол ли вы, светлейший?

Жупан, в приступе смеха выронивший из глаза монокль, обнял старого крестьянина, взял его, как ребенка, за руки, разоружил и, сунув ему в правую руку перламутровую лопаточку с серебряной ручкой, захватил ею из разверстого брюха курицы икру.

— Не сердись, батя Бабиян, это так подается. Намажь на хлеб и ешь. Вещь полезная. Особенно для пожилых людей. Старуха твоя сегодня не нарадуется!

Господа помельче наконец с облегчением засмеялись, а те, что поважнее, объяснили, что это вовсе не курица, а каплун и что в Вене в последнее время так подают икру. Бабияну икра не понравилась, но он ел, и не потому, что проникся сознанием ее полезности, а потому, что не знал, чем еще заняться, да и, кроме того, смешить господ ему не представлялось обидным. Что ни говори, а быть принятым в этом обществе немалая честь! Гримасы его вызывали смех; ободренный успехом, он поднял пустой стакан из-под пива, и сам жупан налил ему белого бадачоньского вина.

— Не пиво, к икре идет только белое вино!

— Можно и вино! — сказал Бабиян под веселые возгласы одобрения.

Все потянулись к нему чокаться.

В том же духе продолжалось и дальше. «Фогаша» (крупного зубатого судака из озера Балатон) он начал было резать поперек, в теплый слоеный торт с кремом яростно воткнул вилку и хотел целиком отправить в рот, жаркое порезал на мелкие кусочки, хотя у самого рот

был полон зубов. Жупан то и дело поправлял его и подсказывал, что доставляло ему огромное удовольствие.

— Ты, батя, дойдешь и до министра и до архиепископа! Смотри не оконфузь нас. Пусть видят, какие у нас хозяева!

Гости занимались только им, с серьезным видом задавали ему вопросы на ломаном, пересыпанном иностранными словами языке. Бабиян видел, что над ним смеются, чувствовал, что смех этот граничит с издевательством, но он знал, что другой роли ему здесь не уготовано, а так он был центром этого высокого собрания. К тому же и угощенье было отменным. Он дважды отведал все блюда, опустошил все бокалы — маленькие, средние, большие, узкие, широкие, с белым вином и красным, бургундским цвета золотого топаза, малагой — и тем не менее непрестанно поглядывал на широкие, на длинных тонких ножках, плоские бокалы, стенки которых были испещрены переливающимися, словно бриллианты, гранями, и ждал, когда в них забулькают мелкие быстрые пузырьки. Напоследок, после нескольких очередей тостов, служители обошли всех с бутылками, обернутыми в белые салфетки и оттого похожими на больных. В чашах заиграли мглистые фонтанчики, и по просторной столовой разнесся волнующий аромат шампанского. Глаза гостей подернулись влагой, в головах пронеслись видения сверкающих люстр, оголенных женских плеч, звуки вальса и женского смеха... Лишь батю Бабияна этот дьявольский напиток привел в веселое расположение духа. Жупан с моноклем в прищуренном глазу поднялся и провозгласил здравицу в честь его императорского величества. Последние слова тоста потонули в возгласах цыган, которые ворвались в распахнутые настежь двери: «Эйлен, эйлен, эйлен!!!» [1]

Гости стоя осушили бокалы. Жупан снова взял слово. Монокль его по-прежнему поблескивал холодно и мертво, но в другом глазу появилась жизнь. Кончил он словами: «Да здравствует правительство!» — и чокнулся с Бабияном:

— Ну, батя, да здравствует наше высокое правительство!

— А пусть его здравствует, раз нельзя без него!

Все засмеялись; засмеялся и отец Блажо, укоризненно качая головой, но и он чокнулся с Бабияном и до дна

---

[1] Да здравствует! *(венг.)*

осушил свой бокал. Затем встал архимандрит и предложил тост за жупана, который может служить образцом для всех жупанов, славного главу нашего маленького бачванского государства, коим он, на счастье людей всех вер и наречий, управляет так, что если бы там, наверху, брали пример с него или хотя бы не гнушались его советов, раз на беду всей страны не взяли его в правительство, Австро-Венгрия не знала бы ни религиозного, ни национального вопроса. Снова «эйлен!», снова все встают, чокаются и пьют. Гремит оркестр. И вновь поднялся жупан; монокль вдруг задрожал и посреди речи выпал. Он предложил тост за Бабияна, уважаемого буневца и патриота, гордость хуторян и депутатов, который заботится о нуждах края, как о своих собственных.

— Враги обвиняют меня в нетерпимости и аристократизме. Теперь вы видите, как я отношусь к оппозиционерам и крестьянам! — И, обернувшись к растроганному Бабияну, он заговорил на буневском диалекте: — Бабиян, люб ты мне очень, я дозволяю тебе говорить мне «ты». Будь здоров! Только без поцелуев!

Полупьяный Бабиян тер глаза и то ли в шутку, то ли всерьез бубнил:

— И тебя буневское молоко вспоило! Кровь не водица!..

Обед подходил к концу. Еще раз Бабиян повеселил общество, скорчив рожу от кислого ананаса, который он предварительно поперчил, ибо, по его словам, он и дыню без перца не ест. Служители внесли большой позолоченный таз с водой и полотенцем и стаканы с теплым неподслащенным лимонадом на овальном серебряном умывальнике. Увидев стаканы с водой, Бабиян ужаснулся:

— Светлейший, неужто после всего — воду? Да никогда в жизни!

— Это пальцы сполоснуть, батя!

Бабиян погрузил в таз свои жилистые волосатые руки, расплескал воду, забрызгал все вокруг, вытер руки о скатерть и пригладил усы.

— Ну, это еще ничего!

Но когда ему подали стакан лимонада, он лукаво подмигнул жупану:

— Второй раз приниматься пить негоже! Выпил разок, и будет! — И ни за что не хотел прополоскать рот.— А для чего ж тогда вино пили?

Гости встали из-за стола и потянулись в гостиную,

где их ждал кофе с коньяками и ликерами. Бабиян ничего не оставил без внимания, напоследок отдав предпочтение монастырской сливовице.

— Прости меня, светлейший, но все прочее — эрзац! — Язык между тем уже начал ему изменять.

Жупан вытащил из стеклянной коробки черную аршинную сигару с широким красным мундштуком и сунул Бабияну в рот.

— Батя, попробуй, пять форинтов стоит!

Бабиян вздрогнул, почти трезво вынул сигару изо рта, повертел ее в руках и небрежно бросил:

— Ерунда!

Когда гости расположились в креслах и задымили, жупан распорядился накормить и напоить цыган и совсем по-родственному обратился к Бабияну:

— А теперь, батя, изобрази-ка нам утро на хуторе!.. Поверьте, господа, это нечто колоссальное, ничего подобного я не слышал даже у «Ронахера» [1].

Бабиян несколько смешался, но, увидев вокруг себя разгоряченные, пылающие физиономии пресыщенных господ, которые требовали все новых впечатлений, прокашлялся и, когда наступила тишина, закрыл глаза, откинул голову и закричал петухом. Сперва старый охрипший кочет выводил свою сложную мелодию, внезапно обрывая ее, точно волынщик, вдруг выпускающий мундштук изо рта. Потом многообещающе начал и торопливо кончил молодой петух в пору пробуждения сил. И наконец срывающимся, неустановившимся голосом гимназиста пятого класса закричал совсем молоденький кочеток из тех, что смело выводят «кукаре...» и никак не могут осилить последнего «ку». И все это Бабиян сопровождал движениями головы и тела, даже руками хлопал по бедрам, словно крыльями. Следующим номером шло мычание. Вначале без всякого выражения — на ветер — мычал теленок, затем раздался глубокий и теплый голос его матери. Глаза Бабияна, бессмысленным и наивным взором уставившиеся было в одну точку, вдруг потеплели и скосились — мать звала теленка, чтобы облизать ему лоб. Вот заржал и забил копытом конь, захрюкала, втягивая запах взрытой земли, свинья, загавкала одна собака, затявкала другая. Зазвучали все голоса хутора: кудахтали куры, гоготали гуси, скрипел журавль на колодце, визжала пила,

[1] «Ронахер» — ночной ресторан в Пеште.

доносился колокольный звон, и, наконец, вспотевший и запыхавшийся Бабиян закричал бабьим голосом: «Добрутр, соседка, что рано поднялась, как спала, что во сне видела?»

Общество разразилось громовым хохотом. Толстяки хватались за животы, побагровевшие лица выражали полное изнеможение.

— Хватит, окажи милость, хватит, побойся бога!

Но Бабиян и сам устал, руки его дрожали. Содержимое рюмки расплескалось, пока он подносил ее ко рту. Жупан, предовольный, переходил от одного к другому и каждому повторял:

— Ну, что я говорил? Зря я это затеял?

В соседней комнате лопались от смеха цыгане и служители. Туна, принесший свежий кофе, должен был зажать рукой кривившийся от смеха рот. Но лишь только глаза его встретились с помутневшим темным взглядом Бабияна, с лиц обоих смех точно рукой сняло.

— Вот, светлейший,— крикнул Бабиян серьезно,— наш брат хуторянин все умеет — и лаять мастак, и с людьми поговорить не промах!

Жупан, уловив в этом выпаде начало неприятной фазы опьянения Бабияна, подозвал Туну и велел как-нибудь вывести Бабияна и проводить до коляски. Сам же набил его карман сигаретами, сигарами, конфетами — «детям» и даже сунул бутылку ракии на дорогу и домой — сыновьям. Гости попрощались с ним, каждый за руку, а жупану все же не удалось избежать поцелуя. Когда за Бабияном захлопнулись двери, хозяин с ухмылкой пожал плечами:

— Вот так-то лучше. Мужик есть мужик, меры не знает! Но разве он не великолепен?!

По дороге ни Туна, ни Бабиян ни словом не обмолвились об обеде и увеселении. Крепкий старик, выйдя на воздух, собрал все силы, чтобы шагать прямо и уверенно. Стипан и Аница усадили его в коляску, делая вид, будто не замечают, что старик пьян. В дороге он привалился к плечу Аницы и сладко заснул. Дома его встретили так же, как и проводили: из коляски приняли, словно бы он фарфоровый, по очереди подходили целовать руку.

— Что нового?

— Билка отелилась. Телочкой!

Бабиян улыбнулся.

— Счастливый день.

Больше он не сказал ни слова, но все поняли, что у жупана батя удостоился высокой чести.

Он разделся, умылся, надел будничное, обошел службы, осмотрел, все ли в порядке, и, заказав на ужин маринованных огурцов и перцу, улегся и по-хозяйски захрапел.

* * *

Солнце пригревало все сильнее и дольше, и под его лучами менялся облик земли. Не прошло и недели со дня возвращения Бабияна из города, как однажды после полудня, когда хозяин в глубине двора присматривал за постройкой нового загона, точно по команде, залаяли собаки, предводительствуемые Куцей, которая, остервенело скаля зубы, кидалась на забор. Обернувшись, Бабиян увидел над забором зеленые охотничьи шляпы, украшенные тетеревиными перьями, и дула двустволок. Подбежала Аница — руки в мыльной пене — и встревоженно зашептала:

— Батя, господа какие-то вас спрашивают!

— Уйми собак, пусть войдут! — невозмутимо сказал Бабиян, не удивившись и не сдвинувшись с места.

— Фу, Куцая, пошла под телегу!

Все засуетились, раздались крики, в собак полетели комья земли, заскрипели ворота. К Бабияну примчался взволнованный Стипан:

— Батя, господин жупан с господином депутатом приехали!

Бабиян обернулся; увидев гостей, подавил в себе приятное недоумение и спокойно приказал:

— Пускай женщины откроют залу, уберут там, накроют стол, принесут вино, ветчину, яичницу, огурчиков да пусть прихватят сразу же пару цыплят на гуляш! А ты, Стипан, вынеси-ка мне сюртук.— И, не торопясь, двинулся навстречу гостям. Те же взяли гончих на поводок, потому что хозяйские собаки негостеприимно рычали из-под амбаров на этих элегантных, но, по их мнению, дегенеративных горожан, а аристократы, опустив длинные шелковые уши и высунув красные языки, сдержанно поворачивали свои трепетные мокрые черные морды то в сторону господ, то в сторону полураздетого «мужичья», будто спрашивая: «И чего мы с вами здесь не видали?»

— Кого я должен возблагодарить за высочайшую честь, которую вы оказали хутору Липоженчича? Добро пожаловать! — Бабиян протянул руку обоим.— Милости

прошу отдохнуть и перехватить чего бог послал. Не обессудьте, так вдруг нелегко угостить таких больших господ, но для охотников на хуторе всего найдется вдоволь! — Бабиян улыбнулся и, остановившись, не глядя, сунул руки в сюртук, поданный Стипаном.

— Это ты мудро сказал, батя Бабиян... А мы вот пошли на зайца, ну, а раз оказались тут, я и говорю, давай оставим лошадей в лесочке, а сами завернем к моему доброму приятелю Бабияну.

— Хорошо сделали... Так кони в лесочке, говорите?.. Ну, заходите в дом, я следом! Стипан, на одно слово!

Зашуршали юбки — женщины разбежались кто куда. В зале уже все было готово. Магда, в новом корсаже, ставила на стол вино, а в глубине двора беспокойно кудахтали куры, пищали цыплята — не прошло и минуты, как во все стороны летели перья, а около кухни суетились кошки.

Разумеется, жупан предпринял этот визит не без задней мысли. Выборы на носу, и оппозиция получила бы смертельный удар, склони он на сторону правительства Бабияна Липоженчича, за которым потянулись бы все буневские хозяева, а голытьба по мадьярской конституции вообще не голосовала. Жупан уже давно заприметил Бабияна и, несмотря на то, что был наслышан о его упрямстве, верил в успех своего замысла. Но встреча, надо сказать, несколько удивила его.

Господа изумлялись количеству строений, городской мебели, хотя и не могли сдержать улыбки при виде давильного пресса и вожжей; они хлопали Бабияна по плечу, и тот самодовольно ухмылялся.

— Милости прошу перекусить, а потом пройдем по усадьбе — посмотрите мое хозяйство, а там и ужин поспеет.

Жупан думал про себя: старик явно избегает серьезного разговора и делает вид, что подлинная цель визита его не интересует. Черт побери, кто бы подумал, что этот сиволапый — такая бестия!

Посмотрев за столом прямо в глаза Бабияну, жупан встретил по-детски простодушный взгляд, в котором не было даже намека на какие-либо воспоминания. Он обращался к жупану на «ты» с такой непринужденностью, точно они были друзьями с самого детства. Теперь жупан надеялся только на время и вино. Но чем больше Бабиян пил свое вино, которое «словно мать родная и ударяет в

ноги, а не в голову, как и повелел бог», тем неприступнее становился. Казалось, сок родной земли и родного солнца вливал в его кровь землепашца гордое сознание собственной непоколебимости и извечной крестьянской независимости. Любую похвалу он принимал как должное и тут же, бахвалясь, сам прибавлял к ней с три короба.

Скоро они поднялись из-за стола, и Бабиян повел гостей показывать свои владения. Он шел впереди, опираясь на толстую суковатую палку. Глядя на него, высокого, осанистого, плечистого, краснощекого, уверенно разбивающего палкой комья черной земли, топчущего выползших на дорогу гусениц и медведок, господа чувствовали себя странно потерянными, прямо-таки зелеными юнцами рядом с этим мужиком, длинная тень которого падала на них. Бабиян привел гостей на холм, на вершине которого еще отец его поставил огромный дубовый крест; сейчас он был сплошь в трещинах, но все еще крепкий. Отсюда, поводя палкой, он очертил границы своих владений.

— Вот, смотрите, от лесочка до дороги и от дороги до самых груш, вон тех, а оттуда вон до кукурузы Жиги Турецкого — это все мое.

Жупан улыбкой сопровождал широкий жест завоевателя:

— Avoir c'est pouvoir! [1]

— Воды тут испокон века не хватало, а у меня колодец вырыт, глубокий — воды в нем даже в самую сушь и людям и скоту вдоволь. Дети растут здоровыми, и скотина, слава богу, здорова, а случись вдруг какая птица подохнет, так это пустяк, бабья печаль! — И, повернувшись к ним, с улыбкой добавил: — Ничего, слава богу, жить можно!

Вернувшись снова к дому, они увидели, как батрак Йошка Мадьяр кормит свиней, ему помогали трое хозяйских сыновей. Около сотни поросят толклись вокруг низких дощатых корыт с пшеничными отрубями. Прожорливые животные с хрюканьем и визгом пробивали себе дорогу. Один из мальчиков лопатой гнал тех, кто залезал в кормушку с ногами. Бабиян презрительно ткнул дубинкой в сторону тощего годовалого поросят с взъерошенной щетиной, непомерно большой головой, продолговатой мордой и длинными, как у гиены, передними ногами и крикнул Йошке:

---

[1] Иметь — значит мочь! *(франц.)*

— Волчонка этого выбросить! Он мне все стадо испоганит. До осени будет прыгать через заборы. Ты посмотри на него — морда длиннющая, его впору из кувшина молоком поить.

В это же время в других загонах, довольно похрюкивая, чавкало с пятьдесят откормленных боровов. Некоторые ели лежа, не имея сил подняться; по их жирным мордам и шеям в белой пене стекало крупно молотое желтое зерно.

— Через десять дней можно будет отправлять в Пешт.

Отсюда пошли на конюшню, где восемнадцать рабочих коней перебирали мягкое сено, словно что-то выискивая в нем. Серые стояли отдельно с торбами на мордах и перетирали овес; почуяв хозяина, повернули к нему головы и громко выдохнули, глаза у них засверкали. Бабиян хлопал их по крупу и шее.

— «Липицанеры», с Гециного завода![1] Не кони — дьяволы!

Под коровами шуршала солома. Две швейцарки с розовыми ноздрями и крупным выменем и шесть черномордых подолинских с маленькими сосками и длинными рогами, которыми они глухо ударяли о загородку, ждали дойки.

— Вот эта дважды принесла мне по две телочки. А эта швейцарка дает восемнадцать литров. Наши дают поменьше, но — истинный бог! — чистые сливки.

Под конец прошли в сарай, где находились машины — молотилка, веялка, соломорезка, плуги и бороны. Пахло растительным маслом и пылью. На потолке зияло два отверстия, внизу под каждым — горка пшеницы и кукурузы.

— Чердак полнехонек! На одной половине — прошлогодняя пшеница, на другой — кукуруза.— И, захватив горсть пшеничных зерен, Бабиян передал их жупану: — Свинец!

Кукурузу лишь зачерпнул и высыпал.

— Звенит, точно галька! Эй, дети, готово, что ли? Ну раз так, идем закусим. Там — бабье царство: шелковичные черви, ткацкие станки, мелкая живность. Я туда не заглядываю. Это им на тряпки и побрякушки! Сам-то я по стариковскому делу балуюсь еще виноградником да пчелами.

---

[1] Конный завод богатого бачванского землевладельца Гедеона Дунцерского.

И жупан и депутат тоже владели землей. Но они или сдавали ее в аренду или обрабатывали с помощью целой армии надсмотрщиков и экономов; их земледельческие заботы сводились исключительно к получению годового дохода в деньгах. У них не было даже клочка земли, по которой они могли бы шагать так же гордо и уверенно, как этот крестьянин.

Гуляш кроваво пламенел сегединским перцем. Нежная цыплятина — белое мясо, бедрышки с почками и печенкой при одном прикосновении отделялись от тонких косточек. В другой миске, поблескивая, желтели клецки, сваренные в сливках. Гости проголодались и приналегли на яства, а Бабиян, набив рот, без умолку говорил о земле, о постройке нового стойла, о сыновьях, которых он не хочет отдавать в школу, дабы они не отошли от него. Непринужденно, как среди своих, он тыкал вилку в мясистый, набухший в маринаде перец, тот шипел, и брызги летели до потолка. Покончив с гуляшом, взялись за стаканы (на Бабияновом сразу же остались дактилоскопические отпечатки масляных пальцев).

— Э, прошу покорно, одним духом до дна!

Магда внесла румяную горячую гужвару, слоеный пирог с молодой брынзой, и поставила перед свекром. Бабиян, не вдаваясь в объяснения своего домашнего этикета, взял пирог в руки и, то и дело дуя на обожженные пальцы, принялся его разламывать. Из кусков растерзанной гужвары валил пар и текло масло. Каждому на тарелку был положен добрый кусище со словами, что никто-де не умеет так приготовить гужвару, как Магда.

— Люблю жирную! Это не гужвара, если в рот возьмешь и по локоть в масле не вымажешься!

Господам было немного не по себе, однако гужвара им и впрямь понравилась.

— Сахар в ней есть?

— Нет! — гордо ответил Бабиян.— Брынза от моих овец. Держу десяток, только на брынзу. Такой соленой травы и в банатских лугах не сыщешь, как у меня на целике да на жнивье!

Насытившегося жупана передернуло.

— Очень вкусно, батя Бабиян, только слишком уж много масла!

— Ну-ка, давай его разгоним! Ваше здоровье и спасибо, что оказали честь моей бедности! — Бабиян с притвор-

ной скромностью улыбнулся, вытер усы ладонью и чокнулся с гостями.

Магда поставила на стол светлый прозрачный мед, орехи, яблоки и несколько виноградных гроздьев вместе с лозой и листьями,— они были совсем свежие.

— Мы обрезаем дринок и дамские пальчики прямо с лозой и заливаем их на зиму водой, чтобы сохранить ягоду. А мед — ранний, первого цветения. Вишней отдает.

Но вот появился кофе и контрабандный «длинноволокнистый» банатский табак. Магда притащила трубку из морской пенки, с зеленой кисточкой, уже набитую табаком и даже с горящим угольком сверху, и собственной рукой вложила бате в зубы. Бабиян лишь слегка примял табак черным пальцем с потрескавшейся, бесчувственной, будто из асбеста, кожей и, положив темную трубищу перед собой на стол, зажмурился и затянулся. И все это вперемешку с вином, вином и вином. Но когда Магда вошла с лампой и пожелала им доброго вечера, жупан, как бы приходя в себя, поглядел на свои карманные часы, потом на депутата, еле переводившего дух от чрезмерной сытости.

— Про людей-то мы и забыли!

Хозяин махнул рукой:

— Не беспокойтесь! Я послал за ними работника. Они все здесь. Люди ужинают, коням овса дали. А господа гончие могут и с нами! — и высыпал кости на пол.— Разве можно так вот сразу и уйти, негоже так, негоже!

Напоследок жупан все же собрался с силами и неожиданно заговорил совсем другим тоном:

— Прекрасно ты принял нас, батя Бабиян. Спасибо тебе! Дай бог здоровья тебе и твоим детям, да пошлет тебе господь еще двести ланацев земли! Ну, разве мы с тобой не настоящие друзья-приятели? Жаль вот только, что не всегда мы с тобой идем вместе. Почему бы и в политике нам не идти вот так же дружно, в ногу! Втроем! И пускай нам будет бог судья! Скоро выборы, почему бы тебе не голосовать с нами — вот за этого господина? Ты меня знаешь, я друзей не забываю, и он такой же. У тебя дети, и в сильных друзьях всегда нужда будет. На что тебе Вуевич? Он же дурак, в правительстве ему никогда не быть! Что проку в политике, если в правительстве нет своей руки? Или сберегательные кассы тебе нужны? В нашем банке... да нет такого банка на свете, двери которого сами бы не распахнулись при одном имени Бабияна Липо-

женчича! По рукам, что ли? — Он протянул ему руку, как на базаре.— И поцелуемся!

Бабиян щурился, посинев от напряжения. Это была счастливейшая минута его жизни. Ему льстило предложение жупана, хотелось дать согласие, но желание отказаться было сильнее. Чтобы продлить мгновения счастья, он пустился изворачиваться с высоты своего величия и мудрости.

— Лайча Вуевич дурак? Да он умнейший человек! И землицы у него два раза столько, сколько у меня. Четыре сотни ланацев, э-гей! Правда, далековато и кое-что под водой, но как ни говори — четыре сотни, э-гей! Это тебе не шутка! А там придет и для него время. Вот возьмет Кошут власть...

— Кошут? Никогда! Вуевич? Тоже никогда, если вовремя не образумится. А почему бы тебе не образумиться первому?

— Э, господа хорошие, я человек на виду, я не могу так — сегодня одно, завтра другое. Веру и политику так легко не меняют. Вы мои лучшие друзья-приятели, но одно дело — дружбу водить, так сказать компанию, а другое дело — политика. Так вот, останемся друзьями-приятелями! — И в утешение потянулся чокаться.

Жупан вытащил из кармашка монокль и принялся играть им. На лбу у него выступило красное пятно, похожее на лишай.

— Что ж, коли не можешь сразу решиться — подумай. Поверь, чем раньше, тем для тебя же лучше. Посоветуйся со своими, спроси сыновей,— сказал жупан почти со злобой.

Бабиян, сияя от удовольствия, высокомерно замотал головой:

— Советов я ни у кого и ни в чем не спрашиваю. Покойный отец мой тоже никого не спрашивал и, слава богу, жил в достатке и оставил не безделицу. А вот что ты говоришь «подумать»... Я не говорю...

— Я тебя учить не намерен, пойми, Бабиян, и неволить тебя не собираюсь, но опять же говорю: друзей надо ценить.— И тихим ласковым голосом добавил: — Подумай о детях, кто знает, мало ли что им может понадобиться. Кто знает...

Бабиян горделиво напыжился:

— Светлейший, у кого здесь не пусто,— он ударил себя по правой стороне груди, где лежал бумажник,— тот

никогда без помощи не останется. В чем сила Вуевича и Фербаки? Их дети тоже у царя не служат! Все можно сделать, коли есть на что, а у меня, слава богу, хватит и себе и детям. Слава богу, и приятелями меня наградил господь сильными да высокими, вроде вас, а уж господа поменьше... Дорога к их сердцу вымощена вот чем,— и он яростно несколько раз ударил по бумажнику.

— Не ожидал я этого от тебя, Бабиян! — строго сказал жупан и сердито посмотрел на него.

Бабиян поднялся, чтобы вновь наполнить стаканы. Жупану он показался огромным и самодовольным до наглости. Он раздумывал, как бы его уязвить. В тишине, нарушаемой лишь бульканьем разливаемого вина, неожиданно прокричал петух. Лицо жупана исказила злобная усмешка:

— Ну-ка, Бабиян, ответь ему, у кого лучше получится?

Однако Бабиян, опускаясь на место и чокаясь, спокойно отрезал:

— Кочеты мои кукарекают знатно. В городе я иной раз и ослом реву, а здесь вот беседуем как люди. Ну, во здравие! И не обессудьте: не обещаю, но поразмыслю... За наше товарищество! Постойте-ка, пошлю кого за цыганами!

Гости, однако, вскочили и в то же мгновение убедились, что вино и вправду голову холодит, а в ноги ударяет горячим песком. Бабиян уговаривал остаться, приказал принести еще две бутылки вина, потчевал их перед коляской и в коляске, когда кучер уже натягивал вожжи; проводил до ворот и все кричал:

— Во здравие, господа хорошие, и простите, коли что не так. Приезжайте запросто опять, по-приятельски да по-хорошему!..

Потом вернулся в «залу», уселся на свой стул, вытянул ноги, стукнул кулаками о стол и с необычной для него живостью крикнул Магду.

— А ну, дочка, принеси деду еще бутылочку, что-то пьется мне сегодня!

В доме все были ошеломлены, но, подсмотрев украдкой, как довольно дед косит глазом в стакан, и пошептавшись между собой, решили, что дед снова удостоился высокой чести.

1921

Невеста покойника

Зорка Пантеличева вскрывала это давно ожидаемое ею письмо с таким волнением, как будто бы оно явилось с того света и заключало в себе духовный завет самого ее покойного жениха. Письмо гласило:

«Мадемуазель,

несмотря на то, что Вы нашли во мне самое искреннее понимание и мне показалось чрезвычайно привлекательным Ваше предложение познакомиться с Вами, несмотря на то, что я с признательностью принимаю выражение Вашего ко мне расположения и в полной мере отвечаю Вам своей симпатией, несмотря на все это, я все-таки убеждена, что принятое мной решение единственно разумное и правильное и для нас обеих, и для светлой памяти дорогого покойника. Вы были его нареченной и до сих пор неизменно любите его, по Вашим словам, еще более сильной и чистой любовью, чем при жизни, и сам он, несомненно, любил Вас точно так же. А я? Наше с ним знакомство было кратким, мимолетным, двух- или трехнедельным военным знакомством, совершенно забытым им, быть может, там, на фронте перед его героической смертью, но для меня оставшимся прекрасным воспоминанием юности. Мой добрый и благородный муж великодушно позволяет мне хранить это мое девичье воспоминание, и я храню его — до каких пор, кто знает? Вы не представляете себе, что такое быть женой и матерью! Поэтому, поверьте мне, я в этом глубоко убеждена, для нас обеих будет лучше, чтобы каждая из нас чтила его память сама по себе и, приходя поклониться дорогой могиле, думала о нем свое. Не кажется ли и Вам, что наше личное знакомство, продиктованное женским любопытством, вопреки глубокой взаимной симпатии, до некоторой степени было бы оскорбитель-

но для нашей святыни? Взять хотя бы наши слова, вопросы и ответы! В какой мере они будут касаться его и в какой нас самих?! Так лучше, поверьте! Пусть иногда лишь наши розы встретятся на его могиле! Да мои недолго там и продержатся. Жизнь безжалостна к нашим женским мечтам. Но и тогда, когда домашние хлопоты оторвут меня от его могилы, мне приятно будет знать, что его невеста по-прежнему верна его памяти. Преклоняясь перед Вашими возвышенными чувствами, шлю Вам свой искренний сестринский привет!

Милица Петра Радойковича».

Зорке письмо это ничего не объяснило. После первого чтения оно оставляло какой-то неприятный, мутный осадок. А перечитав его вновь, Зорка нашла лицемерным весь его тон, и чем больше она его читала, тем чаще спотыкалась на отдельных словах и выражениях, почти за каждой строкой видя расставленные ловушки и силки. Смятение, которое в последнее время охватило ее душу, преданную скорби гордого страдания, приобретало все более ясный облик страха, ревности и ненависти. Кто она, эта женщина? Какие у нее права на верность этой памяти? Выяснив, что таинственная дама, каждую неделю оставлявшая на его,— собственно, на ее — могиле цветы, замужем, причем вышла она замуж за коммерсанта всего два года назад, Зорка пришла в ужас — ей увиделось в этом святотатство,— и написала этой женщине, по ее мнению, не очень достойного поведения, высокомерное послание. Тогда ей и в голову не приходило, что, противопоставляя свое постоянство и самопожертвованность банальности поведения другой, она сравнивает глубину и подлинную близость своих отношений с покойником и свое право на верность его памяти с отношениями и правами другой женщины. И вот теперь это сдержанное письмо навело ее на размышления не только о той женщине и покойном женихе, об их странной мимолетной встрече, но, что гораздо хуже, о себе самой, о своей любви, о своем обручении и об истинном смысле своей жертвы. У нее недоставало мужества дойти до конца и признаться себе в том, что все, чему посвятила она свою жизнь, не более как пустой самообман. Но все же сомнение и страх, проникнув в нее, потрясли основы той капеллы, в которую она себя замуровала. И она вскочила с колен, не в силах более оставаться распростертой ниц перед лампадой своего идола.

Она должна была выйти из дому, найти эту женщину и еще раз объясниться с ней. Она смутно догадывалась, что встреча с ней может оказаться гибельной, роковой для нее, но неизвестность была тяжелее.

Маленькая, тоненькая, смуглая Зора была средней дочерью старого отставного полковника. Это была хорошая, гордая и бедная семья. Девочка, болезненная с рождения и выхоженная благодаря неустанной родительской опеке и неисчислимым материальным затратам, выросла в обществе взрослых, не зная настоящего детства, игр и игрушек, и проводила время в четырех стенах, читая книги и мечтая. Избалованная домашними, но сама не склонная к ласкам, молчаливая, с угловатыми движениями и глухим голосом, при малейшем волнении терявшим уверенность и срывавшимся на звенящей высоте от перехватившей горло судороги, лишенная женственной грации и умения прихорашиваться, но вдумчивая и самоуглубленная, она все это знала про себя и жила в вечном страхе показаться смешной и неестественной, и поэтому производила впечатление скрытного, замкнутого и едва ли не коварного существа. Никто не проявлял к ней ни особого тепла, ни нежности, в том числе и родные сестры, хотя все отдавали должное ее уму и серьезности. Даже в собственном доме ее как бы и не считали за девушку, будущую невесту. Никого не заботило ее физическое развитие, коль скоро это не имело прямого отношения к состоянию ее здоровья. Что же касается ее девичества, ее внешности, красоты и привлекательности, то об этом даже ее родная мать не думала. Ее замужество никого не беспокоило. Ее приданым будет диплом, и, следовательно, жениться на ней может только какой-нибудь исключительный юноша. Стесняясь ее, сестры скрывали от нее свои невинные амурные проказы и никогда не интересовались ее сердечными тайнами. И даже если ей порой случалось оживиться, поддержать веселый разговор, рассмеяться, и это не меняло напряженной атмосферы дома. Было что-то странное и жалкое в ее сдавленном, отрывистом и тусклом смехе. Чересчур короткая верхняя губка, кривясь, вздергивалась при этом вверх, глубокие складки по обеим сторонам тонкого рта обнажали крутую дугу чудесных, плотных, смотрящих внутрь зубов, что делало ее смех натянутым и неестественным. Все тогда невольно переглядывались в изумлении: «А очень даже недурна эта наша Зорка! Жаль ее!» И правда, в эти редкие мгновения

радостного оживления не только зубы ее сверкали белизной, но и светились глубоким черным огнем ее совершенно черные огромные глаза под длинными ресницами. Однако прекрасные блестящие глаза тоже наводили на мрачные мысли то ли из-за темных кругов под ними, то ли из-за их аспидной черноты, в которой не различались зрачки, а может быть, и из-за ее черных бровей, сросшихся в одну сплошную, прямую и строгую линию.

Покойный Момир Драгович появился у них в доме еще будучи воспитанником военного училища, на правах какого-то старинного отдаленного родства. Незаметный, щуплый, белесый юноша с большим висячим носом, низким лбом и узкими щелками маленьких глаз, по-провинциальному неловкий и робкий, молчаливый и серьезный, он по заведенному обычаю проводил в обществе Зоры этот традиционный воскресный час за разговором о школе, о гимназии и о военных обязанностях. Предоставленные друг другу, они оба дорожили своими встречами. Так длилось годами без всяких перемен, и если в редкие мгновенья общего подъема настроения домашние и позволяли себе отпустить шутливый и благодушный намек в адрес этой парочки, то ни у кого не возникало даже мысли о том, что небрежно брошенное замечание может возбудить в душе Зоры какой-нибудь отклик.

Когда Момир унтер-офицером отправился на турецкую войну, Зора открыто взяла на себя переписку между своим семейством и молодым человеком. Начался обмен интеллектуальными письмами, а когда Момир вернулся с войны в чине поручика и с золотой медалью, Зора не скрывала гордости его героизмом. Момиру, полному сознания собственных доблестей, льстила эта женская дружба; он ее поддерживал, но дальше не шел. Пантеличевы отметили это про себя, но дочери не стали ничего говорить, уверенные, что она не может любить так опасно, как другие девицы.

Мировая война застала их в том же положении. Пантеличевы бежали в Ниш, а Момир, «названый брат» Зорки, отбыл в эскадрон. Они обменялись несколькими письмами, но в них, по предположениям домашних, от которых барышня Зорка ревниво оберегала свой внутренний мир, не было ничего особенно значительного. И тем не менее, когда прибыл эскадронный конюший и сообщил, ры-

дая, обеим семействам, что командир погиб при отступлении из Срема и они вынуждены были его там похоронить, Зорка пошатнулась и рухнула на пол, словно подкошенное дерево. Когда же она пришла в себя, то попросила не говорить ей пошлых слов утешения, ибо она потеряла все в этой жизни, потеряла своего нареченного, но она гордится им, гордится его смертью и единственное, что она может и должна для него сделать, это до гробовой доски остаться ему верной. Пусть никто и не пробует поколебать ее в принятом решении, ибо в противном случае ей придется уйти от них и замкнуться в одиночестве, чтобы беспрепятственно посвятить свою жизнь его памяти. Напрасно пытались домашние узнать от нее какие-либо подробности о самой этой любви и об этой помолвке и доказать ей бессмысленность столь ужасной жертвы, в конце концов они вынуждены были, пожав плечами, отступиться.

Зорка немедленно облачилась в траур и поспешила разыскать родителей Момира и его сестер; в своем горе они с восторгом приняли и ее жертву, и ее слезы. Именно теперь, после его смерти, Зорке показалось, что она всегда его любила, с первой встречи, и с каждым днем в ней крепла уверенность в том, что и он любил ее необыкновенной, исключительной, небесной, идеальной любовью. Оживляя в бесконечных воспоминаниях своих мгновения, проведенные вместе, слова и фразы, которыми они обменивались, жесты, она наполняла глубоким символическим смыслом и самые из них малозначащие. Никто в целом мире не мог их понять, они ни на кого не похожи, и потому сама их встреча — встреча двух существ, нашедших понимание друг в друге,— безусловно назначена свыше и столь же возвышенна, как и их трагедия. Ореол этой трагедии она несла на себе, подобно черной царственной диадеме вокруг чела с надменной гордостью, без тени сокрушенности, обычно налагаемой терновым венцом мученичества. Там, где появлялась ее черная фигура, должно было угаснуть сразу всякое веселье. Даже родная семья страдала от ее могильного террора. Ее черные, как тушь, глаза обдавали презрением забывчивый и легкомысленный люд, заходившийся в беспричинном животном хохоте в то время, как там, далеко, погибали их отцы, братья, мужья и нареченные. Она и сама ощущала, что наводит на всех скованность и страх, но и в этом она видела свою святую миссию.

Так же было и во Франции, куда они бежали после катастрофы и где ее мрачные взгляды, поджатые губы и глубокий траур внушали почтительный трепет и страх. Не желая пользоваться ни одной из тех мирских утех, которыми и во время войны эта великая страна не оскудела, она поссорилась со своими домашними и отселилась от них в отдельную комнату, превратив ее в анахоретский алтарь покойному. С внешним миром ее связывали лишь университет и семья Момира, с которой она поддерживала связь через Красный Крест. После возвращения в Белград первой ее заботой было найти родных Момира и совместно с ними начать хлопоты о переносе праха погибшего на родину.

В это дело девушка вложила всю свою энергию, и, когда, превзойдя в своем рвении Драговичевых, убрала и украсила его могилу в длинном ряду могил погибших офицеров, в северной, новой части обширного кладбища, она наконец облегченно вздохнула, успокоилась и, к великой радости домашних, присмирела. Должно быть, близость этой дорогой могилы и ежедневные ее посещения действовали на нее умиротворяюще и ее былая ожесточенная неприступность, нетерпимость и неуживчивость несколько смягчились. И так, между школой, домом и кладбищем, она и провела бы, может быть, свой век, догорая, как свечка на его могиле, если бы однажды не заметила, что, кроме нее и его родных, кто-то еще навещает могилу. Сначала Зорка подумала, что это недоразумение. Но, обнаружив и на третий и на четвертый понедельник на могиле чужие цветы, она забеспокоилась. Расспросила кладбищенского сторожа, но он или не приметил, или не желал выдавать таинственного посетителя.

Занятая по понедельникам в школе до полудня, она бежала на кладбище сразу же после обеда и всегда заставала там свежий букет роз. Свои завядшие цветы она имела обыкновение уносить домой и там их сжигать. Цветы неизвестной личности она выбросила у входа на кладбище в канаву. Наконец, на седьмой понедельник, она не пошла на службу и с утра отправилась на кладбище. Скрылась за надгробием Лацковича и стала ждать. Редкие посетители, как правило, в трауре, быстро расходились по узким тропинкам и исчезали за каменными крестами. Завидев издали одинокую женскую фигуру в трауре, она замирала с трепещущим сердцем. И поэтому не сразу заметила ту, которую ждала. А когда опомнилась и, вый-

дя из-за своего укрытия, бросилась к могиле, элегантная дама, оставив на могиле свежий букет, уже торопилась к выходу. Казалось, эта высокая, крупная женщина чувствовала, что кто-то преследует ее и гонится за ней по пятам, она так спешила, что ее юбка темного серого сукна обвивалась и билась вокруг ног. Осмелев от возбуждения, Зорка, стремясь быстрее выбраться на главную аллею, не разбирая дороги, перескакивала через могилы, пробиралась между ними. Но догнать незнакомку ей так и не удалось; она увидела только, как та легко вскочила в тронувшуюся с места машину, но рассмотреть ее все же успела. Эта особая посадка головы и белый профиль уже мелькали когда-то перед ней на улице в машине.

На другой день Зорка выяснила, кто эта дама. Это была дочь богатого валевского коммерсанта Млинарича; два года назад, во время оккупации, ее выдали замуж за крупного экспортера Радойковича из Пожареваца, который после освобождения переселился в Белград, купил дом на Варош Капии и зажил роскошной жизнью. Зиму супруги проводили в Париже, а теперь их салон переполняли новоявленные богачи, новоявленные дипломаты и государственные деятели, а также новоявленные гении.

Не отступаясь от своего желания познакомиться с ней, на следующий понедельник Зорка снова пошла на кладбище. Но на этот раз госпожа Милица не явилась, между тем как в среду ее свежие розы снова украшали могилу Момира. Зорка решительно направилась к дому Радойковичей, но у ворот оробела и написала письмо, в котором просила принять ее и откровенно объясняла мотивы этой просьбы. Госпожа Милица, как мы знаем, отказала ей, и тогда Зорка решила добиться свидания с этой женщиной в ее собственном доме.

Что же все-таки заставило ее сегодня в одиннадцать утра постучать в запертые двери дома Радойковичей, надавить на кнопку звонка и ждать со стесненным дыханием, страдая в душе, пустят ли ее внутрь, во мрак? Одно ей было ясно, она не может и дальше делить эту могилу еще с одной женщиной, не может больше существовать с мучительной и живой загадкой в сердце, в котором до сих пор обитала лишь реальность дорогой могилы. Все остальное было темно в ней и туманно: и что она скажет, и что услышит, и какие чувства вызовет в ней эта

женщина, и не изменится ли ее отношение к Момиру?

Недоверчивый взгляд дворника в фартуке поверг ее еще в большее смущение; передавая на пороге прихожей визитную карточку горничной, Зорка только тогда спросила, дома ли госпожа, и, передумав в последний момент, вместо: «Невеста Момира Драговичева», написала: «Прошу вас на несколько слов по поводу того письма».

Ей пришлось долго ждать в просторной прихожей, заставленной фикусами, пальмами и рододендронами, пока горничная не провела ее в маленькую золотую с розовым гостиную. Зорка села и стала ждать, и, когда ее глаза встречались в зеркале с ее собственным отражением, она почти пугалась себя, настолько черная, желтолицая, она отличалась от окружающего ее лучезарного блеска и сияния. Усилием воли она хотела заставить себя не смотреть в зеркало, но не могла от него оторваться, как завороженная; а тот разлад, который она вносила своим появлением в этот дом, на сей раз не вселял в ней привычной гордости. Ожидание утомило ее, она начала раскаиваться, что пришла, и уже подумывала, не выскользнуть ли ей неслышно вон, в то же время поражаясь той легкости, с какой ее оставляла обычная твердость и настойчивость. Она озиралась вокруг, и тонкий перезвон незнакомых, чужих вещей повергал ее в еще большее уныние и растерянность.

Наконец послышались женские шаги, дверь распахнулась и вошла высокая женщина в шелковом голубом пеньюаре, слегка напудренная, со стертой вымученной улыбкой. Зорка вскочила, женщина подошла к ней и, протягивая руку, быстро проговорила, нанизывая слово на слово:

— Как бы там ни было, мне приятно познакомиться с невестой покойного Момира. Садитесь, прошу вас. Итак, что вы хотели мне сказать?

Женщина была бледна как смерть, отметила про себя Зорка, и сама ощущая ледяную холодность щек, от которых отхлынула кровь, но как только та заговорила, краска бросилась ей в лицо, она судорожно хватала ртом воздух, пытаясь что-то вымолвить, потом села.

«Красивая,— подумала она.— Красивей, чем на улице!» И, сцепляя и расцепляя свои тонкие, костлявые, холодные и влажные пальцы в ожидании момента, когда она

овладеет своим голосом, непрестанно твердила про себя: «Красивая, красивая, интересно, была ли она раньше еще красивей?»

— Простите меня, сударыня, я знаю, что поступила дерзко, но я не могла удержаться. Я должна была увидеть вас, раз и вы были с ним знакомы. Я все о нем знаю от его родных и друзей, по крайней мере, все, что они про него знали, но мне хотелось бы знать о нем больше. Вы должны понять меня.

Госпожа Милица не спускала с девушки своих голубых, трезвых глаз. И под этим внимательным неуступчивым взглядом в Зорке росли страх и неуверенность.

— Я вас, мадемуазель, прекрасно понимаю. Но я уже вам говорила, что ничего особенного не могу вам о нем рассказать. Война застала меня в Лазареваце, у тетки. Туда прибыл конный эскадрон, и он в компании других офицеров приходил к нам. Мне было восемнадцать лет, а они, кавалерийские офицеры, отправлялись на войну, веселые, молодые, бесшабашные, безудержные, отправлялись, может быть, на смерть. Необычность обстановки, всеобщее брожение, смятение умов, а мы пели и танцевали. Он был веселее других, все время твердил, что непременно погибнет, и без устали кричал: «Еще один бокал и еще один вальс, прошу вас, мадемуазель!» — И при этом так беззаботно и заразительно смеялся...— Заметив, что девушка снова бледнеет, свертываясь, словно увядающий цветок, госпожа Милица поспешила потушить радостное вдохновение, все явственнее звучавшее в ее голосе, согретом воспоминаниями.

«Никогда я не видела его смеющимся и поющим, никогда мы не танцевали»,— думала между тем Зорка про себя, порываясь встать.

— ...Я его спросила, разве ему не страшно умирать, разве нет никого, кого он любит и кто любит его, а он мне на это ответил, что не боится смерти, потому что та, которую он любит, его невеста, сумеет его достойно оплакать...

Если бы ее и не выдала интонация наигранной доверительности, Зорка все равно сразу бы распознала ложь в ее голосе, ложь, за которую госпожа хотела спрятаться, великодушно утешив ее. И Зорка прервала ее сухо:

— Спасибо, сударыня!.. А... сколько дней вы провели вместе в Лазареваце?

— Дня четыре, помнится,— госпожа захлопала глазами,— а потом, потом мы еще виделись в Валеве. Там он тоже нас навещал до самого своего отъезда. После этого я его больше не видела, он погиб.

«Мне он ни о чем таком словом не обмолвился в письмах!» — отметила про себя Зорка. И усмехнулась через силу:

— Он был такой выдумщик и как огонь, правда!

— О! Вот это-то главным образом меня в нем и пленяло, непосредственность, искренность и страстность! — И глаза ее затопило горячим блеском, когда она представила себе живо, будто это было вчера, как посреди упоительного вальса, на глазах у всех, он утащил ее в соседнюю комнату и, пока там тетка играла, а остальные кружились под музыку, подпевая и насвистывая, он в сумасшедшем, безумном порыве подхватил ее, стиснул и, исступленно целуя, шептал:

— Ах, позвольте, позвольте идущему на смерть, идущему на смерть!

Зорка, потупившись, перебирала и теребила пальцами юбку на коленях, в то же время подыскивая слова, которые положили бы конец этому визиту. Любопытство ее угасло, у нее больше не было желания смотреть на эту госпожу, рядом с которой она чувствовала себя такой несчастной и убогой. Ведь что она на самом деле знала о Момире? Что есть у нее от него, что связывает ее с ним, кроме могилы на кладбище? А эта женщина по сей день полна, переполнена им до краев, ее с ним связывает целая сеть нервов, жил, биение крови, сознание греха! Она чувствовала себя выжатой, посрамленной, униженной, и, не зная, что ее больше оскорбляет, то ли недоговоренное этой красивой дамой, то ли ее милосердная ложь, то ли осквернение единственной ее святыни, Зорка поднялась и, бормоча что-то совершенно несвязное: «Ничего, ничего, извините, ничего, пожалуйста, не беспокойтесь, ничего!..» — бесшумно выскользнула из комнаты.

Дама проводила ее до дверей, всячески стараясь быть как можно любезнее с невестой Момира, но Зорка вылетела из парадного на улицу, ни разу не обернувшись.

Добравшись до дому, она еще с порога крикнула:

— Мама, мама!

А когда перепуганная мать подхватила ее на руки, она сжалась в комок и забилась у нее на груди в отчаянных рыданиях:

— Мама, мама, не хочу жить, я должна умереть!

Мать дотащила ее до кровати и, приговаривая и лаская, как бывало, когда она была совсем маленькая, принялась безмолвно ее раздевать и укладывать в постель. Она нарочно ни о чем ее не расспрашивала, только все гладила и ласкала, дожидаясь, когда она сама затихнет и уснет. А выйдя из Зоркиной комнаты, с нескрываемой радостью объявила домашним:

— Тсс! Заснула! Что-то такое у нее случилось. Я давно это заметила. Слава богу, поправится моя девочка, вот увидите!

1922

Баба Маца

И в Раванграде были женщины, о которых вспоминали не иначе, как в связи с какой-нибудь бедой. Обычно это были старые женщины, не принадлежащие ни к какому определенному сословию, бессемейные, всегда печальные, черные, молчаливые, изможденные старухи. Люди молодые понятия не имели, откуда они родом и как их полное имя; на крестины, свадьбы и семейные празднества их никогда не звали. Зато когда кого-то прикует к постели гадкая болезнь или кто-то умирает, тогда срочно посылают за ними, чтоб они перевязывали смрадные, изъязвленные тела, стирали заразные простыни, сухими темными пальцами закрывали глаза покойнику и бодрствовали в головах умершего длинными, жаркими ночами в спертой духоте чадящих свеч и пятнисто-синих трупов, отгоняя ветками назойливых мух, лепящихся к углам глаз и рта и к пожелтевшим ноздрям умершего. В дни семейного отчаяния и горя, когда сдают самые крепкие нервы и голова идет кругом, этим неприметным особам, в другое время как бы и вовсе не существующим для людей здоровых и занятых, приходилось не раз доказывать важность своей жизненной миссии. Они сразу берут бразды правления в свои руки. Они знают, что «положено» и что «не положено» и, распоряжаясь с мрачной и суровой требовательностью, неукоснительно блюдут старинный ритуал суеверий, предрассудков и ворожбы, двигаясь среди растерянной и плачущей родни подобно древним языческим жрицам Иштари и Прозерпины. Вставляя зажженную свечу в еще теплые, незатихшие руки покойного, занавешивая зеркало, останавливая часы и усылая родню отдыхать, они вершат в доме власть, которая продлится до тех самых пор, пока гроб под черным покровом не вынесут на носилках с горящими канделябрами, пока не про-

ветрят комнаты и все, вернувшись с кладбища, не вымоют руки. Еще и поминки в разгаре, но едва разговор зайдет о наследстве и завтрашних делах, как уже бабка с узелком провизии и кое-чем из одежды покойного незаметно и неслышно удаляется домой.

Баба Маца и среди них была самой неприметной. Она была просвирней Йовановской церквушки на Шапоньском хуторе, куда поп наезжал несколько раз в году по праздникам. Это была невидная усохшая старушка, согбенная, перекошенная на правую сторону, всегда в черном, повязанная черным платком, из которого выглядывало маленькое, желтое, сморщенное лицо. Старая богомолка в ее типичном обличии. Она редко появлялась в городе. Только родовитые, старинные семьи, помнившие, что баба Маца происходит из «хорошего дома» и что она поповская дочь, прибегали к ее помощи в несчастьях. В этом узком кругу ее все еще величали «госпожой», ибо знали, что и она была когда-то мужней женой, супругой мастера и матерью многочисленного семейства. Перехоронив всех своих очень рано, она стала просвирней. Баба Маца — просвирня,— так называли ее все, но чем она кормилась на самом деле, об этом никто не задумывался. Когда она не сидела у постели больного или у одра покойника, она жила в кладовке при церкви среди ветхого, поломанного, источенного червями хлама, брошенных подсвечников, стихарей, лампад, стремянок и метелок для обметания пыли, а питалась, словно птица небесная, просфорами, кутьей и подношениями «во спасение души». Сгорбленная, скособоченная, живое воплощение убогости и неприметности, она проходила улицами, не поднимая глаз, и невозможно было сказать, знает ли она что-нибудь о жизни этого города и его обитателей, которые трудятся и развлекаются, и в какой степени сама она принадлежит к этой жизни и к живым? Ее появление не напоминало даже о смерти,— в отличие от бледных слуг похоронного бюро,— и не вызывало неприятных мыслей у оптимистически настроенных прохожих; она проплывала в густой мгле равангградского воздуха смутной тенью, еще более расплывчатой, чем студенистое тело прозрачной медузы в морской воде. И если бы она однажды исчезла, никто бы не заметил, что на этот раз она не возвратилась с кладбища. Должна была разразиться мировая война, чтобы она, как и великое множество ей подобных, сделалась вдруг полез-

ной и нужной и хотя бы на какое-то время стала в Раванграде заметным человеком.

В первые дни после мобилизации и объявления войны баба Маца забилась в свою конуру при церквушке. В страхе бежала она из города, куда ее больше никто не звал. Венгрией овладело тогда какое-то повальное, безудержное, карнавальное безумие. Обыватели, из разных побуждений солидаризировавшиеся с Габсбургами, высыпали на площади и улицы, пели, орали, вопили, угрожали и крушили. Сербы, все как один, затворились в домах и мучились двойной мукой. Даже те, кто верил в незыблемость монархии, как в незыблемость солнечной системы, и в соответствии с этим строил свою жизнь, даже они замкнулись в узком озабоченном кругу своих домашних. Они не осмеливались выйти на улицу и смешаться с толпой, впервые испытывая сомнение в своей способности симулировать воодушевление и всерьез опасаясь, что разъяренный сброд им не поверит. Ватаги солдат, зеленых школяров и обезумевших обывателей валили по сербским улицам, призывая разделаться с сербами и Сербией. Вдребезги летели стекла в сербских домах, помет и нечистоты оставляли пятна на занавесках и стенах, подобно плевкам на щеках связанного еретика, и, сгрудившись в глубине внутренних комнат, сербские семьи живо ощущали и разделяли общую боль унижения и оскорблений, и даже самые родовитые из них в кои-то веки почувствовали вдруг духовную связь со своими поруганными и гонимыми согражданами. То, что происходило с ними теперь, не было личным или семейным несчастьем, это была общая беда, нависшая над всем народом и сплотившая его в единый монолит, и в этой беде никто не нуждался в услугах немощной старицы.

Но скоро хмельной угар миновал. С первым эшелоном раненых, с первыми вестями о кровавых боях под Шабацем и на Аде Циганлии город отрезвел. Раны, кровь, частые смерти; госпитали со своим миром внутри и вокруг себя. Но и тогда еще никто не вспомнил бабу Мацу. Только когда привезли первых сербских раненых в изрешеченных пулями, задубевших от крови, славных шинелях с Куманова, только когда они стали умирать, шепча в бреду названия далеких моравских деревушек, в госпитале появилась баба Маца, посланная туда, должно быть, кем-то из дам, патронесс благотворительного общества. Ибо сербские женщины, в первые же дни по прибытии

раненых устремившиеся с подношениями в «сербский зал» католической монастырской больницы, сейчас же навлекли на себя подозрение и были немедленно отозваны мужьями и отцами. Баба Маца между тем ни в ком не вызывала подозрений и свободно ходила от постели к постели. Ей не нужно было смотреть на головной убор или униформу, не нужно было ничего ни у кого спрашивать, она по глазам — даже и закрытым — узнавала в раненом воине серба. И наши горемыки сразу узнавали в ней свою. Понимая их без слов, она вскоре стала для них незаменимой, и они, не сговариваясь, называли ее матерью.

С тех пор баба Маца не возвращалась на свой хутор. Занятая по горло и уже не в состоянии справиться со всем сама, она обходила сербские дома и давала поручения всем подряд сербским женщинам. Она знала всех без исключения сербских раненых, помнила их имена, откуда они родом, из какой общины, знала обстоятельства их жизни и все их нужды. И раванградские сербы с нетерпением ждали ежедневного прихода бабы Мацы, чтобы получить сводку о состоянии здоровья раненых и о фантастических новостях, принесенных вновь прибывшими: «Не унывайте, братья, сербское войско собирается на одной, не знаю, какой, горе и там задержит неприятеля и разобьет!» Тут же давалось новое задание,— приготовить к завтрашнему дню три рубахи, табак, сто крон, а не то куриный гуляш и сладкие пироги — у Станоя из Пожареваца «слава» [1], или господину доктору написать за Михайло из Добрича открытку его Милии. А уж она постарается сама доставить эту открытку господину судье на цензуру. Баба Маца сумела войти в контакт и с этим полуотступником и заставила его работать на себя. Она научилась использовать все связи и лазейки. Вся ее жизнь была теперь поставлена на службу раненым сербам. На других больных и умирающих гражданского сословия у нее совсем не оставалось времени. Но все сербское население города, подавленное, угнетенное, терзающееся страхом за исход войны, безропотно подчинялось приказам бабы Мацы и черпало в ней надежду и утешение.

Когда же кто-то из ее «сыновей» не выдерживал ран или болезни и умирал, баба Маца, не допуская вмешательства австрийских санитаров, обмывала его и обряжала

---

[1] «Слава» — праздник святого покровителя семьи у православных сербов.

в то, что ей удавалось раздобыть по сербским домам. А потом бесконечно повторяющаяся картина — глухая дробь барабана, гроб на военной повозке, на нем венок с сербской лентой в траурном крепе, за повозкой рядом с попом одинокая согбенная, скособоченная бабка, а в шаге от нее группа пленных и, наконец, замыкающий шествие взвод австрийцев. Встречные сербы, останавливаясь, обнажают головы и крестятся, а в домах целые семьи, прильнув к окну, с благодарностью и благоговением провожают глазами свою бабу Мацу. Она идет за гробом и всю дорогу читает «чати», своеобразную импровизацию из старославянских молитв и народных песен, а едва процессия вступит в кладбищенскую калитку, затягивает в голос на манер старинных плакальщиц, поминая самого умершего и всю его родню, которую он больше не увидит никогда, перечисляя их всех поименно с присовокуплением множества подробностей, известных ей и про покойного, и про его село, и про его скотину, и сливы, и, бросив, наконец, первый ком земли на крышку елового гроба, так завершает свой плач:

Что же ты, мой горький сокол,
на чужой земле холодной,
вдалеке от сербских пашен
навсегда заснул, сыночек?
Уж неужто не вернешься,
не увидишь черны очи
своих братьев и кунаков,
очи черны воеводы,
войска сербского владыки?
Что скажу я, сиротина,
твоей матери несчастной,
на могиле твоей сникшей?
Что скажу я твоим братьям,
как вернутся за тобою
звать в поход тебя далекий?
Что скажу я воеводе,
войска нашего владыке,
как он явится верхами
поднимать на поле павших?
Только ты уже не встанешь!
Не обнимешь своих братьев,
тополек мой подсеченный!

Пока она так причитала, пленные стояли в понуром онемении, австрийский взвод с офицером во главе апатично дожидался конца, а горстка провожающих горожан, неслышно пробравшихся к могиле, переглядывалась между

собой, блестя увлажненными глазами, заливаясь румянцем и сдерживая бурное дыхание. Они благодарили бабку взглядами, совали ей мелочь на ходу, а иной малыш, склонившись, подходил и целовал ее руку.

За год горожане настолько осмелели, что стали открыто собираться на похороны. Все было задушено и запрещено: и газеты, и книги, и собрания; похороны были единственной возможностью встретиться всем вместе и услышать порой такое слово, которое и в четырех стенах не посмеешь произнести. Власти и на это смотрели с мрачным неодобрением, а после похорон майора Станковича запретили гражданским лицам присутствовать при погребении сербских воинов, запретили всем, кроме бабы Мацы. Кто она такая, эта бабка? Должно быть, неотъемлемый персонаж национального обряда.

На похоронах майора кладбище было запружено людьми. И когда баба Маца начала причитать, вся толпа дрогнула и ударилась в плач. Рыдания и стоны огласили воздух. Бледные австрийские офицеры в растерянности не знали, что предпринять, а сербские офицеры, товарищи покойного по заточению, стояли, гордо выпрямившись, с горящими лицами. Когда вместе с комьями земли в могилу полетели цветы, сорванные женщинами с груди, и один лихой сербский капитан крикнул: «Спасибо, братья и сестры!», австрийский командир, выйдя из оцепенения, отдал команду всем разойтись, а сербских офицеров посадить в карцер.

В тот вечер в каждом сербском доме потеплело, а баба Маца собрала небывало щедрые подношения для своих «детей».

Между тем на Добром поле загромыхали пушки, и отзвуки их победоносных раскатов уже на следующий день потрясли Воеводину пробирающим до костей ознобом. Самые закоренелые скептики поднимали голову, выползали на улицу и, все смелее комментируя туманные вести, с веселым подмигиванием: «Жмем, братец!» трясли друг другу руки. Распахнулись окна, засветились огнями, дворы огласились запретными песнями, и даже в общественных местах перестали стесняться с намеками. И вот наступила пора лихорадочного ожидания. Старое здание трещало над головами попранных в своем достоинстве людей. Никто не мог отныне спокойно предаваться будничным делам.

— Когда же придут наши?

И только баба Маца была полна своих всегдашних забот и волнений. По-прежнему оставалось множество страждущих сербов, и смерть, как непреклонный ростовщик, невзирая на изменившиеся обстоятельства, по-прежнему взимала военные проценты. Бабе Маце некогда было вздохнуть. Она все так же обходила дома, собирая свою дань. Но теперь воспрянувшие духом сербы уже не ждали ее с таким почтительным трепетом. Они были словно хмельные и едва сдерживали прорывавшееся наружу ликование, а баба Маца отравляла его своим появлением. Она будто подливала черной краски в розовые тона их восторженного настроения. Ей, как и раньше, уделяли, но теперь людьми руководило желание поскорей отделаться от нее, а не прежнее самоотверженное ощущение долга, на которое она их так недавно вдохновляла. Никто не зазывал ее к себе, не расспрашивал, воздух и без того был напоен новостями. Баба Маца и сама понимала, что готовится, и трепетала в радостном ожидании преданной матери, уверенной, что ребенок выдержит испытание, но у нее было так много забот, а армия, она не сомневалась в этом, обязательно придет, не в ее возможностях ускорить ее приход, но ее прямая обязанность сберечь и вручить им в целости и сохранности «детей».

Баба Маца не показывалась и в бурном вареве у Народной управы. В Раванграде уже знали, что сербы перешли Дунай. Один пленный вернулся из Нового Сада с вестью, что они уже на подходе. Возбуждение достигло вершины. Власти не ведали, кто стоит над ними. Армия отступила, полиция бездействовала, парализованная страхом, анархические элементы притаились во мраке, вот-вот дадут себя знать. А с другой стороны, воодушевление и пьянство. Но наконец пришли долгожданные! Весь город всколыхнулся, припарадился и, запасясь гостинцами, бельем, выпивкой, провизией, деньгами, хлынул на вокзал.

Несколько часов пели, плясали, пока не запыхтел, приближаясь, состав с сербским знаменем. Взрыв ликования. Толпа налетает на поезд, хватает кого придется, каждый старается завладеть хоть одним солдатом, обвить его полотенцами, засыпать цветами, набить дарами карманы, ощупать его всего, обнять, зацеловать, затащить в дом, усадить во главе стола, где он будет сидеть, не зная что сказать, и есть его глазами. И во всем этом колоброжении, лобызаниях, объятиях, всплесках любви и братства никто не заметил, что бабы Мацы при этом нет. Пленному Милое

из Чачака, больному туберкулезом, сделалось так плохо, что баба Маца не могла его оставить. А ну как он умрет, кто тогда зажжет ему свечку? И она осталась с больным. Она сидела возле него и вытирала ему пот со лба. Прерывистое дыхание поднимало его грудь, и она трепетала, словно крыло бабочки, рвущейся из сетей паука. Баба Маца попробовала напоследок ободрить его радостной вестью. Приподняв голову больного, она склонялась к нему и шептала:

— Пришли твои, сынок, в городе наши, скоро придут навестить тебя, откашляйся, душа моя, сейчас мать тебе поможет...

И она разжимала его сухие, запекшиеся губы, пытаясь извлечь из глотки комок, который никак не мог откашлять несчастный. Но напрасно Милое исходил кашлем, извиваясь и царапая простыни ногтями. Казалось, вместе с этим кашлем, жестким, сухим, деревянным, он выплюнет и свое сердце, похожее, должно быть, на клочок тряпицы, выжатой и скомканной. Захлебываясь кашлем, больной не слышал и не понимал, что говорила ему баба Маца.

Когда приступ прошел, Милое закрыл глаза и утих, как будто заснул. Только грудь его еще слегка вздымалась, тоже постепенно замирая. Баба Маца поспешно отерла его лоб и, потрогав его руку, ощутила ее холодеющую влажность и увидела разливающуюся желтизну и синеющие ногти; она вытащила из-под кровати свечу, запалила ее и вставила в его руки. Бесшумно отлетел последний вздох с уст умершего, бабка перекрестила его, поцеловала в лоб, сложила ему руки на груди и прижала веки двумя медяками. Потом поднялась потихоньку принести воды и смену белья, известить священника, а заодно заглянуть к двум другим больным, в соседней палате. Выйдя во двор, она услышала перед больницей крики и песни. Баба Маца улыбнулась, кивнула головой и подхватила лохань с водой. Но толпа уже ввалилась в больницу. Несколько солдат с винтовками и с ними целая орава каких-то разряженных и раскрасневшихся женщин, продолжая все так же возбужденно и громко разговаривать, протискивались в коридор. Баба Маца, не растерявшись, опустила на пол свою лохань и преградила солдатам дорогу:

— Не шумите, тут больные, а Милое только что отошел! А ну-ка, ты, солдат, помоги!

Солдат передал винтовку товарищу, взял лохань и потащил, спутники его остались дожидаться во дворе. Войдя к покойнику, солдат скинул с головы пилотку, перекрестился, поцеловал умершего и обернулся к бабке:

— Откуда он?

— Из Чачака. А ты?

— Из Рудника.

Похороны Милоя из Чачака были необыкновенно пышными. За гробом, засыпанным цветами, шли офицеры, члены Народной управы, дамы, так что баба Мацa совсем затерялась в этой толкотне. Над могилой держали речь два оратора. Господин из Народной управы и офицер. На этот раз бабе Маце не пришлось затянуть свой плач, да она и сама понимала, что он тут некстати.

Не пришлось ей выходить до полного выздоровления и двух оставшихся больных. Ее заменили какие-то барыни. А через месяц бабы Мацы уже не было в городе. Она возвратилась на свой хутор. Когда летом тысяча девятьсот девятнадцатого года престолонаследник посетил Равнград, бабу Мацу едва не затоптала на улице толпа. А когда той же осенью крестьянин в телеге на соломе вез некрашеный гроб на Малый погост, никому во всем городе невдомек было, что в этом детском гробу покоятся останки бабы Мацы. И только во время отпевания к открытой маленькой могиле подбежали солдаты и вместе с попом и крестьянином, старостой Йовановской церквушки, постояли в набожном молчании и поцеловали край елового гроба. Бог знает, кто им сказал о том, что умерла та самая баба Мацa, которую совсем недавно их товарищи называли матерью.

1922

Горец

Никола Петрович, профессор математики Белградского университета, по непонятной причине в последнее время стал разительно меняться. Его товарищи по факультету и в первую очередь ближайшие друзья, с которыми его всегда можно было видеть за одним и тем же столом в «Гранде», замечали, что он часто бывает рассеянным, витает где-то мыслями и с видимым усилием над собой включается в разговор, касающийся даже его собственной специальности. Да и физически он сдал. И это он, всегда собранный, одаренный феноменальной памятью, остроумный, жизнерадостный. Густая и непокорная грива волос с бронзовым отливом, сверкающие глаза делали его моложе, никто бы не дал ему его тридцати восьми лет! Среда у нас тесная, а стены домов стеклянные, все всегда известно. И приятели знали, что в доме у него неладно. Жене его вдруг стал совершенно невыносим тот почти аскетический образ жизни, на который в наше время обречен сербский научный работник. Она настойчиво заставляла его искать более прибыльных занятий, толкала в политику, он упирался, она осыпала его упреками, и дело, наконец, доходило до сцен, завершавших полную картину «семейного ада». Встревоженные приятели, желая подтолкнуть его к разрыву, заводили в его присутствии дискуссии о браке, чисто отвлеченного характера, о двойной ответственности ученого — перед семьей и обществом. Особенно когда в семье нет детей, а брак, скажем, мешает интенсивной работе, что является нашим первейшим долгом перед обществом и потомками.

Прекрасно понимая, куда клонят наши теории и намеки, профессор Попович однажды, когда зашла речь о данных статистики по разводам в деревне, оглядел нас всех и заговорил с иронической усмешкой, как бы à propos, не придавая особого значения своим словам:

— Не знаю, как обстоит дело в наших селах, на Краине, сейчас, возможно, война перевернула все и на далеких горных становищах, но до войны... Когда отец мой был еще жив, я каждое лето ездил туда и знаю — наши горцы-овцеводы иначе воспринимают брак, чем те, что живут внизу — в местечках, городах и богатых селах. Я досконально изучил жизнь горцев и их душу, потому что я сам такой же, как они, крестьянский сын и тоже пас в детстве овец, весной угоняя их в горы, а осенью пригоняя обратно, так что они меня и после, несмотря на мой пиджак, считали своим. Но так оно в конце концов и есть, дом мой и поныне на Тромедже, а тамошние пастухи, мои старинные товарищи, и по сей день моя родная среда. Есть такие перелетные птицы, три четверти года они проводят в южных краях, а когда возвращаются к нам, умей они говорить, они, наверное, сказали бы, что вернулись домой. Гнезда их под нашими застрехами, птицы прилетают к нам выводить птенцов. Так и мои работы и идеи, которые хоть что-нибудь стоят, зародились там, среди тех людей, в немногословных и простых беседах с ними. Люди там не анализируют, не выясняют отношений, не сыплют доказательства, в отличие от нас, не доверяющих ни своим собственным чувствам, ни друг другу. Там люди помногу бывают одни, но, когда сойдутся, перебросятся лишь несколькими словами в противоположность нам, спешащим обрушить на собеседника кинематографическую ленту длиной в сто километров всевозможных мыслей и умозаключений, заготовленных в уединении.

Село мое называется Хладовицы, оно находится близ Босанского Петроваца, на высоте восьмисот метров над уровнем моря и разбросано по склону обширного плато, на котором к весне собирается до сорока тысяч овец из Боснии, Лики и Далмации. До двухсот пастухов, оторванных от своих сел и семейств, живут там своей особой жизнью, по своим законам. Здесь, в горах, никогда не знали штыка турецких или австрийских законов. Все споры решаются по древним иллирийским заповедям, в том числе и кровная вражда. Для многих пастухов по сей день существуют только добрый и злой бог да королевич Марко[1]. До ближайших домов день хода, женщины приходят залатать, починить, что прохудилось. Так они и жи-

[1] Королевич Марко — один из самых популярных персонажей южнославянского эпоса.

ли, на молоке да талой воде, под дождем и ветром, греясь у костра и прячась в хибарках, перебирая в памяти названия бесчисленных окрестных вершин и имена стародавних пастухов, умевших узнавать по матери ее годовалого ягненка среди сотен смешавшихся стад. Мы, молодежь, иной раз спляшем под свирель, а то отправимся купаться в Божье Око, далекое горное озеро, гигантской каменной чашей расплавленной лазури поднятое отвесными скалами к небесам и всегда такое чистое и прозрачное, что, кажется, только ангелы припадают к нему устами. Лишь изредка возмутится и вдруг помутнеет озеро, обычно среди ясного летнего дня, это значит, говорили нам деды, где-то утонула в пучинах бушующего моря огромная галера или, пролетая над озером, ведьма с Велебита сбросила в него свои злобные чары.

В положенный срок пастухи женятся, и приведут ли парню ни разу им не виденную девушку или он сам найдет себе суженую, повенчаются ли они или недосуг им будет и вспомнить об этом, но так до самой смерти они и проживут друг с другом — муж и жена, отец и мать, дед и бабка.

Так вот я туда частенько наезжал; когда стал старше, подолгу жил в отцовском доме, поднимался на несколько дней и наверх, в горы. В девятьсот восьмом году меня выслали, и я не был там до четырнадцатого года. А когда снова приехал, отец сказал мне, что меня с утра дожидается Матия Бранкович, мол, хочет поговорить со мной. Матия — мой друг детства. Мальчишками мы с ним срезали прутья и выискивали в скалах орлят. Когда он вошел в комнату, огромный, волосатый, рыжий, с громадной бородавкой на скуластой щеке, длинным отвислым носом, красной, изрезанной складками шеей в грубом задубевшем вороте распахнутой рубахи, вместе с ним ворвался запах овец и можжевелового дыма. Сдержанно улыбаясь, он протянул мне руку, осведомился о здоровье и с напряженным видом сел, уставившись взглядом в красный кушак, который теребил на коленях. Я знал по опыту, что мы бы еще так долго молчали, и, не спроси я его, зачем он пожаловал, он бы, все так же безмолвно, поднялся и ушел, не выполнив своего намерения, поэтому я начал первым:

— Каким счастливым ветром занесло тебя, Матия, ко мне, могу ли я тебе чем-нибудь помочь, скажи мне, не таись, ведь мы с тобой старые знакомые.

— Право слово, что и сказать тебе, не знаю, не такой уж счастливый, чтобы кому-нибудь из православных пожелать, а все одно, все в руках божиих... Вот я и подумал, как ты меня и раньше выручал, когда нужда подопрет, схожу, думаю, я снова к нему, намедни как раз слыхал, что ты к нам сегодня будешь, приедешь свою вотчину проведать. Давненько тебя здесь не было, а мы старого Данило все про тебя спрашивали, велели поклон от нас передать. Так вот, это, как бы сказать тебе, нет у меня дома ломаного гроша, а жаль мне двухлеток не ко времени продавать, так ты бы мне, это, не ссудил пять флоринов до осени...— Он поднял глаза и вперил в меня свой взгляд из-под густых, словно припорошенных белой пылью, бровей.

— Конечно, Матия, конечно, только зачем тебе деньги понадобились? Как я понимаю, ни поминовения усопших, ни именин у тебя не предвидится.

Матия сразу поник, страдальчески сморщился и, дернувшись как-то всем телом в сторону, вздохнул неслышно и завертел в пальцах кушак.

— Она завтра возвращается, известие пришло.

— Кто это?

— Да она, горемыка моя. Ты разве не знаешь?

— Не знаю, ей-богу, не знаю.

— Неужто тебе не рассказали? Знаешь небось! — И Матия снова вперился в меня своим замутившимся взглядом, словно умоляя не выпытывать больше.— Милица. Написала из Зеницы, что ее, горемыку несчастную, выпускают до срока за примерное поведение.— И продолжал присвистывающим шепотом, одной рукой выписывая что-то в воздухе: — Что поделаешь, надо встретить, жена ведь, а встречать-то и нечем.

Вот оно что! Только тут я все вспомнил, мне действительно писали об этом из дома. Просто сразу я это с ней не совместил. Так это, значит, жена Матии убила свою свекровь, его мать? Да, да, теперь я окончательно вспомнил. Старая возненавидела молодуху после того, как та в третий раз родила девочку, и они постоянно грызлись, когда Матия был в горах. Однажды в лесу, заготавливая сушняк для растопки, они снова повздорили из-за какого-то пустяка. Слово за слово, и свекровь кинула ей в лицо с презрением, что у нее, дескать, и утроба никуда негодящая, и на сына ее напустила порчу, одних беспорточниц рожает. Невестка взвизгнула, в глазах ее потемнело,

она взмахнула топором, и старая повалилась с раскроенным черепом. Увидев, что она наделала, Милица схватила окровавленный топор и бросилась в горы. Глубокой ночью,— как только не растерзали ее свирепые псы? — добралась она до становища, бухнулась в изнеможении мужу в ноги и кинула ему топор:

— Убей меня, я твою мать им убила!

Матия не убил жену, но ее осудили на шесть лет каторги и вот теперь выпустили.

Все это в одно мгновение пронеслось в моем сознании, потом я вскочил и трясущимися пальцами полез в кошелек. Матия встал вслед за мной, отер лоб волосатой тыльной стороной ладони и, не спуская с меня неподвижного, долгого взора, взял деньги и старательно запихнул их куда-то в недра безрукавки, а потом, видимо прочтя в моих глазах сочувствие, вздохнул и пожал плечами:

— Что поделаешь, брат, жена она мне, надо, а в доме ломаного гроша не найти...

Свой рассказ профессор Попович закончил, заметно взволнованный. Друзья молчали, не зная, что сказать.

— Счет, пожалуйста! — крикнул он и, оглядев приятелей, все еще застывших в онемении, бросил: — Прошу прощения, у меня лекция в три. До свидания, всего доброго!

1923

Мишка — старший батрак

На Лемешском тракте, вдоль которого вплоть до песков Субботицы тянется аллея шелковиц, на нейтральной полосе между имениями Руди и Барона, доживает свои дни придорожная корчма Магдицы Буневки, известная под названием «Чарда и две циповки». А циповками в тех краях называют твердые круглые булочки. Меж тем в корчме этой не услышишь чардаша и Магду никак не назовешь Магдицей, намек же на «булочки» относится скорее к умеренно округлым формам хозяйской внучки Эстери, модистки в Субботице. Это и не постоялый двор, и не уютный трактирчик для ищущих развлечений господ, здесь уже давно не подают маджарац или бараняц, и лишь изредка потчуют кислятиной, порядком пропахшей бочкой, а обычно поят приторной тутовой водкой и пьяным самогоном. Старая Магда врастает в землю вместе со стенами своего домишка, глаза сужаются и тускнеют точно так же, как истрескавшиеся мутные стекла его покосившихся окошек, а по щекам то и дело текут слезы, похожие на струйки дождя, бороздящие облезший известняк стен. Камышовая крыша осела и поседела, подобно голове хозяйки, и ветер рвет и треплет ее. Магде уже трудно обслуживать своих постоянных посетителей — бирошей, венгерских батраков, поденщиков да пастухов, точно так же как ее слабому сердцу все труднее проталкивать капельки теплой крови в старые холодеющие пальцы.

Но посетители корчмы терпеливы. Называют Магду «мамашей» и, хотя почти все они венгры, обращаются к ней по-сербски. Конечно, пьют здесь нередко в кредит, путаясь потом в записях долгов, но в основном они-то и кормят и обогревают старушку, обкрадывая по мелочи «свои поместья». Когда же обветшалая корчма обрушится на старушонку, отдавшую богу душу — потому что они, по

всей вероятности, умрут одновременно,— эти же батраки перекопают их обеих новыми механизированными хозяйскими плугами.

Батраки наведываются к ней ежедневно утром и вечером. Начав работу на заре и оставив на полчасика присмотреть за ней какого-либо мальчонку, каждый идет к Магде подкрепиться. Но после войны батраков стало меньше. Приходят регулярно только венгры — батраки с хутора Руди, а батраки Барона уже разбрелись по белу свету, ибо Барон «подпал под земельную реформу». Из корчмы хорошо видно все, что за последние годы происходит по правую сторону шоссе. Раз в два месяца там появляются какие-то люди, господа, «инженера», они что-то обмеряют, делят, бывает даже — посеют что-то и уходят, а потом все начинается заново. Глядя на суету, волнение и ссоры чужих, ободранных крестьян, сидящие в корчме батраки время от времени испытывают к ним и зависть, и чисто крестьянское сочувствие. Но держатся они тихо, даже в глубине души у них господствует спокойствие и какая-то философская умиротворенность вечных тружеников, которые уже смирились со своей судьбой. По правде говоря, в таком настроении удерживает их Мишка — старший среди них по положению и более всех искушенный в батрацких делах, его авторитет в их обществе неоспорим.

Вот и сегодня семеро из них, сидя на деревянных скамьях, молча потягивают вино и смотрят сквозь тусклое оконце на размокшую землю, на серое весеннее утро в пелене мелкого дождя, уже несколько дней безостановочно моросящего, словно сквозь сито.

— Да, быть суматохе! — говорит батрак Пишта, с трудом скрывая удовольствие и отыскивая шкаликом узкую щель среди своих густых усов.

— А зачем разрешили пахать? Теперь не имеют права у них отнимать, не имеют права! — откликается Янош и, обернувшись к старому Мишке, ждет подтверждения своих слов.

Мишка сидит во главе стола, несколько боком. Он держится прямо, положив красную волосатую руку на стол. Его единственный зеленый глаз широко открыт, но взгляд устремлен вдаль. Он молчит.

— Разве справедливо осенью отмерять переселенцам землю, а весной, когда приплетутся сюда бедолаги из своей несчастной Лики, сентандрейцы не дают им пахать? Разве это справедливо? — снова замечает, уже тише, но

еще более возбужденно, Пишта, тоже, в свою очередь, бросив взгляд на Мишку.

— Барские штучки, политика! — тихонько вздохнул маленький неуклюжий Габор, уверенный, что этим он вовлечет в разговор осторожного Мишку.

Только теперь все заметили, что Мишка прислушивается к чему-то, напрягая свой острый, как у зверя, слух. Насторожились и остальные. С улицы доносился гул голосов и скользящее шлепанье тяжелых шагов по грязи. К корчме приближались люди.

Пишта сразу же вскочил, выглянул в полуоткрытую дверь и, повернувшись к Мишке, шепнул:

— Переселенцы!

Все повскакали со своих мест, но Мишка ударил кулаком по еловому столу:

— Мамаша, ну-ка еще всем по одной!

Неподвижные, словно дремлющие, души батраков мигом воспрянули. Посматривая из-под бровей на своего спокойно сидящего вожака, люди почувствовали гордость от сознания собственной решимости.

Но тут дверь распахнулась, в нее хлынул поток восклицаний и криков, и корчма наполнилась грубошерстными мокрыми армяками.

— Да будь он хоть родной батюшка Иисусу Христу, а мы ему по морде!.. Уж ежели не сложил я своей головы на Аляске, да на Соколе, честное слово, лучше здесь ее сложу, а домой с пустыми руками не пойду!.. Это не сербы, это швабы, турки, мадьяры, рылом бы их в эти ихние семена да черную грязь!.. Погодите, ребята, сперва договоримся. Эй, хозяйка, кто тут подает?..

Из толпы плечистых личан, от которых несло козлятиной, квашеной капустой и дымом, отделился огромный рыжий парень. Стоя посреди комнаты, он поглядел на сгорбленную бабку Магду, которая в нерешительности остановилась возле стены, держа подносик с семью шкаликами, а потом на группу безмолвствующих батраков. Личанин окинул их презрительным взглядом и крикнул старухе:

— Давай сюда эту ракию!

Но старушка пошла к столу.

— Это вон им! А вам... сколько вас? Сядьте сначала!

Кто-то рявкнул от двери:

— Не давай, Дане, мадьярам! Гони их в шею!

Долговязый личанин вздрогнул, причем обнаружилось, что левая рука у него скрючена, и, указывая на стол, с угрозой проговорил:

— А ну, мадьяры, сгинь отсюда!

Батраки побледнели и теснее сгрудились возле Мишки. Тот кивнул головой Магде, и заговорил медленно, на чистом сербском языке, с местным крестьянским акцентом:

— Мамаша, подай сначала этим людям, они нынче хотят выпить больше, чем мы! — и затем обернулся к личанам: — А мы не мадьяры и не сербы — мы бироши!

Дане схватил шкалик и насмешливо бросил:

— Это еще что такое?

— Бирош — это слуга и раб, тот, кто пашет, сеет и жнет хлеб, а сам ест мякину, тот, кто откармливает свиней, а сам всю свою жизнь постится, тот, кто растит девушек для города, а сам берет их с парой господских ублюдков вместо приданого, тот, кем половина из вас, может быть, станет лет через десять!

Личане захохотали, а Дане сдвинул красную шапочку на затылок.

— Мы не мадьярские ишаки и не трусы. Мы сербы и личане! Садитесь, братцы, послушаем, что еще скажет этот мадьяр... Бабка, принеси-ка и им по одной!

Мишка остановил взглядом Габора, который собрался было вставить свое слово, и продолжал:

— Мы уже сами заказали по последней! Нам пора на работу, а вы здесь договаривайтесь: бог даст, что-нибудь придумаете! Но трудно все это, трудно!

— Но, но, сукин сын, откуда ты можешь знать наши дела? Вы пятки лижете своему хозяину, пока он еще не подпал под закон!

— Да не мудрено догадаться, что вас грызет!.. Э-эх! И чего мы только не насмотрелись на этой дороге! А тому, кто пашет и сеет, много говорить не надо. Он сам все знает, что земли касается! Но скажу я вам, за нелегкое дело вы взялись, не знаете вы еще эту — божью ли, чертову ли — господскую землю, чья она есть и чьей будет.

— Теперь сербская, сербская есть и будет!

— Не то важно — сербская она, мадьярская или турецкая, а то, чьей она была испокон веков, кто ее обрабатывал и кто собирал плоды. Пахарь трудится, а господин берет — всегда так было, так и впредь останется.

Неожиданно вскочил молодой личанин — рубаха на груди распахнута, нижняя челюсть дрожит.

— А ну, дай, я разобью харю этому господскому подпевале!

Но Дане сдержал разбушевавшихся товарищей, а Мишка прикрикнул на своих.

Потом Мишка улыбнулся, сделав такое движение губами, словно выплевывал выбитый зуб, неторопливо поднялся со своего места и, прикрывая ладонью ввалившееся, высохшее веко на месте вытекшего глаза, отчего шире открылся второй, здоровый, искрящийся глаз, спокойно предложил своему противнику:

— Выбей, дружок, выбей и этот. Один глаз мне выбил помещик, когда я, вот такой же молодой и глазастый, как ты теперь, поднялся на него за то, что он платил нам гроши, и поджег его стога и крестцы. А этот, другой, пусть выбьет мужик, такой же пахарь, как я. Один глаз — мужику, другой — помещику, вот и побреду слепой от дома к дому пугать деревенских ребятишек!

— Сядьте, ребята, садись и ты, дядя... Значит, и ты бунтовал? — живо заинтересовался Дане, не скрывая симпатии.— А как тебя зовут?

Мишка, не меняя выражения лица, отер пот со лба засученным рукавом синей рубахи и сел.

— Мишка, Фекете Вак Мишка, вот как меня зовут. А в девяносто втором году, когда восстали пахари, жнецы и издольщики по всей Венгрии, поднял и я наших в этом самом поместье Руди. Да спроси вон хоть его, он был тогда со мной, да и все это знают. Поднялись мы, а когда отказали нам повысить плату и долю в урожае, мы и подожгли все. И усадьбу, и рощу, и фруктовый сад, и посевы — море было огня,— а мы схватили кто косу, кто грабли и пошли в город. Я шел впереди, верил, что теперь наступит наше, крестьянское царство, но тут нам преградили путь жандармы да солдаты, они всех нас перебили. Их дюжина погибла — вон там, возле акаций, на субботицких песках, а из наших почти все остались калеками или угодили в тюрьму. И я вот отсидел шесть лет в Ваце. Потом вернулся сюда, а когда увидел у нашего помещика все тех же батраков, и я опустил голову... То, чего я не видел и не знал, когда был с двумя глазами, теперь кривой увидел... Нет, братья мои, на свете нашей, крестьянской правды, запомните это и не лезьте на рожон, не отдавайте понапрасну своих глаз, как я. Во всяком случае, на этой грязной, злой земле ее нет. И самый справный мужик, когда нажрется ее,— погибает,

пусть во втором поколении, но погибает. Не знаю, как у вас в горах, но здесь, куда испокон веков стекаются люди, изголодавшиеся по земле и по белому хлебу, все, кому не удается сбежать вовремя, становятся рабами, навозными червями, все докатываются до батраков!.. Мы не первые и не последние, что восстали — и сдались... Знаю я таких немало. Пятьсот лет назад тоже поднимались наши пахари, выбрали свое правительство, а когда их разбили да смяли, сами же эти голодные крестьяне разорвали на куски и сожрали своего крестьянского царя, изжаренного живьем на раскаленном престоле с раскаленной короной на голове. Точно так было и в Хорватии, и в Среме полтораста лет тому назад, так же случилось и с вашим вожаком Перой из Сегедина. Но конец всегда один: прольют нашу кровь, а потом снова — узду на голову и удила в зубы!..

— Э, нет, это разные вещи, у нас есть право, мы боролись! Видишь мою изувеченную руку? Она заработала это право, посмотри на мою грудь — видишь следы болгарских штыков!

— Это то же самое, что и мой выбитый глаз, и моя спина, исполосованная жандармскими прикладами!

— Нет, это совсем другое. Тебя клеймили, а меня ранили. Ты боролся только за свое право, а мы требуем то, что принадлежит нам всем.

— Но ведь и тебе придется бороться?

— Да что он разлаялся, в бога его... Дай ему, Дане, как следует по глазу!

— Тихо, люди... Послушай, мадьяр, если ты не смог ничего сделать,— то мы, честное слово, сможем! Да неужто, ребята, отдадим мы наше право? Лучше погибнем, но в батраки не пойдем, всех поднимем, кто держит в руках мотыгу и кирку... Нет больше помещичьей земли, теперь мы на ней хозяева! Так, что ли, братья?

Все зашумели. Среди общих криков со своего места поднялся Мишка и, кивнув бирошам, глаза которых возбужденно горели, крикнул:

— Мы, люди, желаем вам добра. Если вам хорошо будет, и нашим беднякам полегчает... Мило моему огрубевшему батрацкому сердцу слушать вас и видеть, какие вы... Будь я помоложе, не пожалел бы я своего второго глаза!.. Ну-ка, Габор, поди взгляни, хорошо ли прикрыта дверь? Покарауль на всякий случай!..

1924

Маковка

В глубоком и тягостном молчании необозримых нив Бачки, где укрощенная земля давно уже покорилась своей судьбе и одному единственному долгу — непрестанно рожать хлеб, лишь изредка раздается легкомысленный смех никем не сеянных, бесполезных полевых маков. Когда причудливыми группами или рядками рассыпаются они на меже по соседству с серьезным, отяжелевшим строем хлебов или вдруг заалеют где-то вдали среди желтых колосьев, их кровавый румянец пробивается с таким вызовом, словно хочет напомнить этой равнине о ее легендарном прошлом, о поэзии ее древних, давно исчезнувших лесов и топей, напомнить об истребленных зверях и разбойниках. И не будь на хуторах молоденьких птичниц, не будь заплутавших горожан, мечтателей и влюбленных, никто бы не любил этих цветов. Но красные головки не признательны даже тем, кому они нравятся. Они красивы и кокетливо улыбаются своими юными губками только в поле, среди колосьев, не тронутые и не сорванные. Дикие, как соловьи, которые в клетке замолкают и гибнут, маки осыпаются при малейшем прикосновении руки, и даже те из них, чьи лепестки еще сохраняют на себе влажное дыхание утреннего солнца, вянут и облетают раньше, чем их принесут домой, а потом, уродливые и жалкие, торчат из вазы лысыми поникшими головками. Эти цветы никто здесь не любит. Страстные трели их смеха только оскорбляют погруженных в насущные заботы пашни и земледельцев. Они предмет насмешек и поруганий, по ним судят о добросовестности и трудолюбии хозяина и работника. Даже самая красивая и кокетливая головка мака вызывает здесь отвращение, вырвать вредоносное растение с корнем и швырнуть его на дорогу под колеса телег и копыта лошадей — дело совести каждого.

И не будь молоденьких птичниц, влюбленных, поэтов да проезжих, конечно, не из дельцов, а из тех, кто, зевая у окна экспресса, ждет не дождется, на чем бы задержать взгляд,— не будь их, никто и не посмотрел бы на этот цветок без неприязни...

...Ее звали Маковка, и это имя, как и судьба девушки, напоминает этот красивый цветок богатой бачкской равнины. А между тем имя это ей дала бабка Любица, когда та была еще в пеленках и все ее нежили и ласкали, не предполагая о возможной связи между именем и цветком. Отец ее был захудалый крестьянин, маленький — что ростом, что состоянием, негодный ни для воинской службы, ни для крестьянской работы, а какая жизнь на одном гектаре земли. Поэтому он еще больше высох и сморщился, бегая в поисках заработка по Баранье, Срему и Боснии да перепродавая сливы, картофель и вишни. Но без денег разве что сделаешь? Всю жизнь гни спину на другого, за сотую часть прибыли разъезжай с фургонами да лодками, а при дележе рассоришься — и вылетишь из «компании». Был он и старательный и неглупый, да что толку, если нет своих денег? Другие используют тебя, а ты рвань-рванью останешься. Так, промаявшись всю жизнь, он и умер с горя. Остались Гина с Маковкой на полгектаре. Совсем пав духом, мать только и могла, что надрываться на работе. Землю отдала брату исполу, а сама то к соседям пойдет помогать, то слепнет, мережа господское белье. Жизнь и не крестьянская и не господская. А сердце так и тянет к земле. Работает, а сама только о том и мечтает, как бы выдать ей Маковку за крестьянина, но за настоящего, не такого, как ее покойный муженек, что больше «шпекуляциями» промышлял. Ей хочется выдать дочь пусть за небогатого мужика, но такого, который хоть не зря надрывается — глядишь, и сколотит хозяйство. Так что и земля у него, и хлеб, и кукуруза, и птица, и свиньи, и все свое, надежное.

Но чем больше становилась Маковка, вернее, чем больше проходило лет — а Маковка-то как раз росла все меньше,— тем сильнее огорчалась мать. И почему только дочка пошла в отца? Посмотреть не на что. Если останется такой коротышкой, что с ней будет? Для работы непригодна, да и кто возьмет ее в жены, разве что какой-нибудь неровня, городской мужичонка-извозчик или мелкий лавочник. А Маковка и впрямь осталась маленькой

и хрупкой. Мать смотрела на дочь с болью и горечью. Оставить ее, как другие делают, сидеть дома, она еще больше изнежится, вроде барышни станет, а погонишь на тяжелую работу — просто не выдержит. Ручки-то и ножки ровно у куклы. И хоть это было ее родное дитя, мать будто ослепла — не видела ее девичьей красоты. А Маковка и правда была красавицей. Вырастают еще время от времени в нашем крестьянском племени, живущем тяжкой жизнью, девушки, воплотившие в себе все то изящество и прелесть, о которых в эпоху Неманичей [1] грезили творцы знаменитых фресок и которые воспевали гусляры. Прелестное тонкое лицо ее было окружено ореолом отливающих медью волос, в голубых глазах то и дело вспыхивали и мерцали живые золотистые искорки, а выражение внутренней тревоги, сдержанности и какого-то неясного волнения делало это лицо еще прекраснее. И если случалось, что мать по большим праздникам брала дочку с собой в город, в церковь, она всякий раз замечала, как горожане заглядываются на ее «тихоню», и их восторги одновременно и льстили ей — ведь мать же! — и огорчали.

Стоят, бывало, молодые господа на перекрестке, глазеют по сторонам, похлопывая себя по губам набалдашниками тоненьких тросточек, а как завидят их издали, тут же присмиреют, расступятся и обязательно кто-нибудь не выдержит, бросит вслух:

— Боже мой, вы посмотрите только на нее — мадонна! До чего хороша!

Маковка слышит все это, ей стыдно и перед людьми и перед матерью, хочется убежать, но нельзя, не смеет, а мать видит ее волнение и, улыбаясь в душе, хмуро поглядывает на щеголей и недовольно ворчит в ухо девушке:

— Хороша, как... я бы сказала кто! Безобразники! Думают, что ежели ты такая, дай, мол, вскружим ей голову! Не слушай ты этих бездельников; не дай бог, западет в сердце их болтовня, франты бесстыжие!

Но, бывало, когда в церкви даже дамы расступаются, пропускают их вперед, восторженно при этом перешептываясь, а какая-нибудь пожилая госпожа подойдет да поцелует Маковку в щеку, спросив, чья она, такая красавица, мать охватывала одновременно и гордость и горечь. На

---

[1] Неманичи — династия сербских князей XII—XIV веков.

глаза наворачивались слезы, и, глядя на свое родное дитя с любовью и жалостью, она, вздыхая, отвечала:

— Моя, сударыня, моя единственная, только не хвалите вы ее, пожалуйста! Не сглаза я боюсь, а просто ничего в ней нет красивого для нас, для крестьян. Кому нужна она, такая хрупкая, словно барышня; у нас ведь надо работать да детей рожать, нам нужны, уж вы простите меня, вон какие ручищи да ножищи. Это наказание господне, что он нам ее такую сотворил, словно господскую дочь. Если б было на что, я б ее хоть в школу отдала, а так не знаю, что с ней и делать! Не хвалите ее, прошу вас, девчонку только портите, а меня печалите!..

Так и жила Маковка в полном неведении, страшась людей и самое себя. Иногда ей казалось, что она должна уйти из деревни, хоть мать постоянно и запугивала ее рассказами о страшной судьбе таких вот деревенских красавиц, сбежавших в город. В подобные минуты девушка была уверена, что она в самом деле очень красива и что такая красота ценится в городах. А в другое время — и это бывало значительно чаще — Маковка ненавидела себя, терзалась из-за собственного уродства, потому что оно отталкивало от нее людей, среди которых она родилась и выросла. И правда, парни в коло не шалили с нею, как с другими девушками, а подружки считали ее неловкой и странной и никогда не посвящали в свои девичьи тайны.

В конце концов мать примирилась с судьбой. За порядочного крестьянина дочку уж, видать, не выдашь, но, если посылать ее на работы вместе с другими, может, и подцепит хоть какого-нибудь бедняка. А дальше, если уж так суждено, будут мытариться втроем.

Шли годы. Сверстницы Маковки повыходили замуж. И хотя с виду она казалась еще совсем юной, не сегодня-завтра стукнет двадцать, а это, по сути дела, уже взрослая девка, невозможно было и дальше отстранять ее от тяжелого крестьянского труда. И мать решила отправить ее на жатву. Пусть поработает лето на хуторе у Капоша.

Мужчины косили, а женщины вязали снопы, каждая за своим косцом. Маковка знала, что речь идет не только о хлебе на всю зиму, но и о ее чести, о том, выпадет ли ей осенью женское счастье или опять придется сидеть в девках, слушать насмешки да материнские сетования. Она

старалась не отставать от других женщин, но в первый же день к полудню силы изменили ей. Слева и справа девушки пели и поддразнивали своих напарников, чтоб те поторапливались, а иначе получат серпом по ноге, Маковка же едва переводила дыхание, не поспевая за кривоногим плечистым батраком, который шел вперед и вперед, равномерно размахивая косой, и ни разу с ранней зари не обернулся. Косари встретили ее недоверчиво, с сомнением меряли ее с ног до головы взглядами, переговаривались друг с другом: «На что она нам, ей и до полудня не дотянуть!» Каждый старался сбагрить ее другому: «Иди за Нецей, он старый, а за мной скоро устанешь!» Женщины даже жаловались хозяину, но тот приказал ее принять и, если устанет, дать ей работу полегче — пусть идет к котлу, чистит картошку да делает клецки. Она же крепилась, не хотела бросать работу раньше срока, старалась изо всех сил, хотя поясницу ломило, колени дрожали и серп казался непомерно тяжелым, словно каменным. Но ближе к полудню, когда от земли и взмокших рубах начал подыматься пар, она все чаще и чаще хваталась за спину и все ниже натягивала платок на глаза, чтобы скрыть слезы и капельки холодного пота на побледневшем лице. Одна из женщин крикнула:

— Эй, люди, поставьте-ка перед девкой парня, а не женатого мужика, может, хоть он будет ее притягивать, а то вишь как отстает!

Маковка споткнулась раз, другой и упала лицом в жесткую солому.

Наступило замешательство. Помчались за холодной водой, прибежала мать от своего котла. Даже старый господин откуда-то появился и пресек насмешки.

— Ну, чего раскаркались? Первый раз девчонка работает!

Мать трясла ее, негодуя от срама и опасаясь, как бы дочь не сочли припадочной.

— Вставай, ничего особенного! И со мной вначале так было, а теперь не уступлю ни одной батрачке!

Мужчины смотрели на девушку с презрением, а женщины как будто и жалели: надо же, какая хрупкая да нежная!

— Не для крестьянской ты жизни, дочка. Тебе бы швеей быть или шляпы для господ делать.

— Э, детка, уж если ты за мной не можешь поспеть — поищи кого поплоше меня, да только, пожалуй, не сыщешь! — говорил батрак Прока, выбивая о ладонь свою трубку.

— Ничего, ничего, Маковка, отдохни в холодке, а потом пойдешь потихоньку за мной, не бойся!

Маковка, которая все это время, не поднимая глаз, расправляла залитую водой юбку и прилипшую кофточку, взглянула на человека, впервые ласково обратившегося к ней. Йоя Американец скручивал цигарку и улыбался, всю ее закрывая своей огромной тенью. Это был тридцатилетний мужчина, большеголовый, со шрамом на левой скуле — память о войне, в которой он участвовал как американский доброволец. Блеск его золотого зуба и взгляд карих глаз напомнили Маковке городских господ и их комплименты. Этот человек вдруг показался ей таким близким, что по всему телу разлилось тепло, и, чтобы скрыть смущение и улыбку, она еще ниже нагнулась и отошла прочь.

В полдень, когда все собрались в тени огромного ореха на обед, Йоя снова подошел к девушке и встал возле нее, прислонившись к стволу дерева.

— Маковка!

Девушка испуганно подняла голову и опять покраснела.

— Живи ты в Америке,— продолжал Йоя, глядя на нее своими карими глазами и медленно выговаривая слово за словом,— на тебе тотчас бы женился какой-нибудь миллионер. Ходила бы ты в золоте и дорогих каменьях, разъезжала бы в автомобиле — вот какая ты красавица! Если я опять махну на заработки, поедешь со мной? А!

— Что ты, что ты такое говоришь! Вот услышит мать или твоя Кека!

— Сама не понимаешь, дурочка, как ты хороша!.. Ну да ладно, поговорим о другом...

После обеда Йоя велел своей жене поменяться местами с Маковкой. Пока, мол, Маковка не привыкнет к работе. Мужчины некоторое время посмеивались, но работа нелегкая, не до шуток, зато женщины не спускали глаз с Йои и Маковки и не переставая обменивались ехидными взглядами и колкостями на их счет.

— Ух ты, а я и не знала, какой наш Йоя кавалер.

— Небось в Америке выучился.

— И неужто там у всех мужиков такое доброе сердце?

— Эй, Кека, а ты покрась волосы в рыжий цвет — тоже будешь красавица, по американской моде!

— Не выйдет, милые, глаза-то у меня не выцветут, а там синие в цене. А мы, сами знаете, все черные и по-нашему любим, по-деревенски!

Йоя первый отзывался на все шутки, смеялся и еще прибавлял: действительно, мол, в Америке блондинки больше ценятся — вот такие, как Маковка. И он то и дело бросал косу и возвращался назад, чтобы помочь девушке. Маковке все это было ужасно неприятно, но в то же время в глубине души вскипало какое-то упрямство, да и самолюбию ее льстило, что на нее обратил внимание мужчина, который повидал на своем веку немало.

За ужином вспыхнула ссора, и в этом снова был повинен Йоя. Как это возможно, чтобы «белая женщина» считалась красивой, «белая и тощая, будто ей хлеба не хватает»?.. Йое нравилось дразнить женщин, а у своей Кеки возбуждать ревность. Он был мастер на такие штучки! Кека сердилась. Смуглая и сухая, словно прокопченная, она дрожала от злости, но, по правде говоря, нисколько не ревновала. Как и всем, Маковка казалась ей жалкой, нескладной и непривлекательной — полудетская фигурка, малюсенькое личико — она и мысли не допускала, чтобы этакая девчонка могла серьезно понравиться мужчине.

— Хочешь, Маковка, я тебе его отдам? Да еще перекрещусь! Но уж если он тебя измотает да бросит, ни ты своей матери не нужна будешь, ни он мне!

Все громко смеялись, и даже мать Маковки не возмущалась. На жнивье шутки бывают и похлестче.

Но когда и в последующие дни Йоя продолжал помогать Маковке, женщины стали открыто негодовать, а за ними и мужчины.

— Мы тут все равны, а барышням здесь не место!

Йоя схватил косу и направился по полю прямо к говорившему.

— А тебе что за дело?

— А кто ты ей?

— А ты кто? Я мужчина, джентльмен! Понимаешь, что это значит?!

— Не понимаю. Наверно, полюбовник!

Женщины только взвизгнули, а тот, что говорил, упал плашмя, острая коса сверкнула на какой-нибудь палец от его головы.

— Боже мой, люди добрые, неужто из-за этой белой дуры перережете друг друга!

В тот же вечер Кека велела Маковке убираться с хутора — а то, мол, будет плохо. Йоя вмешался в разговор, схватил жену и, толкнув ее в солому, спокойно распорядился:

— Чтоб никто здесь больше не пикнул! — Потом обернулся к матери девушки: — Завтра пусть попробует работать одна, а если уморится, уведи ее совсем и не мучай!.. А ты, Кека, если тебе тут не нравится, отправляйся белье стирать!.. Гады ползучие!

На следующее утро, еще не успев как следует разогреться, Йоя вдруг громко засмеялся, отбросил косу, нагнулся и высоко над головой поднял зайчонка, который пищал и бился в воздухе.

— Маковка, Маковка! Вот тебе подарочек ко дню рожденья!

Маковка разогнула спину, сердце у нее радостно забилось; щурясь от слепящего солнца и позабыв, кто она и где, девушка подбежала к нему. Запыхавшись, схватила маленький, гладкий и теплый живой комочек и начала целовать его, прижимая к щекам, к подбородку, к груди.

После минутной тишины со всех сторон раздалось покашливанье и смех, а Кека с серпом в руке подбежала к ним, вцепилась в зайчонка и стала отнимать его. Йоя после некоторого замешательства побагровел и крикнул:

— Маковка, дай мне его!

Размахнувшись, он швырнул зверька далеко в пшеницу.

Когда все бросились за зайцем, Йоя спокойно, хотя он все еще был красный, потный и тяжело дышал, сказал Маковке:

— Ступай и ты, Маковка!

Маковка, дрожа от возбуждения, покорно подчинилась, а Йоя взглянул на жену, и лицо его исказила ненависть.

— Что тебе, гадина, надо от этой девушки? Будь у тебя такая красота, ты бы была первой потаскухой. Ты что думаешь, и она такая?

— Такая и есть, коли с тобой связалась!

— О-о,— простонал Йоя и замахнулся, но в это мгновение послышался голос Маковки, со всех ног бежавшей к нему:

— Не тронь, Йоя!

При этих словах Кека отскочила от него и, прежде чем Йоя смог ее удержать, подлетела к Маковке, размахнулась и полоснула ее серпом по шее. Маковка со стоном упала. Когда к ней подоспел Йоя, Кека, раскинув руки, растрепанная, неслась по полю, а из тонкой девичьей шеи била кровь, алая, словно цветы красного мака, и растекалась по сухому жнивью.

Йоя рвал рубаху и, стоя на коленях, пытался остановить кровь.

1925

Земля

Весной восемнадцатого года из Франции, через Италию — на Корфу. Это значит: за сорок часов из парижской весны, через римское лето — в калабрийское пекло. До чего же удивительны эти наши путешествия! Их никто не в состоянии описать. Лживы и скудны дневники немногих суетных сербов. Да и кто бы не постыдился со всей серьезностью записывать мелкие личные переживания в то время, когда целые народы оказались маленькими винтиками какой-то огромной, пришедшей в движение адской машины! Поэтому и тем немногим, которые пытались отмечать все с искренностью, достойной самого Руссо, редко удавалось подняться выше бессмысленного перечисления станций и сухой регистрации незначительных, будничных происшествий и забот либо же случившихся в то время политических событий. А то, что кипело в нас, что коварно точило наши сердца, то, что мы ревностно скрывали, пытаясь заглушить суматохой привычных дел и второстепенных задач, ощутимой и видимой болью, то, что заставляло нас с особой тщательностью осматривать чужие края, чужих людей, хотя нынче мы едва смогли бы их даже узнать,— все это прорывалось наружу, как только мы обретали где-нибудь временную оседлость.

Вот почему на этих военных и эмигрантских путях наши люди старались избегать друг друга, хотя вообще-то серб способен почуять сородича даже среди той невообразимой толчеи, что бывает на площади Миланского дворца. А если все-таки им доводилось встретиться, они куда охотнее делились эмигрантскими сплетнями, чем своим, трагически-мрачным настроением, которое давило на душу каждого из них свинцовым грузом.

После цветущей, плодородной Ломбардии, увитой гирляндами виноградных лоз, что вечно празднует свой дионисов праздник, после залитой солнцем Кампании, где даже сумрачный назаретянин был награжден аполлоновой тогой и увенчан кесаревой диадемой взамен заржавевшего от крови тернового венца, мы очутились на ослепительно белом и совершенно спаленном юге. Здесь от зноя воздух словно струился, и даже несколько сучковатых смоковниц, лимонных деревьев и пальм были, словно мукой, осыпаны пылью всесильного, раскаленного белого камня. Хилая лошаденка на дороге едва различима в белом облаке пыли, а черная мантия толстого священника, сидящего в двуколке, похожа на белый бурнус марокканского шейха. Поистине Африка ислама и несторианцев! И если в здешних храмах поклоняются ренессансному Христу, то это просто один из многих исторических парадоксов. Это родина истерии Эль Греко или ортодоксального, хмурого Всевышнего.

В вагоне тяжело дышат, потеют, без конца вытираются и раздеваются до исподнего. Только две монахини, одетые в грубое синее сукно, опоясанные железом и обутые в башмаки с подковками, неподвижно читают молитвенники. Даже не смахнут ладонью пот со лба. С носа у них капает, но они терпят, и губы их шевелятся все быстрее. Уж не из-за наших ли грешных сербских мыслей они сейчас переносят все эти страдания?

В Лече пассажиры устремляются за пивом, вином и апельсинами. И только эти две остаются. В сутолоке мелькает какая-то спина — серб. У него все особенное: и слишком узкий пиджак, и изгиб шеи, и то, как он проталкивается вперед, орудуя поднятым вверх правым плечом. И шляпа у него как-то по-особому сдвинута на затылок. К счастью, мы разминулись.

Но в Галлиполи, устремившись на крик: «Сербы, сюда!» — мы втроем очутились возле старого портье из белградской «Москвы». Форменная чиновничья фуражка, улыбается по-братски. Мы здороваемся. Среди нас оказывается и тот, с плечом, и еще один — депутат, которого уполномоченный нашего правительства ожидает в своем доме. Нас же портье должен устроить где-то на частной квартире. Даже не спрашивает, хотим ли мы быть вместе. И бог знает, сколько времени придется нам провести под одной крышей, так как пароход сейчас ходит нерегулярно.

Господин депутат, оказавшись среди трех сербов, сра-

зу же принял соответствующую осанку. Не представившись, он с достоинством шел посередине и снисходительно расспрашивал, кто мы и что влечет нас на Корфу. Для депутата мы — его народ, избирательные шарики... Тот, третий, держался тихо и несколько обособленно, он шел на полшага позади нас. Я не знаю, ответил ли он вообще на слова депутата, мы расслышали лишь его вопрос:

— А скажите, пожалуйста, завтра-то хоть будет пароход на Корфу?

Меня насторожило его сремское произношение. Смотри-ка ты, родная фрушкогорская речь! И в то время как портье подробно объяснял ему, что этого никогда нельзя знать наперед и что, бывает, приходится ждать парохода по пятнадцать дней, я рассматривал своего земляка. Когда мы останавливались, он снимал шляпу, которая сидела у него на макушке и чуть набок, и вытирал ее изнутри носовым платком; слушал он так внимательно, что его маленькие, глубоко запавшие черные глаза начинали косить. Он был невысок и коренаст, шарообразное туловище его покоилось на несоразмерно тонких ногах, а густые колючие волосы на очень крупной и совершенно круглой голове были подстрижены ежиком, из-за чего лоб его казался слишком низким. Но больше всего бросались в глаза белизна его тонкой кожи, которая даже на этом солнце не изменила свой цвет, маленькие, словно навощенные, усики, тонкие, с изящным изломом брови, мясистый нос, потонувший среди полных щек, и двойной подбородок. Слабо и неумело повязанный галстук с металлическим зажимом выдавал крестьянина, который разъелся на своем богатом «наделе» и даже в эмиграции сохранил жирок, продолжая и здесь, правда, уже мысленно, хозяйствовать на своих нивах и виноградниках.

— ...С тех пор как снова появились эти подводные лодки...

— Вот об этом-то я вас и спрашиваю! — нетерпеливо перебил его сремец и, подойдя ближе, вопросительно посмотрел на нас троих.— Несколько дней тому назад — в среду ночью, не так ли? — торпедировали судно, на котором были наши студенты... Может быть, не приведи господь, и мой сын был с ними... Вы ничего о них не знаете? Удалось ли кому-нибудь спастись и кому именно?.. Простите меня, но, понимаете...

Мы трое помрачнели, а портье, заикаясь, поспешил с ответом:

— Да, да, нас известили, но всем ли удалось спастись, к сожалению, неизвестно... Очевидно, шлюпки и плоты пристали к берегу, но известий об этом пока нет. Сейчас мы спросим нашего уполномоченного.

По пути сремец объяснил нам, что его сын вступил в добровольцы еще в прошлом году, когда им обоим удалось бежать вместе с нашей армией, отступавшей из Добановаца. (Значит, он из равнинного Срема, а не фрушкогорец!) Теперь сына демобилизовали и направили учиться во Францию. Сын написал ему, чтобы он на днях встречал его в Марселе, а позавчера в Ницце он прочел о торпедировании нашего корфского парохода со студентами и представил себе самое страшное. Он телеграфировал на Корфу, но, не дождавшись ответа, поехал сам, чтобы лично услышать и увидеть, что с сыном. Дай бог, если бы они сейчас просто разминулись, тогда ничего не может быть проще, как вернуться обратно! Но подумать только, сколько несчастий принесла нам эта война!

Встревоженный отец говорил медленно, полушепотом, время от времени переводя дыхание, чтобы удержаться от вздоха или заглушить подступавшие к горлу рыдания. Мы спросили его имя, словно это могло помочь в поисках. Сава Неделькович, отвечал он, землевладелец, а сына зовут — или, не дай бог, звали — Милошем, он выпускник карловацкой гимназии.

Уполномоченный не смог ничего добавить, кроме того, что на судне действительно было четырнадцать студентов. Остались ли еще на Корфу студенты, ожидающие очередного судна, или, может, кто-то уже в пути — он не знает. Но сегодня же вечером он пошлет телеграмму правительству и затребует точные сведения, а о Милоше осведомится особо.

Мы осмотрели отведенную нам комнату, которая оказалась поблизости от квартиры уполномоченного, в узенькой боковой улочке, насквозь пропитанной запахом моря. Отсюда, словно из высокой каменной башни, какие нередко встречаются в наших краях, открывался бескрайний простор, но вместо наших зеленых нив и лесов, с белыми облаками над ними, перед нами расстилалась бесконечная зеленовато-синяя пучина, до которой было рукой подать.

Оглядевшись, сремец тут же попрощался со мной:

— Сходите-ка вы в город одни. Мне сейчас не до людей, не до ужина. Пойду к морю, поброжу немножко,

да и лягу, а вы уж извините и не смущайтесь, если я буду спать, когда вы вернетесь,— сон у меня крепкий.

После ужина мы всей компанией вышли на берег. Некоторые спустились к самому морю, чтобы побродить по воде. И тут мне показалось, что я увидел Недельковича — он одиноко сидел на каменном парапете и глядел на воду, на поверхности которой причудливо трепетал лунный свет. Потом мы еще зашли в кафе, выпили по чашечке кофе и продолжили свои «домашние» разговоры, а там каждый поплелся восвояси, угадывая ощупью в темноте дорогу к своему ночлегу.

Когда я зажег свечу, то увидел, что Неделькович лежит, повернувшись лицом к стене, но ресницы его вздрагивают. Притворяется спящим, бедняга. Я, естественно, стал раздеваться, стараясь не шуметь. Вдруг он вздохнул, глубоко, с болью. Я вздрогнул и обернулся. Он сел и поднял на меня заплаканные, покрасневшие глаза.

— Потерял я его, вот посмо́трите!.. И где, где? Вы видели, что это за силища, нет ей ни конца ни края...

— Не нужно отчаиваться, господин Неделькович! Кто знает? Подождите, положитесь на волю божью и счастливый случай. Ведь не все же гибнут, многим удается и спастись. Недавно в Риме я встретился с одним нашим майором, он три раза попадал под торпеды, причем дважды это случилось на пути из Бизерты,— и всякий раз счастливо спасался на плоту.

— Дай-то господи!.. Но знаете, вот тут у меня пусто.— Он ударил себя в грудь.— Все мне мерещится самое страшное, боюсь, что никогда больше ничего о нем не услышу. Ведь это море сжирает все, что в него попадает. И тело человеческое, и крест... и душу-то, поди, не выпустит до самого Страшного суда. О горе мое горькое! Что скажу я матери его, если она еще останется в живых? Как перед могилой ее оправдаюсь, если она меня не дождется и отдаст богу душу!.. Вы уж простите меня, вы ведь, наверно, устали, а я тут не даю вам спать... Извините, прошу вас, но выслушайте меня вы, ученый наш серб, выслушайте простого крестьянина и несчастного отца... Страшная это божья кара, когда смерть настигает крещеную душу вот так среди пучины, откуда никто не возвращается, где нет ни креста, ни человеческой могилы!.. И если уж ему на роду написано, мальчику моему дорогому, в море утонуть, хоть бы тело его вернулось к матери-земле, хоть бы выбросило его на берег, ведь бывает же

так... Нашли бы тогда его кости крещеные люди и предали их земле... чтоб хоть во сне мог он мне явиться и утешить родителя в великой скорби его... Но неужели господь так наказал нас, что навечно проглотила его эта бездна, что рыбы и морские твари разнесли его тело?..

— Ну не терзайте же себя, господин Неделькович, еще и такими мыслями!.. Молите бога, чтоб возвратил вам сына целым и невредимым, а уж ежели умирать, не все ли равно, что будет с нашим телом...

— О, не говорите так,— подскочил Неделькович на своей постели и, схватив меня за руки, продолжал, как бы увещевая: — Вы еще молоды... Вот подождите, станете старше — узнаете, что такое дети и что значат родные могилы!.. Когда вернетесь к народу своему и среди него поживете... вы ведь поотвыкли уж и от народа, и от своей страны, а приедете домой и поймете, что все, что есть на земле, должно в землю и возвратиться. И роса, и семя, и скот, и человек... Так уж господом установлено. Нет жизни на земле без мертвецов в земле. Для души не будет ни места, ни покоя на небесах, пока тело не вернется туда, откуда пришло. Я простой человек, но я живу на земле и землей живу, и я это понимаю. И это от бога. Все мы обязаны земле своим телом и поэтому должны возвратить ей его, когда душа нас покинет... Если б мы не держались этого закона, откуда бы тогда и урожай, и все благосостояние бралось, все муки и радости человеческие? Не может быть, чтоб по воле божьей сын мой исчез в этой бездне, разве что бог уступил дьяволу. Но кто из нас так провинился, что мое дитя досталось рогатому, и сколько нужно еще пролить крови, чтобы смыть этот грех и чтоб душа его обрела вечный покой?.. Вы уж извините меня... не буду вас больше беспокоить.

Не зная, как утешить его, и чувствуя всю бессмысленность своих слов, я твердил ему, что нужно надеяться и что покой души не зависит от того, опущен ли человек в землю или в море, как это, кстати, и делают с умершими моряками и жителями маленьких островов. Видно было, что он меня никогда не поймет.

Я долго не мог уснуть, а Неделькович, по всей вероятности, вообще не сомкнул глаз. Бледный и осунувшийся, рано утром он отправился в наше представительство узнать, нет ли каких-нибудь известий.

Я только собирался позавтракать, как прибежал портье и позвал меня в представительство. Уполномоченный в со-

провождении депутата встретил меня на площади. Оба были в крайнем возбуждении и сказали, что надо спешить в префектуру, пока туда не пришел Неделькович, ибо мы должны договориться, как лучше известить его о случившемся.

Только что получено сообщение из префектуры, что галлиполийскими рыбаками рано утром обнаружен плот с четырьмя нашими солдатами. Они заметили его неподалеку от своего баркаса и, когда солнце взошло, разглядели четырех человек, которые, держась за веревки вокруг плота, плыли по пояс в воде. Рыбаки удивились, что на их крики им никто не отвечает. Приблизившись, они поняли, что все четверо мертвы и уже окоченели. Для того, чтобы отделить их от плота и перенести на баркас, пришлось перерубить веревки.

Это были молодые солдаты, их лица, искаженные судорогой, словно улыбались, рты были широко открыты. Сейчас они уже в префектуре, и префект просит прощенья за то, что рыбаки обыскали их карманы. Найдены удостоверения, префект их уже смотрел. Один из солдат — Милош Неделькович. Взволнованные уполномоченный и депутат обратились ко мне с просьбой пригласить Недельковича. Он, вероятно, на берегу, недалеко от места нашего ночлега, если ему никто еще не сообщил о случившемся.

Обязанность была не из приятных, но я должен был согласиться. Нужно признаться, что ночной разговор придал мне храбрости.

По моему виду он сразу же понял, что у меня плохие новости.

— Вы что-нибудь узнали? — его левый глаз задергался от нервного тика.

Так, мол, и так, его просят зайти в префектуру. И без лишних слов я рассказал ему всю правду. Он тут же, не проронив ни слова, побежал, задыхаясь, как астматик.

У входа в одну из комнат нас встретили пять или шесть итальянцев — официальные лица — и двое наших. У Недельковича хватило сил поздороваться со всеми и пожать руку префекту.

На двух составленных вместе столах лежали несчастные наши юноши, чуть раскинув ноги, с руками, сведенными над головой, и со скорбной улыбкой, застывшей на посинелых лицах. С их шинелей время от времени падали на пол капельки воды. Неделькович подошел ближе, остановился на какое-то мгновение и, глухо, еле

слышно всхлипнув, припал к голове одного из них, целуя в лоб.

— Детка моя... сынок... вот как встретился я с тобой! — сказал он тихо, сдержанно, еще раз перекрестился и, дрожа всем телом, отошел и встал позади нас.

— Пожалуйста, господа!

После совершения необходимых формальностей Неделькович попросил разрешения взять на себя все заботы по отпеванию усопших в кладбищенской капелле и похоронам. Так как во всем городе не оказалось ни одного православного священника, заупокойную мессу отслужил католический священник, а присутствующие сербы спели над трупами «Святый боже». Неделькович держался мужественно, и только когда покойников стали опускать в могилу, выдолбленную в известняке, он зарыдал. Все увидели в этом божью милость: ведь слезы облегчают страдания.

— Сын мой, если господь не дал мне обнять тебя живого, благодарю его за то, что я нашел тебя мертвого...

Возвращаясь, мы, сербы, окружили его, словно он был отцом всех четырех утопленников. Но ему уже не нужны были ни наши утешения, ни поддержка. То и дело смахивая набегавшую слезу, он уже вполне владел собой и говорил нам:

— Неужели нет у них здесь для кладбища какой-нибудь ложбинки, ну хоть с глиной, песком или щебнем? Держат покойников в каменных ящиках в земле, чтоб жарились они в этом пекле, прости меня господи! Поэтому и вонь такая на их кладбище, вы заметили, господа? Грех сказать, но несет отовсюду! Эх, сынок мой родненький, теперь только бы воротиться твоему отцу домой живым — последнюю рубашку продам, а перенесу тебя на прекрасную твою родину, в наши цветы и зелень...

1927

Мица

I

Когда молодой Пакашский вернулся в Раванград после четырех лет практики в лучших мануфактурных магазинах Лондона и Вены, им овладело странное чувство: то ли он сам невероятно вырос за это время и духовно и физически, то ли его родной городок еще глубже врос в мягкую равнинную почву. Город лежал перед ним сплющенный и весь какой-то растекшийся, широкие, пустые улицы сонно и оцепенело раззявились вроде человека, которого посреди зевка вдруг хватил удар. Двадцатидвухлетнему Пакашскому трудно было представить, как он тут проживет всю свою жизнь, возможно, более полувека. По дороге на глаза ему попадались большей частью шелковица, ясень или бузина, чью мягкую сердцевину дети вычищают пальцами; над головой его летали почти сплошь вороны или воробьи, и только мелкие кобчики, кружившие над колокольней, олицетворяли хоть какую-то романтику пернатого мира. Куда ни посмотришь, везде кровли, крытые черепицей и камышом, стены глинобитные да кирпичные или покрытые облупленной штукатуркой. Неужели здесь в самом деле возможны события, о которых писала ему сестра? На этой сонной площади братья Чиковские среди бела дня убили киркой старого ростовщика Ергича; жена адвоката Керовича сбежала в Америку с местным канцеляристом и теперь стряпает там обеды шахтерам на каком-то руднике; юная Деса, дочь помещика Шушняра, предпочла перерезать себе вены, чем идти замуж за немилого. Какие страсти скрываются за этими негороженными палисадниками, в ясных глазах довольных и сытых прохожих?! Где черпал его собственный отец, старый Симон Пакашский, настойчивость, с которой проводил в жизнь свои планы? Сын безземельного крестьянина, перебивавшегося то поденной работой, то мелкой торгов-

лей, он стал почтенным купцом, солидным хозяином, господином. Начал он со скромной торговли хлопком и шерстяной пряжей, а превратился в самого крупного в округе владельца мануфактурных лавок, где можно было найти все — от грубого сукна до лионских шелков и парчи, кружев с золотой ниткой и бахромы, столь любимых богатыми крестьянками; начал со скромной лавчонки на задворках городской управы, а теперь у него собственный трехэтажный дом на центральной рыночной площади. Сначала он обзавелся крохотным хуторком за кладбищем, а теперь, как и положено настоящему барину, владел целым имением размером в тридцать шесть гектаров возле Безданского тракта. Расставаясь с сыном четыре года назад, он обещал выстроить в имении виллу и парк с прудом и исполнил свое обещание. Лавку свою он к приезду наследника переделал — сейчас это прекрасный магазин, где торговали только английскими тканями. Ему хотелось, чтобы сын имел дело только с благородными клиентами, нечего ему возиться с мужиками, хотя, впрочем, мужик неплохой покупатель.

Душко с нетерпением ждал воскресного утра, когда весь город оживает и неожиданно выглядит совсем иначе, чем в обычные будничные дни.

Отец пожелал, чтобы они вместе прошлись по городу: ему хотелось похвастаться взрослым сыном.

Едва они вышли из дверей своего дома, как им пришлось остановиться — столько народа набилось на площади перед собором. Стоявшие в толпе едва могли двигаться, как рыба, выброшенная наводнением на отмель и кишащая в мелких лужицах. Крестьянские девушки и молодухи, взявшись впятером под руки, пробирались через толпу, а парни и мужчины нарочно загораживали им дорогу. Крестьяне вообще-то, попав в город, продолжают кричать, как у себя в поле, где ветер далеко разносит голоса, но здесь разговоров было немного. Молодухи и девушки словно навели на свои лица заодно с белилами и румянами глянец особой, праздничной, ничего не говорящей улыбки, специально предназначенной для выезда в город; они тащили на себе груз тяжелых пестрых шелков, сверкавших на солнце вместе с ожерельями из золотых дукатов, золотым кружевом и вышитыми гладью золотыми колосьями на платках. Слышался непрерывный скрип новых ботинок, тяжелое шарканье подошв по асфальту, звяканье монет, и все вокруг пахло деревенским мылом, свежести-

раным бельем и новым товаром. Многие женщины раскрыли зонтики, и их напряженные лица и деревянные позы говорили о том, какого труда им стоит прямо удерживать эту непривычную защиту от солнца в своих костлявых ладонях, отчаянно потеющих в белых нитяных перчатках.

— Ну и чучела! — шептал молодой человек на ухо отцу.— Сколько денег истрачено на наряды, а все без толку! Ни одной хорошенькой! Неужели мы такой некрасивый народ!

— Э, милый мой, а ты сумей их рассмотреть под белилами да румянами. Это они в город так вырядились, к воскресенью. Ты поезжай-ка в имение. А сейчас им не до этого. Думаешь, мужчины сейчас на них смотрят? Они прикидывают, сколько земли за этим ожерельем или прабабкиным платьем. А влюбляются у нас на покосе да на молотьбе... А что они в городе такие ошалелые, так в этом, сынок, наше торговое счастье! С такими и можно делать дела, потому и надо все сделки заключать и подписывать в городе. Как приедешь к нему на хутор, смотри в оба, иначе он тебя непременно надует. Мужик на своей земле — дьявол, а не такой пугливый осел, каким кажется здесь. Пойдем-ка, я тебе кое-что покажу. Видишь телегу вон там, в переулке? Это хуторские на ней приехали. Видишь, кобель затаился под задними колесами? Он всегда вот так — спрячет морду между лапами и испуганно озирается. Подойдут городские собаки, обнюхают его, он даже хвостом шевельнуть не смеет. Паршивый фокс схватит его за ухо, он лишь взвизгнет. А посмотри ты на него, как поедут обратно. Из-под телеги носа не высунет. Хвост подожмет, уши опустит и так тихонечко трусит до последних домов. Но стоит телеге выехать в поле, куда-нибудь между пшеницей и кукурузой, он сразу хвост трубой, распустит, как знамя, носится туда-сюда, то в канаву сунется, то в овраг, вернется весь в репьях, грязный, пыльный, но попробуй тронь его! Облает любую встречную повозку, любого прохожего. А уж если встретит в поле борзую или пинчера — упаси бог! И утром, как выехали, такой же был, прыгал на лошадей, и отгоняли его комьями земли, палками, а чуть подъехали к шлагбауму — шмыг под телегу! Вот тебе, сынок, и крестьянский характер...

Они опять остановились — вереница сельских молодух снова загородила им путь. Вдруг из толпы выскочила

молоденькая девушка, молча протолкалась к старику Пакашскому и с поклоном чмокнула его в руку.

— Ах, Мица! Как ты выросла, прямо невеста! А какая нарядная! Душко, не узнаешь разве дочку нашего Йосима? Помнишь, как вместе по амбарам лазали?

Теперь только Душко узнал свою подружку по деревенским забавам, дочь одного из отцовских хуторян. Он с улыбкой разглядывал ее. Не удивительно, что он сразу не узнал Мицу. В ней не осталось ничего от горластой, босоногой, исцарапанной, смуглой девчонки, похожей на цыганенка. Мица вечно крутилась с мальчишками вокруг лошадей и волов, играла с ними в чижика и в казаков-разбойников, воровала арбузы и дыни с бахчей. Ей гораздо больше нравилось ходить с Душко вместо охотничьей собаки, залезать в болота и доставать уток, подстреленных им из своей флоберки, чем пасти гусей, вязать чулки или делать кукол из тряпок и кукурузных листьев, как это полагалось хуторским девчонкам. Этому полуголому нахальному заморышу не было никакого дела до того, что Душко на пять лет старше, что он господский сын и учится в гимназии. Она испытывала уважение только к его ружью, хотя и тут оговаривалась, что куда труднее попасть в птицу из рогатки, потому что ружье само по себе стреляет. Вспомнив все это, он подумал и о том, что в то время он ценил ее больше, чем юных барышень, подружек своей сестры, несмотря на все их экзерсисы на фортепиано. Все эти куколки с локонами не говорили, а жеманно мяукали, а маленькая и тощая Мица говорила солидно и уверенно, подражая в жестах и выражениях пожилым крестьянкам.

Однако что же это она все стоит, опустив глаза, как монашка? На обсыпанном пудрой лице ярко выделяются загорелые веки, над крупной, пухлой верхней губой комочки белил, смешанные с капельками пота, грудь и талия стянуты жестким, тяжелым платьем, в котором она тонет и которое ее старит,— жалкая смешная фигурка — так уродуют детей на востоке ритуальными нарядами.

— Ну что, Мица, есть еще на кочках чибисиные яйца?

Мица выпятила губы и отвернулась; капелька пота соскользнула у нее с губы и покатилась по подбородку, оставляя темную борозду на толстом слое белил.

— Что это ты с девушкой на выданье такие разговоры разговариваешь! — вмешался отец.— Иди, Мица, гуляй и

не забудь подойти к госпоже и к барышням, пусть посмотрят, какая ты стала красавица!

— И как они только добираются до города и обратно в этих панцирях!

— Ну, ты прямо как в Париже родился! Кто побогаче, приезжают в город в колясках, на мягких подушках. Неужели не помнишь? Как воскресенье — по всем дорогам тянутся коляски одна за другой, будто свадьбы. И в каждой на заднем сиденье, на вязаных накидках сидят бабы, накинув от пыли верхние юбки на головы, как турчанки. А девушки победнее, вроде Мицы, приходят пешком, в будничном платье, таща на голове узел с праздничным нарядом. Идут босиком, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки. А прихорашиваться начинают у трактира «Павлин», что стоит у городской заставы, моют ноги, умываются, мажутся белилами и румянами и переодеваются, помогая друг другу застегивать пряжки и держа друг перед другом маленькое зеркальце.

Душко отказался пойти с отцом выпить пива — это значило снова показываться знакомым, и, усталый от жары и от нахлынувших воспоминаний, вернулся домой еще до полудня. У ворот он столкнулся с Мицей и шутя преградил ей путь.

— Ты куда? Разве с нами обедать не будешь?

— Спасибо, я в «Павлине» платье оставила. Дайте пройти.

— Да постой. Я тебя даже и не разглядел как следует.— И он взял ее за подбородок.

Белила уже совсем растаяли, и на носу проступили знакомые веснушки. Душко усмехнулся: «Ну, теперь я тебя узнал!»

Мица стояла не двигаясь, только улыбалась смущенно.

— Сколько же тебе лет?

— Шестнадцать!

— Вот это да! — Он схватил ее за руку, но ладошка Мицы в его руке даже не шевельнулась, осталась деревянной, как ручка зонтика.— Замуж-то еще не собираешься, ведь не спятила же ты?

Она только чуть дернула плечом, не изменив выражения лица даже тогда, когда он дружески похлопал ее по спине.

— Ну что же, Мица, до свидания.

— До свидания.

«А она была бы недурна, если бы так не вырядилась! — подумал Душко.— Стоит как пень, будто и не девушка! Подать себя не умеет! Наверное, скинет с себя все это и останется красная, словно ободранная, да изжеванная, как мятая рубашка».

Дня через два Душко поехал с отцом в имение посмотреть, все ли готово к жатве. Коляска легко катилась по дороге, выложенной жженым кирпичом, ветер приносил запах посевов, а впереди, насколько хватал взгляд, шуршали тяжелые колосья, потрескивая, как корка свежеиспеченного хлеба. Все нивы вокруг казались необыкновенно густыми и высокими, а знакомые хуторки по дороге совсем утопали в поднявшихся за три года кустах и фруктовых деревьях. Далеко впереди кто-то гнал пару волов. Солнце сверкало на их гладких рогах, и пыль, поднятая ими, создавала вместе с солнечным блеском пурпурный ореол, в котором обыкновенные волы казались громадными, необычайно красивыми мифическими существами. Метрах в ста перед имением Душко привстал в коляске и с удовольствием отметил границу своих владений. Вот и живая изгородь, и ров, и мост через него, а вот и ворота.

Два больших белых пса с душераздирающим лаем бросились на забор, а за ними, что-то крича и швыряя в собак комья земли, выскочила женская фигурка в красном.

— Да выходите, не бойтесь! — кричала со смехом Мица и, когда Душко слез с коляски и пошел вслед за отцом, уже шагавшим по посыпанной галькой дорожке, добавила задорно: — Вот, и собаки не узнают, значит, верно, что вы от нас отвыкли!

Душко замахнулся на нее, но она ловко увернулась, не переставая смеяться.

— Ишь, чему научился в Вене!

Мица была босиком, в короткой юбчонке из красного полотна в белую полоску, в льняной рубашке с короткими узкими рукавами и красной безрукавке, едва сходившейся у нее на груди. Она вся обгорела на солнце, кожа на лице и на руках была свежая, молодая, тугая и гладкая. В черных глазах под сросшимися бровями сверкали золотые искорки, вокруг носа шаловливо прыгали веснушки, точно кто-то шутя бросил ей в лицо горсть чечевицы; приоткрытые губы были крупные, мясистые, с насмешливо приподнятыми уголками. А этих передних зубов он вообще не помнил. «Не выросли же они у нее только теперь!» — думал молодой человек, разглядывая ее чуть желтоватые,

большие и широкие, редко посаженные зубы, созданные явно для того, чтобы есть жесткое мясо, а не нежные фрукты, которые некоторым юношам кажутся единственной пищей, достойной молодых девиц. Мица не замечала, что Душко ее разглядывает, она сама его разглядывала, и ее смешило, что он ведет себя, как настоящий господин. Сейчас и она припомнила их совместные детские приключения, и ей хотелось подразнить его чем-нибудь самым смешным — как она прямо на нем чинила его разорванные брюки, нещадно коля его иголкой, или как они вдвоем увязли по пояс в болоте, разыскивая подстреленную утку.

Старый Йосим, подойдя и поздоровавшись с молодым господином, прикрикнул на дочь:

— А ну, брысь отсюда, как тебе не стыдно, черномазая, как цыганка, выскочила к господину. Иди умойся и приведи себя в порядок!

— Не надо, Мица, ты так лучше.

Мица, словно нарочно не поняв его слов, огрызнулась:

— Ну да, конечно, для мужички, мол, и так сойдет!

— Да нет же, я не то хотел сказать!

— Хватит болтать, иди займись делом! — приказал, не оборачиваясь, Йосим.

Старый Пакашский был очень доволен тем, что сыну понравился хутор. Любой бачванин, даже и торговец, не важно, есть у него земля или нет, привязан к земле особой любовью и полагает, что настоящий человек лишь тот, у кого есть хоть полгектара земли, которую он может вспахать и засеять и на которой он может растянуться, как на самом своем любимом ложе.

Перед обедом Мица принесла молодому барину воды умыться. Отец его задержался во дворе, отдавая еще какие-то распоряжения. Душко показалось, что она все еще дуется. Она низко повязала голову платком, чтобы не было видно загорелого лица, но юбка по-прежнему так и плескалась вокруг ее ног.

— Эй, Мица, что это с тобой? Ты что, обиделась? Да ей-богу же, ты так гораздо красивее.

— А ваши барышни как выглядят, когда по дому работают?

— Конечно, не так, как ты! Поэтому им и надо наряжаться или прятаться, когда они что-нибудь делают.

— Потому они вам и нравятся!

— Они нам нравятся прифранченные, а вы и так хороши, поняла!

— Ну, и невпопад ваш выстрел!
— Ничего, следующий попадет!
— Ружье дрожит!
— И где ты только нашла огниво для своего языка?
— Дядька из Вены привез.
— А зачем же тогда я в Вену ездил?
— Ничего, вижу, вы тоже много чему научились!
— Ай да девочка выросла! — воскликнул Душан, пытаясь обнять ее за плечи.

Но она вырвалась и встала в дверях, уперев руки в бока.

— Вы тоже не вчера родились, как я погляжу!

Посмотрев на нее, Душко заметил, что она все же немного набелилась, и с самым серьезным видом подошел ближе:

— Кроме шуток, Мица, что у тебя на глазу? Постой-ка, я сниму! — И, неожиданно обняв ее, провел рукавом по щеке: — Дай-ка расчищу место для поцелуя! — Но девушка, сразу почувствовав опасность, вся сжалась и со смехом выскочила на террасу.

— Рубите дерево по себе!

Отец согласился не вводить Душана до осени в торговые дела и оставил его на хуторе — пусть насладится природой после столичной жизни. Молодой человек тут же, почти без всякого перехода, вошел во все тонкости хуторской жизни — ведь под каждым городским пиджаком скрывается тоска по широким просторам гор, морей или равнин, по непосредственному соприкосновению с землей, с растениями и животными, да и с людьми, близкими к природе. Каждый день он ездил в город и возвращался назад, не ощущая никакой раздвоенности. Мица вначале была для него лишь частью этого летнего отдыха на хуторе. Деревенские забавы, догонялки, борьба, мгновенные объятия долгое время были окрашены смехом и беспечной болтовней, напоминавшей детство, и были естественным его продолжением. Но однажды они остались вдвоем во всем доме — мать варила в земляной печке под тополями в большом котле гуляш для жнецов, а остальные были в поле: кто крестцы ставил, кто молотил. Долго он гонялся за ней по комнатам, пытаясь отнять початок недозревшей кукурузы.

— Вам нельзя, зубы почернеют, что скажут барышни? — кричала Мица.

Наконец Душан догнал ее, и снова началась возня.

Но вдруг они перестали смеяться и услышали свое тяжелое дыхание.

Мице стало жарко и страшно. Собрав все силы, она вырвалась и убежала в угол комнаты, вся растрепанная, задыхаясь и держась за сердце.

— Не трогайте меня, не надо! — едва пробормотала она.

Ее тихий, решительный, странно изменившийся голос заставил его остановиться. И прежде чем он поборол чувство стыда, она посмотрела на него горящими глазами:

— Не приставайте ко мне. Мало вам ваших городских.

— Мица, да ты что, с ума сошла, да не нужны они мне вовсе, клянусь тебе!

— Ну так и меня не трогайте, я и нашим не даюсь!

— Не буду больше, богом клянусь, руки буду держать за спиной, только давай помиримся,— говорил он ласковым, примирительным тоном, неслышными шагами, как ночной зверек, подбираясь к ней.

У Мицы расширились зрачки, она прижалась спиной к стене; задержав дыхание, она подождала, пока Душко, вытянув губы, совсем приблизился к ее лицу. Тогда она фыркнула, присела на корточки, и молодой человек со всего размаха ткнулся носом в стену. Мица, задыхаясь от хохота, бросилась к двери, но Душко успел поймать ее за юбку. Снова началась еще более ожесточенная борьба. Со стороны можно было подумать, что дерутся два самых лютых врага. Мица, всхлипывая, шептала: «Пустите, пустите сейчас же, я закричу, пусть все видят, какие вы!» Но кричать не стала, видимо все еще надеясь на свои силы. Потом она выскользнула из его объятий, вспрыгнула на кровать, схватила со шкафа большое красное яблоко, впилась в него изо всех сил зубами и, сверкнув глазами, протянула его сверху ошеломленному Душко, повернувшись к нему спиной и заломив за спину руку:

— Вот я какая!

Он остановился от неожиданности, и, пока он разглядывал белый влажный полукруг, оставленный ее зубами на румяном яблоке, она прыгнула к двери и убежала, оставив за собой резкий, щекочущий ноздри запах шафрана.

«Что она о себе возомнила, репей деревенский! Да я на нее больше и не взгляну!» — решил молодой барин. Отдышавшись, причесавшись и отряхнув платье, он направился на гумно.

В тяжелые полевые работы Мицу еще пока не впрягли. «Пусть порадуется, пока при матери живет, успеет еще наломаться, как замуж выйдет,— говорила мать,— а может, и ее свекор будет жалеть, как меня!» Но Мица хозяйничала в доме, убирала в господских комнатах и носила жнецам воду из колодца. Надвинув низко на глаза платок, она то и дело появлялась с полным кувшином из черной глины, носик которого служил одновременно и ручкой.

При этом она то и дело задевала молодого барина. Он делал вид, что не замечает ее, но ему как нарочно бросались в глаза то красивый изгиб ее талии, то грациозно выгнутая для равновесия левая рука, то по-детски заплетающиеся под тяжестью кувшина ноги.

— Ах, извините, я стакан забыла. Может, и вы хотите попить?

— Ни пить, ни есть не хочу! — процедил сквозь зубы Душан.

Мица приоткрыла рот и, с наивным видом запрокинув голову, приложила ладонь к глазам, глядя в безоблачное голубое небо:

— Ну и тучи собрались, не иначе быть дождю!

— А может, кое-кому и на орехи достанется!

— Ну точь-в-точь как моя матушка — то поцелует, то побьет.

— Смотри, как бы тебя кто не побил без всяких поцелуев.

— Потом пожалеет и поцелует!

— Ну да, как ты — яблоко.

— Свяжет рот, как у меня связало.

— Ну нет, этот язык лучше в сечку отдать.

— Что же, так и умру, никому не сказав: «милый мой»?

— Уж будто не говорила?

— Да вот совсем собралась, а вы хотите мне язык отрезать... Нет, это я вас просто развеселить хотела!.. Ой, идите скорее, старый барин вас зовут!

II

Зерно уже возили в город, в лабаз, чьи узкие окна с железными ставнями смотрели со двора их городского дома на соседнюю улицу. Глядя на тяжелые раздувшиеся

мешки, в которые непрерывно густой шуршащей рекой текло зерно, на взбухшие жилы на шеях и икрах ног носильщиков, на глубокую колею дороги, слыша скрип нагруженных телег, Душан не переставал восхищаться в общем-то всем понятными и ясными явлениями и удивляться им. Легкие колосья, мелкие зернышки, которые можно легко вышелушить, потерев колос между ладонями, взвесить на руке, подбросить, попробовать на зуб и бросить через плечо — и вдруг огромная свинцовая тяжесть, под которой изнемогают люди, скот, механизмы! Что-то большое и темное, какая-то нечеловеческая сила собирает мелкие, невесомые зернышки в тяжелую, драгоценную гору. Он еще ребенком наблюдал, как выгружали тысячи мешков у мельницы, как по одному желобу течет зерно, а по другому мука, как гудят и жужжат блестящие машины, покрытые инеем белой мучной пыли. Чувства у него, как и у других детей, возникали при виде этой картины почти те же, что в церкви, и они смотрели на серьезных, молчаливых, обсыпанных белой мучной пылью мельников, как на священников у алтаря.

Тогда они любили играть в лабазе. Особенно им нравилось, с трудом добравшись до вершины горы зерна, под самой крышей, съезжать вниз. Мальчишки старались толкнуть Мицу и других девчонок так, чтобы юбчонки их задрались и они съезжали на голых задах. Девчонки пищали и отряхивались, как куры, вывалявшиеся в пыли. Но во всей этой веселой возне его все-таки больше всего привлекала гора зерна сама по себе, ему доставляло громадное удовольствие погрузить в зерно руку до плеча, он захватывал хлеб обеими горстями и пересыпал его, раздувая ноздри от специфического запаха хлебной пыли. Его вообще восхищало всякое изобилие. Ведь не случайно, когда что-то мелкое, не имеющее особой ценности вдруг оказывается в одном месте и в таком количестве, оно начинает соперничать в цене с золотыми слитками. То же чувство охватывало его и на площадях больших городов, на мессах в просторных готических соборах, перед биржами и крупными банками, и он вспоминал свой щемящий душу детский восторг, когда впервые попытался сосчитать звезды в ясном небе над родным городом.

Ночи стояли прохладные, как всегда летом на равнине. На стерне уже зацвел чистец, временами пахнувший очень сильно. Это совершенно особый запах, и чувствуется он

только тогда, когда цветов много. Так бывает весной с вербами, с цветущим хлебом и с виноградниками. Отдельный цветок или гроздь не пахнут вовсе, а в массе испускают запах, от которого грудь распирает. Можно себе представить, как противно и ядовито пахнет поле тубероз, когда даже аромат розовых полей в Болгарии, говорят, вызывает головную боль, а в Македонии от цветущего мака люди и животные впадают в тупой сон!

Временами в голову ему приходила сумасшедшая мысль, что, если собрать в одно место все зерно земного шара? Получилась бы гигантская гора, а он бы подошел и зачерпнул одну горсть. Если бы соединить воедино все сущее — и воды, и скалы, и планеты, и людей, увидеть бы все это единым махом, а потом отделить одно-единственное, только тебе принадлежащее существо, заключить его в объятия, поцеловать и закрыть глаза. Он и сам не мог понять — одно это желание или два? При мысли о просторах или больших скоплениях чего-либо ему всегда становилось больно от сознания, что он одинок, что рядом с ним нет женщины. Одной-единственной из миллионов женщин, живущих на свете.

Душко вышел на стерню и остановился, прислушиваясь, как овцы где-то неподалеку щиплют невидимую траву. Их запах, такой противный в избе, куда чабан вносит его вместе со своим тулупом, здесь, на равнине, когда ветер приносит его легкими порывами вместе с дымом и звоном колокольчика барана-вожака, кажется приятным и естественным, и в то же время разжигает в глубине души тоску и страсть. В темноте мимо прошел парень. Душан узнал его и почему-то не спеша направился за ним следом. Парень шел прямо к забору Йосимова дома. Душан обошел вокруг дома и остановился неподалеку. Прислонясь к забору и поставив на землю ведро, стояла Мица и, скрестив ноги, вертела босой ступней, не спуская с нее глаз. Парень, работник одного из окрестных хуторян, положил на забор руку, совсем рядом с головой Мицы.

— Лопни мои глаза! — клялся парень, стараясь ее в чем-то убедить.

— Да уж точно, если бы бог услышал вас, все парни давно бы ходили кривые!

— Не люб я тебе, вот ты надо мной и смеешься,— вздохнул он.

— А раз так, зачем зовешь, разговоры разговариваешь? — резко ответила она, хватаясь за ведро.

— Мица,— глухо вскрикнул парень и положил на забор и вторую руку, оказавшуюся совсем рядом с ее лицом. Чувствовалось, как у него дрожат и руки и ноги. Но, держа ее, как в ловушке, он не приближался к ней, не касался даже краешка ее платья.

— Мица, солнце мое, не заставляй меня в своем горе признаваться, ты же знаешь, что я тебя люблю больше жизни!

Душан начал точно так же дрожать в своей засаде. Его душила ревность, хотя он и понимал, что она глупа и беспричинна. Ревновать эту деревенскую дуреху к крестьянскому парню, с которым она тоже явно играет! Но поведение и голос парня восхищали его и в то же время причиняли боль. В его голосе слышались теплые воркующие нотки, какие можно услышать и у самых образованных юношей из лучших домов, когда они платонически влюблены. Ему вдруг стало не по себе от этого голоса, и он начал громко и фальшиво откашливаться; увидев, как оба они вздрогнули, он злорадно усмехнулся. Мица, не сказав ни слова, схватила ведро и убежала, а парень, убрав руки, прижался к забору.

Душан еще раз обернулся, чтоб насладиться видом уходившего ни с чем соперника, и вернулся в дом.

Четверть часа спустя молодой господин крикнул в окошко:

— Мица, а Мица, подай-ка мне стакан холодной воды!

— Только не пейте все сразу, раскашляетесь,— дерзко ответила она.

— Ты еще смеешь! — вспыхнул Душан.— Мица, послушай, я завтра уезжаю. А тебе вот что хочу сказать. Перебирайся-ка ты лучше в город, будешь учиться шить или еще что-нибудь в этом роде. Не выходить же тебе за батрака, ты вон какая красавица!

Мица смутилась, но быстро взяла себя в руки.

— Из своей кожи не выскочишь, мать моя мужичка, и я не хуже и не лучше... А что это вы обо мне хлопочете? Будто у вас в городе не о ком заботиться. Уж я-то знаю.

— Да что ты знаешь?.. Послушай...

— О господи, что мне слушать, когда вы все руки в ход пускаете!.. Я ведь и без рук понимаю!.. В городе-то вы на меня и не посмотрите, а то я не знаю!

— Что говорить зря? Приезжай, увидишь. Все, что захочешь, куплю тебе.

— Э, все вы не можете, даже если захотите!

— Да в чем дело?

— А в том, что вы барин!.. Не зря говорят наши старухи: у господ на языке мед, а на сердце лед, берегитесь, девки, господ! — Мица покачала головой, подмигнула ему, погрозила пальцем и исчезла.

Душан перевел дух, повернулся, чтобы идти в дом, и столкнулся со старой венгеркой Верой, жившей на хуторе.

— Ты что здесь делаешь, старая колдунья? Подслушиваешь, а?

— Что, не дается, чертенок деревенский? Ничего, ничего, барин, вы ей только хорошие слова повторяйте. Бабы все дуры, что наши, что ваши, знай нахваливай. Шепните ей на ушко хорошее словечко и будьте покойны. Она и брыкается и отнекивается, а словцо вползло золотой букашкой ей в голову и жужжит, так что девушка и ночью проснется, спать не может, ворочается. И жужжит, напевает ей словцо, пока она в него не поверит. И сама полетит в руки охотнику... Бабы все с придурью!

...На другой день он возвращался в город.

— Счастливо вам, молодой барин, не обессудьте, коли в чем не угодили, не забывайте нас! — кричали ему хуторяне и работники, окружив коляску.

— До свидания, до свидания, спасибо вам за все! А куда же Мица спряталась? Иди сюда, хочу и тебя поблагодарить, горничная из тебя — первый сорт!

— Смотрите, а то опять меня в городе не признаете!

— А где же моя бритва? Наверное, на столике оставил. Ну-ка, Мица, принеси!

Мица побежала в комнаты, ее долго не было, и Душан выскочил из коляски и помчался в дом.

— Как сквозь землю провалилась ваша бритва! — сказала Мица, пританцовывая вокруг стола и с трудом сдерживая смех.

— Да ну ее к собакам, Мица, бритва на месте, поди-ка сюда, послушай, что я тебе скажу! Смотри мне в глаза и не смейся, я тебе серьезно говорю; не забывай, что я тебе вчера сказал! Жаль тебя отдавать за мужика, он тебя впряжет в работу, пропадешь. Ты и сама не знаешь, какая ты красивая!

— Ну да, как индюшиное яйцо, вся в крапинку,—

ввернула Мица, покраснев, однако, до ушей от удовольствия.

— Это пустяки! Это мы выведем, а ты такая станешь хорошенькая, что все городские барышни лопнут от зависти!

— Идите, идите, вас зовут,— вырывалась Мица.

— А тебе и не жаль вовсе, что я в город уезжаю,— грустно и беспомощно протянул он.

Мица остановилась у двери, опустила голову и ответила тихо, уже не смеясь:

— А вам уж будто и жалко!

— Да хочешь — верь, хочешь — нет, я бы охотно поменялся с тем парнем, с которым ты вчера стояла!

— Не надо так говорить... Идите, идите, вас зовут, слышите! — тихим, приглушенным голосом, но весело и с какой-то отчаянностью увещевала его Мица, выходя за дверь и торопясь прочь, точно спасаясь от невидимой опасности.

III

Душану пришлось выдержать немалую борьбу с самим собой, чтобы уже через несколько дней не помчаться опять на хутор. Его так мучительно сильно тянуло к этой крестьяночке, что он, чувствуя себя униженным ею и оскорбленным, начинал на нее злиться. Как будто она должна была знать, что он не может не думать о ней. И он ждал ее каждый день, думая, что она догадается найти какой-нибудь предлог и приехать в город. Она не явилась ни через неделю, ни через две, и молодой барин стал злиться не на шутку. Но уже первые обидные слова, сказанные в сердцах без разбора и смысла: «Дрянь деревенская, грубиянка, что она о себе возомнила, уж не думает ли она сделать из меня хуторского Ромео», своей обнаженностью и прямотой невольно заставили его задуматься об их отношениях, о своей склонности к ней и о расстоянии, их разделяющем, и постепенно он пришел к тому, что стал упрекать себя за то, что, ослепленный страстью, надавал бог знает каких обещаний. Счастье, что Мица оказалась трезвой и стойкой, как репейник. Что было бы, если бы она в самом деле все бросила и отправилась вслед за ним в город? Здесь семья, общество, где ему приходится бывать, нет, лучше так, как есть! Чертова девка эта Мица, она словно влезла ему в душу, от нее

и во сне не избавишься. Скорее всего, это прелесть неизведанного, очарование экзотики.

Только за неделю до дня святого Димитрия — их семейного праздника, Душан с отцом и матерью вновь приехал на хутор за провизией. Увидев Мицу, скромно целующую руки его родителям, он в одну минуту простил ей все, а затем, когда она не сумела скрыть волнения, пытаясь поздороваться с ним самым обычным тоном, в нем снова проснулось желание тут же подхватить ее под мышки и закружить вокруг себя.

Работницы трясли решето, приманивая птицу, а господа отбирали лучших кур и цыплят, которых Мица ловила при помощи крестьянских детей. Он не сумел ей ни слова шепнуть, мучился из-за этого и тем сильнее обрадовался, увидев, что в нагруженную всякой снедью хуторскую телегу усаживается и Мица.

Душко торжествовал. И никто, кроме него, не заметил, какой робкой и запуганной почувствовала себя Мица, оказавшись во дворе их городского дома,— как дикая куропатка в руке охотника.

— Ну, слушайся барыню и барина, смотри ничего не испорти из господского добра... учись, как прислуживать, пригодится...— прощался с дочерью Йосим.

— Да езжай с богом, не бойся за нее! Как же, будет она плакать по хутору! Грецкие орехи легче толочь, чем таскать по десять крынок молока да сбивать по десять кило масла. Ты, Мица, смотри на нашу Катику: не столько мешает ложкой, сколько слизывает! Вот и ты станешь такой горе-кухаркой! — подшучивал старик Пакашский.

В тот же вечер начали выносить во двор и чистить всевозможные терки, фигурные ножи, формы для теста, ступки, блюда и прочее. Мица без единого слова брала в руки все, что ей давали, и, присев на корточки, оттирала белым песком.

Молодой барин расхаживал по саду вдоль проволочной сетки, отделявшей дом и цветники от двора и «людской» половины, и поглядывал на усердно трудившуюся Мицу. Он уже не думал ни о каких неудобствах, а только радовался тому, что она здесь и останется еще на целую неделю. И хотя она делала то же самое, что и прочая прислуга, и даже, судя по всему, состояла сейчас в прислугах у кухарки и горничной, он отделял ее от них. В то время как от всех служанок, как ему казалось, на рассто-

янии несло помоями и кухней, Мица и здесь была для него полевым цветком, мускатным орешком, земляникой.

— Ну как, Мица, справляешься?

— Справляюсь,— прошептала Мица, не поднимая глаз от круглой медной миски для сбивания белков и размазывая большим пальцем узоры по ее блестящей желтой поверхности.

— Да ты все умеешь, как взрослая, дай-ка я посмотрю! — Он нагнулся к ней и шепнул: — А ты рада, что приехала?

Мица ничего не ответила и хотела продолжать начищать миску, но руки у нее задрожали.

— Выйди перед сном к колодцу, мне надо с тобой перемолвиться! Смотри не обмани! На два слова!

Комната Душко была угловой, и ее единственное окно выходило на задний двор. Оттуда он наблюдал за своими голубями и охотничьими собаками. В тот вечер, когда все в доме улеглись спать, он подвернул лампу и сел к окну. Терпеливо и взволнованно, как в засаде, он ждал, пока во дворе кончат работу. Угомонились все только после десяти часов. Во дворе стемнело, замолкли песни. Свет едва пробивался через занавешенные окна комнат, где жила прислуга. Душан открыл окно и свистнул. Оба его охотничьих пса подскочили к сетке и стали поскуливать, просясь к хозяину. Он тихонько вышел и ввел их к себе в комнату, приказав лежать на месте. Потом снова тихо вышел из комнаты и встал у самого столба ограды. Ему показалось, что прошло много времени, пока наконец в людской все стихло и свет погас. Молодой человек дрожал, как от холода; он уже хотел вернуться к себе, как в приоткрытой двери кухни блеснул свет. Дверь скрипнула. Мица с кувшином в руках шла к колодцу.

В ту же минуту он бросился к ней и, нагнав посреди двора, без слов крепко обнял ее. Кровь стучала во всем его теле, словно билось одно большое сердце; он обнимал ее мягкое тело, под его руками слабо шевелились тонкие косточки, она, задыхаясь, говорила только: «Не надо! Не надо!» Он вдруг почувствовал себя невероятно сильным, поднял ее на руки, точно хотел подбросить ввысь и принять на свою грудь, и тут, на весу, прижав ее к себе, стал целовать сначала осторожно, едва касаясь губами, а затем все более страстно и яростно. Она лишь беззвучно всхлипывала, но, когда он зашатался, словно раненый боец, который вот-вот рухнет на землю вместе с повер-

женным противником, Мица очнулась и кинулась его умолять:

— Пустите меня, богом вас заклинаю, пустите!.. Еще увидит кто! Ой, кто-то идет! — Она вырвалась, оттолкнула его, неверными шагами пошла к колодцу и стала, гремя цепями, опускать ведро.

— Мица!

— Нет, ради бога, идите... идите!

— Приходи завтра ко мне!..

Но Мица, не отвечая, с неполным кувшином уже возвращалась в кухню.

Наутро работы внизу не было, Мицу на господской половине учили наващивать паркет, натирать до блеска асидолом дверные ручки, чистить порошком ванну и выбивать ковры.

Душан в течение дня несколько раз заходил домой и, застав в какой-нибудь комнате Мицу одну, молча бросался к ней. Она бледнела, лицо у нее искажалось, как от боли, но глаза от его страстных объятий и поцелуев стали какими-то сонными и приобрели новый глубокий блеск. Она уже не могла обороняться словами.

— Ночью выйдешь опять!

— Я боюсь!

— Приходи! Прокрадись, когда все заснут, и прямо в мою комнату. Не бойся!

— Боюсь!

— Что?! Придешь, и все! — Он даже зубами скрипнул.

С умоляющим видом, опустив глаза и словно извиняясь, она повторяла: «Боюсь!»

В голове Душана один за другим мелькали планы, дерзкие и неосуществимые. Но ни разу ему не пришло в голову вытащить Мицу куда-нибудь в город или попросить вызвать ее кого-нибудь из прислуги. Он точно уперся и решил победить ее здесь, в доме, здесь или нигде.

К концу недели он до того упал духом, что хотел поговорить с ее отцом, похвалить Мицу и уговорить оставить ее в городе.

Гости со своими надоевшими поздравлениями, комплиментами и прожорливостью наскучили ему ужасно. Он должен был все время быть с ними, а угощение подавала Катика, так как Мица не желала переодеваться в городское платье, да и не умела прислуживать за столом. За весь день он ее ни разу не увидел.

К вечеру все развеселились. Он тоже перестал дуться. Ему пришлось от имени отца отвечать на тосты, и под конец он совсем развеселился. Стал напропалую острить, хохотать, развлекать гостей, бегать по комнатам, так что вскоре вся прислуга собралась на лестнице полюбоваться на молодого хозяина. Заметив слуг, он приказал цыганам играть коло и, обняв за талию Мицу, повел по двору хоровод.

Мица двигалась, как во сне.

Когда танец кончился, старый хозяин с террасы крикнул слугам:

— А ну, все спать, завтра работы много!

Наверху пир продолжался, через двери и окна наружу вырывались шум, говор, табачный дым. В комнатах было душно и жарко, каждую минуту кто-нибудь из гостей выскакивал на улицу освежить лоб холодным воздухом туманной осенней ночи. Некоторые потихоньку уходили домой, пока Душан не вышел и не запер изнутри калитку, спрятав ключ. Возвращаясь в дом, он решил пройтись по саду. Его остановил какой-то шорох. Кто-то затаился в тени колодца. Сердце у него бешено забилось, он на цыпочках подкрался к колодцу, схватил Мицу в объятья и понес к себе в комнату. Она не пошевельнулась, не проронила ни звука.

...Через три дня приехал Йосим, чтобы забрать дочь обратно на хутор. Мица вышла к нему, одетая в черное шелковое платье Каты, в белом фартучке и в наколке на голове. Старый крестьянин оторопел.

— Ишь вырядилась! Ну ладно, переодевайся, кончай свой маскарад,— сказал он сердито.

Все вокруг хохотали, наблюдая за ним.

— Оставьте девочку у нас, пусть научится порядку, кормить свиней она и так сумеет, коли придется,— вступилась за Мицу сама барыня, жена старика Пакашского.

— Правда, папа, я хочу учиться шить, мне все советуют! — решительно заявила Мица.

— Ах, черт... да разве я... Хозяин, как же я без нее нашим хуторским на глаза покажусь?! Да мне легче в тартарары провалиться! Ведь уши прожжужат: вот, мол, и Йосимова девка в барышни подалась!..

Молодой барин в продолжение всего этого разговора из своей комнаты не показывался.

1928

С ребенком за плечами

«Чудной этот наш Живко»,— каждый раз замечает господин учитель, когда Живко Сечуйский, несколько лет назад вернувшийся из России, в разговоре между прочим скажет что-либо вроде:

— Ну да, там, как морозы ударят — и вино замерзает. Из Бологовского молоко возили на рынок в Красноярск в мешках. Рубят его топором и продают на вес, а яйца на телеги насыпают лопатами и везут, как мы щебенку из Срема.

Люди слушают, разинув рты, тем более что знают — Живко не болтлив, никогда не загнет, как некоторые, ради красного словца. А господин учитель не на шутку сердится — обидно ему, что Живко не умеет или не хочет поподробнее рассказать о сибирских чудесах, а только изредка процедит в седеющие усы что-нибудь такое, о чем наш человек отродясь не слыхивал. Его-то уж ничем не удивишь. Другие по сто раз пересказывают все, что приключилось с ними на разных фронтах и в плену, расписывают чужие страны, где крестьяне трудятся и живут все-таки на тот же манер, что и наши сремцы. Сам господин учитель, человек с «изъяном», мало что повидал: был в Сегедине, когда их, как бунтовщиков и шпионов, гнали по улицам и жители плевали им вслед, немного отсидел в тюрьме и хватил горя во время реквизиции на селе, но обо всем этом он говорил с неиссякаемым жаром и во всех подробностях, а уж рассказы других о далеких краях поглощал с жадностью. Одна нога у него была пальцев на пять короче другой, и соответственно подметка на одном ботинке была точно настолько же толще; и все-таки, передвигаясь, он от живости нрава и любопытства подпрыгивал и хромал. Не раз и не два в досужей беседе заводил он с Живко разговор о его трехлетней жизни в Забайкаль-

ской губернии, на китайской границе, чтобы потом постепенно выудить у него другое, более важное — как во время революции, лютой зимой тот пересек всю Азию и половину Европы, неся на спине в котомке своего сына.

Чувствуя, что ратный подвиг Живко совершенно особенный, а сам он — человек своенравный, господин учитель с настойчивостью, достойной иного литератора — лет десять по крупице собирал отдельные замечания Живко, заходил к нему в дом, наблюдал, как он живет вместе с болезненной, молчаливой сестрой — Павой и маленьким чернявым русачком, которого ласково называли Шурой, и постепенно составил более или менее целостное представление обо всем.

Живко исполнилось тридцать шесть лет, когда началась война. Жили они тихо, при двух стариках, отце и матери, на трех с половиной гектарах земли. И все-таки осенью его призвали, правда, в обоз, но уже в первую фронтовую неделю их окружили русские и всех гуртом отправили в плен. Те, кто помоложе, не растерялись и по дороге, уже в Киеве, сбежали, а Живко покорно вместе с остальными отправился в Сибирь. Офицеры остались в Красноярске, а солдат препроводили в лагерь для военнопленных, возле села Бологовское. Там, опять же через неделю после сбора в церкви, его отдали в работники к богатому крестьянину-метису.

— Везде, братец мой, одно и то же. У того крестьянина хозяйство было крепкое, была и молотилка, и даже трактор. Отец у него был сибиряк, русский, а мать — китаянка, в то время уже старая женщина, сам он умный и работящий. В доме — полно женщин и детей, а четверо сыновей — в армии. Старшую дочь звали Раисой. Она была здоровая, крепкая и походила на бабку-китаянку. А муж ее был тогда в германском плену.

Больше всех в доме работали они двое — Живко и она, и обычно вместе. Если случалось поднять что потяжелее, она, бывало, оттолкнет Живко в сторону и, играючи, перенесет, например, через грядку полную кадушку воды,— держа перед собой,— и не прольет, не запачкается. В ту же зиму Красный Крест прислал сообщение: муж, Володя, умер. Они стали жить свободно, как муж и жена. И когда подошло время, осенью шестнадцатого года, родился Шура.

Хорошим человеком был этот полукровка, и бабка-китаянка — тоже хорошая. Они считали его настоящим зя-

тем, да и сама Раиса была женщиной доброй и здоровой. Любую работу, бывало, делала с улыбкой. И ребенка стоя родила, и уже в тот же день колола дрова. Живко — мужчина крупный, широкий в кости, только ноги кривоваты, да и шеи почти нет; Раиса разве что на вершок его пониже, но когда расшалится в лесу — подхватит его, как грудного младенца, на руки, не выпуская из них топора, громко смеясь, разбежится и бросит на телегу, поверх нарубленных ветвей. Очень ее удивляло, что он не умел шутить, никогда не смеялся и что ни разу ее не ударил, хоть бы так, для порядку. Рассказывала, покойный муж был против него слабак, и то, по крайней мере, хоть раз в неделю бил ее. Ни за что, так просто, и она не сопротивлялась. Так уж заведено у них, у русских, особенно если глотнут немного этой своей горячительной. Но люди были хорошие. Кончится в доме сахар — чай пить, Живко слетает в лагерь и там или купит, или выменяет на цыплят. И у пленных и у охранников всегда водился припрятанный сахарок — то стащат со склада Красного Креста, то получат в посылках. Выглядит он, правда, не больно аппетитно, черный, как земля, потому что обычно хранится по карманам и нередко извлекается оттуда вместе с волосами, а может случиться — и со вшами, но на безрыбье и рак рыба. На обратном пути пленным приходилось и не то есть — в снежной пустыне ловили собак и белых, как снег, песцов. Мясо съедят, а драгоценный мех бросают. День-два понесут и вышвырнут. А что будешь делать?

И хоть было это далеко, у черта на куличках, все же и там узнали о революции и о том, что царя убили. Лагерь заволновался. Сразу же начались побеги. Но вскоре выяснилось, что все, кто подался к китайской границе, погибли. Без денег плохо — огромные, непроходимые горы и ниоткуда не жди помощи, а с деньгами еще хуже: грабят и убивают маньчжурские бандиты. Поэтому бежали в Россию. В то лето по трактам и по сибирской «железке» пробиралось множество русских солдат. Главное — иметь деньги, тогда без особого труда в лагере можно было достать документы; а там надевай русскую одежду и, если к тому же знаешь язык и не дрожишь за собственную шкуру, шпарь по этой горемычной Сибири, держась железной дороги — и то подъедешь, то, если пронюхают, соскочишь и прямо по шпалам с недельку прошагаешь — все вперед и вперед, а направление передают из уст в уста — на Ригу. Почему именно на Ригу — никто не

знает. Серьезные, немногословные земледельцы, наверное, лучше и глубже понимают друг друга, чем горожане, которым нужно разбираться в целом потоке слов с самыми разными смысловыми оттенками. Молчание нередко говорит больше, чем слова. Знаете, как бывает: замрет масло на раскаленной сковороде, ни всплеска, ни пузырька — сплошная гладкая поверхность, но уже через мгновение нагревшаяся масса заклокочет, и сразу же, брызгая во все стороны, вспыхнет пламенем.

— Ты задумал что-то, Живко, голубчик,— обратился как-то к нему вечером старик среди общего молчания,— мы знаем, о чем ты думаешь. Выбрось это из головы, не изводи себя понапрасну. Во всей России теперича смутное время. А знаешь, до чего велика наша матушка Русь, и где ты, голубчик, и где твой старый дом? Разве живым до него доберешься? А тут что наше, то и твое, здесь у тебя и отец с матерью, и жена, и дети, и все тебе останется: будет в Питере и в Москве царь или нет.

Молчит Раиса, уставилась куда-то под стол и не шевелится. Для него это тяжелей всего было.

— Спасибо вам за вашу любовь, за которую не расплатиться мне с вами ни на том, ни на этом свете, и простите, если в чем виноват. Но совесть говорит мне: у души и тела только одни родители и одно родное село, где человек родился, где вырос, а пахарю должно умереть на своей земле или хотя бы идти туда умирать, а остальное уж в божьей воле, как сама совесть дело божьих рук и божьего слова.

— Живко, сынок,— отвечает добрый старик,— я такой же, однако, православный, как и ты. Поступай, как тебе совесть велит, и пускай нас святая казанская божья матерь накажет, ежели мы потревожим мир души твоей, иди сюда, я перекрещу тебя и поцелую!.. А тебе, дочь моя, Раиса, я так скажу: с нонешнего вечера будь ты для него как единоутробная сестра, душевная и сердешная до тех пор, покамест не явится ему глас господень; знаю, дочка, тяжело тебе, да ведь и ему нелегко.

Вести из России приходили все более черные, паника охватила лагерь. Намело вокруг непроходимые сибирские сугробы, а по всей засыпанной снегом, мглистой земле, словно стаи голодных волков, рассыпались солдаты и пленные, грабители и воры. Раиса осунулась и замерла, как застывший водопад. А в Живко все настойчивей разгоралась тоска по родному дому. И во сне и наяву возни-

кали перед его взором картины родного села, двор и пашня. По целым дням он пропадал из дому, а когда вдруг вдалеке мерещилась знакомая с детства шелковица у дороги или слышался лай Белого и казалось, что вот-вот пес бросится ему под ноги, весело облизывая огромным красным языком свежий белый снег, он приходил в ужас и растирал снегом лоб и виски.

Живко не представлял себе ни расстояния, ни трудностей, которые его с ребенком ожидали в пути. Он только видел, как вносит своего сына на крыльцо родного дома и, подняв вверх, показывает ему землю и межу возле сада: «Смотри, сынок, все это будет твое, Джюры Сечуйского, если бог даст здоровья! Говорят, даже бессловесные твари, угри, например, когда в них пробуждается инстинкт любви и размножения, устремляются со дна далеких рек и речушек на поиски Атлантического океана, старой своей прародины, чтобы там любить, вывести потомство и умереть. И если на пути встретится им перекат, они не повернут назад, а поползут, хоть это и рыбы, по суше, разыскивая дорогу в свое море. Погибнут, но не изменят инстинкту.

— Надо,— только и сказал он старику и, опустив седеющую голову, заплакал.

— Ну что ж, сынок, мы будем молить бога, чтоб добрался ты живым и здоровым и нашел свой дом.

Когда его собрали в дорогу, Живко освободил одну из котомок, развернул скатанное одеяло, закутал в него испуганного Шуру, не говоря ни слова, усадил его в котомку и надел ее на спину. Все побледнели и ушли в дом. Раиса осталась одна.

— Ты и его у меня забираешь? — заплакала она.

— У тебя еще трое, а у меня никого. И я уж не молодой. За него не бойся.

Покачиваясь, она стояла на одном месте и смотрела им вслед, пока они не скрылись из глаз.

В первый же день он встретил группу венгров, которые еще сами не знали — идти ли домой или в Красную Армию. Тут же раздался первый смешок на его счет:

— Ха-ха-ха! И далеко ты собрался со своим живым горбом?.. Эй, дядя! А ну затяни колыбельную, послушаем, как ты его укачиваешь... Может, хочешь найти его мать, чтобы сунуть ей его обратно, откуда явился? Ха-ха-ха-ха!

Смех и издевки сопровождали его все три месяца, пока он толкался с ребенком по поездам и по временным

убогим пристанищам. Но он молча переносил все и воспринимал свою ношу словно божье благословение, а она его и правда защищала. Потому что, несмотря на насмешки, люди уступали ему лучшее место и никогда не вырывали из рук корку хлеба, которую он смягчал собственным дыханием, чтобы накормить ребенка. А в те времена за корку хлеба можно было получить и штыком в шею.

Он прошел и белых и красных, над ним измывались, под неистовый хохот дергали за усы, проверяя, не переодетая ли это женщина-шпионка, но пропускали, хотя никто не верил его документам.

На границе пришлось бросить все, кроме ребенка, а в консульстве в Риге сначала поразились, а потом покатились от смеха. Он казался вдвойне смешным, так как выглядел совсем старым, а держался серьезно, совершенно не обращая внимания на веселье, которое вызывал.

Смех утих, лишь когда он сошел с поезда в родном селе. Был чудесный зимний день. Никто не узнавал его — люди оглядывались вслед русскому солдату с ребенком за плечами.

Белый встретил старого хозяина раскатистым лаем, не слушая его оклика:

— Эй, Белый, ты что, не узнаешь меня?

Опасаясь испугать ребенка, он остановился, а Белый, уже готовый прыгнуть на него, вдруг замолк и, ласкаясь, свился в клубок возле его ног.

Тут и сестра Пава вышла на порог и, увидев всю эту сцену, только крикнула не своим голосом:

— Ты ли это, Живко, хозяин мой?

Живко обнял ее одной рукой:

— Сама видишь. А ты в черном? Кто умер?

— Оба.

— Упокой, господи, их души!.. Погоди-ка.— И он начал снимать заплечную торбу.

В тот же миг и Пава заметила ребенка, который за долгий путь привык молчать и прятаться.

Она только побелела и отшатнулась:

— А чей это?

Живко ответил, не поднимая головы,— он разворачивал ребенка.

— Мой. Мальчик.

Пава ухватилась за стенку позади себя и, словно одеревенев, замерла, не произнося ни слова.

— А ну-ка возьми все это! — Живко протянул ей котомку и платок, не проявляя ни малейшего волнения и словно не замечая происшедшей в ней перемены.

Женщина машинально взяла тряпье и точно так же, стараясь говорить спокойно, спросила:

— А как же мать отпустила его?

— Она не пускала, я сам взял. У нее трое своих осталось, а у нас ни одного нет...— И, уже совсем выпрямившись, оживленно продолжал: — Пава, не вноси эти тряпки в дом, брось куда-нибудь, лучше сожги, а нам поскорей дай горячей воды! Надо помыться и переодеться во все чистое... Его во что-нибудь закутаем, пока сошьешь ему хоть рубашонку... А ну давай, Пава, принимайся с богом!

1928


Перепелка
в
руке

Драголюб и Драгомир

На детский крик выскочила из дома молодая женщина в желтой македонской шали на голове.

— Ты что, уснула? Что не смотришь за малым? Опять твой щенок его дразнит? Что тебе велено? К ребенку ты приставлена! Сидишь целый день сложа руки!

— Да нет!.. Это он от злости орет, хочет моего камнем по голове, а мой не дается,— тихо оправдывается вторая женщина и протягивает руки, пытаясь разнять двух ребятишек, набросившихся друг на друга.

— Ну, ну... У него котелок твердый, не бойся, не убьет его мой Драгомир. Играет дите.

Сдерживая волнение, женщина понуро молчит и оборачивается к детям. Левой рукой она обнимает своего рослого и крепкого мальчугана, а правой берет за локоток второго, крохотного и слабого. Его грязным кулачком, в котором зажат обломок кирпича, она пытается погладить своего сынка:

— Это же твой братик, не надо бить братика, давай лучше погладим его по-хорошему, братика нашего!

По целым дням вынуждена она вот так ползать на корточках, прыгать, гоняться за ребятишками. Ни на минуту не может выпустить из виду своего озорника — того и гляди ущипнет или повалит вечно плачущего двоюродного братца. Часто и нечаянно — очень уж они не равны по силам. Стоит увлеченному игрой ее Драголюбу, который крепче, в два раза выше и в сто раз жизнерадостней своего брата, схватить его — как тут же раздается писк. Господи боже, каждая мать болеет за свое дитя, и несчастная Марина понимает, что ее сноха имеет все основания быть и чувствительней и ревнивей, чем другие. Ведь надо же, такая красавица, не женщина — огонь, жена такого богатого человека — брат Марины торговец-ба-

калейщик,— а этакого замухрышку родила. Голова огромная, а личико с кулачок, шелудивое, сморщенное, словно он переболел рожей, живот вздутый, а ножки тоненькие, слабые, кривые. А ее Драголюб — румяный, плотный, будто его песком набили. Скажи ему — притащит и подаст и топор и утюг, как пятилетний, а ему только что сравнялось два с половиной. Вон и господин чиновник, что живет напротив, и господин капитан сверху, и барышня-телефонистка — все ему улыбаются, ласкают, шутят с ним. Он всегда чистенький, даром что станет посреди улицы и давай сыпать себе на голову пыль, а то засунет мордашку в арбуз, выест сладкую мякоть, и потом наденет корку на голову, как пожарный шлем. А бедняга Драгомир ползает за ним, будто моржонок, и до того замусолит на животе рубашонку, что она вся заскорузнет от грязи, потому никому и не приходит в голову погладить его, а тем более взять на руки да подбросить вверх, как это часто проделывает с Драголюбом трамвайный кондуктор — пусть, мол, мальчонка подует на фонари, на звезды и на луну. Марина же совсем некрасивая, она и сама, смущенно улыбаясь, это признает, когда соседи, простой люд палилулской окраины, вслух дивятся, что она такого красавца мужа отхватила. И может быть, как раз от полноты своего счастья, а не только из-за того, что быстро разбогатевший брат приютил их, троих голых и нищих гостиварских крестьян, разрешив им даром жить в своем сарае, пока ее красавец не заработает на свой собственный кров, может быть, поэтому и сама мать частенько шлепает своего разбойника и непоседу и заставляет его сносить тумаки богатого родственника и уступать тому лучший кусок. Тем более, что Драголюб присядет потом возле хозяйской собаки и выбирает из ее миски фасоль и все равно растет и крепнет, а Драгомиру и мать и отец насильно впихивают в рот лакомые кусочки, и упрашивают, и уговаривают, а все не в коня корм.

Сноха уже подошла к двери, намереваясь вернуться в лавку, как снова послышался крик ребенка. Пока мать насильно гладила его братовой рукой, Драголюб вывернулся и вцепился в брата, чтобы отнять у него драгоценный обломок кирпича. В борьбу и возню детей вмешалась жена бакалейщика и, вне себя от ярости, схватила сына на руки, отняла у Драголюба красный кусок шершавого кирпича и как следует стукнула им мальчонку по голове.

— Бандит, разбойник! Хорош красавчик, весь в папку!

— Не смей мое дите бить! Я — могу, мой он, могу его и ударить, слава богу — здоровый и крепкий!.. Не то что твой — дунешь, и развалится! — неожиданно прошипела Марина каким-то необычно тонким голосом, почти шепотом, поднимаясь и натягивая шаль на побледневшее лицо, и закончила гордо: — И моего мужа не замай, запомни это хорошенько, сношенька!

Сноха, подойдя к двери, выпрямилась. От ее надменного крика ребенок на руках затих, позабыв о своем маленьком горе.

— Посмотрите на нее, подумаешь, госпожа каменщица!.. Вы в чьем доме живете?.. Убирайтесь, если тебе не по вкусу, постройте свой и живите, как хозяева!

— Если мы не в своем доме, так и не в твоем, у моего брата и у его дяди живем. Пусть мы в чужом доме, опять же не в Африке. Не рабы!

И Драголюб замолк от непривычного материнского голоса, ухватился за юбку, тогда она подняла его вверх — одновременно защищая и гордясь сыном:

— Вот будет хозяин дома. У нас есть для кого строить и для кого наживать, а у тебя хоть всего полно, да этот твой хиляк все растратит на адвокатов и на суды... Еще и на виселице кончит!

И тут, сощурясь от злости, разъяренные женщины оставили детей и бросились врукопашную.

— А кто виноват, сношенька, а?! В девках надо было себя получше блюсти, вот и родила бы такого сына, как я... Всем ты красавица, а для сына — нехороша, а я вот уродина, а опять же мужу моему и сыну — хороша!

Когда сбежались соседи, чтобы разнять их, вышел из лавки и сам бакалейщик:

— А ну, домой, дуры полоумные! А где дети, дети где?

Женщины, словно опьянев от ярости, стали оглядываться по сторонам.

Драголюб и Драгомир сидели на корточках возле колодца, и Драголюб стучал тем самым кирпичом по камешку. Видно, воображал, что колет орехи. Женщины, у которых все еще внутри кипело, сердито схватили каждая своего сына и потащили их в разные стороны. А ребятишки, уловив намерение матерей, потянулись друг к другу и, перевесившись через материнские плечи, махали ручонками.

1931

Даже имени его не знаю

Я заблудился в лесу. Ранним утром я отбился от своих — опротивело месить густую липкую грязь, которая покрывала дорогу, огибавшую подножье лесистой горы, и я решил идти напрямик по сухому мягкому предгорью и добраться до лагеря первым. Редкий лес просматривался насквозь, да гора была не такая уж крутая. К тому же мне хотелось побыть одному.

Но вот уже четыре часа, а лес все не кончается. Неужели я незаметно сбился с пути? Уж не хожу ли я по кругу? А вдруг я ушел в сторону, за линию фронта? Неизвестность камнем ложилась на сердце и все больше угнетала меня, усиливая жажду, голод и усталость. Солнца не было, но все пространство между оголившимися ветками заливал молочный свет, проникавший сквозь ровный слой облаков. Что будет, если вдруг упадет туман или меня, усталого, сбившегося с пути, застанет здесь холодная осенняя ночь?

За эти десять часов никто мне не встретился. Утром неподалеку прошли несколько солдат, хрустя ветками и весело перекликаясь, как всегда, когда войска продвигаются вперед, а неприятель поспешно отступает. Тогда я еще притаился, присел на поваленное дерево, пока они не прошли. Какое наслаждение идти в одиночестве по осеннему лесу, по чудесной дубраве вдоль Дрины, о которой и не скажешь, молодая она или старая. Стройные дубки перемешались с древними дубами и буками, здесь и там беспорядочно чернели высокие пни, из которых выбивались молодые побеги. Множество срубленных деревьев остались неубранными и покрылись влажным заплесневелым лишайником. Пахло осенней лесной сыростью, так отличающейся от летней или весенней, когда толстый слой гниющей палой листвы оживляют мох, гри-

бы и свежая трава. Что-то пресное, усыпляющее, мертвое было в этом запахе.

Страх, тоска и угрызения совести, что я бросил товарищей, увеличивали физические страдания. Внимательно наблюдая за собой, оценивая свои силы, я вдруг заметил, что учащенно дышу,— пока это был предвестник душевной слабости, а она, конечно, обессилит меня физически еще больше. Несколько раз я останавливался и слушал. Ни звука, ни голоса. Птицы улетели, ласки спрятались в дупла, а змеи спали где-то под листьями. Даже вой волка, наверное, так не пугал бы меня, как эта могильная тишина. Может быть, было бы легче, если б деревья шелестели зеленой листвой, если б они были усеяны гнездами, а по коре ползали злые муравьи, если бы не было так просторно между стволами, и я бы не отшатывался от каждого куста? Неужели просторная темница страшнее тесной, а лабиринт в огромном мифическом дворце страшнее узкой мрачной пещеры? Под конец я уже потерял всякий стыд; еще немного, и я начну кричать и звать на помощь.

Но тут, слава богу, послышались глухие шаги: кто-то ступал по сырым листьям, как по намокшей губке. Не заблудившийся ли вражеский солдат? Вряд ли, тот шел бы крадучись, останавливаясь. Вероятно, крестьянин-дровосек или женщина, собирающая хворост. Только бы не свернули вправо!

— Э-гей!

— Эй!

Солдат! Сейчас он мне дороже родного брата.

Он шел прихрамывая, невысокий, худощавый, в короткой шинели с обтрепанными полами, икры ног толстые, видно, из-за двойных обмоток. Подойдя ближе, он не стал меня разглядывать, но словно вздрогнул и, теребя ремень винтовки, поправил белый обвисший мешок.

— Здорово!

Мы пожали друг другу руки, он заглянул мне в глаза и сразу понял, что произошло со мной и что происходит во мне. Опустил голову, оглянулся и сел на первое попавшееся поваленное дерево.

— Присядем, приятель!

Он произнес это тихо, просто, потом сдвинул со лба пилотку и, вздохнув, опустил мешок между коленями, попрежнему не подымая головы. Я замер и вдруг почувствовал, как меня оставляют силы. Солдат показался мне таким добрым и милым, что я с трудом удержался от

каких-то глупых слов и слез. Я неловко сел, почти упал с ним рядом.

— Видать, заблудился, приятель? Бывает, случается, когда нет привычки, как у нас, крестьян.

— С самого рассвета... никак не могу выбраться из этого проклятого леса... А хотел напрямик пройти,— отвечал я, ничего не поясняя и не выражая удивления: как он все сразу понял, ведь он на меня толком и не взглянул.

— Ха, знаешь, как говорится: напрямки ездить, дома не ночевать! — Он улыбнулся, медленно поднял голову и еще больше понизил голос: — Ты, видно, есть хочешь, раз мешка даже не припас, а здесь и воробья не подстрелишь.— И он тут же запустил руку в свой мешок.

— Спасибо, спасибо,— заторопился я,— к ночи доберемся до лагеря. Пить страшно хочется.

Он посмотрел на меня с добродушной насмешкой.

— Да, понятно, вы без колодца никуда! А знаешь,— он протянул мне фляжку и вновь полез в мешок,— нам в лесу никакая жажда не страшна.— Он вытащил ком белой мамалыги.— Вот, больше нет ничего, возьми, подкрепись малость. По пути что-нибудь раздобудем, там пастухи есть и свинари.

Я с волнением отказался — неужто я у него отниму последнее! Но он серьезно посмотрел на меня:

— Бери, когда говорят... разве ты бы со мной не поделился, если б нашел, как я тебя?

Я, пристыженный, взял мамалыгу, а он помолчал и заговорил как бы про себя, словно стараясь заполнить время, отвлечь меня от мыслей и заглушить мое животное чавканье.

— Мы-то, крестьяне, рождены для этой собачьей жизни... В школе, ей-богу, ручка мне была тяжелее лопаты, а в казарме в Крагуеваце, ты не поверишь, воздуха не хватало, задыхался, на учении голова кружилась, руки и ноги будто ватные. А уж в суде — мы судились по задружным делам — в ушах звон, обливаюсь потом, ничего не понимаю, подписал бы и смертный приговор. А вот на турецкую войну пошел, правду тебе говорю, как на свадьбу. Ни жажды, ни голода, спал где придется, хоть рядом пушки бьют. И голову сберег. Это, конечно, божья воля, но я и сам умел вмиг спрятаться за первым кустом, и не настигни меня болгарин в той ночной атаке, я бы теперь с немцем по-другому воевал.

Я взглянул на него сбоку — не знаю, можно ли его

отнести к динарскому типу, которым так интересуются ученые. Ничего орлиного, ничего жесткого, застывшего, твердого. Он значительно моложе меня, но с первого взгляда кажется старше. Лоб в морщинах, глаза светло-карие, взгляд спокойный, сдержанный, не любопытный. Нос длинный, на конце мягкий, приплюснутый, усы рыжеватые, редкие, только в углах рта погуще, так что хорошо видны скорбно сжатые губы. В целом лицо внимательное, вдумчивое. Я слушаю. Он говорит на своем южном диалекте. Странно, что он ни о чем не спрашивает, даже из какой я части.

— Ну, спасибо... просто не знаю, как тебя благодарить! — сказал я наконец, а он только шевельнул бровью, даже не отмахнулся.— Возможно, ты меня не поймешь, но я только на этой войне увидел, чего стоят наши крестьяне.

— Эх, братец, ты так думаешь? Все мы так — всегда кажется, что где-то там, за чужим забором, на чужом дворе, по-другому... А дети у тебя есть?

— Нет у меня ни кола ни двора... Мы, горожане, все такие, прячемся от жизни, все что-то измышляем, будто это так уж важно, все боимся, что, не дай бог, помешают, будто в этом спасение народа... а вот, видишь, чуть не подох от голода и жажды, себе самому не смог помочь...

— Да тут нет ничего хитрого, все просто. Пчела находит дорогу к улью из лесной чащи, а медведь, как вылезет весной из берлоги, прямиком идет к воде... Это все пустое...

— А у тебя, верно, жена, дети, да с гектар земли, и свой дом, и участок в лесу, или если, дай бог, вы еще сохранили задругу, так вместе, по-братски, трудитесь и живете! Вот это и есть настоящая жизнь, вам можно позавидовать.

Солдат минуту помолчал, выдохнул дым и со сдержанной строгостью ответил:

— Никогда никому не надо завидовать. Ни царю, ни богачу, ни старому мудрецу, ни глупому ослу!.. Ну-ка, пошли, что ли, может, еще засветло найдем твоих! — проворчал он и скорее грустно, чем недовольно, прервал разговор.

Я пошел рядом, доверчиво, как ребенок, готовый взять его за руку.

Через несколько минут мы оказались на широком, поросшем травой пригорке. Далеко перед нами словно

подымался пар — видно, там внизу текла речка и вдоль нее шла тропа. Сквозь тонкую пелену вырисовывались горы — покрытый темным холодным туманом Медведник. Резкий ветер колол иголками, огромная беззвучная даль без сел и людей заставляла напрягать слух, минутами даже казалось, что где-то кричат, вроде зовут кого-то по имени. Я быстро оглянулся — никого. Искоса посмотрел на солдата — он спокойно шагал рядом.

Вдруг он остановился и показал пальцем:

— Ну-ка, окликнем ее.

Голос его мне показался далеким, он не доходил до меня, будто я оглох. А вдали, действительно, стояла, словно дерево, женщина.

Мы свернули к ней. Подошли. Женщина смуглая, неопределенного возраста, скорее молодая, стоит, придерживая передник.

— Что там у тебя? — спросил солдат и посмотрел на меня.— Мы заплатим.

Женщина отвернула передник.

— Вот, больше ничего нет. Возьмите, за что тут платить, ешьте на здоровье!

Сушеные сливы и сморщенные дольки груши.

Я порылся в кармане, достал динар. Она взмолилась:

— Что ты, солдатик, грех брать у вас деньги за это.

— Да не за это, возьми для детей... У тебя есть дети?

— Трое, славу богу! — И она взяла деньги.

— Ты из какого села, сношенька?

Женщина отвечала солдату, украдкой поглядывая на меня.

— Из Церовы, это там, под горой.— Вдруг она таинственно оглянулась и взволнованно прошептала: — Что я вам скажу!

— Что? Ну-ну, говори,— подбодрил ее солдат.

— Только не срамите меня!.. Там, в хлеву, ихние раненые... Умирают! Оставили подыхать, несчастных, а ведь их тоже мать родила... В селе я пикнуть не смею, а ведь у меня тоже солдат, мне жалко, ты понимаешь... Так я, значит, к ним хожу, то воды принесу, то еще чего... Но что я, женщина, одна могу... Страшно глядеть, как они погибают!..

Видя, что мы внимательно слушаем, она воодушевлялась все больше. Загоревшиеся маленькие серые глаза смотрели пронзительно, чувствовалось, что она ловит каждый наш взгляд.

Солдат решительно посмотрел на меня:

— Пошли!

Женщина вскинулась, бросилась со всех ног вперед.

— Доброе дело сделаете, люди божьи, тут недалеко, сразу за этим склоном.

В лощине на лугу стоял плетеный овечий хлев.

— Два дня вот так ожидаю солдат, нашим не решаюсь сказать, а ихние — им горя мало, накажи их бог!

Хлев был низкий, пришлось нагнуться, чтобы войти. Она вошла первой. В мирное время человек тут же на пороге, еще ничего не видя, упал бы в обморок от страшного зловещего смрада. Слышались стоны, бессвязный бред. На соломе, загаженной скотом и людьми, лежало пятеро солдат. Один дотащился до плетеной стены и сидел, мотая головой из стороны в сторону. Видно, так ему было легче или он хотел отделиться от скрюченных, окоченевших соседей. Один из них лежал, скорчившись, на боку, второй — на спине, с согнутыми коленями и запрокинутой назад головой в почерневших бинтах. В другом углу двое, не обращая друг на друга внимания, стонали и бормотали что-то по-немецки.

Тот, что прислонился к стене, сразу нас увидел. Черными красивыми остекленевшими глазами уставился на женщину.

— Сношенька, воды! — Он был хорват.

Она взяла в углу кувшин и подошла.

— Этот вроде бы наш... Не надо, брат, много, нельзя... А что те бедняги говорят, я не понимаю.

Окровавленные голени хорвата лежали словно чужие, а оба немца, кажется, были ранены в живот.

— Не знаю, что делать, горюшко мое... Одной ни покойников вынести, ни этих выходить... Помогите, солдатики, коли вы христиане.

У нас обоих мелькнула одна мысль. Солдат шумно вздохнул и заскрипел зубами. Лицо его исказилось.

— Как же их свои-то оставили, мать их! Давай, бога ради, хоть этих двоих уберем.

— А ты можешь по-немецки? — спросила женщина снаружи.

— Знаешь,— вспылил вдруг солдат,— им не до разговоров, лучше принеси воды и молока да скажи людям в селе, скажи — божье это дело, и мертвых пусть похоронят... Ведь и наши там, у них, тоже помирают. Давай, давай, ступай скорее.

— Правда? — почти крикнула женщина, и на глазах у нее заблестели слезы.— Вы только не уходите, я мигом, здесь близко, ей-богу, я сейчас...

Вдруг солдат выпрямился, нахмурился, словно нашел выход.

— А вот они! Погоди здесь, приятель...

И побежал туда, где на краю лощины показались голубые мундиры.

Я видел, как он их остановил, загородив дорогу. Были слышны отрывистые, все более громкие выкрики. От толпы отделился пожилой сербский резервист в меховой папахе. Мой солдат взмахнул руками, оглянулся и быстро скинул винтовку. Я не выдержал и, не размышляя, поддерживая ремень на плече, побежал к нему.

— Послушай, друг, ты знаешь, что такое приказ? Мне велено доставить их в Крагуевац. Я не могу останавливаться, разве что на короткий привал,— отечески, сдерживая злость, пояснял пожилой.

— Снимай винтовку, стреляй, кто-нибудь да сложит голову, так не уйдешь! — прохрипел солдат.

— Мы не санитары, мы пленные! — крикнул кто-то из толпы.

— Гони этих скотов,— приказал солдат, а когда, не оглядываясь, почувствовал, что я стою рядом с винтовкой наперевес, резко приказал: — Вперед!

— Господи боже, да это насилие, а я потом отвечай!

— Вперед!

Наконец конвоир стал рядом с нами, и солдат, больше не глядя на него, скомандовал:

— В хлев, бегом марш!

Пленные заволновались и, когда те, что поняли приказ, побежали, остальные, толкаясь, поплелись за ними.

Разобравшись, что от них требуют, пленные стали роптать:

— Сами еле тащимся, носилок нет...

Один из них начал ссылаться на какие-то военные правила. Конвоир молчал, тихонько вздыхая про себя. Но солдат вспыхнул, его передернуло, резко обозначились скулы, глаза исчезли под бровями и ресницами. Слова вылетали резко, как ругательства. Он щелкнул затвором винтовки.

— Всех перебью как собак!.. Ты... заходи справа! — Я повиновался.— Вытаскивайте колья из хлева... Чего стоишь, мать твою, тащи, когда приказывают! И эти мерт-

вые, и эти мертвые, всех забирайте, ваши они или нет?.. Да как несете, морду разобью! Ты там, гляди, не то сам на носилки ляжешь!.. Вот так, а ты, дядя, если что — прикладом их, и пусть несут по очереди до первой перевязочной! Вот так! Ступайте с богом!

На косогоре он еще раз оглянулся, и, увидев, как они удаляются со своей ношей, еще не остывший, злой, перебросил винтовку и сплюнул:

— Скоты!

Потом уже на дороге, увидев вдалеке лагерь, наконец обратился ко мне:

— Вот как приходится, раз не хотят по-человечески! — И, успокаиваясь, сказал уже своим обычным мягким тоном: — Тебе, приятель, теперь направо, там своих и встретишь, и Завлака неподалеку, до ночи поспеешь... А я пойду напрямик, мне на Костайник... Ну, будь здоров!

— Дай бог снова встретиться, чтобы я мог тебя отблагодарить... когда все это кончится!

Солдат пожал мне руку и уже издали крикнул, засмеявшись в первый раз:

— Может, и встретимся, кто знает!..

1933

Бацко и его сестренка

Принесли как-то травницкому жупану пастухи двух косуль. Самца и самочку. Он был поменьше, даром что оба были еще пушистыми сосунками. Вначале безмолвные, пугливые и дрожащие, тесно прижавшись друг к другу, они прятались в густых зарослях старого сырого сада. К жупану, правда, привыкли скоро. Со временем, когда они сменили детское одеяние на прекрасную лоснящуюся шерстку с зеленовато-серым отливом, перешли на сено, траву и даже научились подбирать с жупановой ладони кожуру груш, яблок, лепестки роз, по зову своего опекуна и покровителя они стали выходить и к гостям. Но если жупана не было, косули, едва завидев кого-нибудь из прислуги или ежедневно приходивших чиновников, неслись как оголтелые в глубину сада.

Она, видимо, была чуть постарше, так как быстрее росла и лучше развивалась, однако благодаря мужскому превосходству имя получил только он, и их маленькая семейка звалась его именем, она же так и осталась «его сестрой» или «Сестренкой». Впрочем, кровь заволновалась в Бацко раньше. Жупан, который неустанно заботился о них и наблюдал за развитием их характеров, быстро заметил, как братское, еще детское заигрывание, баловство и нежность Бацко переходят в ухаживание, грациозное и грубое в одно и то же время.

Еще недавно они жили в согласии: вместе кормились, тихо, блаженно жевали жвачку, играли. Никогда не толкали друг друга и не ссорились. Прелестные узкие черные мордочки одновременно ложились на жупанову ладонь, щекоча ее своими теплыми языками, и если один успевал подобрать все, другой подхватывал последний колосок прямо изо рта у своего товарища, а тот ничуть на это не обижался. Покончив с угощением, они разом отска-

кивали и мчались через кусты рядом, голова к голове; столкнувшись, косули мгновение как бы удивленно смотрели друг на друга круглыми, совершенно черными блестящими глазами, а затем снова взлетали на задние ноги, с размаху бросались на передние, вертелись волчком; только и было видно, как сверкали черные глаза, лакированные копытца и влажные мордочки да белели ягодицы и хвостики. Потом они вдруг останавливались где придется, вытягивали шеи и тихо шли навстречу друг другу, точно хотели спросить о чем-то. Скрещивали головы, подгибали колени и ложились. И лежали так по часу, изредка поводя ухом и непрестанно двигая челюстями.

Но однажды — произошло это неожиданно — заигрывание Бацко перестало быть детским и невинным. Он больше не дергал Сестренку за крупное воронкообразное ухо, подобно тому, как мальчишки таскают после уроков за косички девочек, не гонял ее вдоль ограды, как сорванец, который впряг за неимением товарища в веревочные вожжи соседскую девчонку, а та брыкается и ржет, подражая настоящей лошади. Бацко стал беспокойным, нервным и злым. Настроение у него менялось внезапно: то, полный нежности, он терся головой о ее бок или целовал в лоб, расчесывая языком шерстку на пробор, то вдруг отскакивал и издалека, вытянувшись, дрожа от возбуждения, шаг за шагом приближался к ней, хватал зубами тонкую, как смычок, ножку и долго не отпускал ее, а то, разбежавшись, ударял ее набухшим теменем, на котором, как гиацинты весной из горшочка, пробивались рожки.

Вначале Сестренка, казалось, не замечала ни преувеличенной нежности Бацко, ни его оголтелых выходок. Устремив взгляд в пространство, она позволяла ласкать себя, сколько его душе угодно, а когда он бил, кусал или наскакивал на нее сзади и пытался забросить ей на спину передние ноги, всем своим видом спрашивала: «Что это с тобой? Да оставь ты меня в покое! Я не хочу так играть!» — а затем отскакивала в сторону и, сделав в воздухе пируэт, на манер балерины, пускалась наутек: «Братец не в себе!» Она мчалась галопом, неслышно лавируя между ветвями; маленькая мошенница не сознавала, как она при этом хороша и обворожительна. Ее трепетная шея, устремленная вперед грудь, тугой живот, вытянувшийся в струнку округлый корпус, все ее легкое, чистое, ловкое тело, парящее в воздухе, как видение, еще сильнее очаровывало и распаляло Бацко.

Он нагонял ее, страсть разгоралась пуще прежнего, но она — с чисто женской мудростью и лукавством — вдруг становилась покорной, и тут же вновь ускользала, как только он поворачивался и отбегал в сторону, готовясь к новой атаке.

Дойдя до изнеможения, они с трудом переводили дух, жилы вздувались, бока ходили, как кузнечные мехи. Она хоть оставалась сухая, а он, бедняга, взмокал до черноты, изо рта выбивалась пена, глаза застилала слеза. Его хрупкие ножки с нежным, словно на молодом колосе, завитком сустава дрожали, как на морозе. Сестренке, более сильной, здоровой и уравновешенной, делалось жаль его, она подходила к нему и обдувала его своим теплым дыханием. Это успокаивало Бацко, и они опять по-братски прижимались друг к другу, склоняли головы, закрывали глаза и засыпали сном младенцев...

Однако спокойствия Бацко хватало ненадолго. Чуть отдохнув, он принимался за свое. И теперь даже за едой, нимало не смущаясь присутствием своего покровителя. В то время как Сестренка день ото дня круглела, он худел, ребра выпирали все заметнее, мордочка становилась меньше, только рожки росли да росли и глаза все увеличивались и все ярче блестели. Теперь она не просто убегала, но и защищалась. Драться, правда, не дралась, однако лоб подставляла частенько. Да и он уже не накидывался открыто, а старался обмануть ее бдительность, после чего опять начиналась беготня и увертки.

Совсем потерял голову Бацко, ничего перед собой не видел. В кровь ободрался о ствол голубой акации и пламенел, как та же акация в апреле. Наконец однажды, совершенно ослепленный, налетел на дощатый забор, и его так неудачно отбросило, что передняя ножка хрустнула, будто стеклянная. Сгоряча он не почувствовал боли и пустился было скакать дальше, но в то же мгновение упал и забился. И тогда в первый раз неожиданно раздался его громкий, отчаянный крик. И сразу стало ясно, что он еще ребенок, маленький и несмышленый.

Сестренка тоже перепугалась. Словно и она только сейчас поняла, что это уже не невинная забава, а настоящая трагедия. Сторожко вытянув шею, она медленно приблизилась к нему и, пока не подоспели люди, лизала его переломанную ножку. На руки к жупану Бацко пошел покорно и доверчиво, как ребенок, которого отец ведет к «дяде доктору». А доктор сделал то, что он сделал бы,

если б к нему привели влюбленного гимназиста, неловко выпрыгнувшего из «ее» окна. Промыл рану, вправил кость, наложил тонкую шину и сделал перевязку, сопровождая все эти манипуляции докторской воркотней по поводу безрассудства и сумасбродства молодости. Во время операции страдалец не вырывался и не брыкался, был тих и покорен и даже перестал плакать и, только когда было особенно больно, дрожал всем телом, а в испуганное черное подглазье скатывалась крупная слеза.

Недели две он был спокоен, боязливо и осторожно поднимался и учился ходить на трех ногах, медленно, страшась коснуться перевязанной онемевшей ногой земли или задеть за какую-нибудь ветку. Подруга была не в силах ему помочь, но с чисто сестринским участием не покидала его ни на минуту. Однако молодые кости быстро срастаются, а молодая память забывчива. Дней через десять он снова прыгал вокруг Сестренки. Немного неуклюжий на трех ножках, но жизнерадостный и неистовый, как прежде.

Но она стала еще более нетерпимой. Хотя, по правде говоря, Бацко теперь не мог слишком ей досаждать. Достаточно было им сделать несколько прыжков, и он безнадежно отставал. То ли его домогательства казались ей, здоровой и крепкой, смешными, то ли благодаря несчастному случаю она, раньше беззащитная, сравнялась с ним силами и наслаждалась борьбой. Разве поймешь душу женщины!

Она стала пускать в ход и рожки и зубы, а когда он терял голову и шатался, она, выделывая вокруг него безумные прыжки, исполняла танец Саломеи, точно хотела причинить бедняге как можно больше страданий.

Когда сняли повязку, Бацко долго еще не решался ступать на больную ногу и едва касался земли носком копытца. Она же совершенно открыто издевалась над ним. Лишь только он, усталый, пригорюнится и глубоко задумается, она принималась его дразнить. Носится и прыгает вокруг него, больного и беспомощного, и с презрением отталкивает его. Взберется на каменную ограду, окружающую сад, и оттуда, с довольно-таки большой высоты, прыгнет, вытянувшись в полете, и твердо встанет на ноги. Будто чувствуя, что там, за стеной, зеленые просторы, горы и дубравы, она то и дело, опершись передними ногами о стену, раздувала ноздри и втягивала воздух с той стороны.

А Бацко в конце концов она и вправду возненавидела. Не помогло ему и то, что, осмелев, он встал на четыре ноги и носился, как и до болезни. Лишь при жупане, когда он кормил их, она вела себя пристойно и разрешала Бацко подходить к себе, все же остальное время кидалась на него, била, толкала и снова убегала; измучившись сама, она доводила и его до изнеможения — он бессильно валился на землю, опуская голову меж ног, как кутенок. Жупану нравилась их игра, но мало-помалу его начала злить эта неистовая девица: по понятной мужской солидарности он держал сторону Бацко.

Раньше они хоть ночью, в противоположность людям, утихомиривались и забирались под навес в углу сада. Но когда наступили лунные майские ночи, то и в ночной тишине стали слышны их беготня и возня.

И прежде чем жупан осуществил свое намерение с вечера запирать их в гараж, произошло несчастье. Однажды утром Бацко нашли на ограде повисшим между кольев и задохнувшимся, а Сестренка исчезла, умчалась неизвестно куда. Если по дороге ее никто не поймал и тайком не заколол или не растерзали пастушьи собаки, она, должно быть, добежала до леса, где жили сильные, отважные и, на ее взгляд, более красивые козлы, чем горемычный инвалид Бацко.

Жупан был вне себя от ярости. Он распекал сторожей за то, что те не слышали, как бился Бацко между кольев, не заметили таинственного побега Сестренки. Даже приняв во внимание безрассудную страсть распалившегося сердца, невозможно представить, что она перелетела через стену. Вероятнее всего Сестренка перескочила забор, вспрыгнула на крышу гаража и уже оттуда взобралась на каменную ограду...

Прошло время, и от Бацко остался лишь коврик перед постелью жупана да вот этот рассказ.

1933

Чубура — Калемегдан

Кажется, вдалеке кто-то кричал и размахивал раскрытым зонтиком, и правда, трамвай, только что тронувшийся со своей конечной остановки в Чубуре, снова зазвонил, скрипнул тормозами и стал замедлять ход.

Сквозь мокрые стекла окон, изборожденные струйками дождя, в которых холодным осенним фейерверком поблескивали огни уличных фонарей и освещенных витрин, пассажиры увидели даму. Ожесточенно воюя со своей длинной юбкой и зонтиком, она пыталась взобраться на высокие, грязные ступеньки вагона и раздраженно выкрикивала:

— Как будто не видите, что я иду? Что за невнимание? Ну помогите же мне хоть войти!

Отменная внешность дамы произвела впечатление и на пассажиров и на кондуктора. Угрюмый вожатый проворчал что-то нечленораздельное, в то время как несколько рук тотчас протянулись к даме, помогая ей войти в вагон. Тяжело дыша, она кивнула головой, протолкалась вперед и села на первое и единственное свободное в вагоне место. Она поправила свой туалет, отодвинула подальше от себя мокрый зонтик и принялась было равнодушно рассматривать своих ближайших соседей, но вдруг нахмурилась и, несколько раз нетерпеливо оглянувшись на дверь, обратилась к сидящей напротив нее девушке, которая зябко куталась в вытертую лисью горжетку:

— Барышня, прошу вас, закройте дверь, ужасный сквозняк!

Девушка невольно повиновалась и безмолвно вернулась на свое место.

Когда дама усаживалась и расстегивала ворсистый скунсовый воротник, от ее серого, сшитого из блестящего персидского каракуля манто заструился, разбуженный

влагой, тот особенный тонкий аромат, что годами накапливается в одежде от смешения разных духов. Заинтересовавшись, многие оборачивались в ее сторону, и она встречала эти взгляды без надменности, но вполне равнодушно и безучастно. Сидевшая напротив девушка из-под полуопущенных ресниц рассматривала даму и скоро изучила ее до мелочей. Ее женский глаз сразу отметил, что это «настоящая госпожа», у которой все настоящее, изящное и дорогое от ручки зонтика до тонкого вышитого платочка. А какое же должно быть у нее белье? И сколько ей лет? Наверно, больше, чем можно дать, глядя на ее холеное и довольное лицо. По тому, что шапочку из черных перьев она надела не так, как носят сейчас, по несколько широковатой юбке, слишком тесным перчаткам и по привычке густо пудриться можно было заключить, что эта дама прошлого века. Всякая пожилая женщина в манере одеваться и вести себя всегда сохраняет что-то из того, что было модным в пору расцвета ее красоты и успехов. Девушка незаметно подтолкнула локтем сидевшую подле нее пожилую женщину, вероятно, мать; та рассеянно обернулась, и она глазами показала ей на элегантную спутницу. И пока дама покупала билет и напоминала кондуктору, чтоб тот не забыл затворить за собой дверь, девушка шепнула:

— Узнаешь?

Старая женщина в нескладном и поношенном пальтишке, несомненно лет десять назад принадлежавшем ее дочери, в шерстяном платке, обмотанном вокруг шеи, и небрежно надетой на голову шляпе из невообразимо вытертого бархата прищурилась, заморгала своими красными, лишенными ресниц веками и покачала головой.

Госпожа со скунсом интуитивно почувствовала их внимание, поспешно засунула деньги, билет и платок в ридикюль с черепаховым замком и бесцеремонно оглядела соседок. Сначала младшую, потом старшую. Взглянув на эту последнюю, которая снова отвернулась к окну, блуждая мыслями где-то в дождливом вечере, она вдруг насторожилась, глаза ее широко раскрылись, а нос и губы словно затрепетали от неожиданности и любопытства.

— Извините, сударыня! — решительным голосом проговорила дама.— Вы случайно не Милева Йованович, по мужу Радулович?

Старая женщина вздрогнула, полуоткрыла рот и, с недоумением глядя на элегантную даму, нервно провела

скомканным носовым платком по длинному, словно смерзшемуся носу и острому подбородку.

— Да, вы правы, это я, кажется, и я вас...

— Неужели ты меня не узнаешь, Милева? — с высокомерной улыбкой перебила ее дама.— Я Катарина Павлович, жена Стевы Майстровича, торговца. Разве ты меня не помнишь?

— О, как не помнить? Прости, я ведь уже почти совсем слепая...— И, не пускаясь в дальнейшие объяснения, она попыталась изобразить на своем огрубелом лице подобие тех изящных и любезных улыбок, какие были в ходу у женщин лет тридцать назад.

— А эта барышня — твоя дочь? — продолжала уже более ласково госпожа Катарина.— Очень приятно... Это твоя младшая, Ольга, кажется? Ровесница моей Даны. Очень приятно... О боже мой, сколько же лет мы не виделись? Ты ведь, помнится, вышла замуж сразу после монастыря и из гарнизона в гарнизон... Что поделаешь, жизнь, семья, у каждого свое... Вначале я время от времени разузнавала о всех наших подругах, где кто, как живут, а потом... Ты ведь давно осталась без мужа, мне кажется? Уж не помню, читала я об этом где-то или слышала... Ведь и сын у тебя был офицер, и...

— Сыновья, моя милая,— прервала ее вторая глухим голосом,— два моих сокола погибли... После Павла осталось двое внуков, сноха-то ведь тоже умерла во время оккупации. А мой добрый Ратко умер в Нише от холеры еще в тринадцатом... Так вот я и осталась с дочкой да двумя мальчуганами... Не будь ее, не знаю, как бы я их и выходила... Да, ютимся мы все здесь, на Душановаце, и... Что говорить, сама можешь представить, каково мне... Только бы она была здорова. Да вот все болеет, везу ее сейчас к одной русской докторше... Знаешь, трудная у нее работа — по охране детей...

— О, со здоровьем шутить нельзя, барышня... Требуйте отпуск и куда-нибудь на море — отдыхать!

Девушка сверкнула глазами и еще глубже уткнулась в свою лисицу:

— Это просто сказать!..

— Разве можно так! Вы, теперешняя молодежь, ужасно легкомысленны... Здоровье прежде всего!

Девушка едва сдержалась, чтобы не сказать ей грубость, и отвернулась, делая вид, что смотрит в боковое окно.

— Одно горе, Катарина милая...

— Э-э, горе!.. У каждого свое горе! Вот я тоже не знаю сейчас, куда и кинуться... Просто с ума можно сойти!.. Моего Миодрага вот уж два месяца как перевели из Сараева сюда, в генштаб. Это еще ничего! Но хороши же законы в этой стране! Во времена австрийцев в нашем доме поселился один профессор,— с нашего согласия, конечно, чтоб не реквизировали имущество,— а теперь, прошу покорно, не хочет выезжать... Пусть, мол, мы найдем ему другую квартиру! И поэтому мои дети должны скитаться где попало! Не можем же мы все забиться в эти три комнаты и ходить друг у друга по головам... Ужасно! Все мои вещи, чудная итальянская мебель, по чердакам и подвалам: если так будет продолжаться, все попортят мыши да пыль. А он, бедный мой мальчик, поселился где-то у черта на куличках, на какой-то Мутаповой улице. Дом, правда, удобный и новый, но зато грязища — боже милостивый, не подойдешь... А держать нынче лошадей нет расчета, моя милая!.. Но это еще только полбеды! Дочка у него золото, а не ребенок, уже болтает по-французски, как заправская парижанка,— так бы и съел ее, кажется! — и надо же: заболела ангиной, пришлось отправить ее в Дубровник... Сноха с ребенком все еще там, а Миодраг непрестанно гонит меня туда: тяжело, говорит, ему с ребятишками без Миланки. Они уж в школу ходят... Знаешь, сноха у меня тоже вот все побаливала, так я и ее к морю; я работы не боюсь, а тут еще у Даны недели через три должен быть ребенок... Как ее оставить? И за нее волнуюсь. Да и старший без меня тоже как дитя малое... Просто с ума сойдешь!.. Я же им говорила — подождите с детьми, молоды еще — и сами как следует не устроились, и Дана еще на ноги не встала... Вот так и летаю от одного к другому... Словно все сговорились против меня, а я все тяну, тяну и не знаю, когда это кончится.

Госпожа Милева близоруко щурилась, стараясь не пропустить ни единого слова, ни единого вздоха собеседницы. Она смотрела на свою давнишнюю приятельницу, на эту когда-то резвую и бесшабашную Катарину, и удивлялась: кто бы, глядя на нее, мог подумать, что и она несчастна и недовольна жизнью? Хоть все еще красивая,— кажется, седые волосы рядом с живыми черными глазами делают ее еще красивее,— а и у нее свои заботы. Госпоже Милеве и в голову не приходит сравнивать свои страдания с не-

урядицами подруги. Она слушает ее внимательно, мимикой и движением губ сопровождая малейшее изменение в выражении лица Катарины. Как жаль, что и ее жизнь не свободна от этих тягостных мелочей! При упоминании о больном ребенке в Дубровнике слезы навертываются на глаза госпожи Милевы, а когда она слышит о приближении родов у молодой и слабой женщины, на ее лице с отвисшими морщинистыми щеками появляется выражение страха и участия. В конце концов она хватает руку подруги своей молодости и пожимает ее, как сестра.

— О-о, Катарина, не печалься, бог смилостивится, не надо терять присутствие духа!

— Ах, Милева, нисколько он меня не щадил... Старший сын Миодрага уже два раза лежал на операции, с ногой... Ну разве тут успокоишься, отдохнешь?.. Ужасно!

— О Катарина, бедная моя Катарина, как я тебя понимаю, но бог милостив...

— Ой, мне уже сходить... Ну, всего доброго, Милева, всего доброго, крошка! Что поделаешь, дорогая, уж такова наша судьба, все должны дважды пережить!..

— С богом, Катарина, с богом! — тепло и преданно отвечала ей госпожа Милева и с умилением обернулась к дочери: — Прекрасная душа, всегда была такая чувствительная... Что поделаешь, женщина, мать, никому не легко!..

Но девушка с горечью в голосе прервала ее:

— Ладно, ладно, ты бы лучше о себе подумала... Будто у тебя нет своих забот и своих могил! И сколько же у тебя слез, что ты льешь их где надо и не надо?!

1934

В остывшем доме Негована

На последней станции банатской железнодорожной ветки прямо на полотне нас встретил хозяин. Мы выехали в полдень и, естественно, большую часть пути дремали; я и мой приятель-художник были одни в купе второго класса, а в третий степенно и чинно входили и выходили нагруженные крестьяне, которые казались все на одно лицо, во всяком случае, занятому своими мыслями пассажиру. Тем более изумил нас и своей внешностью, и манерами господин Негован. Он был с головы до ног в черном, в котелке, в лаковых туфлях с серыми шерстяными шнурками. У него были седеющие, коротко подстриженные усы и совсем светлые голубые глаза на морщинистом, словно ссохшемся, лице необыкновенно белого цвета. Когда он, здороваясь, снял шляпу и низко, порывистым нервным движением поклонился, мы невольно переглянулись: так странно выглядела его продолговатая узкая голова с прилизанными светлыми волосами, разделенными точно посередине пробором, и вся его легкая и будто покачивающаяся фигура. На первый взгляд было в нем что-то необычное, что разжигает интерес, как загадка, что-то нескладное и несимметричное, хотя движения его выглядели вполне нормальными, стереотипными. И правда, пока мы шли к выходу, обнаружилось, что вся левая сторона — и нога, и рука, и плечо — у него меньше, чем правая. Бросилась в глаза его быстрая манера говорить, книжный, несколько архаический словарь и совсем особый акцент. Не немецкий, не венгерский, но и не французский и не румынский. Говорят, что представители правящих династий как-то по-особенному тянут гласные, на каком бы языке они ни говорили. Может быть, в далекие времена и наши дворяне имели свой особенный вычурный акцент.

Мы ехали в древнем, парадном ландо. Лошади были гнедые, породистые, но тощие и старые, кучер — в ливрее с пожелтевшими от времени позументами и в шляпе со страусовым пером — был тоже стар и немощен, старыми были и вожжи, пересохшие, в трещинах. Стоял последний день дождливого апреля, быстро темнело, зазеленевшие деревья погружались во мрак, горизонт сливался с облачным, хмурым небом, потянуло влажным холодком, вдалеке белели приземистые деревенские хаты, слышался лай собак и мягкое шклецанье копыт. Застегнувши пальто на все пуговицы, мы словно бы замкнулись в себе, предаваясь унылым, грустным размышлениям: стоило ли вообще пускаться в это путешествие ради двух картин. А хозяин любезно занимал нас разговорами: не хотим ли мы получше укутаться в пледы, чем мы занимаемся, что пишем, что сочиняем и как там Белград — растет? И объяснял, что едем мы уже по их старым землям, теперь, правда, конфискованным в пользу военных добровольцев, что его предки с 1717 года владели тут тремя тысячами гектаров в одном куске, а что теперь у него всего двести девяносто, они останутся сыну, но земли нужно как-то по-другому использовать, применительно к новым условиям. Он говорил без горечи, даже без иронии, вероятно, просто из учтивости, ради знакомства, но мы с трудом отвечали ему и делали вид, что нас это интересует.

Очнулись от дремоты мы лишь тогда, когда лошади застучали копытами по дощатому настилу моста, перекинутого через канал, в глубине которого тускло мерцали отблески фонарей, укрепленных по обе стороны высокого облучка. А потом снова глухая, мягкая рысца и время от времени всплески воды под колесами. То с одной, то с другой стороны замелькали розовые пятна маленьких, низких окошек, будто не мы, а они ехали нам навстречу; уже доносились неясные звуки и запах жилья. Затем перед нами, словно стена, встала черная роща: скрип колес стал громче, забренчали металлические кольца в сбруе и в удилах; лошади весело кивали головами. Громкий, приветливый лай охотничьих собак, свет сквозь ветви; поворачиваем, кучер натягивает вожжи — тпруу! — приехали.

Мы остановились возле четырех приземистых белых колонн, на которых покоилась полукруглая крыша освещенной веранды. Навстречу нам с серебряными канделябрами в руках вышли двое лакеев, затянутых в черные

сюртуки. Усатый, кривоногий старик в сапогах и красивая, румяная служанка со вздернутым носиком, в белом льняном фартуке и кружевной наколке помогли нам освободиться от пледов и взяли наши сумки. Господский дом оказался длинным, одноэтажным строением, его полузакрытые шторами освещенные окна справа и слева исчезали в зарослях кустарника и в тени деревьев. Пахло горьковатой намокшей туей и самшитом.

Хозяин снял шляпу, отвесил низкий поклон посреди веранды под японской люстрой, и произнес, улыбкой смягчая торжественный тон своих слов:

— Добро пожаловать, господа, в замок его сиятельства Негована, «некогда ресавского бана»! Прошу вас!

Через раздвинутую стеклянную дверь мы вошли в просторный, совершенно круглый зал. Накрытый на восемь персон стол казался совсем маленьким; мы еще не успели приблизиться к нему, как в широко раскрытые высокие двери слева вошла неторопливо, но решительно полная молодая дама, а за ней с двумя детьми вторая, высокая, сухопарая и седая, безусловно гувернантка. Знакомясь с нами и указывая наши места за столом, госпожа лишь едва заметно, почти беззвучно шевелила губами. Она была в платье из гладкого черного шелка, блестящего, словно полированное дерево. За столом прислуживал лакей, хозяйка держалась напряженно; на ее сильной шее проступали две резкие морщины, а от губ к щекам шла глубокая и жесткая, полукруглая впадина. Маленькие, косо поставленные серые глаза намеренно обходили нас, неприступные, недоверчивые, суровые глаза. Волей-неволей и мы почувствовали себя скованными. Даже наш разговорчивый хозяин явно скис. Еще в городе, собираясь в поездку, мы узнали, что Негован женился на крестьянке, дочери своего лакея, которая во время войны была горничной в доме. Зная это, мы без труда обнаружили в госпоже черты здоровой и не в меру рассудительной деревенской женщины, которую этот дворянин-декадент взял в жены, вероятно надеясь освежить кровь своего потомства.

Не знаю почему, но нам обоим стало ясно, что все это — и встреча, и ужин, и прислуга — явление исключительное; что давно здесь уже живут совсем по-иному, проще, и что и слуги и посуда отвыкли от таких торжественных церемоний. Это выдавали и движения и неумелость в обращении с огромными подносами, и потускневший блеск извлеченного откуда-то фарфора, разнообразного

старого хрусталя и серебряных ножей, и какая-то топорность в сервировке рыбы, дичи, лакомств.

Мы пили отличные вина из закопченных бутылок, закупоренных воском, который крошился, как песок.

— Это из карловацкого винограда еще до злополучной филлоксеры. Сохранилось кое-что в подвале, в песке, да два бочонка уберег детям на свадьбу. Даже во время бунта уцелели, большие-то бочки разбивали прикладами, рубили топорами, двое даже захлебнулись в вине, но то было помоложе — из Чоки и Бездана.

— Скоты! — презрительно, сквозь зубы вставила госпожа, глядя куда-то поверх наших голов.

Негован только повел глазами, словно хотел погасить, стереть произнесенное ею слово, и, невольно следуя за каким-то ожившим перед его взором видением, продолжал громче:

— Мои предки держали в доме только старое карловацкое вино еще в те времена, когда карловчане возили его по реке в Польшу и Австрию, и получали дукат за две окки красного десятилетней выдержки. Мой прапрадед, тоже Негован, капитан сербского добровольческого отряда при генерале Мерси, угощал в этом доме таким вином на семейных праздниках немецких господ в день святого Йована и, поднимая тост, говаривал: поднимем бокалы вина деспота Джорджа, из винограда, который он перенес со своей родины — из Жупы и Смедерева — в Венгрию, в Менеш, в Мадьярию, в Токай, как позднее Штилянович сербской лозой засадил Шиклош, Печуй и Виллань.

— Это были другие люди, энергичные! — процедила сквозь зубы хозяйка и обернулась к старой гувернантке:

— Детям пора спать!

Гувернантка поднялась в полной тишине, дети сделали реверанс и беспрекословно вышли. Тут мы заметили, что мальчик был вылитая мать, с густой копной волос, которые росли прямо от бровей, а девочка светловолосая, застенчивая, с отсутствующим выражением лица и печальная, несмотря на большой голубой бант. От нас не укрылся также враждебный, настороженный взгляд из-под высокомерно полуопущенных ресниц, который бросила старая, не проронившая ни слова гувернантка. Вероятно, она служила в этом доме с молодых лет и помнила его еще в те, старые времена.

— А что это был за бунт? — нас заинтересовало только что упомянутое смутное время.

— Это все солдаты, что бежали с фронта, и вечно жадные до земли крестьяне. Повсюду, особенно на востоке, в румынских землях, горели поместья, ну и наши сербы заволновались. Что поделаешь? В такие дни народ забывает все. Что мой дед трижды спасал от наводнения всю округу, что во время голода в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году открыл свои амбары, что сам выхаживал холерных в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом, что я женился на деревенской девушке. Все нипочем. Набросились на нас без всяких разговоров. Требовали, чтобы я выдал им брата Велимира, который вернулся с итальянского фронта царским адъютантом. Он хотел сдаться...

— Сознайся, уж если ты начал об этом, что я ему не позволила! — неприятным, резким голосом прервала мужа госпожа, не глядя ни на него, ни на нас.

— Хорошо! У них был пулемет, и двадцать четыре часа мы находились в осаде.

— Если уж ты начал об этом, говори всю правду! — снова встряла госпожа, но еще более нетерпеливо.

— София!

— Велимир не хотел, чтобы дело дошло до перестрелки, и вышел. А эти мужики сиволапые тотчас ударили по нему из ружей, он и слова вымолвить не успел. Ты схватился за голову, да, да, а я распорядилась, чтоб открыли огонь. Мы стреляли изо всех окон, и эти скоты, почувствовав сопротивление и услышав мой голос, разбежались. Велимир погиб, но и мужиков трое осталось лежать на пустыре. Вот как было дело... А если б я тебя послушалась, всех бы нас перерезали и все бы сожгли. А так — только ограбили амбары да погреба...

— София!

Жена не ответила на его укоризненный оклик. Встала, кивнула головой и вышла. Слышно было, как в коридоре она отдает приказания служанке приготовить нам комнату. Мы чувствовали себя неловко и никак не могли понять, за что она нас возненавидела: то ли считает, что мы симпатизируем «толпе», которая их грабила и отняла земли, принадлежащие ее детям, то ли потому, что мы разделяем «причуды» ее апатичного мужа.

Негован пожал плечами и покачал головой, желая нас успокоить.

— Женщина! Выйдет замуж за человека из другого сословия и вдруг полностью усвоит его интересы, забудет свое прошлое, будто ослепнет.

Потом он попытался как-то оправдать ее: может быть, она и права, упрекая его в том, что он не занимается хозяйством, не заведет питомник или фабрику ветеринарных вакцин, чтобы спасти имение, но ему-то ясно, что все это ни к чему не приведет, что кончились добрые старые времена. Дети должны другими путями обеспечить себе место в жизни. Но ей об этом и говорить не стоит, она этого никогда не поймет. Он говорил сбивчиво, натянуто и, только когда потом снова вспомнил прошлое, оживился, и к нему вернулось его красноречие.

Сняли со стены портреты, и тогда, в свою очередь, оживились мы. Хотя подписей не было, подлинность картин не вызывала сомнения, было очевидно, что они принадлежали кисти Данилы. Дед Негована был изображен в магнатском одеянии из вишневого бархата, опушенном мягким, пушистым соболем и расшитом широким, золотым галуном. Руки его покоились на согнутом в форме вопросительного знака эфесе декоративной боярской сабли. Маленькие, закрученные усики, полные румяные щеки, взгляд черных глаз самодовольный и уверенный, искусство Данилы особенно ощущалось в том, как была выписана кожа на лице и на правой руке (левая была в перчатке), тонкая, дряблая кожа сорокалетнего чревоугодника. А бабушка — типичный для Данилы образ девушки — иллюзия женщины, вечная мечта этого идеалиста. Светлые волосы, неестественно легкие и блестящие, светлые же, удлиненные, узкие глаза, устремленные поверх зрителя куда-то вдаль, вслед за своей мыслью, необыкновенной, тайной и высокой, которая у женщины возникает раз в жизни, в одиночестве, и которую поэты-идеалисты приписывают им вечно. Платье из жесткой тафты цвета морской волны, а в глубоком вырезе, как в каменной вазе,— юные, бледные, только что округлившиеся груди и нежные плечики, тонкий изгиб шеи, трепетной, словно стебелек, на котором расцвела и покачивалась, как цветок, маленькая головка, упоенная своей чистотой. Старый Иоан из Негована, Карайчи и Брезины, вероятно, никогда не видел ее такой и считал портрет фантазией живописца.

После того как мы долго рассматривали женский портрет, ничего не говоря и только обмениваясь взглядами, радуясь, что оба охвачены одним и тем же чувством восхищения, Негован, бог знает почему, прервал молчание.

— Я в нее.— И смущенно засмеялся.— Натюрлих, в виде карикатуры.

Он и служанка проводили нас до нашей комнаты. Оставив к нашим услугам горничную, хозяин простился с нами у двери.

Войдя в комнату, мы содрогнулись от холода. От того особого холода, который застаивается в закрытых, нетопленных помещениях, прогреваемых лишь на скорую руку, от случая к случаю. В зале нас, вероятно, согревало вино, возбуждение, вызванное новизной обстановки и очаровательный треск пламенеющих поленьев в камине. Белая изразцовая печь с барочными украшениями была теплой, но тем более ощущалась стужа, исходившая от стен, пола и неживых вещей. Мы невольно осмотрелись и все по порядку ощупали. Два громадных шкафа инкрустированного красного дерева зябко жались друг к другу, а напротив, у стены, стоял огромный желтый комод с пятью ящиками, украшенными коваными бронзовыми замками в ладонь величиной. Мой приятель молча указал пальцем — все было запечатано свинцовыми пломбами на веревочках. Две постели холодно сверкали ледяным блеском давно не стелившихся льняных простыней, белизна которых приобрела молочный оттенок от долгого лежания на дне какого-нибудь еще не опечатанного сундука. Свернувшись клубком и с трудом согреваясь под одеялами, мы только вздыхали и шепотом переговаривались в темноте. Спали недолго. Проснулись рано и, таясь, как шпионы, с любопытством открыли окна. Перед нами был старый, непроглядный парк. Густая трава с разросшимся бурьяном почти поглотили широкую, центральную аллею, по которой за все утро прошел лишь старый крестьянин с коровой да неторопливо проковыляла деревенская дворняга.

Старые деревья, покрытые желтыми лишаями и яркозеленой вьющейся омелой, чернели множеством вороньих гнезд.

Надо побыстрей отсюда убираться, к тому же мы свое сделали. Еще раз взглянем на картины при дневном освещении — и в обратный путь.

Свежевыбритый и полностью одетый, будто чувствовал, что мы рано встанем, Негован встретил нас на веранде. И завтрак уже был подан. Госпожа вошла в самом его конце, когда мы стояли перед картинами, которые вынесли на веранду и прислонили к спинкам плетеных кресел. Она, словно делая над собой усилие, улыбнулась и спросила, как нам спалось в этой «гробнице». Когда муж

уговаривал нас остаться, она ни словом, хотя бы ради приличия, не поддержала его, но перед самым отъездом, будто невзначай, спросила:

— Сколько бы, к примеру, заплатил белградский музей за эти две картины?

Не знаю, слышал ли Негован этот вопрос, если и да, то он очень ловко сделал вид, будто не слышал.

Выехав из парка, мы очутились на каком-то подобии улочки, состоящей из конюшни, амбаров и домов, где жили батраки Негована. Домишки были ветхие, необмазанные, двери пустых хлевов покосились, разбитый грузовик завяз в грязи по колеса, на которых не было шин, а ржавая молотилка с вытянутой, помятой трубой валялась возле дороги, как дохлый верблюд в Сахаре. Несколько тощих ребятишек в лохмотьях беззвучно разбежались перед повозкой, а встречные мужчины и женщины привычно кланялись. Все это напоминало колониальное поселение, опустевшее после тропической лихорадки.

Когда мы прощались на ступеньках вагона, Негован снова был любезен, можно сказать, грациозен. Он пригласил нас обязательно и как можно скорее приехать сюда снова, но мы знали, что этому не бывать. А когда он махнул на прощанье шляпой, нам показалось, что его глаза действительно чем-то напоминали бабку, ту невыразимо печальную красавицу с портрета Данилы.

Значит, художник, к тому же идеалист, все-таки может уловить нечто непреходящее, более долговечное, чем непосредственная действительность.

1934

Ястреб и лесные птицы

Мы поднялись вверх по засаженному виноградником крутому склону. Нам открылся узкий тощий луг, над которым возвышался холм, сплошь поросший густым смешанным лесом. Мы оба сразу же присели на корточки отдохнуть, как истинные горожане, а дядя Рака, испольщик, остался стоять, опершись обеими руками на свою узловатую палку из вишневого дерева, с которой он никогда не расставался. Взглянув на него снизу, я понял, откуда его прозвище — Таган: его коренастое тело с крупной головой постоянно опиралось на три ноги. Он повсюду сопровождал нас, и не только из уважения к молодому хозяину и его гостю, а с явным удовольствием, умело скрывая под насупленными бровями и торчащими усами хитрую крестьянскую усмешку, когда мы изумлялись самым обычным вещам и ему приходилось давать пояснения. Разумеется, из нас двоих лишь я,— мне не принадлежало ни единой пяди земли в этом владении, так же как ни единой горсти земли на всем земном шаре,— наслаждался свежестью вольного предвечернего воздуха, синевой виноградных кустов, сбегающих правильными рядами к речке, таинственным лесным сумраком. Лес, полный шелеста, жужжания, пересвиста видимых и невидимых живых существ, величаво устремлялся ввысь, в лазурное небо. Ветер обвевал наши лица; приходилось глубже дышать и разговаривать громче. Вершины деревьев раскачивались и шумели, а внизу, в долине, царили тишина и покой. Из трубы дома, откуда мы вышли, дым подымался ровно, как свеча, и только здесь, на лугу, распускался цветком, стлался по земле и таял.

Природа подобна книге и музыке. Надо умолкнуть, отрешиться от всего, чтобы слиться с ней и понять ее. Вдали возвышалась такая же гора, как наша, но голая до са-

мого верха, а верх как бы срезан — то ли след обвала, то ли промоины, то ли каменоломни. Там чернел лес с острыми, как у елей, верхушками. Наш лес и тот, напротив, стоят на своих горах, не смотрят друг на друга, не слышат, как бушуют в них бури, как ураганы рушат их великанов — это им богом не дано. И все же они по-своему разговаривают и время от времени поддерживают родственные связи. Ласковые весенние ветры, птицы, пчелы — вот их вестники и посредники.

Рака Таган проследил, вероятно, за моим взглядом.

— Я все твердил, твердил старому господину, уговаривал купить тот участок. Известь можно брать и булыжник. Да где там — не хочет! — И Рака принимается убеждать молодого хозяина, больше не отвлекая меня от мыслей.

Но то, что не могли сделать их рассуждения и расчеты, сделал какой-то странный шум. Где-то, кажется, совсем рядом и в то же время далеко и на большой высоте, послышался треск, писк, щебет. Еще не успев осмотреться, я почувствовал, как над нами проносится что-то похожее на облако.

— Ну, сейчас они ему зададут! — сказал Таган, провожая взглядом птичью стаю. Теперь и мы ее увидели.— Поглядите на него, вот он!.. Вот он!.. Гадина... Ух, как они его окружили!.. Тут уж не помогут ни колючие перья, ни клюв, ни когти. Только и осталось — поджать хвост да бежать, откуда пришел!

Сперва я видел только облако; оно металось вверх, вниз, влево, вправо, то словно сжималось, то растягивалось и снова сжималось. Человеческий глаз лишь постепенно разбирался в этой кутерьме. Ястреба, на которого указывал Таган, мы все еще не могли различить. Неописуемый хаос, созданный пришедшими в ярость птицами, их нестройные пронзительные голоса приковывали внимание и странно волновали. Но вскоре мы почувствовали, а потом и отчетливо поняли, что в этой какофонии, в этой сумасшедшей аритмии есть определенный порядок и смысл. Стало ясно, что перед нами не просто стая, что здесь нет вожака, ведущего всех этих лесных птиц, больших и малых, и тех, что свободно летают над поросшей лесом горой, рекой и равниной, и тех, что лишь перепархивают с куста на куст и прыгают по мху за букашками, а если пускаются в воздушные авантюры вслед за прозрачными стрекозами, так только из страсти к полету.

Но тут их всех объединила и подняла извечная ненависть и жажда мести. В неистовом порыве они забыли о своей слабости, неумелости, страхе за беспомощные тельца, даже о любви к спрятанным птенцам и гнездам. Всех — галок, ворон, сорок, горлиц, соек, скворцов, дроздов, зябликов, овсянок, соловьев, синиц, щеглов, крапивниц из ясеневых дупел — сплотила одна цель. Из-под стрех амбаров и сторожек на виноградниках поднялись даже ласточки и воробьи. Все перемешалось, устремилось в одном направлении. Птицы держались поближе к своим, но все вместе — большие и маленькие — они были едины в полете, в стремительности, в невероятной выносливости, в хитрых молниеносных маневрах им одним понятной тактики.

Когда мы все это рассмотрели, во всем разобрались, увидели и ястреба. Он появлялся то впереди, то позади, а иногда и внизу, под взбудораженной стаей. Теперь можно было наблюдать завязавшуюся между ними борьбу.

По величине ястреб почти не отличался от вороны, но резко выделялся осанкой. В беспокойной массе переполошившихся птиц, в оглушительном шуме трепещущих крыльев он напоминал стальной снаряд, но живой и разумный, который сбился с курса и теперь блуждает, борясь с неизвестностью, неожиданными страшными опасностями, которые в первое мгновение не может даже осмыслить. Он никак не мог смириться с тем, что нужно уклониться от боя, бежать — это противоречило его натуре отважного хищника, привыкшего нападать на добычу или взмывать вверх, чтобы насладиться прозрачной высотой и далью, гордым одиночеством, легкостью сильных крыльев, скользящих среди невидимых течений в наземных сферах, зоркостью ледяных топазовых глаз, разом охватывающих покрытые лесом горы, равнины с селеньями, рощами, реками, разливами воды, где его взгляд быстро и остро схватывал все маленькое, все живое, что там, внизу, ползает, шевелится и прячется.

Было ясно — победят птицы. Они окружили ястреба, когда он еще не совсем осознавал, что его ожидает, и пытался их напугать и разогнать. После нескольких натисков он почувствовал, что не может напасть даже на голубку или жаворонка — это его погубит. Тогда он резко повернулся, сложил крылья и нырнул в самую гущу стаи. Птицы разделились и ринулись наперерез, пытаясь на-

стичь его внизу. Этого-то он и боялся, хотя и ждал. Увидев опасность, неистово рванулся в сторону и, освободившись от преследователей, стрелой взмыл ввысь. Разумеется, понадобилось мгновение, чтобы взлетели и птицы. Тут поднялся веселый щебет и гомон, тысячи хвостиков разом опустились, а ястреб задрожал и пронесся со сложенными крыльями вниз, потом снова вырвался из кольца и взлетел вверх.

И так много раз. В конце концов поняв, по-видимому, что борьба напрасна, забыв о голоде и потеряв желание покружиться вечером над этими местами, он вытянул голову, прижал крылья и понесся в ивняк над рекой ниже каменоломни. Птицы преследовали его только до реки, потом стали отставать. Они кружили все медленнее, с радостным щебетом и, делясь на стаи, разлетались по кустам, веткам, заборам и хлевам, не переставая переговариваться друг с другом о волнующем дне подвига и победы.

Рака Таган философствует:

— Эх, кабы птичий народ всегда был таким разумным, он покончил бы с этими разбойниками. Этот бандит пуще всего боится, что птицы объединятся, окружат его и одолеют. Только так и можно с ним сладить. Но от одного его вида крылья у них словно слипаются, на них нападает страх — и это погибель. Нет, птичий народ глуп, забывчив, да и смекалки нет... Завтра ястреб снова станет таскать их поодиночке, а сороки будут драться с цыплятами, вороны — с зябликами. И все. За год один-два раза вот так соберутся... Да еще удастся ли его одолеть? Ух, и какая ж это красота, когда так его гоняют, и он летит кувырком, словно... извините... падаль последняя...

1938

Граф

Словно под проливным дождем с градом, сгорбившись, согнув колени и обтирая спинами все, что может служить защитой — деревья, заборы, стены,— солдаты промчались через Кржаву в центр Крупаня. Стоял ясный августовский день. От Дрины тянуло свежестью. Моравская резервная дивизия после ускоренного пятидневного марша в пыли, под палящим солнцем, могла наконец отдохнуть и душой и телом. Никто не знал, когда снова в бой, а здесь была Дрина, холодные горные потоки неслись со всех сторон, зелень казалась сочнее и ярче, рощи и леса гуще и тенистее... Австрийцы торопливо отступали, поспешно переправляясь через реку, но пули их пулеметов, прикрывавших отступление, еще стучали по мостовой перед церковью, пели на черепице и дырявили фасады покинутых домов.

Трое солдат перебежали мост и остановились на берегу; пренебрегая опасностями, подстерегающими их в городе, они принялись разглядывать вздувшийся труп лошади в неглубокой быстрой реке. На берегу валялись белые ящики со снарядами, тут же лежали два трупа в синей униформе с раскинутыми, словно в последнем таинственном беге, вытянутыми или скрюченными руками и ногами. С северо-востока из-за угла Питиной кофейни показалось еще двое солдат. На камнях площади неправильной формы, зажав в руке винтовку, лежал убитый серб без шапки, в мундире, крестьянских штанах и опанках. Рядом с ним стояла огромная рыжая собака. Солдаты переглянулись, собака смотрела на них спокойно — никто не поднял на нее оружия. В этот момент метрах в пятидесяти от них из окна одного из крайних домов выскочил солдат в голубом мундире и красной фуражке и бросился к реке, очевидно надеясь перебежать ее и добраться до ле-

систого холма на противоположном берегу... Солдаты, как по команде, выстрелили. Австриец резко выпрямился, вскинул обе руки, припал к стене и рухнул мешком, беспомощно, словно костюм, упавший с гвоздя. Из зарослей на горе по ту сторону реки появились дымки и послышалась запоздалая стрельба. Позади громко затопали, это были свои. Разделившись, они побежали вдоль обеих сторон площади. У ручья все залегли, чтобы дождаться командира с остальными солдатами. Лежа и понемногу приходя в себя после боя, они то и дело оборачивались — всем хотелось увидеть вновь пришедших, но не только их, а и эту удивительную собаку. Резервисты второй очереди, люди усатые, мудрые и утомленные, которым было не до забав, удивлялись про себя. Собака, похожая на датского дога, все еще стояла возле убитого сербского крестьянина, но теперь она обернулась и смотрела прямо на них, на живых. В наших местах таких собак не водилось, это не какая-нибудь простая дворняга. Почему же она стоит как вкопанная, словно охраняет своего грешного моравца? И почему ее не страшит ужасный грохот пушек, пулеметов, вид незнакомых людей, бегущих с винтовками наперевес? Как могла городская собака заблудиться и оказаться в горах, на чужой земле?

— Эй, Жучка! — позвал один из солдат, вытянув руку и потирая пальцами друг о друга.

Дог нагнул голову и не спеша, размеренным шагом направился к ним. Но шагах в трех снова остановился. Спокойно, гордо и грустно — скорее грустно, чем недоверчиво — смотрел он на солдат. Наморщенный лоб, углы сильных челюстей и спина его были темными, широкая крепкая грудь и лапы — светлыми, а неподвижное мускулистое, будто вылепленное, гладкое туловище — желтое, как глина. Один солдат отломил кусок хлеба, но пес и не взглянул на него; когда он бросил хлеб к его ногам, пес обнюхал хлеб, щелкнул зубами, и все.

— Сытый, господский!..— решил солдат.

А другой заключил:

— Видать, нежная собака, душа не на месте, убивается, что хозяин ее бросил...

Не прошло и получаса, как подоспела вся рота во главе с подпоручиком. Через час подошли части второго батальона, с тем чтобы продолжить преследование австрийцев, а под вечер появился верхами штаб дивизии. Рыжая собака все это время кружила по площади, подходила к

каждому, кто обращал на нее внимание, но относилась ко всем одинаково сдержанно. Все же офицеры, кажется, привлекали ее больше. К прибытию командира дивизии со штабом пес уже получил кличку — «Граф»; очевидно, под влиянием рассказов одного из горожан он был представлен офицерам как собственность смертельно раненного в живот австрийского подпоручика, графа из Вены, молодого и красивого, словно девушка; австрийцы уже мертвого забрали его с собой, несмотря на паническое отступление.

Граф словно разбирался в рангах — окруженный офицерами, он не сводил глаз с дивизионного командира, хотя тот, судя по рассказам, был полной противоположностью его хозяину: коренастый, широкоплечий человек с косматыми бровями над крупными черными глазами, с обвислыми поседевшими усами и коротким полным подбородком. Золотой галун на его измятой фуражке потускнел, эполеты с тремя звездочками потемнели, а мундир побурел от пыли.

— Молодой, ему и года нет! — сказал командир, с отеческой улыбкой разглядывая желтые, чистые, совершенно прозрачные собачьи глаза и сильные, по-юношески важно упирающиеся в землю лапы.

В ответ на голос полковника неподвижный взгляд молодой собаки вспыхнул горячим туманом, а челюсти и мягкие складки в углу рта дрогнули и открыли розовые десны и белоснежные зубы. Командир нагнулся, потрогал теплый мягкий подбородок собаки, а потом опустил руку ей на голову, чтобы погладить ее и приласкать. Граф зажмурился, но головы не опустил и с места не сдвинулся, стоял как вкопанный.

— Хе-хе, а собака с характером, изучает людей, обстановку. А что, если оставить пса при штабе? Вдруг он станет более демократичным, что скажете?

— Господин полковник, если позволите, я возьму его,— смело выступил адъютант подпоручик кавалерии Никола, гибкий подвижной молодой человек с круглой остриженной головой и большими желтыми, как у Графа, глазами.

На следующий день австрийцы полностью были отброшены и за Дрину и за Саву. Наступило чудесное — обманчивое и иллюзорное — перемирие на десять дней. Уже на третий день стало казаться, что так будет вечно. Возвратившиеся горожане занялись починкой, уборкой, восстановлением разграбленных домов и квартир,

молодежь по вечерам снова собиралась на площади, заводила дружбу с солдатами и офицерами, возобновились прогулки, песни, игры и танцы.

Подпоручик Никола все свободное время дрессировал Графа и учил его сербскому языку — для собственного удовольствия и для того, чтобы выслужиться перед штабным начальством, позабавить его. Но дело шло не так уж гладко. Имя свое Граф, кажется, усвоил, команды «лежать», «встать», «пошел» тоже, но больше ничего. Николе, бывалому охотнику, по крайней мере в собственных глазах, пришлось убеждать всех вокруг, что доги славятся своей красотой, элегантностью, монументальностью, но глупы и упрямы, не умеют играть с детьми, не позволяют себя наказывать, а когда вырастают, становятся опасными даже для хозяев. Но это ничего, если захотеть, его можно побоями выучить носить в зубах плетку, приносить брошенный камень и разным другим вещам, которые он не хочет усвоить по-хорошему, да только ведь он пленный, в конце концов, а с пленным, да еще таким важным, которому не хватает разве что монокля, нельзя поступать, как с простой дворнягой. Так он был вынужден удовольствоваться тем, что Граф понял сразу и на что согласился по доброй воле.

Когда штабисты выезжали на позиции, Граф оставался дома. Привязывать его не было надобности. В первый раз подпоручик привязал Графа, но потом очень сожалел об этом — собака долго не желала смотреть на него, не брала пищу. По утрам он приводил его к вилле Деспичей, где располагался штаб, и оставлял перед дверью дивизионного командира. Пес лежал как сфинкс, молча провожая взглядом каждого, кто входил или выходил, но вставал только в полдень, когда сам подполковник приглашал его прогуляться и побеседовать.

На шестой день после ужина подпоручик встретился с другим адъютантом, тоже подпоручиком Йовой, бывшим священником, и писарем Радичем, бывшим адвокатом. Идиллический вечер они решили продолжить в трактире у ручья под липами. Граф шел впереди, не оглядываясь. Его тут же окружили дети и собаки, но он не обращал внимания ни на тех, ни на других. Иной сорванец решался погладить его по спине или даже по шее. Граф позволял ласкать себя и любить, но ничем не отвечал на нежность и внимание. Будь у него хвост, он, вероятно, даже не пошевельнул бы им. А дворняг он не

то чтобы презирал, их восторженное поклонение он принимал со снисходительным удивлением. Маленькие лохматые шавки суетились, забегали вперед, тяжело дыша, вытягивали передние лапы и, улегшись на живот, выкатив глаза и высунув язык, дожидались знатного незнакомца, чтобы снова поднять возню под ним и вокруг него в надежде вымолить хоть один взгляд. Но самое большее, что он делал,— останавливался и смотрел на эту кутерьму, на неприкрытое собачье заискивание или, наоборот, преувеличенное подчеркивание собственных достоинств, и не моргнув глазом, не шевельнув ухом, ждал конца излияниям восторгов. А были тут в основном наши сербские дворняги, без амбиций и самолюбия, в которых только дети находили что-то привлекательное. Некоторые из них при первой встрече угрожающе рычали, другие с лаем забегали вперед, а потом спокойно, тихо начинали заигрывать в соответствии с церемониалом общей кинологии. Граф видел все это, но и по отношению к собакам не менял своих правил, не пугался угроз, не проявлял никаких признаков удовольствия или негодования. Остановится на минутку, убедится, что все три его офицера следуют за ним, и идет дальше. А молодые люди не торопились, предвкушая эффект, который они произведут на тех, кто их ждет возле трактира рыжекудрой Росы у ручья. Но на полпути поведение Графа изменилось. Он снова остановился. Однако не из-за детей или собак, которые то сопровождали его, то преграждали ему дорогу. Теперь он стоял не с равнодушием занятого человека, ожидающего, когда пройдут построившиеся в пары школьники. Влажный черный нос и подрезанные уши устремились вперед, мускулы на плечах играли, даже обрубок хвоста взволнованно завертелся. Потом он пошел, как сеттер в камышах, вытянув шею, на мгновение замирал, подняв могучую правую лапу. До этой минуты молодые люди не замечали картины, бывшей прямо перед их глазами. Они были заняты собой и к тому же время от времени поглядывали в сторону площадки с тремя старыми липами у трактира. Между тем непосредственно перед ними, под старым явором, возле дома со множеством окон, в плетеном кресле полулежала девушка в желтой блузке и зеленой шали на плечах. За спиной и под головой у нее белели подушки, а ноги, закутанные в шерстяной плед, опирались на кленовую скамеечку. Возле нее на трехногом низком табурете сидела старая

женщина, молоденькая девушка, совсем подросток, смуглая, с ярким румянцем, прислонилась к спинке кресла. Двое юношей семнадцати — восемнадцати лет — один с гитарой, другой с окариной, похожей на полую тыкву, в которой носят воду,— опирались о ствол дерева. Все общество примолкло при виде молодых офицеров, лишь больная смотрела не на них, а ниже, склонив голову и свесив тонкую руку за подлокотник. Так мечтатели опускают руку за борт лодки, чтобы освежиться и насладиться игрой зеленых волн мокрыми бледными пальцами.

— Какой красавец!.. Поди сюда!.. Ах, что за прелесть!

Едва больная прошептала эти слова и взмахнула рукой, как Граф оказался возле нее и положил свою теплую тяжелую голову на ее колени. Не успела старая госпожа помешать им сказать хоть слово, как между ними был заключен нерасторжимый союз. Разумеется, это был достаточный повод, чтобы офицеры остановились и состоялось знакомство. События развивались с необыкновенной быстротой, воистину как на войне. В первую минуту офицеры были горды Графом, его внезапным превращением и симпатиями, которые он так быстро завоевал. Когда белокурая больная, ученица последнего курса белградского педагогического училища, гладила его исхудавшей горячей рукой, Граф закрывал глаза и подавался вперед. Он хорошо ее понимал, дал ей одну лапу, потом другую, ложился и вставал по ее приказу. Николу охватила тайная ревность, но, видя, как оживилась больная и повеселела ее мать, в конце концов примирился. И пока от реки не потянуло вечерней прохладой, они наперебой рассказывали гимназические истории, пели, играли на гитаре и дребезжащей окарине, привлекая остальную молодежь к явору, к больной, к Графу, который от нее не отходил. Все недоуменно переглядывались. Но что делать! Вечер прекрасный, больная так счастлива, что позабыла о кашле, а ее сестра так мило поет под гитару, Никола тихонько аккомпанирует ей, она нет-нет и взглянет на золотую медаль на его груди.

Графа насилу увели от больной. Никола потащил его за ошейник и тогда-то впервые услышал его голос — он скулил, как маленький щенок.

— Смотри, какой сентиментальный, весь в тебя,— издевался Йова.

— Послушай, отдай его бедной девушке! Ты же видишь! — сказал Радиш.

— Гм,— размышлял Никола,— что скажет командир... А, собственно, что с ним делать? Зверюга громадная... И кто знает, что нас ждет завтра?..

На следующий день дивизионный гулял один — Граф убежал к больной, говорили, перескочил ограду и был таков.

За завтраком Никола извинялся, но на него никто не сердился. Командир только рукой махнул. А разговор о причине происшедшего закончил просто:

— Э, нам всем только бы позабавиться, голова-то занята совсем другим. А эта больная девочка полна жизни и бьющей через край любви ко всему на свете... Бог знает, что еще... Мы, люди, бывает, и в себе разобраться не в силах, а поди пойми душу животного?.. Вот что, поручик, позаботьтесь, чтобы для собаки посылали из столовой кости и остатки хлеба... по крайней мере, пока мы здесь... А дальше... что ураган принесет...

1939

Перепелка в руке

Белградский вокзал, ночь, вернее — вечер, начало октября тысяча девятьсот сорок второго. Кругом — непроглядная тьма, и поэтому кажется, будто очень поздно, а пронизывающий холод заставляет думать, что ноябрь уже на исходе. Между тем на круглых часах, которые слегка покачивались под рухнувшими, изуродованными, почерневшими балками, маленькая стрелка перескочила с пяти минут одиннадцатого на шестое деление, седьмое и поползла дальше. Многократно увеличенная тень от часов, колеблющихся как бы в полном безветрии, металась по сбившейся толпе; она покрывала ее темным пятном, создавая провалы и ямы, скользя из края в край по сотням голов. Нагруженные, изнуренные, поглощенные заботами о своих котомках с провизией пассажиры, среди которых был и Вуле Рашанин, в этой толчее и давке не в состоянии были почувствовать, заметить и осмыслить что-либо не имевшее отношения к их поклаже.

Лишь на углу Балканской и Наталиной улиц, когда, запыхавшись от подъема, он вынужден был передохнуть, Вуле прислонился к стене, поставив прямо перед собой сетку с двумя бутылками молока и мешок с картошкой и желтой тыквой. Ледяные зерна изморози застыли у него на лице, мокрая шляпа сползала на брови, между тем как весь он обливался пóтом от почти немыслимого напряжения и кожный обод шляпочной тульи мертвым кольцом сдавливал его покрытый горячечной испариной лоб.

За ним, по крайней мере до сих пор, никто не шел. Пассажиры, прибывшие вместе с ним из Раковицы нишским поездом, успели уже разбрестись с привокзальной площади кто направо, кто налево, а потом растечься по Босанской, Гепратовой и Ломиной улицам. И если непереносимой была давка на станции, когда люди натыкались

в темноте на острые выступы корявых и суковатых мешков и котомок и терлись друг о друга горячими взмокшими плечами, спинами и бедрами в сбившихся юбках и штанах, то так же непереносимым было и нынешнее его томительное одиночество и потерянность.

Что это за город? Неужели ему действительно довелось пережить то, что проносится сейчас в его уме, или это был только сон, сон, приснившийся кому-то другому и совсем не касающийся его? Но что же это тогда?

Все изменилось здесь, стало чужим, жестоким, опасным, полным угроз, хотя ведь он знает этот дом... Дом, к стене которого он прислонился, десять лет тому назад снял покойный Йоца Вуич под музей; как-то Йоца привел его (тогда еще студента) в свой музей и показал его от начала до конца. А в доме напротив, на четвертом этаже, жил перед самой войной Роко Геральдич, секретарь посольства, а может быть, консул, служивший, кажется, в Южной Америке,— одно время он был второй скрипкой в их квартете. Еще двух лет не прошло с той поры, ему были так близки, так близки и знакомы и это парадное, и лестница, и звук электрического звонка, и глазок в медной оправе с маленькой лупой, словно в микроскопе, и комнаты, и старая мебель, и даже запах, царивший в квартире, похожей на католическую часовню, и окно с балконом в форме ясель... Теперь все замкнулось, помертвело, оцепенело, не припоминает ничего, стоит бессловесным двойником того, что когда-то было, не отвечает на оклик и холодно глядит мимо тебя. Сверху, с Балканской, освещенной тусклым светом, несколько разогнавшим туман, донесся громкий топот и шум голосов. Взвод немецких солдат спускался, должно быть, к эшелону; подбитые железными шипами и подковами сапоги разъезжались на треснувшем асфальте, на булыжнике, которым наспех залатали выбоины от своих же бомб. Цокают по камню подбитые металлом сапоги, то вдруг сверкнет высеченная подковой искра, то глазок ручного фонаря, зажигалки или сигареты. При каждом скрежещущем звуке задевшего за плиты тротуара подкованного каблука Вуле передергивался, словно от случайного прикосновения холодного лезвия ножа к зубам.

Нечто похожее на страх, растерянность или чувство стыдливой брезгливости заставило его прижаться к стене, стать невидимым, как будто бы он здесь чужак, а не эти сытые и пьяные немцы. Что вынесут они отсюда, эти

молодые парни,— их возраст выдавали порывистые движения и манера разговаривать друг с другом на повышенных тонах,— что вынесут они, кроме награбленного добра, из нашей несчастной страны, из нашего погруженного во тьму, затаившегося города? Всего вернее, в их воспоминаниях о нем не будет ничего человеческого,— ни цветочного горшка в окне, ни колыбели, накренившейся над краем обвалившегося пола на четвертом этаже разбомбленного дома, ни клочка цветастоголубых обоев на обломке уцелевшей обнаженной стены.

Солдаты спускались по левой, противоположной стороне улицы, и только одна группа, человек в десять, стремительно катилась прямо на него, словно не в силах удержаться на крутом спуске. Вуле судорожно прижал к себе поклажу, в то же время свободными пальцами правой руки стискивал бумагу, напечатанную готическим шрифтом и выдаваемую немецкой комендатурой пассажирам поздних вечерних поездов на право возвращения домой кратчайшим путем. И снова мучительное ощущение без определенного названия, неясное, тошнотворное чувство смертельного страха, вызванного не столько опасением за жизнь или боязнью физической боли, сколько ужасом перед чем-то безликим, безмерным, гнусным и гадким, что затопляет и поглощает, душит, доводит до мучительного удушья, кровью застилает глаза, жжет уши. Это было невыносимое предчувствие того, что ты, твое человеческое и личное достоинство будет оскорблено, унижено и поругано.

Хоть он и вжался в стену до предела, один из солдат задел его плечом и, быстро обернувшись, осветил его мгновенно вспыхнувшим фонарем.

— Was denn? — воскликнул длинный немец, тыча фонарем прямо Вуле в лицо.

Вуле, ставший вдруг совершенно спокойным, поднял руку с мешком и пропуском и точно тем же движением сунул ее немцу под нос; зная по-немецки с грехом пополам всего несколько слов, голосом более низким, чем обычно, он сказал только:

— Пассажир...

— Коммунист? — спросил немец, повышая голос, насмешливо и как бы с любопытством. И неожиданно пнул сапогом по мешку, в то же время пытаясь сунуть ему в руку бог знает у кого отобранный набитый кожаный чемодан.— Неси! Los!

Но прежде чем Вуле успел сообразить, в чем дело, вперед выступил еще более длинный немец и потянул товарища, схватившись за тот же чемодан.

— Aber, lass den elenden Teufell,[1] — сказал он, смеясь, и внезапно дико рыкнул на Вуле: — А ну, чего уставился, проваливай домой, los!

И уже за своей спиной Вуле услышал, как немцы говорили друг другу:

— Все они коммунисты и свиньи!.. Kommunistishe Schweine!

То ли от пережитого волнения, то ли от быстрого подъема в гору, но сердце его подвело,— он снова должен был остановиться на углу сквера, между ресторанами «Москва» и «Такова».

«Который из них был пьянее,— думал Вуле.— Наверное, тот, второй».

В отличие от остального Белграда Теразии были освещены. В призрачном ореоле тумана молочно светились две пары слабых (военное время!) дуговых фонарей, словно спрятанных в соцветие одуванчика. В «Москве» видны были перевернутые столы и стулья; в домах спущены шторы, полное безлюдье; ни единого живого существа вокруг — ни кошки в отдушине подвала, ни бродячей собаки, обнюхивающей тротуар. И только из ресторана «Такова» долетали звуки вымученной любовной песни. Вуле невольно заглянул туда: там тоже сдвигали столы, но за тремя-четырьмя из них еще сидели посетители в военной форме да несколько штатских (вероятно, агенты!). Певица в национальном костюме, перегнувшись через край эстрады, размахивает руками, разыгрывая веселую девушку из народа. Вуле нахмурился, исподлобья посматривал на нее: ему совестно было и обидно за этот пестрый народный костюм и за эту народную песню.

...заколосилась пшеница...

Как ни тягостна наша погоня за пропитанием, раз мы такие, раз средь нас есть еще охотники до песен и веселья, лучше бы уж и не колосились хлеба, лучше бы и не пели птицы. Да, но что бы тогда стали делать мы, на чьем попечении больные, немощные и слабые, ведь мы их единственная надежда и опора, только благодаря нам

---

[1] Послушай, брось ты его ко всем чертям! *(нем.)*

им удастся дожить до того дня, когда *эти* будут изгнаны из нашей страны!

Вот и его с трепетом ждут сейчас больная мать и детишки брата. Не будь его, кто бы позаботился о них? Мать едва таскает ноги по квартире, душит ее тяжелая астма, не отпускает часами, напрасно что ни день льет она слезы; невестку его разорвало в клочки чуть не первой бомбой, угодившей в Байлонов рынок шестого апреля. Брат в плену и не подозревает обо всех этих несчастьях. Вуле поддерживает его лишь вестями о школьных успехах Баты и Секицы. Все его усилия направлены сейчас на то, чтобы хотя бы они пятеро пережили этот кошмар; а там жизнь начнется сначала, тогда будет время и для композиторства, и для обработки и записи мыслей, наблюдений и умозаключений, которые целиком поглощали его до войны. Он и теперь ощущает, сколь значительна и самобытна его мысль об исконной связи языка и музыки, так же, как и его трактовка проблемы так называемого чисто языкового и чисто музыкального выражения. Если он не напишет об этом, если смерть помешает ему, неизвестно, додумается ли кто-нибудь до этого и сумеет ли донести эти идеи людям. Наверное, кто-нибудь из его студентов из Музыкальной академии подхватит выдвинутую проблему, но... как справится он с этой задачей и упомянет ли в связи с ней его имя? Что-то подсказывает ему, что человеческое забвение всей тяжестью падет на его плечи, и он заранее страдает от этого, но все же заниматься этими вопросами, вопросами красоты человеческой речи и звуков, воспроизведенных рукой человека, сейчас, когда сотни миллионов людей переживают трагедию, когда решается, быть или не быть человеку, как таковому, кажется ему эгоистичным и мелким. Забота о семье освящена инстинктом, природой, в то время как философские измышления представляются Вуле сейчас ненужной и недостойной суетой. От брата приходят вести, что они там, в плену, трудятся, учатся, играют, рисуют, пишут; может быть, и те, в лесу, делают то же, но это совсем другое. Здесь же, в рабстве, если уж ты не вступил активно в борьбу, замкни сердце, стисни зубы, не смей петь даже во сне.

Вуле нагнулся, собираясь снова взвалить на себя свою поклажу, как вдруг его остановил странный шорох над головой, потом шум падения и вслед затем что-то глухо

плюхнулось на тротуар у его ног, точно ком сырой глины.

— Птица!

Он быстро наклонился и, ощущая сквозь влажные перья необычно горячее птичье тельце, поднял его к фонарю.

— Перепелка!

Он обхватил ее пальцами всю, от краешков крыльев до холодных, шершавых лапок с когтями, стараясь держать как можно нежнее.

Внезапно обессилевшая птица ожила в его руке — вытянула шейку, подобралась, сжалась. Из груди ее вырвались глухие звуки, прерывистые и хриплые. Запрокинув головку и помигав белесыми веками, птица открыла свои круглые блестящие черные глаза, а в крутой и теплой грудке под его рукой, под пальцами, каждый из которых, казалось, слышал удары, сильнее забилось трепетное и дикое птичье сердце. В порыве нежности он поднес ее к щеке, к губам. От намокших перьев,— или то игра воображения? — повеяло далями, скирдами, жнивьем, хотя, пожалуй, это был всего только запах терпкой густой крови. Перепелка была ранена в грудь. Запоздала, отстала, сбилась с пути, от дождей и туманов крылья стали тяжелые, тянули к земле, и, видно, ослепшая от града, она ударилась грудью в провода и антенны.

Усталость и гнетущие, неразрешимые сомнения — все сразу было забыто. С радостью Вуле придумывал способ, как наряду с мешком и бутылками донести перепелку до дому, не причинив ей новых страданий.

И хотя это было на редкость неудобно, всю свою поклажу он взял в правую руку, пропуск зажал в зубах, а перепелку понес в левой. Не чувствуя особой тяжести и никого больше не встретив, он во тьме пробирался к себе, и ему даже приятен был этот обратный путь с милым живым существом, которое по временам потягивалось в его руке, словно девушка в тесной жилетке. Птичье сердце, несоразмерно большое и мощное по сравнению с телом, билось часто и сильно, будто стальной язычок колокола. Удивительно, но и его пульс в руке, державшей перепелку, встрепенулся и заторопился, стараясь, видимо, найти общий ритм.

Начиная с этого вечера, а точнее, с появлением маленькой раненой птицы в доме Рашаниных, жизнь невеселого, убитого горем семейства заметно изменилась. Несчастное

создание человек. Сила привычки может приглушить, усыпить и способность рассуждать, и сопротивление, и волю, привычка может заставить примириться и с оковами на руках, и с клеймом на лбу, и с несчастьем, и с болью, заставить бояться любой перемены, всего нового. Вот почему и самый свет так часто болезненно воспринимается людьми, отупевшими в темноте бедствий и не способными, по крайней мере в первое мгновенье, различить, что несет им спасение, а что гибель...

Старая Рашаниха, завидев из кухни сына, входившего через вход с террасы, облегченно вздохнула. Мрачные предчувствия и жуткие картины — война, железнодорожные крушения, кровавые расправы фашистов, расстрел случайных прохожих из пулеметов — немедленно рассеялись. Но сразу вслед за тем старуха снова встревожилась: в самой фигуре сына она уловила что-то необычное — странными были движения и все его поведение. Когда она бросилась ему навстречу, чтобы освободить его от поклажи, он не отстранил ее, не вздыхал, как обычно, когда, изможденный, возвращался поздно ночью из Раковицы. Напротив, он поспешно протянул ей авоську с бутылками и мешок, а левую руку с чем-то маленьким и неразличимым прижимал к лицу, лукаво улыбаясь,— таким она его давно не видела. Что он не ранен, она поняла сразу, как только он стал открывать дверь. Но что же это тогда? Уж не нашел ли он на дороге драгоценность? Да нет, она хорошо знает своего сына, в этом случае он вел бы себя совсем по-другому. Может, он принес ей что-то такое особенно приятное? Какое-нибудь чудодейственное лекарство или добрую весть о втором ее сыне, томящемся в плену? Нет, и в этом случае у него было бы совсем иное выражение лица. Эта радость касается только его. И старуха поневоле насупила свои редкие, широкие рыжеватые брови; маленькие тусклые карие глаза слабо блеснули, вскинулись вверх и на какой-то миг не по-матерински холодно и испытующе остановились на сыне. В своем блаженном состоянии он ничего не видел, что мать, неприятно этим пораженная, сейчас же про себя отметила и с присущей ей истинно женской быстротой реакции принялась суетливо разбирать его поклажу. Она старательно отворачивалась в сторону, скрывая от него лицо, искаженное гримасой ревности и ей самой непонятного раздражения. С подчеркнутым рвением хлопоча вокруг мешка и бутылок, она как бы вскользь обронила тихо и сдержанно:

— Что это там у тебя? — И уже не в силах больше сдерживаться, переспросила глухим голосом: — Это еще что такое?

Однако в тот же вечер старая решила примириться с очередным капризом Вуле; и на этот раз ей не оставалось ничего другого, как и тогда, когда она поняла бесполезность борьбы против желания сына стать музыкантом-исполнителем, что и по сей день представлялось ей несерьезной, цыганской профессией. И более того, полюбить и пестовать его «прихоть», потому что, кроме всего прочего, ведь и жаль такую «кроху». Что поделаешь, если уж он так полюбил эту птаху и она доставляет ему столько удовольствия! И к тому же, какие он радости видит в свои тридцать лет? Ни компании, ни прогулок, ни девушки, насколько ей известно; вдобавок он отказался и от инструмента, и от прежнего концертирования. Да, в конце концов, вся эта забава с птицей ненадолго — здоровую птицу и ту нелегко содержать дома, а уж что говорить об ослабевшей, раненой!

Вуле вставал и ночью, чтобы взглянуть на перепелку, временно помещенную в ящик из-под олеандра, который засох, когда они бежали из города. Довольный, вернулся он из кухни в постель — перепелка по-прежнему сидела в углу ящика, куда он ее посадил, предварительно натрусив соломы из тюфяка для создания иллюзии семейного гнезда перед рассыпанной пшеницей, остававшейся еще с прошлогоднего иванова дня и рождества. Птица нахохлилась, втянула голову в плечи и напоминала теперь крестьянку, что задремала, сидя на корточках на станции в ожидании поезда, но все-таки перепелка как будто бы чуть-чуть встрепенулась, когда он в полутьме, поставив свечу на пол, снимал с ящика поднос, исполняющий роль крышки. Хорошо, что она снова не завалилась на бок. Вечером, когда он посадил ее в наскоро оборудованный ящик, птица, оставшись без опоры, упала на бок как неживая, и, наверное, так бы и осталась лежать со скрюченными лапками, с полуоткрытыми клювом и глазами, если бы Вуле не принялся ее отхаживать: греть в ладонях, дуть ей под крылышки и на раненую грудку. Он не хотел прикасаться к ране чем-нибудь человеческим; рана казалась ему неопасной, а кроме того, он был глубоко убежден, что «дитя природы» более выносливо, чем цивилизованные существа, которые не могут обходиться без йода, лизола и тому подобного. Перепелка скоро оправилась от шока, должно

быть, вызванного испугом. Придя в себя, она сейчас же встряхнулась, закинула головку, и, ни разу не сморгнув, наподобие близорукого человека, и всем своим видом останавливая всякие дальнейшие попытки к сближению, уставилась своим сияющим, бдительным, подозрительным взглядом в зрачки таинственного чудовища — своего господина. С самого начала было видно, что не в ее характере покоряться или терпеть принуждение. А сердце ее, птичье сердце, стоило ему взять ее в руки, снова начинало громко биться в груди; все ее крепко сбитое тело сотрясалось от этих ударов, словно корпус маленького корабля от рокота сверхмощного мотора. Четкая работа этого чужого сердца поражала Вуле неведомой ему стойкостью.

Можно вообразить ликование детей, когда утром Вуле показал им перепелку. Мать была вообще против того, чтобы говорить детям про птицу. Начнут беспрестанно вертеться возле нее, забросят ученье, не будут слушаться бабушку, переколотят посуду, а ее и так мало осталось в доме, и, наконец (это уже было обращено непосредственно к Вуле), своей возней привлекут внимание немецкого офицера, поселившегося в реквизированной комнате Вуле, чего сам Вуле больше всего опасался, да и «бедной птахе» не пойдет на пользу их неусыпное бдение и хлебные крошки, которые они то и дело станут бросать в ящик. Но Вуле не мог не разделить своей радости с детьми. Для таких вещей они незаменимые союзники. Бабушка — вообще говоря более тонкий психолог, чем сын,— просто диву давалась дисциплинированности ребят, они же решили быть достойными дядиного доверия.

Бате шесть лет, у него широко поставленные, круглые, как орехи, глаза, которые попросту не останавливаются на взрослой половине населения и замечают только котят, щенят, утят и прочие создания не более восьмидесяти пяти сантиметров от пола — исключение составляют лошади и, конечно, машины, которые для Баты поистине живые существа; Секице скоро (через какой-нибудь месяц) девять лет, в ней сохранились все повадки сорванца, который непременно подденет ногой всякий камешек или конский каштан и будет гнать его перед собой по тротуару; еще бесполо-плоская, как лещ, но с намечающейся грацией движений и особым сиянием, порхающим где-то в ресницах и возле рта, грудным глубоким смехом и с внезапно возникающим желанием выйти из игры и в

сосредоточенной задумчивости лишь мудро при ней присутствовать.

Они слушали дядю безоговорочно, даже удерживались от столь естественных возгласов удивления и восторга; и хотя постоянно думали о перепелке, к ящику подходили изредка и на цыпочках, вытягивая шеи, чтобы издали посмотреть на птицу сквозь решето, заменившее поднос. Впрочем, дядя лелеял мечту раздобыть клетку у кума Любы, у которого скончался белый старый какаду с желтым гребнем, говорят, от разрыва сердца,— его испугал своими грубыми шутками одетый в черную форму немец-танкист, их жилец. Это была чудесная высокая клетка из желтого металла с куполом, со всевозможными снарядами для гимнастики, с кормушкой, поилкой, бассейном и выдвижным полом, посыпанным песком, покрытым плитками и еще бог знает чем. Дядя говорит, как только перепелка, точнее перепел, выздоровеет, освоится с новым своим положением, привыкнет к ним, не будет пугаться и смущаться их любопытных взглядов, она переселится в золотую квартиру и он перенесет ее в свою каморку, где в былые времена жила прислуга. Дверцу в клетке закрывать не станет, пусть разгуливает, как ей угодно, скачет по кровати, по пианино, пусть понемножку летает; они посеют пшеницу в ящике с землей, пусть птица наслаждается зеленью, щиплет ее, если захочет, а весной, когда она начнет петь — пич-палач, пич-палач,— они отнесут ее за город, в хлеба... и выпустят... А может быть, к тому времени и *эти* уберутся отсюда...

Только бы *этот* из его комнаты ни о чем не догадался. Это Вуле больше всего беспокоило; только бы ему не столкнуться с немцем, только бы не оказаться вынужденным вступать с ним в какие бы то ни было переговоры. А немец, кажется, только того и ждал, чтобы с ними поближе познакомиться. Разумеется, мать — жертва и громоотвод. Ее немец останавливает в прихожей и заводит беседы о сыновьях, говорит, что любит музыку и удивляется, что никогда не слышит, как играет Вуле, а узнав от матери, что у него «Гаво», правда, камерное, рассыпается в похвалах этой, хотя и неровной, но все же отличной французской фирмы. Однажды днем немец чуть ли не силой ворвался в необычайно узкую, словно корабельная каюта, каморку Вуле, чтобы посмотреть инструмент. Полированное, светло-желтое, как лимонное дерево, пианино в строгом современном стиле с первого взгляда

понравилось немцу. Когда же он открыл крышку и взял два-три аккорда из «Патетической сонаты», пианино как бы выросло в размерах вместе с торжественным рокотом, вырвавшимся из его таинственных глубин, а тесные побеленные обшарпанные стены комнатушки раздвинулись. В конце концов, нет ничего удивительного в том, что он играет, заключила мать, он ведь врач, работает в авиационной части, родом из Ганновера, семейный человек. Надо еще благодарить судьбу; что бы с ними было, если бы у них остался саксонец из Трансильвании, эсэсовец,— он владел шестью языками, отбирал из библиотеки Вуле «опасные книжки» и растапливал ими колонку в ванне, угрожая при этом привлечь Вуле к ответу за то, что тот сам не уничтожил их; или капитан авиации, предшественник доктора, барон фон Цицевиц из Макленбург-Шверина, очевидно онемеченный славянин, все ночи напролет кутивший в окружении женщин. Однажды, возвратившись с забинтованной головой и на костылях из Боснии,— под поезд была подложена мина,— и войдя в свою, то есть в Вулину, комнату, капитан разбушевался и стал размахивать своими костылями. Он повыбивал стекла на гравюрах, перебил старинные тарелки на стене и сошвырнул книги с полок.

— Культура, музыка!.. Еще чего! Мотыгу в руки!.. Заступ в руки!.. Топор в руки!..

Старуха влетела в комнату, спеша спасти от разбоя сыновнее убогое добро, а эсэсовец стал доверительно изливать ей душу, словно она его сообщник.

— Вообразите себе только: «История сербов», «История сербов», их история!.. Брем, Брем, животный мир — вот их история!

Очевидно, старуха все-таки выдала перепелку немцу, хотя она в этом ни за что не хотела признаться сыну, который подозревал, что таким образом она задумала отделаться от птицы. Птица мешала ей, обременяла новыми заботами и хлопотами. Бросалось в глаза, что теперь мать не раздражало появление немца на террасе. Впервые он вышел туда, чтобы присмотреть за разгрузкой силезского угля для топки ванны. И тут-то, по ее словам, он и открыл перепелку. К тому времени птица уже совсем оправилась. А первые три дня вообще не шевелилась. Перед ней все стояло нетронутым, под ней никаких следов помета. И Вуле и дети болели вместе с птицей — ходили на цыпочках и говорили шепотом. Когда один из них возвра-

щался с террасы, в него впивались вопросительные взгляды, тревожно ожидавшие ответа, но вместо ответа они видели печально опущенные глаза и горестное покачивание головы. Это означало, что все зерна, а они были тщательно пересчитаны, оставались нетронутыми, вода незамутненной. Перепелка все в том же положении, то ли в глубоком сне, то ли в шоковом состоянии, под ней все чисто. Ах, хотя бы не эта бездушная, мертвящая чистота! На четвертый день утром Секица обрадовала дядю и брата, словно нянька, которая после долгой болезни ребенка, страдающего запором, разворачивает перед зачарованной семьей пеленки с несомненными признаками восстановленных жизненных функций организма. В тот же день птица встряхнула свою круглую пятнистую головку и застучала перед собой клювом — стала чистить его, наподобие выздоравливающего, который требует зубную щетку, едва спадет температура. А потом поклевала зернышки пшеницы, проса и черной вики.

Немец был врач и в качестве такового видел в перепелке пациента, которому на первых порах следует прописать пурген и назначить строгую диету. Конечно, он не преминул взять птицу в руки. Это были руки врача, сухие и твердые, холодные от постоянного мытья, пропахшие хлороформом, привычные к болезненному содроганию чувствительных мест под пальцами и с нескрываемой досадой их не обнаруживающие. При осмотре птица вырывалась, запрокидывала голову, приоткрывала клюв, чтобы перевести дыхание, потому что сердце ее, наверное, бешено колотилось, но именно на него, на бешено бьющееся сердце доктор не обратил никакого внимания, видимо, в силу того, что кардиография не являлась его специальностью.

Зато он заглянул в ее полуоткрытый клюв. Для какой цели — это мог бы знать Асклепий, если только Пегасы, воробьи Афродиты и павлины Геры были в его ведении. Во всяком случае, наверняка не для того, чтобы получше рассмотреть загиб верхней половины клюва, заходящий за нижнюю, но не зловещий, ястребиный, а какой-то наивный, цыплячий.

Вуле мог подолгу любоваться этим простодушным крючком; он напоминал ему верхнюю губку одной его ученицы. Она точно так же выпячивала ее, когда на занятиях, нервно отбивая такт ногой, Вуле кричал ей в ухо, разумеется, совершенно напрасно:

— Больше темперамента!.. Больше огня!..

Очевидности ради следует все же признать, что на первых порах эти врачебные визиты, видимо, помогали перепелке. Она ожила, не стеснялась теперь лущить зерна и с тихой стыдливостью охорашивать и приглаживать свой туалет перышко по перышку; распустит свое овальное крылышко, словно примеряя длинное платье, и задними перьями коснется выставленной лапки; это те самые перья, которые со свистом разрезают воздух, когда птица выпархивает из посевов; этими своими короткими быстрыми веслами прогребет она над колосящимся полем, а потом снова погружается в его волны. Иногда перепелка вычесывала клювом, словно гребешком, отслужившее свой век перо, и тогда дети подбирали его — это маленькое чудо легкости, красоты и мощи. Пущенное из окна, перо долго кружилось, вертясь по спирали крылатым кленовым плодом и упорно сопротивляясь силе земного притяжения; под ярким солнцем это на первый взгляд серенькое куриное перышко вспыхивает и переливается настоем сочных и теплых красок и отсветами дорогого старинного полированного дерева. А на все старания его согнуть наподобие орденского знака, перо отвечало упруго-гибким отпором, достойным дамасской сабли. Вуле только потому и медлил с торжественным водворением птицы в золотую клетку, что боялся привлечь таким образом немца в свою комнату, в salle «Gavau», как ее называли его друзья по Академии.

Между тем однажды утром перепелку обнаружили мертвой. В первое мгновение Вуле не поверил своим глазам. Птица совсем не изменилась, и если в отношении к ней применимы были бы слова, которые говорят о покойнике, то можно было бы сказать, что перепелка уснула. Лишь слегка нахохлилась и привалилась к стене своей деревянной избушки. Даже веки и клюв не сомкнула. Только чуть поблекли нежно-розовые краски возле клюва да сердце перестало биться в окоченевшей холодной тушке. Это был настоящий удар, оборвавший целые вереницы, целые связи мечтаний, осушивший источник стольких радостей. В дом пришло горе, сравнимое только лишь с тем, которое наступает, когда люди с недоумением и растерянностью по сто раз на день заглядывают на опустевшее ложе того, кого не стало, на его праздно висящую, такую ненужную теперь одежду.

Бабушка не хотела, да и не могла их понять и сердито ворчала, расхаживая по дому:

— И не грех вам, и не стыдно... теперь-то... в такое время... о пустяках убиваться.

Доктор тоже вздыхал, полагая, что она погибла от разрыва сердца,— отстав от стаи, птица лишилась привычного образа жизни, на нее обрушивались все новые и новые неожиданности и перемены, фатальные для такого хрупкого существа. Преследования охотничьих собак, коварное нападение лис и куниц на гнездо, гром с неба, ястребы, сороки и вороны — все это обычные явления для куропаток и перепелок; вечная боязнь хищников и двустволки помогает им держаться в форме, но пережить то, что выпало на долю этой птахе, поистине невозможно. Но эти трое все равно не верили его словам. Они были убеждены, что немец ее прикончил. Ребят не слишком занимал вопрос, как и чем. А Вуле впал в мистику — «одним своим прикосновением, одним своим присутствием»,— и не переставал сокрушаться, что не спрятал птицу в надежном месте, где бы проклятый немец не мог ее сглазить этими своими северными, «аквамариновыми» глазами.

Детские страдания что летние ливни. А Вуле превратил историю с птицей в трогательно-шутливый рассказ, которыми преподаватели заполняют паузу между уроками. И все же перепелка оставила после себя неприятный след. Немец теперь прямо-таки не давал им прохода. То и дело требовал, чтобы ему играли Бетховена, Шумана или Шопена. Приходилось идти на всевозможные уловки, чтобы предотвратить эти встречи, но совсем избежать их было невозможно. Чаще всего они сталкивались на лестнице у их дверей около двух часов дня или вечером, перед тем как запирали парадное, сначала в пять, затем в шесть, а теперь в восемь часов вечера. Вуле всякий раз приходилось отговариваться то ангиной, то срочной — к утру — перепиской нот, то проверкой ученических тетрадей.

Перед самым Новым годом произошла еще одна странная встреча.

Вуле возвращался домой в девятом часу, на этот раз из Малой Моштаницы, где еще с тремя преподавателями Музыкальной академии в доме начальника станции вел переговоры с местными крестьянами о поставке дров. Кстати, он прихватил несколько кочнов мороженой капусты, а вдобавок к ней немного фасоли и добрый кусок шпига. Парадное оказалось освещенным и неза-

пертым, в коридоре стоял немец в каске и с автоматом, возле него жандарм в зеленой форме армии Недича с винтовкой старого образца.

Немецкий солдат, не шелохнувшись, равнодушно и мельком взглянул на вошедшего, тогда как второй, считавшийся «своим», потребовал удостоверение личности и сведения о квартире и жильцах. Жена управляющего домом, родом из Словении, застыла перед входом в свою квартиру, и, кинув на Вуле многозначительный взгляд, возвела глаза к потолку. Значит, пока его не было дома, от трех пополудни, в городе, а скорее всего в этом районе, что-то стряслось и теперь патрули с понятыми производили так называемую «карательную акцию». Обшаривали кварталы дом за домом, квартиру за квартирой, от чердака до подвала.

И хотя у Вуле не было оснований беспокоиться за свое собственное семейство, он поднимался на третий этаж несравненно более угнетенный тяжестью душевного груза, нежели того, который он с трудом тащил со ступеньки на ступеньку... Где они теперь? Он услышал топот у себя над головой,— вероятно, они переходили из квартиры профессора, бежавшего из Загреба, к его ближайшим соседям — целому табору боснийцев, поселившихся в квартире, где раньше жила еврейская семья. Перед дверьми караулили двое, как внизу. Здесь его никто не остановил. Вуле хотел было прибавить шагу, несмотря на поклажу, но решил, что благоразумней, пожалуй, не спешить. На последнем этаже не было лампочки, вывернутой экономным хозяином, и ему пришлось опустить мешок, чтобы нашарить впотьмах ключи в кармане брюк, и нащупать замочную скважину, одновременно напряженно прислушиваясь к происходящему внизу и стараясь уловить хоть малейшие признаки жизни в своей квартире.

Пока он перебирал ключи, ему вдруг почудилось, что кто-то окликает его в темноте, послышался шорох женского платья, и перед ним вдруг возникла высокая и стройная молодая девушка, которая протягивала ему небольшой чемодан.

— Господин профессор, возьмите это к себе и спрячьте среди своих вещей. Товарищи рассчитывают, что вы сделаете это для нас. Только быстрее! Когда они уйдут, я к вам зайду, постучу.

С первых же слов он узнал ее. Лена — так ее звали; до войны она была его ученицей... дочь учителя... Так вот

оно что! Когда он без слов взял ее чемодан, она порывисто обняла его, на какое-то неуловимое мгновение прильнув к нему всем телом. И он услышал еще только ее шепот:

— Спасибо! До свидания! — и вслед затем девушка словно тень взлетела вверх по лестнице.

Все это длилось считанные секунды, но каждая из них представлялась ему сейчас огромным отрезком времени. И сам он летел, подхваченный этими молниеносными мгновениями. Он быстро все понял и быстро взял себя в руки. Отыскивая скважину ключом — звонить он не хотел,— Вуле снова и снова переживал все, что случилось с ним минуту назад. Теперь он как бы острее ощущал теплоту ее порывистого объятия, чувствовал на лице ее горячее дыхание, когда она прошептала ему те несколько слов; все явственней слышал биение доверчивого, смелого девичьего сердца, прижавшегося к его груди, все яснее слышал его удары, четкие, как ритм народной песни.

Он отчетливо понимал, с чем связывает свою судьбу. Случайно или нет она обратилась к нему? Если те, что скрываются в подполье или в горах, расчетливо взвесив на своих весах характер и выдержку людей, остановили свой выбор на нем, как сказала она, он может или поблагодарить их за это отличие, или возмутиться их бесцеремонностью. А может быть, девушка, оказавшись в ловушке, выбрала его сама. Но как бы там ни было, он должен выполнить это задание и тогда будет вполне логично, если за ним последует второе и так далее... Что станется с матерью и детьми, если он попадется?.. «Как попадаются многие, многие другие...» — повторял он про себя, замечая, что, несмотря на все его самоуверенные доводы, его трясет, как в лихорадке.

Без колебаний, свалив мешок в передней, он постучался в комнату к немцу. Никто не ответил ему, полоски света под дверью не было. Прекрасно. Не желая зажигать лампу, он в полумраке нащупал свою тахту, на которой всегда была разобрана постель, тахта выдвигалась, и, насколько он знал, внутри ее ничего не было. Точно. Вуле засунул туда чемодан и поправил постель. Плохо только, если чемодан потребуется, когда немец будет дома. Утром надо его перепрятать куда-нибудь в другое место. И надо быть начеку, не прозевать ее стук. Где она теперь? Где-нибудь на чердаке, пробирается сквозь слуховые окна или спускается по водосточной трубе. Жаль, если она забросила музыку, у нее абсолютный слух и к тому же дар слова.

Она может погибнуть, ведь она ежесекундно рискует жизнью. Ужасно!..

...Как подготовить мать? Что сказать ей? Лгать ей он не может, а она, конечно, будет против...

У него не было ни сил, ни охоты вступать с ней в объяснения. Но старая достаточно хорошо изучила своего сына.

— Что с тобой?.. Уж не звали ли тебя снова им играть?.. Будь осторожен, не забывай про детей... До каких пор тебе удастся выкручиваться? Может быть, пока ты занялся бы каким-нибудь другим делом...

Вуле все ее слова пропустил мимо ушей. Он ждал конца карательной акции. И странно, несмотря на чемодан, спрятанный у немца, возможность обыска теперь нисколько не пугала его. Но акция касалась не только его, и он успокоится лишь тогда, когда патруль спустится вниз, когда шаги, удаляясь от дома, замрут на улице. Главное, чтобы с Леной ничего не случилось!

Постучит она в парадный вход или успела заметить, что он остановился перед дверью на террасу? Подпольщик должен обладать особой наблюдательностью...

...Но вот облава кончилась, все улеглось. Не обошлось и без комического эпизода: унтер-офицер машинально отдал честь пустой комнате доктора. Тахту они не тронули, а в пианино сунули цилиндрические фонари и долго освещали пустоту под струнами. Наконец они ушли. Управляющий домом, надо думать, показал им каждый закуток на чердаке, каждую лазейку на крыше, но Лену они не нашли.

Когда он во второй раз подошел взглянуть сквозь стеклянную дверь, отделяющую общую часть террасы от лестницы, нет ли там Лены, мать окликнула его:

— Кого это ты поджидаешь? Поаккуратней, сынок, не шути с огнем... Уж не вздумал ли ты пустить в дом гостей в такое-то время? Займись-ка лучше своими уроками да музыкой.

«Теперь ей и музыка мила!» — подумал Вуле, сейчас особенно жалея, что, всегда, они двое — мать и сын — не находят общего языка. Ах, если бы отец был жив, другая была бы у него молодость, другая вера в себя и в жизнь.

В чуткой тишине военной зимней ночи весь дом, от чердака до укромных подвалов, содрогался от топота тяжелых солдатских сапог. Всю ночь люди вздрагивали от

этих шагов, ибо патруль побывал почти в каждой квартире. И Вуле напрягал слух, пытаясь уловить другой, несравненно более сдержанный звук. Он почему-то был уверен, что девушка выжидает, пока воздух совсем «очистится», и тогда незаметно прошмыгнет к ним. Поэтому, даже заслышав шаги доктора и характерное шарканье его подметок о половик, Вуле еще считал, что не все потеряно. Между тем, прежде чем ключ доктора щелкнул в английском замке, за дверью послышались голоса — мужской и женский. Мужской несомненно принадлежал доктору и притом был он по-студенчески игрив, что наблюдалось за доктором всякий раз, когда ему представлялась возможность пересыпать изысканнейший «хохдойч» французским. Кровь бросилась Вуле в лицо; он кинулся на террасу — так и есть: это была Лена. Она тоже перескакивает с немецкого на французский, делая при этом множество ошибок, но последнее обстоятельство смягчено обворожительным смехом красивой девушки и ее застенчиво-взволнованным приглушенным альтом. На ней вполне приличное черное пальто с воротником и обшлагами из черного каракуля, на голове очаровательно сдвинутая набок шапочка того же меха. Из-под шапки выбиваются локоны, блестящие, помолодому небрежные, которые придают детскую беззаботность ее правильному, строгому и бледному лицу и вообще всему ее облику, отмеченному печатью зрелости и достоинства. И только на левом плече клочок паутины да локоть чуть запачкан мелом — и это все. Подбородок и нос припудрены. Где она пряталась, где выжидала, где приводила себя в порядок? «Вероятно,— соображал про себя Вуле,— спускаясь сюда, она услышала шаги и, увидев немца на площадке, подошла к нему с видом гостьи, которая боится ошибиться дверью и просит осветить фамилию на стертой металлической табличке. Надо принимать мгновенное решение,— изобразить радостное изумление, поблагодарить его за внимание и прочее».

Стоило Вуле появиться в дверях, как Лена доверчиво подлетела к нему и, чуть смущаясь присутствием постороннего человека, подставила ему для поцелуя щеку. Доктор между тем с галантной покровительственностью пояснял:

— ...Как видите, мне посчастливилось первому встретить вашу прелестную кузину... Прошу вас, прошу вас сюда... Воображаю, как обрадуется ваша тетушка... А потом извольте и ко мне на рюмочку настоящего мартеля; после

путешествия в военных поездах оно вам будет весьма кстати... А... ваш кузен... судя по книгам... большой поклонник французов...

Больше всего Вуле боялся, чтобы встреча с матерью не произошла у немца на глазах, и поэтому, схватив Лену, потащил ее к себе, то есть на кухню. Когда доктор убрался восвояси, они задержались на миг в тесной прихожей перед кухней и обменялись быстрыми взглядами, сурово и напряженно сдвинув к переносью брови.

— Осторожней! — шепнул ей Вуле.

Она только моргнула в знак согласия и в то же время извинения.

— Мама, моя коллега Милена переночует у меня в комнате, она приехала сегодня поздно, только сейчас узнала, что ее родные на днях перебрались на Пашино Брдо.— Все это он отчеканил без запинки, словно вытверженное на память, между тем как старуха безмолвно смотрела на них, а потом еще добавил, как бы мгновенно решившись и снизив голос: — Она наша родственница; управляющему домом скажем, что она пришла утром, в другие ворота, через хозяйский дом. Если ночью снова будет облава, она ляжет к тебе в кровать, у тебя же будет озноб, и мы завалим тебя одеялами.

Старуха не могла прийти в себя от изумления — настолько непривычен был повелительный тон сына. Не успели они уйти к нему в комнату, как в кухню постучал немец и, улыбаясь, появился на пороге с голубой бутылкой под мышкой:

— Я подумал о том, что мне все равно придется спозаранку идти в свою амбулаторию. А там, кроме постели для дежурного, есть еще одна походная кровать. Это совсем рядом, на Ресавской улице, а вы, дорогая гостья, извольте занять мою постель... о... нет, нет, нет... Подождите, в награду пусть ваш кузен сыграет нам «Лунную сонату», чтобы мы позабыли про войну.

Хотя мысли и настроения Вуле совсем не соответствовали сонате, ему показалось, что после долгого перерыва он снова хорошо играет.

Когда они остались наконец одни в его старой комнате, Лена призналась, что в условленном месте не оказалось того, кто должен был ее дожидаться,— он, вероятно, попал в западню, а когда она очутилась в самом центре «горящего района», где проводилась облава, она вдруг вспомнила о Вуле, человеке, подходящем со

всех точек зрения, в том числе и с той, что он был владельцем квартиры с двумя выходами на разные улицы, с террасой на крыше, по которой можно добраться до нового здания на Таковской, а оно, в свою очередь, тоже имеет несколько выходов на разные улицы, на развалины и пустыри. Ей надо отсидеться несколько дней, а за это время он должен помочь ей по возможности быстрее восстановить связи. О ее документах пусть не беспокоится. Но если все это для него тяжело, она уйдет, у нее есть еще адреса по соседству, на Палмотичевой и Владетиной улицах. Только во всех случаях необходимо доставить тот материал на Сараевскую улицу, в Кострешевское кафе, и отдать его в руки Неры, хозяйки, сказав, что это яблоки из Пожеги.

Излагая ему все это серьезно и отрывисто, как человеку, знакомому с условиями и приемами работы, Лена извлекла откуда-то из кармана дамский несессер. Вуле предложил ей принять ванну, но не успел он подняться, как в дверь, постучавшись, вошла мать и, указывая на сына пальцем, с искаженным и белым лицом угрожающе прошипела:

— Ты молчи, я защищаю своих детей... А тебя, девушка, кто ты там есть, я ни о чем не спрашиваю, а только ты пойди, пойди взгляни, кого он кормит, кого я на ноги ставлю... пойди!..

— Мама, как ты не понимаешь...— начал Вуле, но в то же мгновение замолк.

Снова послышался стук и топот сапог. Мать выхватила из шкафа какие-то вещи из докторского военного обмундирования и раскидала все это по креслам. Лена бросилась в кровать и, как была, одетая, забилась под одеяло. Вуле, на ходу стягивая с себя одежду, кинулся в свою комнату. Скоро свет был погашен.

Они прошли по всей квартире, но в комнату доктора даже не зашли. Перед уходом недичевский жандарм и немецкий патруль с блестящим значком в виде полумесяца на груди одновременно вытащили записные книжки и, надуваясь и вертя карандашами в пальцах, впились в него глазами:

— Известно ли вам что-нибудь о бывших учениках Музыкальной академии Йоване Карличе из Белграда, Милене Джакович... Дзякович... Дьякович или что-то в этом роде из Ужицы и Наде Рубашич из Ковина? Не встречали ли вы кого-нибудь из них на этих днях?

— Они у нас не появлялись с самого начала войны... Я совсем потерял их из вида, да и позабыл их, наверное, не узнал бы при встрече.

— А мы их вам покажем, чтобы вы их вспомнили и вам легче было бы удостоверить их личность, когда мы их поймаем и пригласим вас к себе,— стараясь скрыть насмешку в голосе, суетился жандарм, отыскивая и протягивая Вуле фотографии со студенческих билетов.

Спустя час Лена была готова. Бледная улыбка не сходила с ее лица, подкрашенные пухлые губы, как бы выпяченные слегка вперед крепкими зубами, бросались в глаза при слабом свете, проникавшем сквозь маскировочные шторы на окнах. Ее карие глаза в дугах поднятых бровей останавливались на нем, словно играя, словно порхая по его лицу, тогда как мысли ее были далеко.

Вуле сознавал это и все-таки восхищался ее взглядом, как и вообще всем в этой девушке, каждым проявлением ее существа. И если бы она сейчас позвала его с собой, он все бы бросил.

— Побудь здесь до утра, отдохни немного!

— Нет, нет,— ответила она, не смутившись этим «ты». Тогда она вообще не сможет выбраться из этого дома. Она снова доверительно приблизилась к нему: — Если они выяснят, что доктор сегодня здесь не ночевал, скажите, что вы и сами удивляетесь и даже не слышали, когда он ушел. И постарайтесь переправить чемодан на Сараевскую, пока они не успели еще связаться с доктором. Впрочем, сомнительно, что они нападут на след. Ведь он ведет из Ужицы, а немцам неизвестно, что кто-то перебрался в Боснию...

Заметив, что Вуле обернулся в поисках пальто и шапки, она, уже совсем одетая, с поднятым воротником, снова порывисто и доверчиво подалась к нему.

— Оставайтесь дома, так надо... Потерпите немного... Я через кого-нибудь дам вам знать... о себе — И, обдав его пламенем своего дыхания, прошептала: — Будьте здоровы! До свидания!

Он стоял неподвижно, Лена сжала его руку и вдруг обняла, словно хотела поднять и унести с собой. Он не мог не подумать о том, сколь жалка и смешна его пассивная роль, но даже и она, эта выпавшая ему бессловесная роль, подле нее доставляла ему такую радость, какой ему до сих пор не доводилось испытать. Не противясь больше своему желанию, он отвел от себя ее руки

и сжал в объятиях. Оказавшись в тисках его рук, тело ее перестало сопротивляться. Только голова и шея оставались свободны. И пока он прижимал ее к себе, чувствуя, как в ней растут и ширятся молодые, кипучие силы, а буйное девичье сердце, словно живое существо, стучится и бьется в его грудь,— она все дальше откидывала голову. Она ускользала от него, уклонялась от его поцелуя, но в то же время как бы хотела сохранить такое расстояние, при котором могла бы беспрепятственно читать в его глазах, в чертах и движениях его лица.

Наконец каким-то совершенно для него необъяснимым чудом она сжалась, вывернулась, выскользнула из его объятий и, привстав на цыпочки, запечатлела на его губах быстрый поцелуй. И при этом погрозила ему пальцем, чтобы он не двигался, пока она, проскользнув в дверь, не притворит ее за собой.

И только еще раз с порога, в темноте, прозвучало чуть слышное:

— До свиданья!

1947

Пулеметы среди яблонь

— Смотри, смотри, смотри! — шепотом кричала старая женщина с седыми, по-девичьи кудрявыми волосами больной, лежащей на узкой желтой оттоманке — верхняя часть ее тела, худенькая, плоская, вся ушла в оттоманку, а тяжелые, отекшие, бессильные ноги покоились на изогнутом изголовье.

Молодая женщина не повернула головы, не шевельнула полуопущенными веками, а старая тихо проговорила скорее с любопытством, чем со страхом или удивлением:

— Как муравьи! — И тут очень близко, метрах в десяти от них, оглушительно защелкали, затявкали, заикали с разной скоростью и короткими неравномерными передышками многоголосые пулеметы, винтовки, автоматы и тяжелые минометы, словно одновременно застучали аппараты Морзе величиной с солоникских береговых журавлей. На крыше загремела черепица, дважды звякнула жесть водосточной трубы, посыпались обломки черепков, кружась в воздухе и глухо ударяясь о пол террасы. Все ниже и ниже над их головами пролетали и отскакивали от шершавого известняка стен горячие расплющенные пули. Верхнее стекло единственного окна, обращенного в Букуле, взвизгнуло, и пуля в комнате ударилась о твердое дерево шкафа. Старой женщине стало ясно, что напрасно она надеялась укрыться в погребе с каменными сводами, отнесла туда подушки, воду, еду, лекарства, кое-какую одежду и драгоценности,— сейчас уже поздно переводить больную, хоть это тут же, рядом с террасой,— пять ступенек и шесть шагов. Она на коленях подползла к больной, так же на коленях перетащила ее в комнату и уложила на тахту в безопасном углу.

— Ложись, ложись рядом со мной, ради бога не вставай!.. Ты же видишь!..— с трудом, прерывающимся

голосом повторяла больная, потому что еще одна пуля, пролетев над шкафом между двумя старинными красно-белыми вазами, ободрала окрашенную в зеленоватый цвет боковую стену. Горячими пальцами она сжала руки золовки, а та, внутренне сопротивляясь, отметила резкое ухудшение, но усидеть возле нее не могла.

— Лежи спокойно, не бойся, я сейчас, только воду принесу и капли.

Она прикрыла дверь между маленькой прихожей и террасой и попыталась что-то увидеть, понять, что происходит. Верхняя стеклянная половина двери была забрана решеткой из кованых прутьев и затянута белой вязаной занавеской с бахромой. Прильнув к стене и немного отодвинув край занавески, через деревянные переплеты террасы, сквозь ветки одиннадцати густых яблонь и низкую ограду из зеленого штакетника она увидела ползущие тени, дым и непрерывный поток маленьких черных фигурок, двигавшихся где друг за другом, где рядом, где по одному, где журавлиным клином. Все это надвигалось, не останавливаясь, не рассеиваясь, на минуту исчезало в аккуратных квадратиках кукурузных полей, а потом над низким кустарником, который пробился на месте недавно вырубленного леса, снова появлялись головы, точно люди пробирались вплавь. Выстрелы сливались в сплошной гул, он приближался, нарастал и становился все отчетливее, злобнее, нетерпеливее. Это была совершенно новая, непривычная для ее слуха и вкуса музыка, чей ритм в целом она еще как-то улавливала, но отдельные инструменты не различала. Смысл этого дуэта на расстоянии был ей недоступен, однако среди грома и грохота она отчетливо слышала человеческие голоса — оклики, приказы, брань, стоны, даже бормотанье, и еще топот ног, шорох одежды. Живой интерес и любопытство, видно, парализовали страх, вытеснили из сознания чувство опасности и ощущение трагедии, происходящей в той комнате. Даже пуля, которая пробила стекло над дверью и разнесла вдребезги яркую крестьянскую тарелку на стене, мало испугала ее и только напомнила о нетронутом в кухне обеде. Она быстро налила две чашки еще горячего куриного бульона и понесла их, улыбаясь своей осторожности.

Опущенные руки больной свело судорогой, она часто дышала открытым пересохшим ртом, худое лицо горело, трепетали лиловые веки. Золовка поставила поднос на сто-

лик и вернулась за лекарством, стаканом и водой. Больная с трудом приняла лекарство, о еде же не хотела и слышать.

— Ложись со мной... Дай руку... Вот так... Который час?..

Старуха посмотрела на врезанные в шкаф бесшумные медные часы.

— Половина первого. Началось ровно в двенадцать.

Молодая снова закинула голову и закрыла глаза.

— До каких же пор...— На ее горячей руке учащенно бился пульс.

— Успокойся. Ты же знаешь, сосед говорил, у них нет ни одной большой пушки... Мы в безопасности, и партизаны не хотят разрушать город.

— Я боюсь не за себя... но страшно за всех... Страшно, что он совершенно не знает, что со мной... как и я не знаю, что он переживает сейчас, что пережил... Недавно Николичи говорили, что снова бомбили лагеря в Германии...

— Нельзя так убиваться... Посмотри на меня. И у меня никого нет, кроме него, он мой единственный брат, единственный во всем мире... Нужно держать себя в руках, он так и писал в последнем письме... Надо ждать... Этому ужасу придет конец...

— Это, наверное, и есть конец!..— тихо и убежденно, словно про себя, произнесла молодая, но каждая жилка у нее продолжала дрожать.

Золовка лежала, не отрывая глаз от пустого потолка, где не было ни мухи, ни паутины, ни трещинки. Она почувствовала, как ее, всю превратившуюся в слух, охватил страх. Что, если у бедной женщины откажет сердце? И она стала быстро говорить, словно пытаясь заглушить еще более громкую, заметно усилившуюся стрельбу вокруг и дробный стук по стенам и черепице, похожий на треск кукурузных зерен в решете над огнем.

— Какой сегодня день? Ровно неделю назад около полуночи они напали на город. Если б ты знала, как мы все перепугались, попрятались, казалось, стрельбе не будет конца. А перед рассветом ушли. Тогда еще сосед сказал — ведь ему все известно про партизан: «Это только репетиция, скоро они снова придут, но уже по-настоящему». Вот и пришли. Но и теперь ненадолго. Им с ними не сладить... Месяц назад подожгли станцию в Банье, три недели назад сняли рельсы, а у этих, когда они прогнали немцев, у каж-

дого было больше денег, чем патронов. Никогда не забуду, как тот, под окнами, кричал, что может воевать и с тридцатью патронами... Слышишь?.. Меняют позицию... А что это гремит, словно по разбитым горшкам... А тот, что часто, мерно отсчитывает: та-та-та, кажется, недавно прошел через наш сад и теперь бьет от соседей... Бедные наши яблони, под ними расположились шестеро, но теперь и они как будто отступили за насыпь, только один еще стреляет из канавы перед воротами. Сейчас никто не поет, а в ту ночь пели и одни и другие. А утром шли на позиции бледные, молчаливые, впрочем, сохрани бог от дурных слов. Как есть, так есть... Все пройдет. Хочешь воды с сахаром? Это полезно.

Наступила ночь. Старая женщина то и дело вставала и сообщала из прихожей, что пули летят, словно падучие звезды, что стрельба обошла их дом и теперь перекинулась на отель «Шумадия», что вдалеке выкрикивают женские имена, видно, партизанские пароли, но отвечают им редко, тоже издалека. Бой длился уже больше тридцати часов. Не нагрянут ли откуда-нибудь немецкие танки?

Больная дышала все отрывистее, ей казалось — вода накатывается волнами, пенится у нее в груди и вот-вот задушит. Она горела, как в лихорадке. Если бы знать, что он чувствует ее муки, зовет ее... Воды, как хочется пить, но именно это ей запрещено, только один глоток с горькими каплями или тошнотворным медом. И она и золовка с надеждой вслушивались, не стала ли реже стрельба, считали про себя, но еще ни разу пауза не превысила семнадцати секунд.

Только следующей ночью, примерно около двух,— часов не было видно,— затишье длилось больше минуты. Тишина была невероятно напряженной, бездыханной, казалось, из тьмы смотрели тысячи невидимых выпученных глаз. И вдруг невдалеке, метрах в ста от них, тишину прорезал молодой взволнованный голос:

— Здесь партизаны! Сдавайтесь, вы окружены!

Человек произнес эти слова на боснийском диалекте с долгими гласными в предпоследних слогах; этот одинокий, будто взлетевший к небу, голос, соединившийся с эхом от Букуля, прозвучал в глухой шумадийской ночи как воззвание. Женщины, припав к широкой тахте, сжа-

ли друг другу руки... «Пришли!» И больная вспомнила, как муж говорил, что наступают новые времена и они могут подойти незаметно! И у нее было такое чувство, что времена эти пришли и молодой голос их возвестил.

Никто не ответил, и крик не повторился. После короткого перерыва окна вздрогнули от взрыва двух гранат, и снова началась пальба, но уже из другого оружия. Так ли или нет, но им казалось, что залпы звучат сейчас более мощно.

Не прошло и получаса, как по бетонной дорожке двора размеренно, с остановками застучали подкованные солдатские сапоги. На лестнице и под окном раздались спокойные, неторопливые голоса — люди словно о чем-то договаривались. В дверь постучали согнутым пальцем, и мальчишеский голос позвал:

— Открой, товарищ, не бойся, открой!

Женщина постарше прошептала:

— Ради бога, не волнуйся! — И быстро вскочила.— Сейчас, сейчас, только свечку найду!

— Открой и дай спички, свечи у нас есть!

Когда она появилась в дверях с зажженной спичкой, тот же мальчишеский голос сказал:

— А, это ты, мать!.. Погоди, зажгу... Не бойся.

— Я не боюсь вас, сынок, входи!

В дверях показался молодой парень в новой американской форме, с автоматом в одной руке и свечой в другой. В темноте из-за его спины выглядывал еще один.

— У вас есть кто-нибудь из наших солдат?

— Наш солдат, сынок, в плену, а здесь только моя больная сноха.

— Не бойся, мы ее не потревожим, нам бы пристроить ненадолго двух раненых. Через полчаса приедет машина, их увезут в госпиталь в Даросаву, а утром переправят в Италию или Россию. Давай обе створки откроем. Приготовь, куда их положить. Мы сейчас.

Вскоре маленький домик наполнился партизанами. С помощью хозяйки они уложили раненых, ходили, входили, выходили, громко разговаривали. Все это время ни озабоченно хлопотавшая хозяйка, ни ее больная сноха не прислушивались, усилилась стрельба или стала слабее. Тяжелораненый с перевязанной окровавленными бинтами грудью лежал в проходной комнате на полу, на коврах и

одеялах, а другого — с раздробленным локтем — уложили в комнате больной, на место золовки. Первый не открывал ни глаз, ни рта. Мертвенно бледный, он тихо дышал, тихо стонал, а возле него на корточках сидела молодая партизанка, полная, румяная боснийка, гладила его по лицу, что-то ласково шептала, спрашивала, чего ему хочется, но раненый упорно молчал. Второй раненый не двигался, смотрел прямо перед собой и лишь иногда зло шипел от боли сквозь стиснутые зубы, но все слышал и всем отвечал. Не глядя на больную, стал ее расспрашивать:

— А ты чем болеешь? Сердце, что ли?

— Раньше я никогда не болела, это все бомбежки, война, бегство. Мой муж был летчиком, в первое же утро он один, без приказа, вылетел навстречу немцам. Одного сбил, а потом его подбили. Из госпиталя полуобгоревшего угнали в плен. И теперь я не знаю, жив ли он, где он. В дом к нам ворвались немцы, все разграбили, а когда я ехала сюда, к золовке, американской бомбой среди улицы убило наших лошадей. И он ничего не знает... Вот почему я болею...

— Ничего, товарищ, мы выгоним немцев из Сербии, а русские добьют их на их земле и освободят пленных... Ничего не знаешь о муже... И я ничего не знаю ни о матери, ни о сестре уже третий год. Теперь вот и сам калека, а что делать, ты погляди, сколько народу страдает...

Больная приподнялась и, опершись на руку, всмотрелась в раненого. Ему было не больше двадцати, он был изнурен страшной болью и потерей крови, но на круглых щеках его еще сохранился румянец, а глаза прикрывали длинные, светлые, загнутые ресницы. Почувствовав, что на него смотрят, он взглянул на молодую женщину и, кусая губы от боли, улыбнулся.

— Ты держись, товарищ, бери пример с нас, партизан! Герой все должен переносить геройски.

— И мой муж герой.

— Герой, говоришь?

— Конечно, герой.

Партизан снова улыбнулся:

— А будь он здесь, он был бы с нами?

Больная резко поднялась и села. Задумчиво, обеими руками пригладила волосы и медленно, очень серьезно, словно отдавая себе полный отчет, проговорила:

— Я... думаю... что был бы... Да!.. Был бы!

— Спасибо тебе, товарищ. Если б все госпожи были такие... Желаю тебе, чтоб твой друг вернулся, как и себе желаю вернуться домой, к матери и сестре, и увидеть их живыми... Не плачь, товарищ, будь и ты героем...

Снаружи еще громыхал бой. Правда, винтовки стреляли все реже, но гранаты и мины рвались ежеминутно. Однако партизаны и женщины перестали вздрагивать. Раненые и больная медленно погружались в давно желанный сон.

1947

Арака из пятой колонны

Хозяин кофейни Спасое, типичный сербский трактирщик, никогда не давал себе труда запомнить, кто что заказывает. Ждет, пока его попросят, или сам ставит перед гостем ракию, вино, а теплое или холодное, большой стакан или маленький, восьмушку или четвертинку, сладкое или горькое — как придется. Постоянные посетители, уже ученые, промолчат, даже если им хочется чего-то другого. А того, кто осмелится отказаться, привередничает или просто противоречит — обычно это новичок или случайный гость,— он только резанет своим разбойничьим разноглазым взглядом, вскинет левый маленький больной глаз, плавающий в сукровице, и рассеченную шрамом бровь на самый лоб, а в сизом подбородке у него что-то заклокочет. Рот он открывал редко.

Вся кофейня состояла из одной комнаты. Завсегдатаи из Верхнего Врачара называли ее «У Злодея Лихоглазого». Она находилась на боковой заброшенной улице, в стороне от госпиталей, Савы, судов, мостов и железной дороги. Еда здесь не могла бы удовлетворить гурмана, а погреб нисколько не походил на храм Диониса, но, несмотря на это, кофейня и до войны имела постоянных клиентов, людей сдержанных, но таких преданных, что они всякий раз извинялись перед хозяином как ученики или чиновники, если случайно отсутствовали. Посетители частенько вполголоса рассуждали, как правило, после очередной выходки Спасое, когда тот удалялся, словно бы за вином, в чем, вернее, в ком таится тот шарм, который влечет их в эту дыру, в эту, в конце концов, зауряднейшую харчевню.

После бомбардировок и захвата Белграда гитлеровцами этот вопрос уже не возникал у немногих оставшихся в живых старых посетителей и нескольких пришельцев из дальних мест.

Немцы и разные сомнительные лица сюда почти не заглядывали. Спасое был мастер отбивать у «нежелательных элементов» охоту приходить к нему. Он, видимо, считал свою кофейню не общедоступным заведением, а закрытым клубом, местом для избранных, где он был недосягаемым и неприступным главой, а гости — чем-то вроде послушников, поклонников, но никак не клиентами, приносящими определенный доход. Поэтому кофейня стала убежищем, местом, где все посвященные и избранные были надежно укрыты от гестаповцев и эсэсовцев и могли свободно обмениваться новостями полуразгромленных подпольных радиостанций, давать волю фантазии, спорить о политике, заключать сделки, защищать совершенно противоположные мнения и точки зрения.

Спасое не только не участвовал в дискуссиях, он никогда даже словом не обмолвился о собственных политических взглядах. В полумраке кофейни он воспринимался как закоренелый «сербский якобинец». Он никогда не вступал в разговор, но гости, постоянно наблюдавшие за ним, знали, к чему он относится одобрительно и что осуждает. Если внимательно слушает, подбоченившись за своей стойкой, значит, его интересует, о чем говорят. Если разгладится между бровями жесткая складка, а правый глаз стекленеет от напряжения — разговор ему по душе. А если отвернется, наклонится над стойкой, примется без надобности греметь посудой, переставлять пустые бутылки, переливать из одной в другую — значит, все, что говорят, ему не по сердцу. Ну, а когда начнет вдруг покашливать и брюзгливо ворчать, не спрашивай, не оглядывайся, перežди немного и переходи на погоду, на топливо, на детей, на болезни — это в переднюю или заднюю дверь входит кто-то, кого он терпеть не может.

После 22 июня 1941 года и от этих двух десятков завсегдатаев осталась половина. Гости усаживались в сумрачной глубине кофейни за большой железной печкой с трубой, проходящей под нависшим, вздувшимся потолком, у одного стола прямо перед стойкой. Они не говорили вслух, но каждый себя спрашивал: «Какая выгода Спасое, какой смысл держать сейчас эту кофейню?» Семью он отослал в деревню в Шумадию, остался один и спит теперь в каморке за стойкой. К тому же в последнее время к нему все чаще стали захаживать немцы — гестаповцы и жандармы, те, с никелированными бляхами на груди.

А повадились они к нему, судя по всему, после того, как мадьярка Ева, «Ева, служанка зубного врача Шнекфуса со второго этажа», принесла и отдала Спасое на хранение любимца доктора, старого попугая Араку. Самого доктора забрали как сомнительного арийца да еще симпатизирующего Советам, а когда Еву заставили прислуживать поселившимся в квартире немецким офицерам, она вдруг вспомнила, что она мадьярка. Перед отъездом в родное село Ева попросила Спасое присмотреть за стариком Аракой. Кто знает, станут ли эти ухаживать за ним, ведь он с причудами, а уж уродлив... Потому-то она и не решается взять его с собой в деревню. А несчастный доктор был такой добрый!..

Увидев попугая в первый раз, гости ужаснулись. Ему было не меньше ста лет, он наполовину облез, от знаменитого желтого хохолка, который, поднимаясь, выражает птичьи эмоции, сохранилось одно-единственное перышко. На вихреце, как на уборе индейского вождя, вкось торчали три зеленых пера. А голая желто-коричневая шершавая кожа сморщилась, высохла и словно была посыпана перхотью.

— Рокфеллер! — сказал кто-то из гостей, но Спасое пресек смех.

Ни себя, ни птицу он в обиду не давал. Они, по-видимому, подружились с первой минуты, а вскоре и гости перестали замечать ужасающее уродство попугая и не только играли с ним, но даже полюбили как товарища по рабству. А когда однажды Спасое, сняв с ноги Араки цепочку, пустил его свободно разгуливать по краю стойки, это превратилось в настоящее маленькое торжество. Заметив, что Араку тянет забраться повыше, Спасое пристроил между стенами кофейни под самым потолком перекладину с лесенкой от стойки, и попугай, когда его выводили из апатии воспоминания о родных джунглях, взбирался наверх и вертелся там сколько угодно.

Арака был полон презрения ко всему окружающему, никого не замечал; когда случайно его тупой, а иногда, наоборот, полный мудрости и знания жизни взгляд встречался со взглядом человека, он отталкивался от него, не удостаивая вниманием. Дадут орех, он равнодушно примет, сгрызет, второго не попросит, а попадется грецкий — повертит чешуйчатыми пальцами с длинными, загнутыми, как у древнего мандарина, ногтями и раздраженно бросит.

Поскольку он вообще не реагировал на вопросы, зов, ласку или обиду, на него просто смотрели. И это подчас служило единственным развлечением для посетителей.

С некоторых пор здесь стали появляться и немцы, непрерывно ходившие в госпиталь и из госпиталя. Наши были взвинчены от страха, усталости и ожиданий, от событий на русском фронте, в Белграде, возле Ужицы и в лагерях. А немцы точно опьянели от крови, успеха, пресыщения, грабежей и неосознанных сомнений: как долго все это им будет сходить с рук?

Иногда Арака принимался по полчаса без остановки кивать головой направо-налево, издавая гортанные звуки, словно баюкая кого-то,— может быть, самого себя,— или шепотом произносить на неведомом португальском языке глубокомысленные речи, затверженные кто знает когда, от кого, на какой шхуне посреди Тихого океана. Наши, скованные рабством, как гребцы на галерах, глядя на старого попугая, совершали путешествие в детство, в экзотические южные страны. А когда Арака старым, прокопченным горлом и толстым черным языком в сотый раз начинал выводить какую-то странную мелодию, больше напоминавшую инструмент, чем человеческий голос, люди на минуту забывали о своих горестях, забывали, что перед ними глупая птица, и не замечали ее ужасающего уродства.

В первый раз Арака попался на глаза пятерым немецким танкистам, ходившим навещать раненых приятелей. Вначале на них произвела впечатление необычная тишина кофейни и ее прохладный полумрак на исходе летнего дня. Но вскоре они сгрудились вокруг удивительной птицы и принялись с хохотом приставать к ней, как к накрашенной бабенке. Арака словно не замечал их. Казалось, он только почувствовал какую-то неприятную перемену, именно почувствовал, а не увидел. Тогда он прикрыл еще не лишенными перьев крыльями свою жалкую наготу, как заворачивается в истрепанный плащ провинциальный король Лир, и, не подымая головы, прошамкал какие-то слова. А когда к нему подобрался русый краснощекий верзила с синими в красных прожилках глазами среди расходившихся кругами морщин, что отнюдь не говорило о здоровье, хотя на вид он был само здоровье, мрачный, несмотря на то, что не переставал хохотать, и щелкнул попугая по клюву, Арака вдруг распустил крылья, взъерошил редкие перья и стал чихать, кашлять и

издавать какие-то непристойные звуки. Немцы покатились со смеху, очень довольные, что расшевелили мумию, но попугай замолчал, будто оскорбленный их необузданным весельем, вытянул изогнутую шею и принялся поочередно сверлить немцев одним глазом, словно старый юнкер в монокль.

И тут произошло чудо: попугай выкрикнул что-то очень похожее на «Хайль Гитлер!».

Немцы онемели. Переглянулись.

Наши застыли от неожиданности. Каждый спрашивал себя: «Что это значит?» Все были поражены.

Только Спасое стоял прямо, единственный его глаз сиял и даже вращался от удовольствия. Он плутовски подмигнул своим, показывая на длинного гитлеровца.

К счастью, немцы восприняли это как комплимент, отсалютовали Спасое и Араке и, шумно гогоча, убрались.

Подошла осень. Кое-кто из наших за это время решил, что Арака в самом деле из пятой колонны, предатель, но Спасое вышел из себя:

— Дурачье! Этот философ знает, что говорит!

Однажды после полудня в кофейню явились три офицера и тут же подошли к попугаю, словно он был единственной целью их прихода. Уговаривать его пришлось долго. Арака сжался, как цыган на морозе, и в старческом упрямстве отказывался проронить хотя бы один звук. Но Спасое — видно, сам черт его дернул — показал одному из немцев, как расшевелить несговорчивую птицу. И действительно, попугай тут же исполнил весь свой таинственный заокеанский репертуар. Сначала он говорил скрипучим голосом, клокотал, кашлял, хрипел, чихал и наконец произнес «Хайль Гитлер!».

Сразу стало ясно, что эффект получился другой. Офицер окинул ледяным взглядом Спасое и всех остальных. Заметив едва сдерживаемые улыбки, вскочил, схватил Араку и стал колотить им о стойку, о стол, потом изо всей силы ударил о стену, а когда попугай уже лежал на полу, придавил его каблуком...

Спасое выпустили через три недели. Он вернулся желто-синий, шатаясь. Но кофейню открыл снова. Назло. А на свалке вокруг ощипанного Араки с опаской похаживали вороны и клевали его. То ли он их породы, то ли нет...

1947

Муйко и кошечка фрейлейн Гертруды

Фрейлейн Гертруда, которую сам капитан Тойч вне службы с дружеской лаской называет «Труда», сидит за «ремингтоном» с чистым листом бумаги на валике и смотрит на своего шефа.

Низенькая, круглая, в серой униформе, скроенной для всех и в то же время ни для кого, она выглядит так, что нельзя понять, полная она или просто ширококостная. Даже возраст не определишь, как у однажды выстиранной дешевой материи. Такие женщины могут блеснуть разве что на войне, если в короткую передышку между боями их успеет раздеть какой-нибудь солдат, причем они и сами удивятся неожиданной страсти случайного дружка. Полуофицерскую фуражку «гражданского образца» фрейлейн обычно снимала, но сегодня она сидела набекрень на ее взбитых пепельно-серых волосах, и лишь глубоко посаженные маленькие глазки, исподтишка смотревшие из своего угла, словно озорники, имели характерную особенность — они были пыльно-зеленые со светло-желтыми крапинками.

С самого начала допроса у нее на коленях дремала серая, как мышь, кошка. Капитан настолько привык к ее присутствию, что совершенно не обращал на нее внимания, но заключенный, приведенный под конвоем из карцера, несмотря на то, что был поглощен стремлением собрать все силы и направить их к одной цели, заметил, как она, дугой выгнув спину возле стула на тонких ножках, обутых у пола в блестящие медные стаканчики, вскочила на колени фрейлейн.

Фрейлейн Гертруда была первоклассной машинисткой. Она умела записывать самые беспорядочные телефонограммы, могла застенографировать самую быструю речь, прерываемую многочисленными репликами. Еще в сред-

ней школе она вступила в «Гитлерюгенд». И потому могла бы сама выбрать себе место или, по крайней мере, диктовать свои условия, но ей нравилось у капитана Тойча.

И вот она сидит за низким светлым столиком, придвинутым к громоздкому, из темного дуба, с богатой резьбой, настоящему председательскому столу капитана, изъятому кто знает из какого банка. Она смотрит на Тойча — заключенного она лишь приняла к сведению, как и всю процедуру, сопутствующую допросу,— и немного удивляется: «И такие мужчины бывают наивными?!» Малообразованная, самая заурядная (Briefträgerstochter, ganz einfach) [1] девушка из Германии, из пригорода Штутгарта, она выработала для себя правило: «Удивляйся, но не восхищайся». По крайней мере, хватит восхищаться этим высоким сильным красавцем из Эрдельских Карпат, von Mediasch, как неделю назад.

К чему столько волнений? Вероятно, перед ними известный и опасный русский шпион, и эта выписка из картотеки штутгартского центра разведки относится непосредственно к нему. Но он ничего не говорит, ни в чем не признается, отказывается от своего имени, даже от фотографии, на которой зафиксирован выходящим из киевской Чека. Ведя дело так нервозно, ничего не добьешься. Нужно или изменить метод,— у нее был большой опыт, она работала в Варшаве! — или просто ликвидировать этого типа; а может быть, что самое лучшее, оставить его томиться в карцере, в одиночке, пока не появятся новые данные. А это неминуемо произойдет, когда наши войска продвинутся еще дальше на восток. Сам шеф недавно сказал, что рано или поздно у каждого развязывается язык, нужно только как следует обработать человека и выждать момент. «Все узлы распутываются, все крепости сдаются, все женщины оступаются! Хе-хе-хе!..»

Капитан Тойч, с выправкой кадрового вояки, всегда твердо державшийся на ногах, особенно в чьем-либо присутствии, сейчас почти зашатался. Правой рукой, в которой поблескивала мокрая и липкая, уже немного обтрепавшаяся воловья жила, он уперся в бок, а левой судорожно нащупывал край письменного стола. Дышал он тяжело, со свистом,— вот это Труде совсем не нравилось! —

---

[1] Дочь почтальона, совсем простая *(нем.)*.

а выражение бешеной злобы на его лице, бледном, с красными, словно дешевые румяна, пятнами у висков, исчезало, уступая место отвращению к себе из-за собственного бессилия и провала. С первого взгляда могло показаться, что ему стало дурно оттого, что, переведя взгляд с растоптанной, растерзанной, распростертой на полу окровавленной жертвы на свой правый сапог из мягкого русского хрома, он увидел, что к каблуку и кокетливой шпоре прилип черный волос с затылка этого человека. Между тем у него действительно тошнота подступила к горлу и вся утроба готова была вывернуться наизнанку,— рот наполнила слюна и потекла по подбородку! — но все это от бессильной ярости. И собаки в таких случаях, говорят, захлебываются, а кое-кто утверждает, что и змеи не выдерживают.

Десять дней назад к нему привели этого Муйко Соколича. Тойч лично без промедления приступил к допросу. Он многого ожидал от этого дела и решил использовать его, чтобы захватить побольше нитей, ведущих к местным коммунистам и подпольщикам, установить их связи с Советами и вообще побольше разведать, распутать узлы и сети и там, и здесь, и во всех странах Коминтерна. Он приступил к допросу спокойно, подчеркнуто корректно, так сказать со знанием дела.

Когда Муйко впервые ввели в кабинет Тойча, друг перед другом оказались двое весьма видных мужчин. Фрейлейн Гертруда и тогда сидела на этом же месте с чистым листом бумаги на валике машинки. Муйко еще не били. В засаду он попал неожиданно, забыл одно из правил конспирации: никогда не проходить вблизи ворот или дверей, особенно в уличных подъездах или оградах. Но в те дни он находился в каком-то глупом, отрешенном состоянии. Он даже не пытался защищаться, хоть бы укусил кого, чтобы разозлить, вынудить убить себя на месте! Эта мысль не оставляла его ни на минуту — и еще та, что, может, все-таки появится какая-нибудь весть с воли и потому надо беречь силы, молчать и ждать.

Он стоял спокойно, прямой, как свеча, между двумя раскорячившимися гестаповцами, застывшими в стойке как гончие, в ожидании, когда их повелитель поведет бровью. Но капитан листал и внимательно рассматривал документы, перекладывал карточки, будто ворожил. Однако из-под опущенных век он наблюдал за коленями Муйко. Не дрожат. Еще раз посмотрел год рождения и

приметы. Затем медленно, не торопясь, поднял голову и показал Муйко свое гладкое розоватое лицо с белым, как алебастр, блестящим лбом, чистые, без единой точечки или прожилки серебристо-синие глаза под красивыми дугами почти незаметных бровей. Он сознательно продемонстрировал свое атласное лицо, стараясь скорее расположить Муйко, чем отпугнуть. Так волк в грозную минуту стремится показать сопернику устрашающую красоту своих клыков. «Неужели ему сорок семь? На вид тридцать с небольшим. О, этот большевик важная птица! Но ничего, и тебя обломаем». А Муйко думал: «Вот они, какие, кровопийцы»,— и даже прошептал по-латыни чьи-то слова, не то Цезаря, не то Тацита о страшных, свирепых, голубоглазых и рыжеволосых тевтонцах. И, кляня себя, приговаривал: «Так тебе и следует, Муйко, но смотри — ни слова!»

Капитан предложил ему сесть и вдруг заговорил на чистом русском языке. Сказал, что все про него известно, что упорствовать бессмысленно, пусть он лучше скажет, кто он, чтобы они могли и далее относиться к нему с подобающим его положению уважением. Пока он говорил, улыбаясь и изо всех сил стараясь выглядеть славным парнем, мастерски вставляя время от времени «ведь нам с вами это известно», он, впившись глазами в зрачки Муйко, прочел подтверждение своей догадки. По мгновенному трепету морщинок на веках, по тому, как быстро сузились глаза и напряглось лицо Муйко при первом русском слове, капитан понял, с кем имеет дело. Но Муйко упорно твердил по-сербски, что он офицер запаса югославской армии, родом из Любушек, как и указано в документах. Пусть его, согласно конвенции, направят в лагерь для военнопленных.

Конечно, вскоре его начали бить. Делали это искусно и профессионально, можно сказать, беспристрастно и по правилам. Когда Муйко потерял сознание, Тойч выгнал солдат и, приведя его в чувство при содействии фрейлейн Гертруды, попробовал продолжать допрос по-хорошему. Он рассчитывал на ослабление воли в первую минуту после возвращения сознания.

Гертруда в роли сестры милосердия вытирала смоченным в душистом уксусе, очевидно специально приготовленным платочком кровь, пот и невольные слезы с разбитого подбородка, губ, щек, лба, давала нюхать спирт этому статному, увы, тоже очень красивому мужчине,

«только совершенно другого типа». Она изумлялась хладнокровию, с каким капитан исполняет свои тяжкие обязанности. Насколько легче совершать подвиги на фронте. А этот человек, быть может, спасает здесь тысячи немецких жизней, спасает рейх, и как просто, без всякого парада.

Но «тупое упрямство сербской свиньи» вывело Тойча из привычного равновесия. Он начал злиться, выходить из себя, а напоследок даже оскорбился — больше, конечно, из-за самого факта, чем из-за этого ублюдка. Не хватало еще вступать в духовное или физическое единоборство с таким паршивцем!

После первых побоев Муйко выволокли в «санаторий» — комнатушку, где, тесно сбившись на соломе, могли поместиться самое большее четыре-пять человек, которых допрашивали в ближайший день или ночь, то есть как только они немного приходили в себя.

По-видимому, военная полиция всех стран придерживалась общего правила: если замечали, что допрашиваемый продолжает упорно молчать или к нему долго не возвращается сознание, несмотря на применение гуманных медицинских средств, здоровяки жандармы взваливали его на спину и тащили в подобную камеру. Между представителями власти и заключенными существовало молчаливое соглашение, даже сотрудничество: после того как гестаповцы, эсэсовцы, жандармы, или как там назывались непосредственные исполнители воли третьего рейха, хватали под мышки и за ноги отяжелевшую, раздавленную и окровавленную жертву, дотаскивали до камеры и швыряли на пол, они как бы передавали ее посильной заботе заключенных, оказавшихся там в этот момент.

Находившимся в камере четверым заключенным немного требовалось, чтобы привести в чувство Муйко — минимум скудных тюремных средств: кувшин воды и бинты из разорванных рубах. Они умели это делать по традиции гонимых и истязаемых людей. У них был опыт. Муйко лежал, как труп, но, очевидно, той каплей жизни, что еще теплилась в нем, почувствовал перемену обстановки. Холодный бетон, грязная солома и затхлый запах волчьего логова вместо мягких теплых ковров и репса, вместо ароматов Мари Фарине, Шварцлозе и Драле — это, конечно, ощутимо. А вот есть нечто, что может уловить только тонкая паутина человеческих нервов, даже когда атрофированы все чувства: разница во внимании, с которым над

тобой склонились — чтобы вырвать из груди самое дорогое вместе с честью и всем смыслом жизни или разделить последние остатки сил и тепла с новым товарищем по несчастью.

Его обкладывали мокрыми тряпками, старались менять их чаще, особенно там, где была сорвана кожа и где обнаженные, синие, как у ободранной дичи, мышцы уже при одном приближении к ним сокращались и вздрагивали. Но вот из-под почерневших век появились живые проблески. И когда глаза Муйко, обращенные в угол, где потолок сходился со стенами, открылись, хотя и без ясного выражения, старший из четверки, очевидно ровесник Муйко, Люба Профессор изумился. Он не видел его двадцать четыре года. Да, это несомненно он, и никто иной. Стройный, легкий герцеговинец с немного выступающим над глазами открытым скошенным лбом; чуть выпуклые щеки напомнили его милую и загадочную улыбку, а плечи приподнимались при каждом вдохе, и это показалось знакомым. Вот уже понемногу вырисовываются в памяти характерные его черты — внешне спокойный, но отчаянный человек, решительный, немногословный, с мягким, чуть глуховатым, порой переходящим в шепот голосом. Старый сподвижник Танкосича и Вука, он был в числе первых добровольцев в России и после процесса в Салониках оттуда не возвращался. Недавно Люба Профессор услышал, что 27 марта [1] Муйко вдруг объявился, но встретиться им не пришлось.

Люба Профессор нагнулся и, осторожно касаясь губами шершавого от запекшейся крови уха Муйко, хотел назвать его по имени, но тот перебил:

— Я ничего не сказал... Я ничего не скажу...— И после короткой паузы проговорил совсем тихо, закрывая глаза: — Ничего нельзя говорить...

И так продолжалось в течение всей недели. Вопреки существующей практике, четверка была допрошена на другой день, но интересовались лишь одним: знают ли они Муйко? И били их скорее для порядка, поскольку они все отрицали. Стало ясно, что все отошли на второй план, их дело откладывается.

Люба заметил, что и Рада Слесарь узнал Муйко, но, говоря о нем, они не называли его по имени, просто *он*.

---

[1] 27 марта 1941 года произошла мощная антифашистская и антибуржуазная демонстрация трудящихся в Белграде, возглавляемая коммунистами.

Когда удастся наладить связь, они дадут о нем знать на волю, конечно, описательно. Все четверо твердо верили, что, если они выдержат все муки и их не расстреляют, *наши* во что бы то ни стало освободят их, а вместе с ними и Муйко, вернувшегося в конце концов в свою стаю. Только, судя по всему, вряд ли он выдержит. Они старались, чтобы несчастный не чувствовал себя одиноким, хотя было ясно, что на душе у него страшная тяжесть, что он не может себе чего-то простить.

На этот раз пробыв без сознания дольше, чем обычно, Муйко открыл уцелевший глаз и устремил его на Любу Профессора. Он явно хотел что-то рассказать, но у него была разбита челюсть, повреждена шея, и они сумели разобрать только отдельные слова:

— ...те же... те же... глаза... гла-за... они, о-ни... кошка... кошка... хищница... она... о-на...

Несомненно, какие-то видения, галлюцинации, как бывает при агонии.

— Кто? Кто она? Кто они? — участливо спросил Люба, не понимая угасающей мысли, не представляя картины и не чувствуя последнего напряжения воли, исходившего от этого страшного строгого зрачка, плавающего в сукровице и казавшегося огромным сквозь густую тяжелую влагу.

И пока выпученный глаз, полный отчаянной угрозы, теперь уже напрасной и бессмысленной, продолжал куда-то смотреть, губы Муйко и искусанный язык пытались произнести уже без голоса:

— Ничего... о-ни... хищница... я не...

Потом он умолк.

Но Люба Профессор ничего не понял, он прикрыл рукой глаза, словно тьма могла помочь разгадать, что мелькало у Муйко в последнем светлом уголке сознания, на пороге смерти.

А Муйко просто хотел облегчить душу и рассказать товарищам о последнем своем видении, поделиться последним опытом.

Когда эсэсовцы подняли его с полу со сломанным шейным позвонком и один из них придержал ему голову, порванная нить соединилась — перед глазами возникла картина. Лежа на полу, он увидел, как Гертруда накручивает на палец прядь волос над левым ухом, глядя сквозь опущенные ресницы куда-то поверх него. На ее коленях лежала серая кошка с такими же прищуренными

глазами и скучающим, но спокойным взглядом. Обе головы напоминали Ее, то же выражение было и на ее лице, розовом, бархатистом, как персик, когда она не дала ему ответить на условный знак связного, и он, положив голову к ней на колени, в упоении гадал, о чем говорит ее утомленная, довольная улыбка. Значит ли она, что женщина счастлива?

Было это за полчаса до того, как он вышел, чтобы встретиться с Неизвестным номер два за трамвайным депо. А два часа спустя, когда он возвращался, его схватили... «Так тебе и следует, Муйко... Но я ничего не сказал...»

1952

Буца и Боца

Улучив минуту, когда калитка в воротах из частых нестроганых досок осталась открытой, Буца выбежал со двора. Вот и улице конец, началась поляна, а за ней пустырь — и поле. Словно обдумав все заранее, он быстро засеменил своими толстыми, уже загорелыми ножонками — лишь мелькали в пыли маленькие пятки — и помчался прямо в рожь. Казалось, ветер несет сорванный мак: на круглой головке мальчика и в июльскую жару была красная, плотно вывязанная шерстяная шапка матери. Ее так туго затянули под подбородком, что румяные, потрескавшиеся от резких ветров и зноя щеки надулись. Зато не очень чистая холщовая рубашонка, едва доходившая до пупа, совсем не отличалась от серой, опаленной солнцем земли. Он бежал изо всех сил, бежал, не помня себя от страха, что кто-нибудь из домашних позовет или погонится за ним. Лишь бы поскорее добраться до высоких густых хлебов, в их манящую соблазнительную тень.

Можно подумать, что этот толстенький мальчик с пальчик, этот трехлетний деревенский карапуз целыми днями только и делал, что подстерегал, когда кто-нибудь из своих или соседей, входя или выходя в калитку, забудет потянуть снаружи веревку или вложить изнутри деревянную щеколду в паз. И действительно, что-то такое было в его поведении. Инстинктивно, как все дети, щенята и цыплята, Буца постоянно вертелся возле калитки, когда кто-нибудь входил или выходил из передней отгороженной части двора. Там, по дорожке из щебня, оставшейся от старого тракта, между кольями, обвитыми вьюнками и крупным розовым горошком со склонившимися цветами, похожими, по крайней мере в глазах Буцы, на дедушку и дядю Йосима, свинаря, с их всегда открытым ртом и отвисшей челюстью, там шел путь в широкий мир, на свободу...

...Один, совсем один на огромном безбрежном просторе, среди волнующихся, таинственно шелестящих колосьев. Один в этом лесу, таком густом и надежном, где не надо бояться, что кто-то из больших, усатый, лохматый и длиннорукий, неожиданно схватит тебя за рубашонку, да как шлепнет, громко, обжигающе... Как восхитительно все, что ждет его здесь...

Ему и в голову не приходит, что оказаться одному далеко от дома страшно. Это бегство от людей на простор нисколько не напоминает то ужасное чувство заброшенности и одиночества, которое охватывает его, когда, проснувшись в своей кроватке, он кричит, кричит и никто не отзывается. Никто не спешит, встревоженный, взять его на руки, прижать к себе, поцеловать, когда он лбом и ладонями бьется в запертые двери,— он одинок, всеми покинут.... «А-я-ой!.. Ма-ма!.. Па-па!.. А-я-ой!..»

А сейчас — сейчас все по-другому. Как это прекрасно и желанно быть одному... Сейчас он далеко от всех, даже от Мамы, Отца и Тети, от всех, кто постоянно делает ему замечания, запрещает, приказывает... Здесь все повинуется его воле и слову, появляется, меняется и действует по его приказу... Потому-то он так любит забираться на чердак и прятаться в рассохшейся кадке среди старых ряден и мешков, где никто его не видит. Он слышит, как растерянно его зовут и ищут, а он вот где, у себя, спрятан надежно. А захочешь — можешь взобраться наверх, к слуховому окну, оттуда видно далеко-далеко. И все кажутся такими маленькими, даже сам знаменитый — берегись, берегись! — бык Бимбо, который, чуть завидит живое существо на двух ногах, нагнет свою страшную головищу со сморщенным лбом, злобно сверкнет выпученными глазами да как засопит! А на концах его крутых могучих рогов блестят похожие на кулаки бронзовые шарики. Но даже бык, которым матери пугают детей, от которого с визгом разбегаются, завидев его вдали, взрослые девушки, собравшиеся поболтать у колодца под вязами, даже он кажется отсюда игрушечным.

Но очутиться одному за воротами — еще приятнее, еще слаще — как бы это сказать? — арбуза, только что вынутого из колодца, слаще городской халвы, от которой весь ты от пальцев до носа становишься сладким и липким... Здесь, на просторе, как бы ни был узок кругозор, все кажется другим. И дышится здесь иначе! Будь Буца хоть чуточку старше и речистее, он, конечно бы, воскли-

нул: клянусь солнцем, тут на воле земля, трава, тополя, канава со стоячей водой, дым от горящей соломы и вылущенных кукурузных початков, долетающий из сада дяди Марко, пахнут куда приятнее. А как звонко стрекочут кузнечики, то все разом, то поодиночке! Как сливается резкое шуршание рогоза с мягким шепотом качающейся пшеницы! Даже вороний грай, доносимый ветром с высоты, полон значения. Чужие голоса, глухие, неясные удары каких-то орудий — здесь все загадочно и так непохоже на знакомые, привычные звуки родного дома...

Но самое главное — таинственная чаща созревшего хлеба, непроходимые заросли, джунгли в миниатюре, где так много чудесных неожиданностей, скрытых от взрослых и хранимых для детей, для него. Вообще-то Буца уверен, что и здесь, в желто-зеленом, залитом светом царстве, все устроено так же, как в большом и нехорошем мире. Без сомнения, и тут живут люди, но ростом с палец, и их Буцы просят паука сделать им качели между двумя колосьями ржи и пшеницы. А если паук вздумает пошутить, он повесит качели между ячменем и стеблем притаившегося грешника, полевого мака. Крендели им привозят муравьи, запряженные в тележки из крылышек божьей коровки, которые она, согласно моде, сбрасывает осенью. Колесами, по всей вероятности, служат те голубые-голубые, как глаза Катарины, мелкие-мелкие цветочки. Люди им даже имени не дали, название их на каком-то мертвом языке знают только старые ученые. Люди не замечают дивной красоты этих звездочек с ободками точно из маковых зерен, считая прелестные неброские цветы сорной травой.

Буца шел дальше, вытянув перед собой руки, будто плыл, как вдруг почувствовал, что все глубже забирается в горячую мучнистую сушь, вроде той, что пышет из печи, откуда мать только что вынула хлеб. Он зажмурился, стараясь защитить глаза от острых, похожих на языки, полувысохших листьев, а его ступни, хоть и огрубевшие на неровных тропинках и покосе, никак не могли привыкнуть к корявой земле, нетронутой с самого сева.

И чем глубже он забирался в хлеба, словно разыскивал таинственный, одному ему предназначенный клад, тем больше его обволакивал мягкий сумрак, даже не сумрак, а словно какое-то бескрайнее полотно. Лучи летнего жаркого солнца, склоняющегося к закату, трепетали на всем вокруг и заглядывали в его зачарованные глаза.

Со всех сторон его манили странные видения, непонятные существа; они словно заговаривали с ним, о чем-то рассказывали ему и казались совсем иными, чем тогда, когда он находил их в огороде, у забора, в клевере, в злой пьянящей конопле. А какие голоса неслись со всех сторон! Таких не услышишь ни в подсолнухах, стерегущих дом, ни среди стеблей голубых мальв и тех белых бобов, что стреляют, если их сжать в пальцах, ни в густых зарослях березок, таких скромных, но заменяющих в деревнях Бачки тую и кипарисы. Там, возле дома, под кошами и в амбарах, на чердаке и в погребе воздух гудит от ударов топора, кирки, молота, от звона цепей, которыми привязывают непокорных быков и жеребцов к стойлу или осторожно, удерживая с двух сторон, подводят к невестам, от громыхания деревянных и жестяных ведер, когда они стремглав летят на разматывающихся цепях в глубину колодцев, ударяясь о влажные стены. Все звуки сливаются в утомительный гул, и еще кажется — поля бранятся с полями, а ветер разносит их голоса вместе с рычанием, лаем, руганью и песнями.

А здесь напряженный слух и разгоряченное воображение Буцы ясно и отчетливо улавливает жужжание самой крохотной букашки. Ветерок от их прозрачных светящихся крылышек обвевает раскрасневшееся лицо и треплет пушистые ресницы. Широко раскрытые глаза мальчика следят и тянутся за ними, пока его не отвлечет новый звук. Он замирает, скорее пораженный, чем испуганный блеснувшими глазами хомяка,— а тот уже исчез, оставив впечатление о чем-то круглом, юрком, озорном. А там вон пушистый цыпленочек, спрятавшийся от мамы-перепелки, которая и сама-то не больше их трехнедельных оргпингтонов. Перепелка стоит, не убегает, с интересом разглядывая существо, тоже чем-то напоминающее детеныша, но только того страшного зверя, что обрушивает на ее потомство огонь и раскаленный град. Она подпускает Буцу совсем близко, но в руки не дается; возмущенно попискивая, точно когда отец постукивает ногтем по тонкому стакану, она уводит птенцов. Буце очень жаль, что эти милые существа не хотят к нему идти, уходят от его вытянутой руки, зовущей ладони и пальцев. Они же, эти пальчики, так хотят приласкать живое существо, которое смотрит на тебя, хотя бы прикоснуться к нему. И когда ты поднесешь его к лицу, оно принимается говорить, точно оправдываясь, бормотать что-то. А тот черный рогатый

жук, переливавшийся зеленым шелком? Когда Буца крепко держал его, чтобы он, вырываясь, не укусил, он так таинственно скрипел, точно нитка, которой бабушка сшивает полотно. Только и он убежал из коробочки, где ему так хорошо жилось, где его так вкусно кормили. Буца поймал его однажды вечером, он налетел на свечу и ударился об освещенную стену, точно его кто-то швырнул.

И цветы Буца больше всего любит за то, что в них всегда найдется что-нибудь живое — жучок в пестрых крапинках, маленькие гусеницы, вытягивающие желтые головки и рассматривающие что-то в воздухе. Стоит к ним прикоснуться, как они мгновенно выскальзывают из рук, спускаются на ниточке в траву — ищи их тогда!

Вот из стеблей выглядывает синяя звезда, словно сознающая свою вредность,— смотрит прямо на него, зовет, ей-богу! На дне чашечки из голубых, как майское небо, лепестков белеют короткие густые ресницы, а в самой серединке — черный росистый пестик, похожий на крошечный индюшачий гребешок. И хотя Буца хорошо его разглядел, все равно цветок кажется ему глазом, уставившимся прямо на него. Он зовет его, о чем-то просит!.. Но только сорвешь — цветок начинает издавать резкий запах, липнет к пальцам, никнет и осыпается, как пурпурный шелковый мак. И все эти лиловые граммофончики, желтые эмалевые чашечки, пушистые медвяные гроздья бесчисленных, едва различимых золотых завитков играют с ним в жмурки, зовут, увлекают, заманивают все дальше и дальше.

Буца уже весь в земле, с колосьев на него сыплется сухая пыльца, в носу и горле щекочет. А сумерки сгущаются, стебли сдвигаются все теснее, шевелятся, шуршат — наверное, где-то далеко, у края поля, задул северный ветер, вестник ночной прохлады, ударился о стену могучих хлебов, взволновал колосья и с шумом докатился до Буцы. Ребенок сразу почувствовал себя в опасности, одиноким, покинутым, на чужбине; тут же проснулись голод и жажда, а темнота все спускалась, насыщенная тысячами угроз, вокруг слышались какие-то голоса, они шипели, шептали, укоряли: «И что тебе не сиделось дома? Искался бы в густой, набитой колючками шерсти Гариного щенка, как бабушка в твоей голове. И было бы у тебя всего вдоволь — и водицы, и молока, и хлебушка, и поздних вишен, и ранних яблок да груш. А тут? Где ты будешь спать? Кто тебя укроет? Кто спрячет от волка?.. А?»

Конечно, Буца заплакал и стал звать: «Папа!.. Папа!.. Мама!.. Мама!..» И побежал налево, потом направо, не понимая, кружит ли он, возвращаясь на то же место, приближается ли к краю хлебного моря или уходит от него, забираясь все глубже в бесконечную непроходимую чащу. Вскоре от страха и отчаяния Буца совсем обессилел, стал задыхаться, из носа текло, в боку кололо, а лицо и ноги были исцарапаны в кровь об острые стебли и колючки, на которые он то и дело натыкался. Даже голос пропал — он уже не рыдал, не звал на помощь, а лишь повизгивал, как выброшенный в канаву котенок, слабо стонал, упав ничком на землю, и почти неслышно пищал: «Мама!.. Папа!..»

И кто знает, что сталось бы с нашим Буцей, выдержало ли бы и не разорвалось от страха детское сердце, если бы не поднялось на поиски все село со всеми дворнягами? Кто знает, какая могла бы приключиться беда? Разве не случались на равнине среди лета внезапные холода с дождем и градом, разве не могли напасть на ребенка бешеные собаки, лисицы, кошки, прожорливые муравьи?

Но едва Буца, всхлипывая после утихших рыданий, поднял голову и, разомкнув покрытые грязью и пылью губы, снова крикнул, как где-то совсем близко раздалось громкое басовитое мычание. Буца умолк, его голова осталась приподнятой, как у молодой черепашки при лунном свете. Он узнал родной баритон теленка Боцы, при рождении которого с милостивого разрешения дедушки — своего рода «коровьего акушера» — он сам ассистировал. К Буце вернулись силы. Опершись на руки, он приподнялся, оставаясь, однако, на четвереньках, а позади него зашуршали колосья, и снова послышалось знакомое мычание. В этом жалобно дрожащем голосе было столько боли и страха неизвестности! Все еще опираясь на руки, Буца обернулся и увидел большие, мы бы сказали, изумленные глаза Боцы. То ли и Боца его узнал, то ли просто отнесся к нему по-свойски как к своему ровеснику, с одинаковым уровнем развития — в телячью душу не легко проникнуть и психологу,— но факт остается фактом: Боца подошел так близко, что, когда он нагнулся, они чуть не стукнулись своими серьезными, озабоченными лбами. И, прости меня, господи, в эту минуту обе головы и вообще оба создания сильно походили друг на друга: обиженно растянутые розовые мягкие губы, недоумение в

широко расставленных, наполненных слезами глазах,— где же наши мамы? — а на лбу спутанные рыжие шелковые вихры (у Буцы в этот драматический момент сползла шапочка).

Успокоившись и воспрянув духом от присутствия любимого и почитаемого (швейцарская порода!) члена семьи, мальчик был готов забыть о своей беде и начать с ним игру. Он ухватился за уважительно опущенное ухо Боцы, снаружи рыжее и бархатное, а изнутри снежно-белое, сквозящее теплым розовым светом, так же как и покачивающийся подбородок и тугой, набитый живот. Но Боца более трезво оценил их положение: он вскинул голову и громко завопил. Его движение подняло Буцу с земли, а тоска теленка по материнскому вымени вернула к действительности и мальчика. Они запели дуэтом. Призывы Боцы летели дальше, через поля и пашни. Концерт не продолжался и минуты,— правда, в беде и минуты кажутся веками! — как послышались шлепанье и хруст.

Целеустремленно, не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на причиняемый ущерб, презирая собственнические интересы, сокрушая и топча все на своем пути — кукурузу, ячмень, овес, подсолнечник, коноплю и бахчи,— но чего не простишь честному материнскому сердцу и благословенной доброте ее нрава,— раздувая ноздри и приговаривая контрабасом: «Где ты, где же ты, вот она, твоя мама, вот она!..» — явилась Пеструха.

Вихрастый потомок в одно мгновение, широко расставив ноги, нырнул нечесаной головой под большой мамин живот. Послышалось чмоканье. Заигравший хвост и капли молока, побежавшие по шее, говорили о блаженстве и умиротворении будущего основателя племенного стада местной земледельческой задруги.

Но Пеструха быстро пришла в себя после первой радости встречи. Она решила, что для бычка, воспитываемого по всем правилам гигиены, сейчас не время и не место обедать и вообще принимать пищу, что неприлично садиться за стол (даже в переносном смысле) неумытым и нечесаным. Хороший симментальский теленок так себя не ведет, он должен следовать научно разработанной системе. (Пеструха ни за что не согласилась бы приблизиться к лохматой балканской породе, ведь она прибыла с почетным эскортом и паспортом, где общинными, кантональными и федеральными властями засвидетельствовано, что ее зовут Розли.) Пеструха решительно отогнала сына,

повернула его и принялась вылизывать — причесывать, чтоб можно было выйти с ним «в свет» — показаться на сельском выгоне или в хлеву, где другие коровы, тоже матери, сумеют оценить эти интимные воспитательные меры.

Буца с некоторой ревностью наблюдал семейную идиллию. Он чувствовал потребность обратить внимание Пеструхи и на себя, хотя Пеструха с самого начала доброжелательно приняла к сведению их содружество. И когда Буца подошел поближе, она своим шершавым мясистым языком (такой парикмахерской щетки еще не изобретено!) прошлась и по его кудряшкам, отчего они сначала пригладились, а потом встали дыбом.

Затем Пеструха двинулась в обратный путь. Она и не думала оборачиваться — как всякая мать, она не сомневалась, что дети послушно последуют за ней.

Когда наконец они вышли на заливной луг общинного пастбища, их встретили крики бежавших навстречу людей. Прежде Пеструха не считала необходимым объявлять о своем приходе и докладывать, что все в порядке, но теперь она коротко промычала что-то победоносное.

И весь народ, от мала до велика, увидел такую картину — впереди медленно, с достоинством шла Пеструха, за ней трусил Боца, но не как обычно, не с поднятым хвостом, потому что за хвост его держался Буца. И как же Буца обрадовался, когда встретился с Мамой, Папой, Шариком и со всеми другими домочадцами и соседями!

1955

Дни и ночи в Банице

«Дядюшка Прудон» лежит на растертой, превратившейся в труху соломе у входа в длинную комнату в подвале, где раньше с трудом помещалось тридцать солдатских коек, а теперь, при немцах, по гестаповским меркам, хватало места для ста двадцати заключенных, и поэтому почти каждую ночь сюда бросают еще несколько человек.

Голова дядюшки Прудона упирается в стену, с трех сторон он окружен товарищами. Между ними и вообще между всеми расстояние — неполная пядь, и оно служит проходом. Разумеется, когда кому-то приходится встать — вызовут среди ночи на допрос,— даже сохраняя полное присутствие духа, он не может не наступать на других несчастных.

Дядюшка Прудон сдвинул на затылок шляпу с широкими полями, которую он подшил тряпьем, так как стена мерзлая и скользкая от испарений. Он почти не двигается, старается зря силы не тратить и только подкладывает под голову то одну, то другую руку, а когда они деревенеют от холода, прячет под попону на груди. Время от времени он проваливается в короткий глубокий сон, чаще днем, чем ночью. Остальное время лежит с полуоткрытыми глазами, смотрит и размышляет. Делает он это сознательно. Дядюшка Прудон целеустремленно, так сказать, умело поддерживает в себе ясность разума.

После постигшего их «кораблекрушения», здесь, на этой отмели, посреди разбушевавшейся стихии, он самый старший, самый собранный. А это налагает на него определенную ответственность. В прежние войны наши старики при штурмах турецких крепостей бомбами пробивали путь для идущих следом сыновей, своими телами на мгновение останавливали натиск озверевшей орды. Но как тут помочь «детям»?

— Эх, неразумные дети! Все смеетесь над дядей. Назвали в насмешку Прудоном. Разве можно шутить именем благородного борца?.. Да что поделаешь...

В молодости он был наборщиком, потому его так и прозвали. В его краях, в Ядаре, мало кто выбирал эту профессию. Но скоро с помощью одних добрых людей из Валева он получил возможность учиться и в конце концов пошел по пути Пелагича [1]. В Сербии в начале двадцатого века быстрее, чем условия жизни и самосознание рабочего класса, менялось лицо и позиции образованных социалистов. Вместо бородатых неуклюжих выходцев из народа, народных трибунов, которые своим неторопливым, но веским словом умели убеждать даже торговцев и чиновников, из учительских семинарий и университетов пришли безбородые, тщедушные и язвительные агитаторы. «Эти юнцы нахватались вершков у Ленина и, пожалуйста, уже говорят с тобой свысока, с издевкой, как будто ты мальчишка или слабоумный». Ему было неловко с ними, но он только улыбался и укоризненно качал своей огромной лохматой головой деда-мороза, на которой не видно было ни лица, ни губ, ни даже глаз и лишь островками выглядывали гладкие, тугие щеки и такой же мраморный лоб, юношески ясный и добрый.

— Проказник наш дядюшка, деревенщина, пейзан! — говорили недавно обритые, но уже поросшие щетиной парни.

Босниец Младен открыто смеялся над ним:

— Вот, дядюшка, вечно ты качаешь головой, когда мы попадаем в переплет в университете или на улице с полицией. И сюда за нами следом пришел.

Этот Младен, студент-медик четвертого курса, хорошо знает, как его друг и коллега Миодраг нагрянул к дядюшке в то утро, когда фюрер по радио объявил войну Советскому Союзу и передал ему, как верному человеку, на хранение архив и все материалы. А сейчас вот кто-то, видно, и старика выдал.

У дядюшки от сдерживаемой усмешки поблескивают щеки.

---

[1] Пелагич Васа (1838—1899) — один из первых сербских социал-демократов, крупный публицист, видный деятель рабочего движения.

— Знаешь, дядя, а ведь тебя несомненно предали, может быть, даже сперва проверяли. Но я так считаю, мне самому следовало тебя выдать, затащить к нам сюда. Раз ты наш друг, твое место здесь, с молодыми.

Дядюшка Прудон по-прежнему невозмутим, молчит, только взгляд его впивается в лицо Младена, а тот старательно улыбается, натянуто, напряженно, как те, кто не создан шутить, но все же шутят.

Дядюшка Прудон быстро присмотрелся к окружающим, понял «ситуацию», разобрался в характерах, темпераментах и примерно прикинул, что от кого можно ожидать.

Первая ночь, когда его втолкнули в камеру, прошла более или менее спокойно. Было поздно, далеко за полночь. С ним посадили еще одного человека. Все проснулись и зашевелились. Долго не могли успокоиться, шептались о чем-то с ближайшими соседями, сна как не бывало. Привели их полевые жандармы. Карманными фонариками осветили массу сбившихся тел, словно искали на поле боя живых среди мертвых, и, наступая на скорчившихся людей, указывали приведенным, куда лечь.

— Подвинься там, еще подвинься... так... сюда давай!

Лежали вплотную друг к другу, на боку. Тот, что оказался рядом с дядюшкой слева, с неразличимым лицом, узнал его в темноте и спросил:

— Дядюшка, а тот кто, другой?

— Не знаю, сынок, впервые увидел его вот сейчас.

На лежащих вповалку людей с потолка, ближе к запертой на засов двери светила, словно мутная зимняя луна, завернутая в толстую синюю бумагу лампочка. Шепот смолк, но дядюшка видел, что никто еще не спал. Много времени прошло, пока послышалось первое сонное бормотание, клокочущий вздох, скрежет зубов.

Уже на другой день, утром, когда их выпустили в уборную, из которой через весь длинный коридор несло специфической вонью и где из бывших душей с потолка спускались, а с полу кругами подымались намерзшие блестящие сталактиты, прошел слух, что второй, которого привели с дядюшкой Прудоном,— богатей, торговец дровами откуда-то из Кралева, агент Ачимовича и сторонник Печанаца, его надо остерегаться.

Сверху из ледяной свечи непрерывно текла вода. Арестантам она казалась липкой, холодной, холоднее снега и инея на мертвых радиаторах отопления. Сырость

пробирала насквозь. Несчастные терли водой только глаза и вокруг рта и с каждым днем становились все чернее и чернее, удивляясь женщинам-заключенным, которые той же водой мыли и тело и голову и на прогулках вдоль тюремных стен до самого конца, до расстрела, выглядели опрятными и кокетливыми. Мужчины толпились у противоположной стены, взбирались друг другу на плечи и смотрели, не отрывая глаз, в тюремные окна на уровне земли, как они ходят по кругу, бросая украдкой друзьям улыбки.

Дядюшка Прудон, желая хоть немного подбодрить товарищей, одобрительно и в то же время укоризненно вздохнул: «Видите, детки, все-таки они лучше нас».

И тут он почувствовал, как кто-то навалился на него спереди, обнял вокруг пояса и затрясся на старческом, несмотря на все беды, круглом животе. При этом молодой человек не проронил ни звука и быстро отскочил, только мелькнул извиняющийся взгляд глубоких темно-синих глаз. Но то, что дядюшка Прудон услышал от профессора Радича, все ему объяснило. Профессор первым попал сюда, все знали, что смерти ему не миновать, но никто, и он сам не понимал, почему его допрашивают с такими большими перерывами. Зададут вопрос, часто без связи с движением, и возвращают на место, в то время как вокруг то и дело отбирают и уводят людей соответственно какому-то тайному распорядку. В двух словах Радич объяснил старому товарищу с девятьсот третьего года, что этот молодой человек, Бокель, еще недавно такой милый, живой и быстрый, что даже в кругу стройных шумадийцев и герцеговинцев не бросалось в глаза, что он невысокий и узкокостный, человек конченый. Нет года, как он женился, и его жена здесь, в женской камере номер восемь (наша — номер четыре). Молодая женщина оказалась сильнее, лучше держится. Если им случается увидеть друг друга, она старается взглядом улыбнуться ему, поздороваться, но встречает в его глазах такое отчаяние, что и сама мрачнеет. Все продолжается несколько секунд, но после таких встреч у него, видно, кровь застывает в жилах, он становится серым, как свинец, не может проглотить куска хлеба, глотка тюремной похлебки или чая из термоса, но не говорит ни слова. Напряженно прислушивается к сирене, шуму автомобиля, стуку подкованных солдатских сапог за окном. То ли за нее боится, то ли за себя.

Днем еще ничего, хотя смотреть на его подавленность и неподвижность тяжело, но ночью он становится просто невыносим — почти не спит, лежит с широко открытыми глазами и, чуть услышит за стенами какое-то движение или шум, вскакивает, перепрыгивая через спящих, бросается к окну, карабкается на стену, чтоб хоть что-нибудь разглядеть. А если его сморит короткий сон, начинает кричать, звать на помощь. Но днем на допросах молчит, своих не выдает и, когда его втолкнут в камеру, избитого, не стонет, не жалуется и никого не убеждает, что молчал. Ему верят, но с ним тяжело.

Удивительно, что он вообще подошел к старику.

И еще есть один, похожий на Бокеля,— профессор Пироцкий. Стойкий, преданный товарищ. Днем он держится так мужественно, что с увлечением читает нам популярные лекции по своей биологии. Но лишь только наступит ночь, он без конца вскакивает и кричит:

— Не отдавайте меня, люди! Товарищи, держите его! Давай!.. Открой!.. Беги...

Мы не раз доказывали доктору Янгу, что все заболеем или сойдем с ума, если их не переведут в больницу для нервных. Но Хинце и Вайдману это на руку: они надеются, что нервный надлом приведет к моральному.

У другого, может быть, ничего бы и не вышло, а дядя Прудон на третью ночь уложил и Бокеля и Пироцкого рядом с собой, и, только один начинал стонать и всхлипывать, а другой страшно рычать во сне, он наклонялся над ними, гладил по голове, ласкал, как мать, убаюкивал и уговаривал:

— Тихо, сынок, тихо, успокойся, ведь ты среди друзей, успокойся, милый!..

Сколько раз ему удавалось удержать Бокеля, чтоб он не вскакивал на каждый звук, не взбирался по голым трубам и не висел на них неподвижно часами, неистово вглядываясь, как бьется в окно метель. Биолога приходилось брать силой.

— Ты же умный человек,— шептал ему на ухо старик,— верный друг... так дай же товарищам отдохнуть!..

Тот в ответ кричал все глуше, глуше, что-то бормотал и наконец позволял старику прижать себя к полу.

Но, главное, дядюшка успокоил тем самым всю камеру.

Так продолжалось до первого немецкого наступления,

когда немцы стали жечь Горни Милановац и в лагерь по чуть ли не сибирскому морозу сотнями пригоняли босых шумадийских крестьян. Выполняя девиз мести Данкельмана «сто сербов за одного немца», Вуйкович каждую ночь и из четвертой камеры уводил несколько человек. Камера была битком набита новыми арестантами, под конец из старых осталось четверо — Радич, Биолог, Бокель и дядюшка Прудон. Отобранных немцы больше не увозили в Яинце, их ликвидировали здесь, на месте. Бокель так исхудал, что казался собственной бледной качающейся тенью, говорящим привидением. Биолог, у которого выступили все кости и суставы, днем подбадривал других:

— Тимошенко нас освободит! И как только эти побегут, нужно будет организовать оборону или спрятаться.— А по ночам мучился. Но едва он начинал кричать, дядюшка заталкивал ему в рот кулак и, напрягая последние силы, заставлял лежать спокойно.

По этому поводу дядюшка Прудон еще успел высказать свои соображения Радичу, трезвому и решительному до конца:

— Вот видишь, дружище, сейчас модно больше полагаться на так называемое подсознание... А во что мы превращаемся, когда, прости меня, наше сознание молчит! Кто же создает культуру и цивилизацию? Кто является подлинным человеком? Тот, что рычит, как затравленный зверь, или то вертикально стоящее создание, которое мыслит, видит дальше своей смерти?.. Дальше смерти вселенной?..

Когда была потеряна Румыния и Венгрия, гитлеровцы в канун полной катастрофы расстреляли и их. Говорят, все четверо держались одинаково стойко. Бокель вообще успокоился, когда догадался, что жену давно увели и что от него это просто скрывали. Биолог почти заторопился, увидев, что их ведут без вещей, а дядюшка Прудон только попросил жандармов, чтоб парня поставили между старшими — между ним и Радичем.

О старике, которого считали несчастным

Жил-был старик. Но это был не обычный старик. Обычные старики в большинстве случаев — унылые старикашки, они целыми днями ворчат или тупо, вяло дремлют где-нибудь в сторонке, тихо догорают. Таких не зря зовут замшелыми. А нашего старика все вокруг называли не просто «чичей» — дядей, а «Стрико», как зовут брата отца. Может быть, он был родом из Србобрана, как Старый Бард, певец «Грахова Лаза», и еще в молодости воспринял романтический энтузиазм героического братства брджан и зечан.

Ко времени, о котором идет речь, в дни страшных морозов и фашистских облав 1941/42 года, Стрико считался здесь старожилом — он поселился в овраге между кладбищем и Карабурмой десять лет назад, в крохотном домике, простой дворовой пристройке с одной-единственной комнатенкой.

Эту лачугу из глины и обломков разнокалиберных досок, которые половодье вынесло на дунайский берег, наверное, еще во времена Мустай-паши, соорудил один чудак, црнотравец. Строя и ремонтируя дома на Зереке и Варош-Капии, он пресытился людьми и под старость бежал сюда в овраг, при князе Милане еще дикий, пустой, пыльно-зеленый, с бурыми склонами, перерытый и местами задушенный бузиной, бурьяном и репейником.

Большинство соседей Стрико были рабочие с боен и сукновален. Все без исключения они принадлежали к «низам», для которых вообще не играет роли происхождение и прошлое, ни свое, ни чужое. Оно их не тревожит, не занимает, они не предаются воспоминаниям, ничего не вымышляют, не приукрашивают, не лгут ни себе, ни другим. Живут сегодняшним днем, будущее для них — ближайшая неделя, от силы — месяц, а главным образом —

субботняя получка, уплата долга в бакалейной лавке и взнос хозяину за квартиру.

Эта пролетарско-мещанская прослойка ни во что глубоко не вникает, и здесь мало кто знал, что прежде Стрико был крупным торговцем. Несмотря на то, что бедность имеет свою форму одежды, пеструю, с пятнами и заплатами, типа обтрепанной мантии, никто тебе под нее не заглянет и не спросит, как ты до нее докатился. Все живое мыкает свое горе, гнется под тяжестью забот, а если что выпадет сверх того, и это тащит. Так на Карабурме и ее окрестностях пресекали излишнее любопытство и потребность «анализировать». Разве не важнее было то, что столько лет подряд все вокруг видели, как к нему тянутся дети? И правда, не было ни одного малыша, ни одного карапуза, ни одной егозы, которому бы Стрико не починил санки или куклу, да, собственно, почти все их игрушки — подарки Стрико. Но и, конечно, каждый из этой стаи воробьев прежде помчится на помощь Стрико, чтобы вытащить, например, из грязи его знаменитую тележку или сбегать к Мосту, к Янко-лавочнику, прежде отзовется на безмолвный кивок старика, когда тот, согнувшись в три погибели, проходит в низкую дверь своей лачуги, до потолка которой он достает головой, чем откликнется на несколько окриков, причем все более нетерпеливых, своих родителей. Родители сердятся, грозятся, но какому отцу и какой матери не дорого, когда кто-то любит их ребенка. И еще была от него польза: если надо было уйти из дома, малыша, уже начавшего ходить, отводили к Стрико, как в самое надежное место. Стрико умел без сказки и песни угомонить их и убаюкать. Еще в ранней молодости, когда парни видят только девушек и героев, он всегда останавливался, чтобы погладить ребенка по щеке или подбросить какого-нибудь бутуза выше ограды.

Конечно, мы не станем скрывать: Стрико зарабатывал на жизнь игрушками, и, следовательно, не одной своей личностью привлекал детвору.

Материал он добывал на сукновальне и ближайшей лесопилке. Чего только не делал Стрико из разных отходов! Не знаю, когда дети больше радовались — когда получали автомобиль или целую упряжку из ярких планочек с зелеными лошадьми, красными колесами и кучером, желтым, как подсолнух, и сперва убегали куда-нибудь со своим сокровищем, чтобы насладиться им наедине, а по-

том, вопя от восторга, носились, размахивая над головой новым парусником или паяцем, созывая всех остальных, или когда, сгрудившись за спиной Стрико в его неимоверно тесной комнатушке, молча, широко раскрыв глаза, провожали восхищенным взглядом каждое движение своего заступника.

А Стрико умел иногда сразу, а иногда после долгих мук,— он был терпелив,— так провести своим старым охотничьим ножом или кисточкой, так набить руки и ноги куклы обычными опилками или шерстью, нащипанной из старого сукна, и придать своим черным корявым указательным пальцем такую форму этим рукам, ногам и лицу, что дети смотрели и думали — да она ожила, вот-вот заговорит! И все потому, что один глаз сделает меньше, словно он прищурен, левый уголок рта опустит, правый подымет, так что мамина дочка — а мама в этом случае семилетняя вихрастая Мица, дочка торговца кишками,— и смеется и плачет. Или сошьет мордочку из серых клочков сукна, шерсти, фланели — и получается, что осленок линяет или из осленка превращается в серьезного осла. Наклонит большую голову в сторону, глаза прикроет ресницами, и кажется, будто ослу стыдно. Дети сразу хватают его, несут в угол, да еще плеснут под ним воды из кастрюльки — пусть знает, за что его наказали, за что он должен теперь смотреть в стенку.

Нелегко было и детишкам угодить и создать «запас», из которого он на своей знаменитой тележке постоянно, но понемногу, самое большее штук по десяти, возил игрушки на Йованов базар. Под них он обычно укладывал какой-нибудь груз, чаще всего кипу белья, выстиранного прачкой Юлой для старых холостяков, которые твердо знали, что она не сыплет в котел щелок, или что-нибудь для других соседей. С помощью ребятишек Стрико привозил и припасы из Сланаца по заветной дороге — единственном их оплоте против немецкой моторизации.

Между тем Стрико и с детьми мало разговаривал: он не умел рассказывать сказки, веселые или поучительные истории из своего детства, не подзадоривал их,— а ну-ка, поглядим, кто сильнее! — не допрашивал и не мирил с серьезным видом, торжественно, как все старики. Люди вообще редко слышали его смех, который походил на застенчивое, приглушенное покашливание, но на его лице, вернее вокруг лица, постоянно витал туманный осенний отсвет молчаливой, всепонимающей стариковской улыбки.

Может быть, оттого его губы под густыми седыми усами всегда кривились немного и заостренные книзу усы были неодинаковые.

Если день погожий, «друзья» — как он их иногда называл — не переступали порога, только подымали ужасный гам перед его домом или рядом в лощинке, где женщины копали краску для полов, плинтусов и нарядных полосок над окнами. Стрико станет перед дверью и, мастерски, точными движениями заворачивая щепотку табачной пыли в папиросную бумагу, тихо смотрит на возню и горячие распри наследников Карабурмы. Обычно они прибегают к нему разобиженные, в слезах, с жалобами и бесконечными вопросами, рожденными живым воображением. Любознательные малыши останавливаются как вкопанные при виде далекого, огромного,— для них прямо-таки великанского белого корабля, который гордо плыл откуда-то и вез что-то необычайное, оставляя за собой глухой шум, борозду кипящей пены в воде и развевающиеся клочья дыма в воздухе. Удивительно!.. Как, почему, зачем? Стрико отвечал серьезно, коротко, не обращая внимания на то, что дети не все до конца понимают. А детям — хоть это и нелогично — так больше нравится, и они даже больше понимают, чем когда им все разжевывают да в рот кладут.

В городе, начиная от трактира «У солнца», Стрико говорил еще меньше. На базаре и по дороге к нему кое-кто из старых знакомых по «Городскому клубу» и торговым рядам пробовал выражать удивление, донимать расспросами. Стрико, можно сказать, никак на это не реагировал, беззлобно-учтиво давал понять, что помнит человека и относится к нему с уважением, но занят исключительно своими делами — разложенными игрушками и их ценой. Позже никто из прежних знакомых к нему больше не подходил — этот (поскольку он вышел из «корпорации», опустился, о нем уже говорили в третьем лице) никогда не отличался оборотистостью. Отец оставил ему торговлю хлебом с разветвленной сетью поставщиков вплоть до Пешта, Вены и Салоников, а он открыл на окраине Белграда первоклассный магазин детского платья и игрушек, с отделом шапок, перчаток и батистового белья для кукол! Глупое ребячество. Говорили, что дети Бошкича его погубили, он залез в долги, чтоб оплатить им Лезен. Хоть бы дети были его! Дурак!

На Йовановом базаре теперь уже никто не помнил, как и когда он появился. Да и те — с Теразий и Наталии-

ной улицы — надолго потеряли его из виду, пока однажды не услышали о его новом комическом занятии. Может быть, он бродил по свету? Похоже, что и в Америке был. Он же не осознавал своего «диснеевского» дара и вообще не относился серьезно к своим способностям.

На базаре он располагался под навесом между молодым Мединой, продавцом пуговиц, и «госпожой» Матильдой — она торговала всевозможными лоскутьями и обрезками тканей, и женщины не раз находили в куче ее тряпья необыкновенное перышко, пряжку ручной работы, венецианский поясок, брюссельское кружево — бог знает, из чьего наследства, с какой распродажи.

Во время войны почтенные коллеги исчезли, базар поредел и обнищал. Теперь Стрико редко приходил к своему рундуку, еще реже приносил куклу с печальным напуганным личиком или вконец изголодавшуюся зверюшку. (И отходы исчезли!) Работал он по заказам, из принесенного материала, поэтому больше бывал дома. «Друзья» ходили к нему беспрестанно. А уже взрослый, пятнадцатилетний Диле, «Белый Диле», даже получил от Стрико второй ключ, чтобы входить, когда хозяина нет дома. Тележка его прославилась именно в эти горькие времена и страшные холода. Она переходила из рук в руки, и Стрико принимал от детей свою долю дров и угля, который они собирали на железной дороге между рельсами и на насыпи. Ужасные, голодные дни. Сердце застывало от стужи и немилосердного ветра — да будет он благословен там, в русской степи! Малых детей и днем держали в постелях. Теперь друзья Стрико стали настоящими парнями. Недавние дети, в военных испытаниях они рано созрели, закалились и повзрослели. Теперь они тоже мало говорят; и между собой, и со Стрико больше объясняются взглядами и жестами, чем словами. Однако хорошо понимают друг друга. В их разговорах не было места и малейшим неясностям и недомолвкам.

Так повелось и у Стрико с Диле с того дня, когда прошлым летом он взял тележку, чтобы привезти лебеды и крапивы для утят, и передал старику стопку свеженапечатанных листков бумаги вместе с деревянной, небольшой, но дьявольски тяжелой коробкой. Тогда он лишь махнул головой в сторону,— куда бы? — и на его лице с преждевременными морщинами на молодом лбу и слегка огрубевшей кожей на свежих щеках появилась слабая улыбка. Стрико сразу все понял и стал оглядываться:

куда бы спрятать, ничего не рассматривая, ни о чем не спрашивая? И решил, что надо вырыть тайник.

С того дня они были связаны постоянно. Диле приходил, уходил, приносил, уносил, часто появлялись совершенно незнакомые ребята, мальчики и девочки с условными знаками, странными фразами, «явками». Он многому научился у них за последние несколько месяцев; коечто запало в памяти, хотя он не прислушивался, о чем они шептались в углу. Часто они приходили в сумерках и разговаривали в темноте, передавая один другому «директивы и задания». Он не все понимал, но чувствовал, что это его дети, что они снова играют, но теперь во имя чего-то большого, общего рискуют своими прекрасными молодыми жизнями. Он не слышал их слов, но слышал дыхание, радостно впитывал всеми своими обострившимися старческими чувствами пряный, ядреный запах их разгоряченных тел... Его дети!.. Нет, уже не дети... И принадлежат они не ему... Теперь он принадлежит им, но надолго ли?..

И правда, это продолжалось недолго. В начале января нагрянула специальная полиция и фельджандармы, арестовали детей и с ними по одному взрослому из каждого дома. Только «Белого Диле» не нашли. Допрашивали и Стрико в гротескном окружении жирафов, верблюдов, слонов, собачек, кошек, зайцев и осликов с выпученными глазами и задранными вверх ногами. Старик думал об одном — только бы не нашли тайник. Он находился за домом, но вход был здесь, у стены под кроватью. Стрико не был уверен, что Диле, ловкий и быстрый, не спрятался туда в последнюю минуту. Но, кажется, перевесили игрушки.

Однако через три дня облава повторилась. На этот раз пришло много — и полевые жандармы, и гестаповцы. Густой цепью они спускались с Владановачской горы, откуда разгороженные дворы были видны насквозь. Сверху раздался пронзительный свист, за ним брань и удары плетки; как по сигналу, все попрятались по домам. Было точно четверть второго, совсем необычное время для такого рода облав. День был ясный, воздух прозрачный, все вокруг сияло от ледяной пыли и хрустального снега.

Возле сукновальни Стрико уже поджидал агент. Спросил, куда он идет, обыскал тележку, но нашел только мешок с тремя непроданными игрушками и белую тыкву.

Позвал жандарма, велел ему проводить старика до дому и остаться с ним, пока не подойдут другие.

Жандарм хотел что-то спросить, но старик не мог произнести ни слова. Всю дорогу он терзался: вдруг Диле принес материал, спрятал его, а они случайно напали на след? В отчаянии он понял одно: нужно опередить облаву... Может быть, тогда отыщется выход... Прежде чем подняться на первый холм, откуда уже были видны дома, и его дом тоже, Стрико тихо, сквозь усы проговорил:

— Человек ты или нет?

Плоское печенежское лицо молодого капрала искривилось, словно от удара электрического тока.

— Гляди, старый, возьму на мушку! — Только Стрико решил вести конвоира в обход — время, выиграть время! — как к ним торопливо подошел бечаривичев писарь.

— Что, старик, допрыгался! — ухмыльнулся он.

Стрико страшно было поднять глаза на собственное гнездо. Необычно загадочно и угрожающе белела его простая хибарка в ста метрах отсюда. И все же, все же... кто знает? Но тут внезапно тишину опустевшего поселка прорезал детский плач. Стрико вслушался. Кто плакал, он не узнал, но ясно, что ребенку не больше двух лет и плачет он, бедняжка, не от боли, не от голода, не от злости, а от страха и горя, потому что остался без родителей. Чей же он может быть? Верно, Анки-разводки, что работает по домам. Оставила на соседей, ребенок выскочил за дверь, и сейчас никто не решается ради него переступить порог.

Между тем уже возле самого дома как по заказу появился статный помощник Вуковича Никешич с большеголовым заплаканным мальчиком на руках. Увидев Стрико, ребенок сразу умолк, и Никешич великодушно, по-полицейски победоносно передал его старику. Красавец с ухоженными, блестящими, как жирная сажа, усами и необычайно яркими белками пестрых бегающих глаз благосклонно, почти с наслаждением взирал на идиллию — дедушка и внучек обнялись и, конечно, уже рассиропились. И сам полицай рассиропился, когда спросил:

— А где у вас, миленький, братец Диле?

Ребенок с крупной непросохшей слезинкой на лице уже без страха быстро и весело повернулся и показал пальчиком на дверь:

— Братец Тиле... там... там... братец Тиле...

Лицо Никешича мгновенно изменилось, он выхватил ребенка у Стрико из рук — и пошла катавасия.

Ребенок громко заплакал, полицаи бросились к старику, скрутили ему сзади локти, навалились на дверь.

Все время, пока в доме шла стрельба, Стрико стоял связанный, бледный и в грохоте борьбы вслушивался в детский плач. «Диле легко не дастся. Но бедный малыш, он, может быть, всю жизнь будет казниться, а что он, глупенький, понимает?»

Одуванчик

Наш дворик красивей всего в апреле. Его можно считать и газоном, и цветником, но по сути дела он ни то и ни другое. Прежде его несколько раз перекапывали, засевали дорогой английской травой. Но наши ветры упрямо засыпали благородную, шелковую зелень семенами многочисленных диких растений, которые с упорством туземцев, привыкших ко всем капризам родной природы, вскоре душили изящную и нежную, требующую ухода иностранку.

А мы не горюем. Главное, что трава зеленая и густая, когда же она чересчур разрастается, мы приглашаем косаря, и тогда далеко вокруг разносится аромат скошенных лугов и пастбищ, и нас, в ком живет еще душа прадедов — пастухов и охотников,— охватывает щемящее чувство ностальгии.

Но вот сейчас, в середине апреля, только мы как-то утром распахнули окно, сотни и сотни широко раскрытых, желтых глаз вдруг уставились на нас и на голубое весеннее небо, ожидающее восхода солнца. Я очарован: такой — как бы это сказать? — безудержной красоты мне никогда не приходилось наблюдать у растений. Я не преувеличиваю: я страстно люблю цветы и деревья, но своей щедрой, монументальной красотой они рождают в нас совсем иные чувства. Цветники, парки, розарии, клумбы, оранжереи, зимние сады, питомники, цветочные горшки — все это природа, покорная человеческому воображению, его воле и причудам, ее чрезмерная красота и роскошь идут обычно в ущерб естественной силе и плодородию. Привитые, облагороженные растения за свой короткий солнечный век цветут и плодоносят, можно сказать, на радость человеку, своему тирану, а не себе, не своим опьяненным страстью сородичам, благостно и

трагически отмеченным короной и клеймом пола. Стремительно, свирепо, кроваво,— зелено-кроваво — врывается человек в царство флоры в естественный процесс развития и совершенствования, для которого, как для идиллии, предопределено длительное существование.

А эти желтые, из чистого золота цветы, рассыпавшиеся по земле, посеяли более мощные, а может быть, и более разумные и уверенные руки, чем руки садовника. Благодарный, я нагнулся, чтобы лучше их рассмотреть, чтобы приласкать их. И сорвал цветок. Ничего не поделаешь. Давно известно — человек убивает то, что любит!

Какой прелестный цветок!

Если вглядеться внимательней, можно увидеть в нем уйму цветочков. И как все пригнано, какое совершенство! Множество миниатюрных лепестков, тычинок, пестиков, в которых ныряют разноцветные, блестящие букашки... И этот цветок мы считаем дикой травой, сорняком! Откуда в человеке столько душевной скудости, слепоты? То ли из-за необычайной скромности одуванчика. То ли потому, что его много, каждый может иметь его на своем клочке земли, и он не требует ни ухода, ни помощи, ни расходов? Вот он на пригоршне земли — наметенной к веранде пыли,— только ее смочил дождик, и он уже выглянул, поднял головку и смотрит на мир весело, почти смеется.

Лишь однажды мне довелось увидеть, как презренный одуванчик удостоился роли настоящих цветов, которыми люди, правда, чаще женщины, пользуются, чтобы украсить себя и свой дом, чтобы возвысить свою красоту. Да и то это была всего-навсего пятнадцатилетняя цыганочка (а мне тогда было не больше двадцати). Она несла помятое, закопченное ведерко и, лениво наклоняясь, перенимала его из одной руки в другую; сквозь дыры на плечах и на спине некогда красной, явно чужой кофты проглядывало ее молодое тело — темный сафьян цвета вишни, а слишком длинная юбка из черных и зеленых лохмотьев при ходьбе заплеталась вокруг ног. В ее с виду ленивых движениях чувствовались грация кошки, сдерживаемая сила и независимость. Несмотря на отрепья, ее загоревшее лицо было тщательно вымыто, а чистые волосы блестели, словно полированное эбеновое дерево. В локоны, спирально падающие от висков на грудь, украшенные медными и мелкими серебряными монетками, она вплела скромные одуванчики. Пораженный, я на мгновенье оста-

новился, потому что и цыганочка встряхнула плечами, будто тоже собиралась остановиться, и, блеснув черными глазами из-под полуопущенных синих век, на ходу, через плечо бросила молодому господину:

— Что, хороша?

Я тотчас взял себя в руки и, чтоб не посрамиться перед этим существом, огрызнулся:

— Как не хороша... А для кого это ты нацепила столько дукатов?

Только теперь она взглянула мне прямо в лицо горячим вызывающим взором.

— Для того — кому дукаты!..

Содержание

МОЛОХ

ЗЕМЛЯ

ПЕРЕПЕЛКА В РУКЕ

Петрович В.

П30 Избранное. Пер. с сербскохорват. Сост. и предисл. Т. Поповой. М., «Худож. лит», 1975

с. 416

Велько Петрович (1884—1967) — крупный сербский писатель-реалист, много и плодотворно работавший в жанре рассказа. За более чем 60-летнюю работу в литературе он создал богатую панораму жизни своего народа на разных этапах его истории, начиная с первой мировой войны и кончая строительством социалистической Югославии.

П $\frac{70304-266}{028(01)-75}$ 148—75 И(Югосл)

ВЕЛЬКО

ПЕТРОВИЧ

ИЗБРАННОЕ

Редакторы
Н. Глен, О. Кутасова

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Т. Таржанова

Корректоры
Г. Киселева и *О. Наренкова*

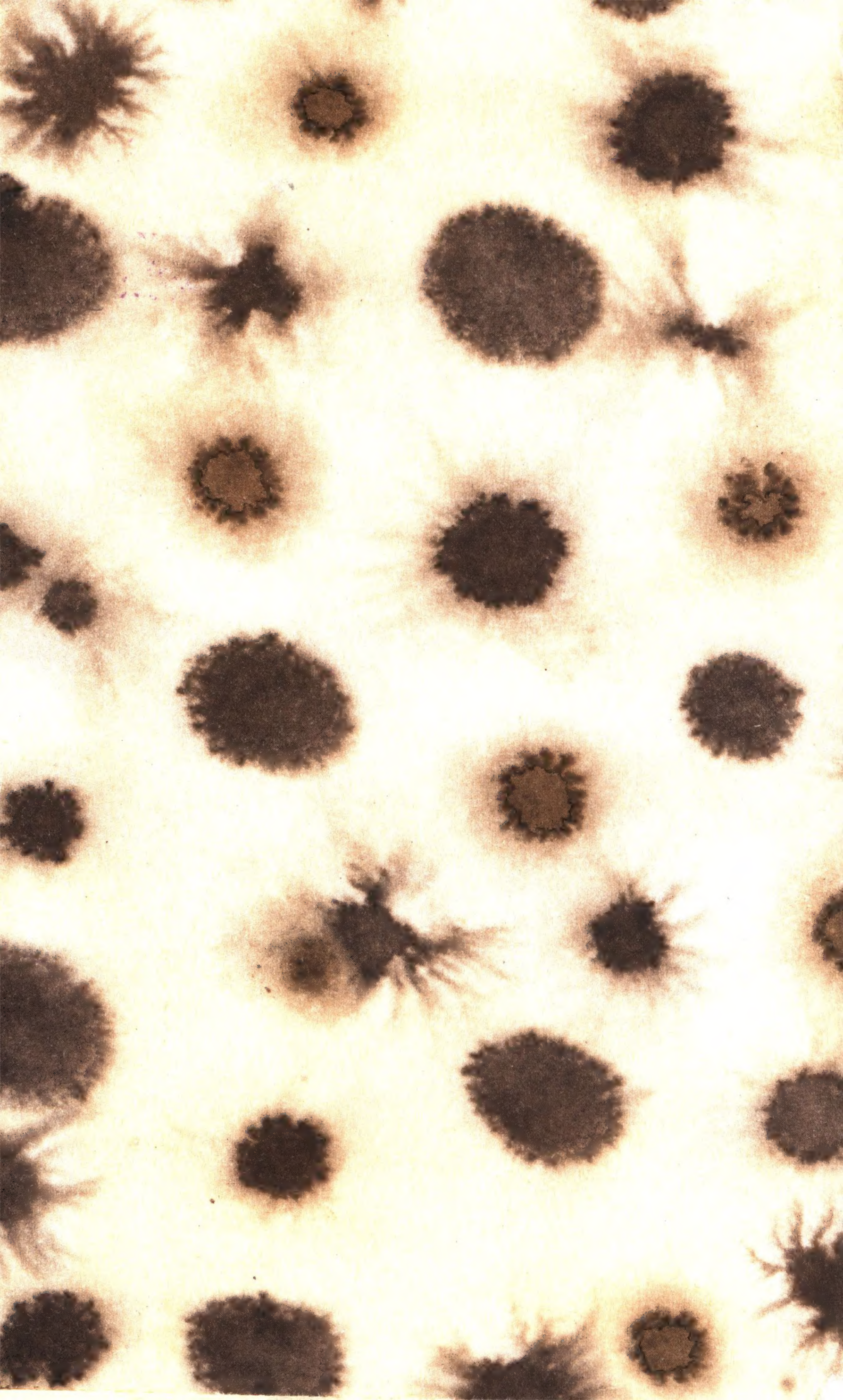
•

Сдано в набор 18/XI 1974 г. Подписано в печать 1/IV 1975 г. Бумага № 1. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. 13 печ. л. 21,84 усл. печ. л. 22,2+1 вкл.=22,236 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз.
Заказ 217. Цена 1 р. 64 коп.

•

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц Головного предприятия на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.





1 р. 64 коп.


Велько Петровић